



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРОНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УВОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

### Проза

Андрей АНТИПИН	
Смола. Рассказ .....	6
Платон БЕСЕДИН	
Воскрешение мумий. Повесть ....	18
Елена ТУЛУШЕВА	
Чудес хочется. Рассказ .....	55
Андрей ТИМОФЕЕВ	
Навстречу. Повесть .....	67
Антон ШУШАРИН	
Темнеет рано. Рассказ .....	93
Егор СОРОКИН	
Запах космоса. Рассказ .....	109

### Поэзия

Марина ВОЛКОВА	
Будем жить... .....	3
Елизавета МАРТЫНОВА	
Костры — Дон Кихоты осени .....	15
Кристина КАРМАЛИТА	
Сбивается размер бегущих строчек... .....	51
Антон МЕТЕЛЬКОВ	
Голоса наши вспыхнут песней ....	65
Полина КОНДАУРОВА	
Я всё, что знаю — знаю от тебя... .....	90
Мария НАПРИЕНКО	
Прочь от Москвы! .....	107
Наталья КОЖЕВНИКОВА	
Печаль земная .....	114
Сергей АНТИПОВ	
Тишиной замедляется время ....	117
Зоя КОЛЕСНИКОВА	
Так начиналась жизнь .....	120
Марина ШАМСУТДИНОВА	
Небо для сильных .....	122
Геннадий МОРОЗОВ	
Жизни свет небесный... .....	125
Владимир МОЗГО	
И память не истлела... .....	128
Владимир БОЛОХОВ	
Есенинский сорокоуст .....	187

### Поиски истины

Станислав КУНЯЕВ	
“Духовной жаждою томим...” ....	130
Михаил ГУЦЕРИЕВ	
Плоть и суть .....	144

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
*зам. главного редактора* —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
*зав. отделом критики,  
отдел поэзии* —  
(495) 625-02-81

*Отдел публицистики* —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
*зав. техническим центром* —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Память

Захар ПРИЛЕПИН  
...Пока капкан судьбы  
не щёлкнет ..... 161

Валерий МЕШКОВ  
Сергей Есенин  
и Михаил Булгаков ..... 191

Людмила ГОЛУБЕВА  
Шукшин — Есенин в прозе ..... 200

Евгений КУРДАКОВ  
Мифологическая тайна поэта .... 207

## Очерк и публицистика

Алексей ВАСИЛЬЕВ  
Китай, куда несёшься ты? ..... 219

Иван ДЕМЬЯНОВ  
Как братьев делали врагами ..... 232

## Критика

Андрей УБОГИЙ  
Исцеление “Онегиным” ..... 252

Валерий ГАНИЧЕВ  
К 80-летию Бориса Олейника .... 263

Андрей РУМЯНЦЕВ  
Сквозь тернии ..... 267

Анатолий ЗАБОЛОЦКИЙ  
Он был совестью  
русского мира ..... 280

## В конце номера

Михаил ПОПОВ  
“Поедемте в Лошпенгу”  
к Казакову ..... 284

Письма читателей ..... 286

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и, по желанию автора, может быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, И. А. Горбатова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 05.10.15. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2771-2015. Тираж 25700 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarp.ru](http://www.redstarp.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

МАРИНА ВОЛКОВА



## БУДЕМ ЖИТЬ...

\* \* \*

Русское поле! Здесь у лесной межи,  
Где красноствольный бор достаёт до неба,  
Плещется море тёплой, созревшей ржи,  
Землю целуют спелые зёрна хлеба.

Пряное лето, скошенное в стога,  
Русские косы — светлый, пшеничный колос!..  
А за рекой цветами пестрят луга,  
И колокольню-звучный несётся голос.

Небо опять меняет цвета знамён.  
Солнышко пьёт зарю из озёрной чашки.  
А на полях уже отцветает лён,  
И голубеют будущие рубашки.

Пахнет костром и мёдом, и стихает грусть,  
Робко внимая раннему славословью  
Тёплого ветра: каждый, влюблённый в Русь,  
Неизлечимо болен своей любовью.

---

*ВОЛКОВА Марина Георгиевна родилась в Санкт-Петербурге в 1981 году. По образованию юрист. Работала в МВД следователем. В настоящее время ведёт авторский проект "Виват, Петербург!" в творческой мастерской "Нордвест-СПб". Победитель конкурсов "Национальное возрождение Руси", "Золотая строфа", "Велесово слово", "Северная звезда". Автор книги "Веру храня в Рассвет". Живёт в Санкт-Петербурге.*

\* \* \*

Скачут синицы по тонкой рябине,  
В сахарном инее ягод пожар,  
Белым покровом Зима-берегиня  
Землю укрыла от сумрачных чар.

Кто согревает и любит друг друга,  
Тем не страшна ледяная пора —  
Я улыбнусь, и утешится вьюга,  
Ты мне spoёшь, и утихнут ветра.

Снег, словно звёзды, в полях заискрится,  
Избы затеплят в окошках огни.  
Добрая песня на сердце ложится  
Радостью светлой в морозные дни.

Бор в серебре, а за синею тенью  
Ёлок густых в нашей сказке лесной  
Воздух обнимет вдруг свежей сиренью,  
Чистой капелью и тёплой весной.

Через метель тропка вешняя вьётся.  
Как бы зима ни казалась долга,  
Солнце, сверкая, над стужей смеётся,  
Жаркими пятками топит снега,

А по пылающей кромке рассвета,  
Там, где румянцем всё Небо горит,  
Ходит тайком наше нежное Лето,  
Держит в ладонях ключи от зари...

## РОВНО ДЕСЯТЬ ШАГОВ ДО ПОРОГА

Ровно десять шагов до порога,  
Путь далёкий — совсем не далёк.  
Прямо к дому поманит дорога,  
Где уютный горит огонёк,

Где от запаха свежего хлеба  
Сладко-сладко, как в детстве, давно,  
Где бескрайнее зимнее небо  
Всеми звёздами смотрит в окно.

Скрип шагов на промёрзшем крылечке,  
Тихий шёпот оплывших свечей...  
Нам тепло от растопленной печки,  
Но от взглядов — ещё горячей —

Так, что тает узор на оконце...  
Светлым дням отворяя засов,  
Нарождается юное Солнце  
В колыбели уснувших лесов

И зарёю встаёт над деревней,  
Обещая Зиме — поворот.  
Звон лучей — отзвук повести древней —  
Славный праздник наш — Солнцеворот.

Мягкий свет над сугробами льётся,  
День родившийся нежен и тих,  
И душевная песня поётся,  
Как и должно, — одна на двоих.

По забытым, истёршимся краскам  
Под кружение северных вьюг  
Мы с тобой пишем добрую сказку,  
От которой светлеет вокруг.

\* \* \*

Сколько лет рядим да судим.  
Что кричать, о чём блажить?  
Тихо спросишь: жить-то будем?  
Я отвечу: Будем жить!

Будем жить, врагам на зависть,  
Да, их тьма, но мы-то — рать?!  
Духа огненную завязь  
В нас не выжечь, не попать!

Пусть тоска порою душит,  
Пусть сквозь сердце боль сквозит,  
Будем жить, покуда в душах  
Слово вещее звучит!

Будем жить — назло напастям,  
Нашим истинам под стать,  
Потому что это счастье —  
Русским воздухом дышать!

## ГДЕ-ТО ЕСТЬ

Холодает. Над рощами сонными  
День осенний — хрустальная стынь.  
Только Небо очами бездонными  
Льёт на Землю лучистую синь

И глядит по-весеннему молодо,  
Позабыв про ветра и дожди.  
Я иду и не чувствую холода —  
Солнце жарко пылает в груди.

Улетает листва вместе с птицами,  
Но не грустен, а светел мой взгляд,  
И не слёзы горчат под ресницами —  
Негасимые зори горят.

Осень в песню протяжную сложится,  
Унесут её вдаль волны рек.  
Всё хорошее — пусть приумножится,  
А худое — пусть сгинет навек.

Где-то есть за далёкими далями,  
Сбережённый от стужи и тьмы,  
Добрый день, не знакомый с печалью,  
Где когда-нибудь встретимся мы.

АНДРЕЙ АНТИПИН



## СМОЛА

РАССКАЗ

В первый погожий день ранней весны, особенно ценный на Севере, солнце над тайгой преломится как-нибудь так исключительно, что отпотеет и прожжёт мёрзлый слежалый снег небольшая коринка, оставшаяся при дороге от проползшей за трактором лесины. И тогда в старом сером щелястом заборе, смертно наклонившемся и подпёртом частыми кольями, вдруг “вспыхнет”, вдруг “заиграет”, вдруг “загорится” морёными наплывами какая-нибудь одна-единственная доска, против тления и угасания напитанная красной листовничной смолой. И такая она делается янтарная и сквозная, что, кажется, посмотреть через неё — всё равно что приблизив к глазам луковую шелушинку. Назавтра зачернеет, понесёт ветром, снегом, рваным печным дымом — и снова ветхий забор, шершавые от вгрызшейся пыли доски, сплошной мёртвый хлам. Но ты-то знаешь, что это не так.

Об этой доске со смолой я думаю, когда на реке вижу Пузырька.

Пузырёк — мой сосед по границе, которые издавна намечали между своими уделами ленские крестьяне, промышленявшие зимой налимом, и из года в год эти речные границы строжайше соблюдали, а когда оставляли своё ремесло, то те, кто приходил им на смену, по уговору с бывшим владельцем или на правах наследования, получали реку в виде своеобразных угодий, размежёванных незримо, но зато и незыблемо. Из числа местных мужиков та-

---

*АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется в журналах “Наш современник”, “Москва”, “Юность”, “Сибирь”. Лауреат журнала “Наш современник” (2010), премии имени И. А. Гончарова (2015). Живет в Иркутской области.*

ких властителей сопредельных рыбацких территорий теперь несколько. О Пузырьке следует сказать особо. Сперва, конечно, о его прозвищах, которых три. Основное — Пузырёк — потому что занимает на водку одной и той же фразой: “Выручай на пузырёк!” Суслик: это смалу и порядком забылось, а пошло, скорее всего, от физических признаков. Но самое комичное — Черномырдин: так его, не объясняя причин, окрестил дядя Милентий, ядовитый на язык рыбак, да к тому же выдвинул гипотезу, что в детстве Черномырдин ел дерьмо — отсюда и везение. И вправду: у всех глухо, а Пузырьку фартит, прёт с реки рюкзак, будто набитый мягкими поленьями, поневоле взмолишься: “Да хоть бы ты загулял!” Чтобы понять, почему от Пузырька ждут, что он запыёт и заморозит крючки, надо вспомнить его жизнь.

После армии он, как почти все деревенские, работал в совхозе, и даже была напечатана в районке фотография, на которой молодой Пузырёк и другой наш мужик, Валентин Михайлович (которому под этот Новый год откромсали ногу), поднимают в честь конкурса пахарей Трудовое Знамя с профилем Ленина на остром от ветра треугольнике. Хорош ли, плох ли был Пузырёк как пахарь, теперь неважно, а всё же худо ли, бедно ли, но корпел за общее дело, скорее всего, и не подозревая об этом, а всё-таки жил и трудился — да, детально в основном, безжалостном к деталям, механизме, но, верую, лучшей деталью, одной из тех, которые ни сами не сбились, ни других не раскачивали, а, наоборот, изо всей мощёнки крепили весь механизм и не давали ему сокрушиться, и было это незаметное, но великое и мучительное подвижничество, каким от роду родов стоит русская земля. Из тех лет, когда Пузырёк был ей нужен, на памяти только то, что этот маленький невзрачный дядька с тонкой шеей, похожий на беспутного подростка, которого вышибли из школы, едва ли не всегда ходил с оплывшим, как раздавленная сливовая мякоть, синяком под глазом, потому что кто-то неведомый раз за разом стрелял в него с плеча. Стали, что ли, в сеялку зерно насыпать, да Пузырёк выронил мешок, или кого-то перешил в честь красной даты, кого перебивать нельзя, и этот, кого перепили, оскорбился, полез бодаться. И мужики, черги, не мешали, обступили кругом и глазели, а кто-то, наверное, запрыгнул на ГАЗ-53 и комментировал. И Пузырёк, чтоб не упасть в грязь лицом, тоже стрелял, но кулаки были мягкие и ватные, парусили по ветру... Так они жили-были: то пашут не за награду, то пьют до упаду, а то пластаются за комбайнами. Стоят на общем снимке в обнимку. Потом сама Москва выстрелила залпом, и мужиков разбросало. Один мёртвым остался, второй в город смотался, а третий залёт на дне воронки и время от времени высовывает на палке шапку: не перестали бить по своим?! Шапку сбивает ветром.

Нынче жизнь Пузырька такова: всё он пьян или с бодуна и дома конфликтует со своей бабой, о чём, как водится в деревне, — многочисленные свидетельства. Когда попадает шлея под хвост, он не шатается по посёлку, а проворно обегает его из конца в конец, иногда не по разу за день, и всё равно что-нибудь да смышляет. Клепаешь, например, в ограде лодку, нагнулся, чтобы взять молоток, встал через миг, а тут — глядь-поглядь! — Пузырёк! Навалился на штакетник, как только подошёл. На самом деле он уже давно наблюдает, только ты его не замечал. Сейчас спросит двадцать рублей! Он всегда просит на “Боярышник” — ни больше, ни меньше. Глаза мутные; рот накость; ворот свитера распялся и видно бледно-красное, как у опипанного гуся, горло, всё в пупырышках и морщинах. Жалко его, и зло берёт, и надоед хуже горькой редьки, но и отказать нельзя, сославшись на отсутствие денег. Неудобно врать этим людям, потому что у них отняли всё, чем они жили, а жить по-другому они не умеют. Тебе легче. Ты сподобился, как паршивый пёс у булочной, который сунул нос в приотворённую дверь, откуда самый запах. И дышит, дышит! Этим людям так нельзя, они гордые. Они и просят от безысходности, а то бы и век тебя не знали. И вынесешь, и сам подашь в руку. “Чтоб отвязался!” — сужаешь область боли. И скорее выводишь, якобы работы невпроворот. И Пузырёк всё-всё поймёт, сожмёт мелочь в кулаке и, ничего не сказав, на всех парах к магазину, но, зайдя за угол, с тревогой пересчитает. Всё точно, шире шаг! Но это недоверие к то-

му, кто выносит, эта нелюбовь к дающему не из-за чёрной неблагодарности, в которой нас во все века обвиняют фарисеи и книжники, а из-за глубокой и выстраданной бедными людьми обиды на тех, у кого эти деньги, несмотря ни на что, есть, кто призывает рабочего к станку, крестьянина — к сохе, а сам, курва, жил несколькими парами рук, и когда одна пара стала не нужна, он поправил очки и преспокойно вынул из футляра другую, нужную и кормную сейчас. И только у народа одни руки! Ваши деньги, очкарики, он, конечно, пропьёт, но не в этом дело.

Отгёртый на обочину, Пузырёк спасается, как может. Сын с дочкой в городе при грошах; жена на пенсии, а ему не вышел срок. Скот он, как и большинство в посёлке, давно зарезал: на всё рыночник накручивает дозволенные тридцать процентов! В область привезти те же комбикорма — тридцать, в район — тридцать, в районную деревню — ещё тридцать... В копейку! Из прежнего деревенского неизбывен только огород. На лето, правда, Пузырёк нанимается на пилораму. Рано утром, как и другие мужики, курит на перекрёстке возле сельсовета, ждёт вахтовку. И уезжает на весь день. Вечером, отжатых, молчаливых, их высаживают тут же до следующего утра. Но дирекция рассчитывается неисправно, сообразно с отводимыми лесными делянами, а когда производство застаивается, командируют народ по домам, чтоб не платить даром. И надолго Пузырька не хватает: его надо оцеплять сплошным обручем. Нет, так он отвяжется. Или лучше на реке будет, а то в лесу. В лесу он собирает грибы и ягоды, но в заядлых не значится, скорее, переживает очередную репрессию, последовавшую за тем, как в женином кошельке была обнаружена недоимка. Собачонка при нём на вооружении, тоже прошитая и прокуренная, всю дорогу выступает на защиту хозяина: гав да гав! Но больше берёт на себя. Топнешь — показывает Пузырьку, куда убегать. Пузырёк не побежит: у него полное ведро груздей! Сухих, с землёй, в отливающих синевой раковинах и с налившими хвоянками. Весел по случаю, козырёк сползшей на уши бейсболки задран, как щиток на маске электросварщика, рукава хлопчатобумажного пиджака раз-другой подвёрнуты, голяшки резиновых сапог хлябают под коленами — во всём Пузырёк мал. С удовлетворением глядит на твою руку кренделем, продевшую душку пус-того ведра.

О том, о сём:

— Рябчиков-то видал?

— Нет.

— А я спугнул выводок! Надо завтра с пулемётиком прошвырнуться...

Вечером едет на мотоцикле “Иж-Планета” с дощатым коробом вместо коляски, упразднённой за ненадобностью, кончик титанового советского спиннинга раскачивает огромная тяжёлая блесна, подвешенная к верхнему пропускному кольцу. Ноги земли не достанут! Спиннинг или удочка для Пузырька если не баловство, то пережиток древнего, некие первобытные орудия, и уповать на них нечего. Всё равно что сжинать рожь серпом. Ничего как будто диковинного, дело не совсем забытое, но наш мужик с этим в поле уже не выйдет. Он испорченный — механизированный, с социалистической размахкой. Ему комбайн предоставь. Покидать-то блесну или крючок с червяком он покидает. Но это так, для видимости. Ближе к ночи сдёрнет с короба брезент, а под ним — сморщенная надувная лодка и китайские сети... На рассвете, жёлто горя фарой, спешит проверять, на всякий случай — тоже для понта, да и затем, чтобы другой раз не ездить, не жечь бензин, которого на два пальца в баке, — везёт в коробе пару алюминиевых флаг под воду. Перед спуском под угор задувает фару: чих-пых в темноте! Бряк-бряк — флаги... Иногда случаются проколы: завоет в тумане, аки волк, продлится на воде дымчатый луч прожектора, высветив, словно на клубном экране, щетину тальников, мерцающую от капель сеть и пересравшего мужичка в резиновой одноместке, и вот уже, бросив концы в воду, Пузырёк шибко чешет через Лену со скоростью двух выгребающих реку маленьких пластмассовых вёсел, а за ним тем энергичнее — катер государственной рыбинспекции...



С замерзанием Лены Пузырёк переключается на уды. У него два участка — по оба берега. Раньше на этих местах рыбачила, наверное, дюжина мужиков, в том числе старики, которые наследовали эти берега ещё от отцов, а те от своих отцов. Но и мужики, и старики умерли, потому что это время срыло всех: и сильных, и слабых. И Пузырёк колотится один, как исчисляющий последнее исконное метроном. Сообщить, что он выходит на лёд первым, будет мало. Он и живцов запасает прежде всех, ещё ранней осенью, по открытой воде, зачавствив сквозь облетевший ольшаник на речку Казариху. Там, в тихих заводях, высланных жёлтыми листьями, он караулит корчажкой гольянов — небольших рыбок из сорных пород, с краплёной синевой на боках, с чёрной или светло-коричневой, судя по характеру дна, спинкой. Или плюхнет корчажку повыше моста, а сам сядет на угор и ждёт, когда сплынутся на размокшую хлебную корку. Добывает сотни три-четыре, учитывая потери, неизбежные при хранении. И всё равно не хватает, в феврале или марте снова спешит на Казариху, дырявит лёд промёрзших ям. Но до этого ещё далеко, а пока шуга дёрнулась раз-другой... и встала, заложив Лену на все засовы. Пузырёк скорей на лёд! Из-за спины, словно огромные стрелы из колчана, торчат вырубленные в калтусе вешки с привязанными крючками. Назавтра с утра на реке. Первую неделю после ледостава налимы не просто ловаются, а “идут”. Пузырёк, проверив крючки и переменяв одежду — шубенки на варежки, ушанку на “пидорку”, драные бахилы на парадные суконные боты системы “прощай, молодость!” — ходит с авоськой и продаёт. Из уцелевших учреждений самый верный прибыльок дают клуб и сельсовет, да Пузырёк ещё и скостит десятку в сравнении с городским рынком. Сто тридцать за кило! Домой только через магазин... Шпана, бывает, скучкуется к ночи, пройдёт с саночками сверху вниз, и не столько ограбит, сколько разроет и заморозит лунки, которые следует засыпать снегом. Пузырёк на другой день патрулирует по посёлку, гоняется за воришками:

— Да я же вас вычислил по следам!

Зимой Пузырёк не только рыбачит. Иногда прокладывает за ЛЭП лыжню и настораживает капканы на соболя — штук пять-шесть. Ставит под деревом на толстую жердь, вырубив на её конце площадку под капкан, который привязывает к наклонённому перевесу — гибкой деревинке, укреплённой выше жерди на стволе дерева таким образом, что при метании попавшегося зверька капкан соскальзывает со стопора и деревинка, перевесившись тяжёлым комлем, другим концом, а именно лёгкой вершиной, вздёргивает добычу, делая её недоступной для мышей и лис. В качестве приманки Пузырёк, не мудрствуя лукаво, гвоздём на сто пятьдесят прибавляет к жерди обрывок дохлой курицы. И, судя по всему, ничего не ловит, но виду не подаёт. Так, возвращаясь из леса — румянец и снег, гремучая судорога лыж да скрип кожаных ремней, в которых резиновая галоша бахил точится, как жучок под корою валёжины, а Пузырёк, если он в это время на реке, обязательно подождёт, детально осмотрит с ног до головы, главным образом сосредоточась на брезентовом рюкзаке с заскорузлыми от смёрзшегося пота лямками и объём которого может послужить Пузырьку при распознавании им типа и размера добычи, и только затем спросит:

— Ну, откуда идёшь?! Чё несёшь?!

И подробно: сколько капканов, сколько соболей уже взял, где лазишь, в каком распадке зимовьюшка, есть ли на участке диетическое мясо в виде изюбрей и сохачей и, вообще, резонно ли ему, Пузырьку, прогуляться по твоей лыжне...

Всякий раз, когда увидишь Пузырька, который опёрся на черенок пещни и курит, скашливая на снег, всё закипит в тебе, и уже обложишь себя за то, что не перешёл Лену в другом месте, а Пузырька — за то, что стоит, сломав лыжню, и упорно дожидается вестей. Налима заблаговременно снял с крючка и спрятал, рюкзак раскорячил на снегу как-нибудь так, чтобы нигде не выпирало и выглядел совершенно пустым, все улики уничтожил — кровь возле лунки запорошил снегом, а руки и лезвие складного ножа вытер о ружник. И вот это, что подготовился, а тебе уже свернуть нельзя, изолпит

в край! И уже зарядишь тяжёлый крупный мат, чтобы с честью ответить любопытному Суслику, пересыплешь просветы между словами неким общим смыслом, дабы сидело ту же и выстрелило кучнее, и даже пожалеешь Черномырдина: сейчас его убьёт наповал, а он и не знает! Но лишь только Пузырёк заговорит — и всё в тебе словно ветром задует, хотя ничего особенного в речи Пузырька нет, а, однако же, остановишься и легко отвечаешь на самые склизкие вопросы и даже, удивляясь себе, сообщаешь что-то сверх сказанного, то, о чём тебя никто не спрашивал.

Пузырёк, видя такое расположение, тоже откроется всей душой и не моргнув глазом соврёт:

— Я-то тоже задавил в ельнике трёх! Сра-а-азу!

Намекает, что в трёх из шести поставленных с грехом пополам капканов при первом же обходе оказались соболя.

Или начнёт вспоминать, как белочил вот по этой сопочке. Ну, шёл так один раз, добыл два десятка белок и соболя, каких теперь нету, а под вечер собаки облаяли в распадке быка, да здоровенного, метра два-три в холке! Понужнул его, понятно, в глаз, а из-под хвоста вышло, тут же освежевал; шею, грудинку и сердце с почками-печенью поднял на жердяной чумок, сотворённый на скорую руку между деревьями, на некоторой высоте, а голову и разрубленную тушу накрыл шкурой. Назавтра вернулся с саночками — ни кровинки, ни шерстинки...

— Сука у меня текла, а за ней по следу шли от посёлка девять кобелей! Ка-ак я не знал?! Только потом вычислил... — Пузырёк отсекает рукой: — Всё-ё подобр-р-рали! Даже снег до земли слиза-а-али! Спасибо, чумок выручил...

Вежливо — чтоб не оскорбить взаимной симпатии — просветишь потёмки Пузырьковой души наводящими вопросами, ещё раз убедисься, что врёт, и сам сменишь пластинку. Посетуешь, например, что нынче капканы-то запретили, аж из самой столицы бумага пришла — так это он пропустит мимо ушей! Или посмотришь на лыжи Пузырька — две небрежно обструганные доски с едва задранными носками. И Пузырёк, перехватив твой взгляд, тоже вперится в лыжи, но уже в твои, дикие и лохматые:

— Из чего сделал?

— Из ёлки.

— Кла-а-асные!

Не нужно принимать за похвалу. Такого же мнения Пузырёк и о своих скороходах, и когда ему напомним, что раньше он прятал лыжи возле дороги, там, где своротка к реке и первой уде, а нынче уносит домой, перекинув через плечо, Пузырёк позволит себе необходимое уточнение:

— Дак это старые были, чуть ли не мои погодки! Ещё батя ходил! А эти-то?! — И тогда догадывайся, что, зарой Пузырёк новые лыжи в снег — всю округу вдоль и поперёк проскребнут граблями, хотя, сказать по чести, воткни на лобном месте — никто не тронет, разве что какой-нибудь полоротый, проезжая на “Белорусе”, зачекерует и утащит на дрова...

Но лес лесом, а Пузырёк, прежде всего, жив рекой.

Во всём, что касается рыбалки, в особенности подлёдного лова налимов, он придерживается неписаных правил, вместе с Леной перенятых им от стариков, хотя теперь и эти правила, и эти старики мало кому памятливы. Пузырёк не преминет, скажем, заткнуть тебя за пояс, если наживишь свою уду слишком близко к его крайней пограничной, но сделает это не обидно, а на том же дыхании, с каким минутой ранее снял верхонки и развернул на морозе карамельку:

— Чё-то границу не соблюдаешь! Соблюдай-ка!

Или повадится ловиться мелюзга, жалко на такую изводить живцов, все ходят от уды к уде, как трезвые на пиру, никак в толк не возьмут, в чём причина, и только Пузырёк знает секрет:

— Такая ерунда раз в семь или шесть лет случается! Я уж давно заметил. Она, мелочовка-то, или спускается сверху, или, наоборот, подымается, большие налимы ни хрена не успевают! Большой только-только подойдёт,

а этот п..дёнш уже на крючке! И так всю зиму! А долбить-то всё равно надо, чё поделашь...

Пузырёк, атакующий Лену со дня образования заберегов и убирающий крючки незадолго до ледохода — все давным-давно закрутились, и вдоль берега синеют отволглшие старые лунки с чернеющими штрихами вешек попереёк, — только в середине зимы устраивает передышку, исчезая с реки под вечер 31 декабря и образуясь на ней снова и так же порывисто, как и пропал, уже после Рождественских колядок, когда всё пропито и проедено, а по словам самого Пузырька, вдобавок и “про.бёно”. Но это уже не тот Пузырёк, что был до Нового года, а результат его кустарной реинкарнации с помощью кочерги, которой хозяйка Пузырька выскребла мужа из-под стола, отряхнула, раз и другой стукнув о дверной косяк, напялила на голову ушанку, посадила на голицы — и пяткой под зад, чтобы при участии силы, ею произведённой, катился прямо и беспечально до самой матушки Лены. И вот уже, не прошло и полгода, Пузырёк опять на реке! Бродит от лунки к лунке, худой и облезлый, как покинувший берлогу медведь. Если, конечно, можно вообразить медведя с пешней и лопатой, с рюкзаком за спиной, с окурком в зубах и в просторной, чем-то заляпанной в связи с последними событиями, аляске со светящейся в темноте наклейкой “ВЧНГ”, что есть “Верхнечонское нефтегазоруждение”. Сию справу Пузырёк приобрёл у вахтовых мужиков, когда шуровал им налимов.

За полмесяца, что медведь находился в рабочем отпуске, лунки промёрзли насквозь, и пешни уже не хватает. Пузырёк, постлав запасные шубенки, становится на колени и долбит из-за плеча. Голова его мотается от ударов, а со стороны кажется, что Пузырёк неистово молится. Пока выстеклит одну лунку, не раз размажет по лицу горсть шершавого снега. Но уж когда пешня прорвётся в пустоту, потянув всего, а в лунку брызнет вода и вешка отколетс с ледяной перемычкой, то Пузырёк, обливаясь потом, с похмельным причетом: “Ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох!” — отчерпает из проруби последнюю, уже сырую крошку и, завершая первый круг своего адового возвращения, медленно возденет уду на всю длину руки и осторожно, стараясь не развалить, вынет на лёд мёртвого, размытого, как банное мыло, налива с белым брюхом: налима, вопреки известному мнению о рыбе, начинает гнить не с головы, а с живота, тутого от икры и печени. Вызволять из протухших рыб крючки Пузырёк считает за удовольствие ниже среднего и, прежде чем брезгливо отшвырнуть налима лопатой, с затаённым дыханием отрезает поводок, каждую секунду боясь облеваться. Крючок за зиму перегнивает в двух местах: на сгибе, где закреплён голян, и в ушке, к которому привязана нитка, и для повторного пользования всё равно не годится. И хотя ни крючок, ни тем более дохлый налим ни к чему, замороженную снасть Пузырёк ни за что не бросит, будет клевать до победного, пока не восстановит все свои уды, словно колья, которыми сам себя подпирает. Вешек же у Пузырька — только у Таюрского-капитана больше. Попробуй-ка!

...И вот однажды иду в такую пору, высмотрев сеть, а Пузырёк сидит на моей лыжне, сдвинув шапку на затылок, и по своему обыкновению курит, только уже не сигареты, которым вышел расход, а сконструированную из окурков газетную самокрутку. Утирает шубенкой обветренное, ещё больше зачерневшее лицо. Глаза голубы. Но голубизна эта такая — не сплошь, а мазками, вроде сливок с раздавленной голубикой. Аляска на груди распахнута, как на мороз форточка. Дышит — весь...

То да сё.

Говорит, несмотря на похмелье и усталость, необычно живо и много. Лакает за выдохнутыми словами воздух. До самых пальцев сосёт самокрутку, подмазывая рассыхающиеся края языком. Не дослушав твоё, тут же — попереёк! Какое-то весеннее пробуждение, ярчайшая жажда высказаться. Как будто сто лет прожил на арктическом берегу, одинокий и ненужный. Или блудил в пургу по тайге, ломая за собой веточки, а там, глядь, чья-то лыжня, собачий лай и дымный вихрь за деревьями. Откровение души — вроде первой речной полыньи на выходе из долгой и муторной зимы: сверху ноч-

ной ледок, а под ним — а ну-ка! Нырнёшь с макушкой, да ещё и дна не проскребёшь. Одна ушанка чернеет поверху, как утонувшая мышь...

— В сеть-то чё попадат, нет?! — раскуривая новую самокрутку, заливи-стым криком допытывается Пузырёк, и весь он сейчас в этом неумении отладить звук, какое бывает, когда ломается голос, и вдруг то пискнешь, то забасишь. — Чё-ё-ё молчишь?!

Сети ставят по первому льду, пока он тонкий. Продолбив майну — основную и большую прорубь, через которую потом выматывают сеть, — дальше с заданным отступом ноздрят лунки поменьше, так что последняя будет там, куда придётся конец сети. Затем в майну просовывают длинную гибкую жердинку с привязанной верёвкой, равной длине сети плюс необходимый запас, и, будто стёжки ведут, время от времени прихватывая пальцами, проталкивают эту деревянную иголку от лунки к лунке, направляя из каждой специальной рогатиной, и когда достигают конечной проруби, поддевают жердинку за кончик и вынимают. Всё, верёвка пронизана от майны до противоположной проруби. Потом, потягивая за верёвку, стравливают сеть под лёд...

Работа нехитрая, руки помнят её с детства, так что закрой глаза перед сотней других работ — руки сами найдут нужную и возьмут. Но одному было хлопотно, к тому же и припозднился, вышел на промёрзший лёд. Да ещё, как назло, скрала напасть: то лёд двойной, то блуждающие обломки торосов, а то в спешке не размотаешь и упустишь вместе с мотовильцем уже проташенную верёвочку. В довершение ко всему, вероятно, чтоб уж совсем доконать, хрястнул черенок пшени! Тут ещё Пузырёк, действуя согласно выработанному плану, то и дело поднимался из-за горки откиданного из проруби льда, словно из-за нарытой рядом с норкой земли, и застывал любопытным сусликом, с беспокойством контролируя мои перемещения и душевно желая, чтоб наступила какая-нибудь такая погода, когда бы ветром или чем-то ещё подуло и принесло с другого берега Лены самую суть совершающихся там событий, о чём спросить открыто, крикнув, например: “Ты чё там опять выдумывашь?!” — он не решался ввиду чрезмерности расстояния, а я всё время молчал, стиснув зубы, или говорил себе под нос такие вещи, зная которые обидчивому Пузырьку было ни к чему, ибо смысл их прямо адресовал все мои страдания энергетическому и, разумеется, разрушительному влиянию соседа.

Ну, с грехом пополам управился, однако с того дня на всякий случай решил обходить Пузырька за километр. Пузырёк, напротив, искал встречи, но найти не мог.

Волнение его было понятно: высматриваемая сеть в Сибири если не верная и не мгновенная удача, то её бодрящее и не объяснимое никакими словами предчувствие, которое перемалывает всё: и пот, и мороз, и незадачи, и само долгое и часто напрасное ожидание. Однако удача удачей, а пойманная рыба для северной деревни значит всё ещё много. Поэтому иные, такие, как Пузырёк, наводят мрак на свои рыбацкие секреты, а чужие, напротив, норовят выведать и взять в оборот. Но как не из жадности, а единственно из-за языческой боязни сглаза сторожат своё ремесло, буквально, например, при встрече на реке зажимая в кулаке самодельную мушку, от которой теперь чумеет ленок, так и выслеживают других вовсе не за тем, чтобы спугнуть фарт, а опять же с одной лишь надеждой — пополнить собственный ларец ещё одним бесценным знанием, отложив его в голове поверх других, как в несколько слоёв солят рыбу...

И вот Пузырёк дождался! И я, хотя втайне и костерил его, откровенно пожаловался, что несколько раз сети приходили пустыми, а нынче поймалась мелочёвка, из которой рыба только двухсотграммовый хариус.

Спрашивает, крупную ставлю или мелкую. Советует крупную.

— Я один год вот здесь, напротив Николай Львовича, ставил, как и ты, ельдовку, — и тоже ничего! Ну, воткнул деревянную, из толстых ниток — на 60 или 70, я уж забыл! — сра-а-зу смогали кубарем! Выпутал: два тайменя. Они же парами ходят...

Вдруг даже не советует, а со страстью убеждает:

— Поставь-поставь, дело тебе говорю!

И, глядя прямо в глаза, дразняще смеётся, только отомкнутый рот и видеть, а в нём — белый с похмелья шмат языка:

— Я-то, как ты, не выёживался, прорубь продолбил — и всё!

— Как это?! — всё поднимается торчком, и главным образом — прозвища Пузырька.

— А вот так! Кинул бутылку — и готово!

Вымотать душу из северянина всё равно, что из проруби сеть: то же нарастание кровообращения в жилах по мере приближения последних метров, которые тяжелы и парусят ещё незримой рыбиной. Но когда вымотаешь — что же? Окажется, что этот некорыстный русский мужичок, мимо которого пройдёшь и не заметишь, ведёт вот какую политику: выдолбит майну на умеренном течении, таком, чтоб не “ложило” снасть, бросит в прорубь налитую водой пластиковую бутылку, привязанную к концу сети...

— Не забудь второй конец зарочить! — давится, не может ни проглотить, ни отхаркнуть, как будто навязло на языке. — А то у меня так одну сеть утаргало!

Неуверенно возражаю, привожу доказательства от противного.

— Как ракета полетит! — отметаёт Пузырёк.

И, внезапно осекшись, переводит взгляд на едва початый ряд нераздолбленных лунок. Глаза, между тем, всё ещё сверкают, но уже так, как бывает на кончиках маргзовских сосуллек, когда весь день текло, а под вечер, вместе с приморозом, замолкло, однако отвори форточку и увидь, что прямо над тобой дрожат живые капли.

— Видишь, какая у тебя удача?! — качает головой, словно хочет стряхнуть эти капли на снег, уверить всех и самому увериться, что и не было никаких капель, а так, нахлестало ветром. — Наверное, и спать не будешь!

— Уд-то у тебя ещё много? — спрашиваю немного погодя, утишая в себе подлую радость от этой “удачи”, избавляющей впредь от многих мучений и бесцельной траты времени, но и чувствуя всю лживость своего якобы “сострадания” к чужой судьбе.

— Ой, и не говори! — вздыхает почти мученически. — Да я выдолблю все, мне один хрен делать нечего... — И, поковыряв носками бахил, сует ноги в стоптанные строяные ремни, подхватывает пенишу и лопату и идёт, отступаясь на своих косопалых лыжах и тихо матерясь...

И ты, словно расщеплённый молнией на две половины: ту, которой наплевать, и эту, которой отныне и до конца больно за всё, что творится под этим небом, — внезапно очухиваешься этой первой половиной и, срачивая её со второй, даже не вспоминаешь, потому что никогда не помнил этого, а как будто выносишь из яркого огня, образовавшегося за чудесным разрядом, что это никакой не Пузырёк был перед тобой, не Суслик и тем более не Черномырдин, а дядя Витя, бывший совхозный механизатор и даже твой однофамилец, которому ты запросто тыкаешь. Нынче ему на пенсию — и слава Богу, потому что последние пятнадцать-двадцать лет сводит концы с концами, ходит в старом и заплатавшем, частенько отвязывается и, окликная в дороге, униженно клянчит: “Займи на пузырёк!” — а когда отказывают или даже прогоняют, отстаёт и плетётся позади с таким видом, как будто не дали со стола красное яблочко. Случается, конечно, что занимаешь, но не совсем, как оказалось, от чистого сердца, потому что много в твоём мнимом добре разных примесей, нужных, в первую очередь, тебе; да и даёшь ты, надумав всякий раз что-то сверх самого займа, возводя на этом некую народолобную философию, благоприятствующую опять же только тебе, между тем как самому народу от неё ни холодно, ни жарко; да и, сказать по совести, не сделал ты ничего для этого народа, помимо того что скрепя сердце потрясе копилку и выручил одного-единственного страждущего, и когда круг замкнулся, он, этот страждущий, разломил надвое своё, драгоценное и последнее: бери, пользуйся на здоровье! — и ничего не попросил взамен, не взял при этом сам от тебя, не спросясь, не нагрузил свой поступок каким-то

выгодным только ему образом мыслей и поведения, равно как вообще ничего не сотворил кроме, а явил, так сказать, единственное в своём роде и цельное, как монолит, своё отношение к другому человеку, которого прижала нужда, а у него, братцы, “чисто случайно” отыскалось, чем помочь.

И ты стоишь, как будто из зимнего ручья попил, и с захлёбывающимся, перебивающим самого себя восторгом постигаешь, что нет и не будет завершения этому народу, который поёт и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опануть такой искренней нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в русском человеке и какая милосердно дарует тебе веру в его нравственное бессмертие, несмотря на всё, что ждёт его впереди.

И когда ты обо всём этом подумал, когда новое знание о жизни и человеке ухнуло в тебя потрясающим космосом, за которым не видно края и даже неба от слёз не видно, ты вдруг, ещё сам не зная за что точно, ощутил горький стыд перед этим простым человеком, как бывает совестно за хлеб с маслом, если заходят с улицы, а в животе от голода бурчит. Может быть, завтра дядя Витя раскается в излишнем откровении и опять надолго засунет душу в верхонку, но этот миг расположения человека к жизни и людям был, а значит, была и есть душа в человеке.

ЕЛИЗАВЕТА МАРТЫНОВА



КОСТРЫ —  
ДОН КИХОТЫ ОСЕНИ

\* \* \*

Кому любовь свою ни говори,  
Слова опять истают до зари  
И снег смотает голубую пряжу,  
И стаи птиц разрежут небеса,  
Послышатся слепые голоса  
Из прошлого, с которым я не слажу.

До крови ранит, но не рвётся нить,  
И я не прекращаю вас любить,  
Ушедших ни на миг не отставляю.  
И снится мне окраина небес  
И светлый сад, и тёмно-синий лес,  
И дом, в котором ждут и умирают, —

И снова ждут. И жизнь течёт сама,  
И нету в ней ни горя, ни ума,  
Легка-легка, как будто птичья стая.  
А я во сне летаю тяжело  
И разбиваю тёмное стекло  
Меж адом жизни и небесным раем.

---

*МАРТЫНОВА* *Елизавета Сергеевна* родилась в Саратове в 1978 году. Окончила Саратовский госуниверситет. Кандидат филологических наук. Главный редактор журнала "Волга. XXI век". Автор книг "Письмо другу" (2001), "На окраине века" (2006). Лауреат премии Ю. П. Кузнецова (2008). Слушательница семинара А. Казинцева и С. Куняева на Форуме молодых писателей в Липках. Живет в Саратове.

Там живы все. И мама, и друзья,  
И бабушка, и те, кого нельзя  
Увидеть, но забыть их невозможно.  
Сиянье душ и отблески планет,  
Их навсегда неутолимый свет —  
И снег, летящий в мир неосторожно.

Я там жила, в завьюженной степи,  
В ночном доме, где темнота слепит  
И где лучина освещает песню.  
А выплачется песенка когда,  
Тогда метель и горе — не беда,  
В прошедшем сгину, в будущем воскресну.

\* \* \*

Опять листвы просвеченная медь,  
Сквозняк берёзы бело-синеватой.  
И снова можно плакать и неметь  
Пред красотой такой же, как когда-то  
Давно, за много лет до наших дней —  
Чем раньше, тем прозрачней и ясней.  
Здесь жили деды. Мельница кружилась.  
Казалось, что сам воздух был крылат.  
А если что, как песня, не сложилось —  
В муку перемололось наугад.  
А если что, как листья, облетело —  
Так это моей бабке на венок.  
Чернеют птицы в небе чистом, белом.  
И мы живём. И Бог не одинок.

\* \* \*

Косматые ветры играют огнями окраин,  
Но ветры и сами — игра им неведомых сил.  
И ночь распрямляется, всей чернотой догорая,  
И падает в небо размахом обугленных крыл.

Светлеют листва и домов невысокие стены,  
И чуть приглушённой — блеск уличного фонаря.  
Как жили мы долго и как расставались мгновенно —  
Об этом окраина помнит и знает заря.

И пение птиц, и сияние облачной пены,  
И воздуха тонкого сумрачно-грустная медь —  
Всё это о нас говорит, и всё это нетленно,  
Круженье, движение жизни сильнее, чем смерть.

\* \* \*

Прозрачная тень стрекозы  
Мелькает на пыльной дороге,  
Как будто остаток тревоги,  
Как будто мерцанье слезы.

А вот и сама она здесь,  
Как синий худой вертолётник,



Как чудо — почти что без плоти,  
Из солнца и воздуха смесь.

Летит в полушаге от нас,  
Дразня, обгоняя, взмывая  
Над зеленью поля без края,  
Пока горизонт не погас.

Попробуй её догони!  
Но мы не пытаемся даже,  
Мы свету и тени не стражи  
В прозрачные летние дни.

\* \* \*

Костры — Дон Кихоты осени,  
Оранжевы и остры,  
Себя в синий воздух бросили  
До сумеречной поры.

Качаются — не кончаются  
Их пламенные бои,  
Как будто звезда-печальница  
Роняет искры свои.

И на костров неистовство  
Смотрит речная мгла,  
Пристально смотрят пристани  
И тихих вод зеркала.

Вода утекает медленно,  
Огонь погасает враз.  
Ночные костры последние  
Не помнят меня сейчас.

Их время уже закончилось,  
Их пепел совсем седой.  
...Я стану костром пророческим  
И никогда — водой.

ПЛАТОН БЕСЕДИН



ВОСКРЕШЕНИЕ МУМИЙ

ПОВЕСТЬ

I

Подсвеченный крест мелькнул в темноте, и я проснулся. Уличные фонари на бетонных мачтах то ли не работали, то ли администрация вновь сэкономила электричество. И оттого в общем мраке крест, установленный на возвышении, в свете лампы казался ирреальным, словно впаянным в мир. Православный крест, высеченный из белого инкерманского камня.

— Подъезжаем, — говорит водитель, добавляя громкость, и голос Стаса Михайлова заполняет салон авто настолько, что становится душно.

Удивляюсь, как я смог заснуть в этой “песне года”. Подобное мне удавалось лишь в детстве, когда родители, бабушки и дедушки отмечали Новый год, смотрели “Старые песни о главном”, а я, накрывшись подушкой, отключался до первого января, чтобы утром, встав раньше других, доедать салаты, утку с яблоками и блинчики с рыбой.

— Хорошо, — отвечаю водителю, но продолжать разговор не хочу.

Пялюсь в окно, глядяваясь в севастопольскую ночь. Она расступается, и я вижу инкерманскую бухту, ржавые корабли на причале. Хотя то, что они ржавые, я, скорее, знаю, нежели вижу. Выделяется широченная баржа, загруженная металлоломом. И каждый раз, проезжая мимо, я гадаю: это один и тот же металлолом, или его всё же меняют, вывозят, наваливают другой.

---

*БЕСЕДИН Платон Сергеевич родился в 1985 году в Севастополе. Окончил Севастопольский технический университет. Работал фотографом, сомелье, охранником, инженером, маркетологом, копирайтером. В 2012 году вышел дебютный роман “Книга Греха”. Автор книг “Учитель. Роман перемен”, “Дневник Русского Украинца” и др. Живёт в Севастополе.*

С левой стороны от дороги виднеются инкерманские штольни, где прятались от римлян первые христиане, спасались от фашистов местные жители, а в новое время обитают бомжи, шарятся диггеры. Большая часть входов заварена решётками, но попасть внутрь при желании можно. Желают. И попадают. Чтобы там затеряться.

Здесь, в инкерманских каменоломнях, жил и славил Бога папа Климент, один из семидесяти апостолов. Он был сослан сюда римскими властями и, найдя осуждённых христиан, работал вместе с ними. Климент оказался столь терпелив и свят, что к нему пришли язычники. Он крестил их, и вскоре языческие капища были разрушены, а христиане попросили новых церквей, и Рим возлюбил, что не убил папу, а только выслал.

Исправляя ошибки, император Траян отправил в Инкерман посланника. Тот умертвил папу Климента, привязал к якорю и хотел утопить без следа, но море отступило, и последователи святого нашли тело учителя. Ещё семь веков царство Посейдона проделывало подобный фокус, чтобы верующие могли поклониться мощам, а затем они были перенесены в Херсонесский храм.

Мне всегда нравилась эта история. Она была одним из доказательств величия родного города. Но мне не нравилось, что доказательства эти почти всегда приходилось искать в прошлом, а настоящее изнашивалось, осыпалось, превращалось в труху, и на крики: “Ау, реставраторы, где вы?” — мало кто отзывался.

Когда родственники, друзья, знакомые приезжали в Севастополь, я обязательно вёз их в Инкерман. Мы поднимались на Монастырскую скалу, шли к Свято-Климентовскому монастырю. В его пещерах одни, с их же слов, напивались благодатью, а другие — сыростью, идущей от каменных стен, откуда взирали лики Христа, Богородицы, апостолов и святых.

Больше всего я любил бывать в монастыре летом; пусть крымская духота забирала витальные соки, но у входа в часовню росли абрикосовые деревья с ароматными нежно-янтарными плодами на узловатых маслянисто-шоколадных ветках. Можно было наесться или нарвать абрикосов домой, чтобы сушить их на чердаке, на пахнущих смолой досках.

— Мне здесь!

Взрагиваю, вспоминая, что в красной “Шкоде-фабиа” с георгиевской ленточкой на багажнике есть не только я и водитель, но и другой пассажир. Тот, благодаря кому, собственно, я и выбрался из Ялты. Он сидит на переднем сиденье в позе сфинкса. Безмолвен, суров.

“Шкода” резко, на износ тормозит. Подаюсь телом вперёд, охаю. Человек-сфинкс бездвижен.

— До вокзала же уговор был! — водитель приглушает Стаса Михайлова, чередующего все производные и падежи местоимения “ты”.

— Передумал.

— Деньги те же! — торопится предупредить водитель.

Сфинкс кивает. Лезет в карман бледной рукой-лопатой, расплачивается. Быстро выходит.

— Спасибо! — только и успеваю крикнуть ему напоследок. Он поднимает руку ладонью вперёд — принято.

Без него я и, правда, мог бы не добраться домой, в Севастополь, из Ялты. Последний рейсовый автобус ушёл, а частники отказывались везти за имеющиеся у меня деньги. Я мыкался по автовокзалу, пахнущему выхлопными газами, елями и прогорклым маслом, разыскивая попутчика, но людей было пустотно мало, а те, что встречались, либо бомжевали, либо ехали куда угодно, но только не в Севастополь. Я злился, отбивался от дёрганой мысли “опоздал, опоздал!”, ругался на собственную нерасторопность, болтливость и поездку в Мисхор, к знакомому писателю.

В тот день меня пригласили на радиоэфир в Симферополь. Я согласился. Надо было только лечь раньше, до полуночи. Чтобы выспаться.

Я давал себе похожие обещания вот уже несколько месяцев, но все они, как удары российских футболистов, шли в “молоко”, проваливаясь на белёсое дно неподъёмными грузами. В этот раз получилось так же.

Редактор затребовал текст, а я никогда не отказывал редакторам, потому что в соседней комнате, делая первые шаги, голосила дочь, и, дождавшись, когда все улягутся спать, — иначе кутерьма, шум, рассосредоточение, — сел за письменный стол, заставленный глиняными и пластиковыми горшками с кактусами и фиалками, чтобы написать статью о Дино Буццати.

В рейсовый автобус на Симферополь утром я всё же успел, восстановленный контрастным душем и двумя чашками кофе, но, смущая пассажиров, больше напоминал не их тридцатилетнего соплеменника, а “машиниста” в исполнении Кристиана Бейла.

На извилистой дороге от улицы Ревякина к Ялтинскому кольцу — здесь снимали “Мерседес” уходит от погони” и “Девятую роту”, а ещё есть музей физика-лирика Геннадия Черкашина — я успел, было, поздороваться с благодатным сном, но на соседнем сиденье девушка с выстриженными висками заёрзала столь активно, что Морфей, осторожно сунувшись пару раз, в итоге решил убраться. И, доехав до симферопольского вокзала, я вывалился из душного чрева автобуса измотанно-вялый.

Но эфир взбудрил, растормошил. Пыжась сохранить подаренное им активное состояние, я добрался в Ялту, где пересел на маршрутку, следующую в Мисхор. Она, травящая солярой, отправлялась скоро, без ожидания. Водитель — икона стиля из девяностых: барсетка, спортивный костюм, мокасины — собрал деньги, поправил российский флажок на “торпедо”, где чёрно-белое фото Моника Белуччи напозло на потрёпанную иконку Девы Марии, и рывками вывел кубик “Газели” на трассу.

Сосед, надувшись пива в кафе “На дорожку”, выставив пузо, обтянутое серой футболкой с надписью “Всё путём” (фото Владимира Владимировича прилагалось), отрубился сразу. Я же рассматривал холмы, поросшие соснами, туями, елями, кипарисами — голосеменными, размножающимися, как мне помнилось из школьного курса биологии, нуцеллусом. От чего-то такие бесполозные, лишние знания вносили в мою жизнь структуру, смысл, и я ценил, оберегал их.

Но скоро перешёл от голосеменных к гологрудым. Две девочки, не любящие бюстгалтеры и любящие свободу, страстно обсуждали личные фото, загруженные с планшета.

Я наблюдал за ними и вспоминал градацию, которой мы пользовались в школе: девочка — девушка — женщина. Кем были создания передо мной? В кожаных курточках, белых маечках, драных джинсиках, интимно-розовых кедах. Широкие брови, выразительные глаза, коммунистически-красные губы. Созданиям было не больше пятнадцати, они учились в школе; первое я понял по их торчащим грудкам, второе — по манере вести себя. Но они давно уже лишились той преграды, что разделяет девичество и взрослую жизнь. Это чувствовалось на уровне флюидов. Да и смотрели они игриво, оценивали матёро, составляя бизнес-планы и упражняясь в жеманстве.

Эти девочки не зашорены, в дневниках у них нет “двоек” и “троек”. Хотя есть вечеринки в стиле Collegefuckfest и достаточно “кислоты” в ночных клубах. Родители для них — деловые партнёры, когда есть настроение — друзья и приятели, а когда что-то нужно — мамочка, папочка.

- “Парус”!
- “Украина”!
- “Калина”!
- “Ялта”!

Выкрикивал названия санаториев и пансионатов водитель. Железобетонные параллелепипеды отличались лишь украшениями на фасаде. Через пятьдесят, сто, двести метров они выныривали из зелени, пыльной, густой, ещё способной маскировать груды мусора.

Останавливаясь, “Газель” то покашливала трубой, то постанывала тормозами, держа интригу, кто спрятался в её дизельном двигателе: девица, приотившая палочку Коха, или карга, измученная ревматизмом. Блуждания по извилистому, узкому серпантину, частые, резкие остановки, выжатые духотой и отдыхом люди и более всего — резкий запах соляры в салоне —

всё это отнимало силы, и я проклял тот день, когда сел в салон этого пылесоса. От того, наверное, и клепал наговоры на девочек.

— Простите, а до Мисхора ещё долго? — спросил я их, чтобы не бужить, не яриться.

— Вообще нет, — улыбнулась та девочка, у которой брови казались шире, — но он что-то та-а-ак долго едет...

— Это да.

— А так минут десять, не больше, — улыбнулась вторая.

Улыбки их были не холодно-вежливыми, как у девиц, которые хотят казаться воспитанными, но человеколюбия не хватает, а вполне искренними.

— Что, кстати, интересного в Мисхоре? — с девочками хотелось беседовать.

Та, что с бровями поуже, принялась рассказывать мне о пихте, посаженной великим советским писателем в парке Мисхора, а та, что с бровями пошире, Римма, заявила, что творчество этого писателя не любит и вообще предпочитает современную прозу.

— Кого же? — не удержался я от вопроса, ожидая услышать набор мягкобложечных фамилий, но она назвала пять-шесть достойных, большая часть из которых мне и самому нравилась.

Я хотел сказать, что как раз сейчас еду к одному из любимых ею писателей, но увидел в этом мальчишескую браваду, хвастовство и смолчал, терзаемый крымским соляным шляхом. Момент выпорхнул — желание осталось. Но водитель крикнул “Мисхор”, и “Газель” закашлялась остановкой.

Выходя из салона, я не понимал, от чего люди выталкивают свои взорванные, распаренные тела столь медленно, неуклюже. Сам я мучительно рвался на свободу и, оказавшись на улице, напротив сине-белой вывески “Автостанция”, задышал, как спасённый утопленник.

Писатель долго объяснял мне, как пройти к даче “Мисхор” — “есть санаторий, а это дача, именно дача, местные знают”, — но я всё равно заблудился, оказавшись у голубого цвета пансионата в восточном стиле “Дюльбер”. Компас треснул, стрелка задёргалась — направление сбилось, хотя дорога была всего одна: она петляла между ржавыми металлическими пластинами и ступенчатыми зарослями, щетинившимися пыльно-зелёной хвоей. А местные, которые, если верить писателю, должны были знать, на самом деле ничего, совсем ничего не знали.

И я, словно кутёнок, льнул к редким прохожим с надоедливыми вопросами, чтобы в итоге, расписовавшись, поругавшись с писателем, — “Как можно так объяснять?” — усесться на забрызганный томатным соком бордюр, предварительно купив себе в магазине “Наталка” баклажку “Львовского”. От пива по нервам, по мышцам растеклась дурная нега, и дежурным вопросом я уже несколько лениво окликнул тучную женщину в забавных оранжевых кроссовках, больше подходящих девочке восьми-девяти лет.

— А, так это в другую сторону! — засмеялась она и детально принялась объяснять путь. — Ориентир — два моста, поняли?

— Ага, два моста, понял.

— Один мост, потом второй и дача. Поняли?

— Ага.

И, глупый, я пошёл в другом направлении. Здесь от центральной мисхорской дороги ответвлялись узенькие, как тропки партизан, дорожки: они ползли вверх бетонными червяками или крошащимися лесенками уходили вниз, легко продираясь сквозь худосочные кипарисы.

Писатель встречал у заявленного ориентира — разлапистой голубой ели с поролоновыми сердцами на ней. Мы поздоровались, обнявшись, и он, кивнув охраннику в жёлто-зелёном камуфляже, провёл меня внутрь.

— Серьёзно здесь, — заполняя паузу, сказал я.

— Так правительственная дача. Раньше здесь украинские политики куролесили, а теперь вот российские. Ну, и я. Меня, кстати, — ухмыльнулся писатель, и лицо его не по годам молодое, гладкое, тут же покрылось сеткой морщин, — в номер Олега Ляшко поселили, так я батюшку звал — освятить...

Писатель вёл меня дальше, ближе к морю. И на замке металлической двери набирал код, чтобы сказать:

— Думаю, сядем на мисхорской набережной, в рестораничке. Кофе, чая попьём. Как смотришь?

— Можно, — согласился я, хотя “Львовское” требовало повышения алкобольных промилле в крови.

Мы прогулялись по набережной, где раньше, до “русской весны”, в сентябре определённо было куда больше отдыхающих, а сейчас одиноко грустили торговцы сувенирами, печалились фотографы с обезьянками и павлинами, тосковали продавцы вяленой рыбы и эфирных масел — этот сезон, первый российский, был потерян для них. Они понимали это, терпели, напичканные обещаниями и надеждами, но я всё равно старался не встречаться с ними глазами: слишком отчаянно цеплялись дельцы набережной за любую возможность. Впрочем, в безвременье, спрятавшимся между украинской незалежностью и российской сомнительностью, были и свои плюсы: невнятный контроль, налоговые послабления, щадящее отношение полиции, составленной из местных и привезённых с Урала сотрудников.

Кафе и бары закрылись, стьлы пустотами. Мы с трудом отыскали работающий двухэтажный шалман с аляповатой вывеской “Русалка”, выполненной в стилистике советских киноафиш.

— Можно мы сядем на втором этаже? — спросил писатель у конопатого паренька в реглане “Крым наш, няш-мяш”. Прорезиненное изображение Натальи Поклонской на нём было стилизовано под аниме.

— Наверное, — улыбнулся паренёк, распечатывая пачку “LD”.

Официантки, кучковавшиеся за дальним столиком, долго смотрели на нас, не отводя пустого, коровьего взгляда, но не подходили, не принимали заказ. Поёжившись, писатель попросил меню. Отгорвавшись от стойки, к нам подошла официантка с крупным носом-сливой и доверчивыми, цвета аргентинского флага глазами.

Судя по меню, простенькая советская вывеска была обманом — цены оказались вполне европейскими. И заскребалась волнительная мыслишка: а хватит ли денег? Но писатель, натура чуткая, понимающая, предупредительно бросил:

— Я угощаю...

И заказал себе “просто салат: крупно порезанные помидоры, огурцы, ялтинский лук, разумеется” и “минеральную воду, лучше с газом”.

— Лучше с газом — это прям лозунг на референдум 16 марта, — вставил я, и писатель рассмеялся, осоловелое же лицо официантки не изменилось. — А мне травяной чай, — чтобы сильно не тратить чужие деньги, сделал минимальный заказ я.

Расслабился, глядя на купоросно-зелёное у отмели море, разреженное слоновыми тушами бетонных пирсов. Несколько пенсионеров долёживало на топчанах “бабье лето”, а мордатый, косматый дед, выйдя на берег, точно кашалота выбросило, суровился на торговку семечками.

— Местный Проханов, — кивнул на него писатель, и мы, улыбнувшись, невольно вгрызлись в политику, которую заранее договаривались не обсуждать в силу наших несущественных, но всё-таки разночтений.

Быстро заспорили, кипятком слов плеща, о киевской власти и о Донбасе, так фанатично, что я, наплевав на стеснение, заказал себе стопку водки. Писатель улыбнулся и взял ещё один “просто салат”. Я ощутил то, что принято называть неловкостью, она лопалась где-то внутри, словно пузырьки от шампанского, но заказ отменять было уже поздно. И, раскочегарившись, я опрокинул в себя пятьдесят грамм пахнувшей неопределённостью водки.

Когда мы стали раскладывать крымскую ситуацию, я, то ли от пребывания на месте, то ли от выпитого, как бы возвысился над писателем, застопорив его вколоченными аргументами-сваями, и он запросил передышку. Подозвал официантку — пришла не наша, сонная, а живая татарочка с бровками полумесяцем — и затребовал графин холодной водки.

Нам, по крымской традиции, принесли ближе к тёплой, и началась огнедышащая дискуссия, из которой я помню сперва быстро меняющиеся

графины и колкие писательские глаза, взгляд которых он, подаваясь вперёд, вонзал, точно рапиру, а после набережную, где мы орал российский и украинский гимны, смешивая слова, и писатель, обнажив по поясе щуплое тельце работника интеллектуального труда, собирался плыть к статуе русалки, выглядывающей из морской глади, но что-то — или кто-то — удерживало его. Оттого мы стояли, как две туи у входа в сельский ДК, и, устав от политики, просили прохожих рассудить спор — кажется так, — кто значимее для американской литературы: Йейтс или Сэлинджер. Я стоял за Ричарда, но случайные и неслучайные встречи если кого и знали, а чаще нет, то лишь Дэвида Джерома с его оскоминным произведением, сделанным, как и выпитая нами водка, с упоминанием ржи.

Выиграв спор, писатель — в статьях и эфирах такой суровый, рассудительный, велеречивый, а тут молодящийся, бесшабашный, с заниженной планкой социальной ответственности — предложил шлифануть сорокаградусную пивом.

Мы завалились в “Наталку”. Из дешёвенького, какие обычно ставят в сторожках, телевизора, подвешенного в верхнем углу, между консервацией и печеньем, вещала “Россия 24”. Звучало “Украина”, а следом шло нечто отборно-крамольное, паскудное, жуткое. Покачиваясь, мутно плясая в экран, писатель гаркнул, собирая трезвость в пучок:

— Хохляцкое пиво есть?

— Вам какой литраж нужен?

Писатель развёл руки — максимальный. Сутулая продавщица с серёжками-крестиками выставила ему, русскому патриоту, два литра “Львовского”. Он показал — ещё! Я вспомнил, как начинал этот хмельной день в Мисхоре с баклажки “Львовского”; уроборос оказался зелёным змием.

— Это, ну, полный... — разобранно тыча в экран, процедил писатель.

— Ага, — кивнул я, понимая природу его скоротечных симпатий к украинскому. — Корма надо.

— А? — икнул писатель.

— Сухого.

— Вина?

— Нет, — я замотал головой, ужасаясь, что явил ему свою гастрономическую слабость, — кошка.

— Вы определились? — нетерпеливо одёрнула продавщица.

— Корм, вон тот, — я (не отступать же!) показал на яркие пакетики, разложенные на зелёной пластиковой стойке “Kitekat”, — дайте.

— Вам со вкусом рыбы, индейки или говядины?

— Разных, — бросил я деньги на прилавок с красно-белой наклейкой, информирующей, что здесь не продают алкоголь несовершеннолетним. — И посчитайте.

Писатель засопровтивлялся, но я, настояв, расплатился. Мы вышли на улицу, оккупировав зияющую оторванными планками скамейку под низкорослыми акациями.

— На фига? — покосился на кошачий корм писатель.

— Вкусно, — хоть и пьяный, всё же смутился я.

— Шутить?

— Не, реальная тема к пиву, — и, распечатав, я протянул ему пакетик.

К кошачьему корму меня приучил друг Гера. У него в районе Фиолента, там, где памятник Пушкину, была дача. Недавно, когда у его матери диагностировали онкологию и понадобилось лечение в Израиле, её продали. А тогда школьниками мы устраивали в светлом пахнущем травмами домике затяжные алкогольные марафоны, этапы которых отсчитывались хождениями в туалет. Деньги наскребались с таким усердием, что жгучей болью зудели кончики пальцев. Экономя на закуске, мы съедали всю заготовленную Гериной, тогда ещё здоровой матерью консервацию, а однажды дошли до сухого кошачьего корма. Он хранился в большом цветастом пакете, и рыжий пушистый кот улыбался с него, как голливудские актрисы в роли дьявола.

— О, это няма! — заявил Гера.

У бурых хрустяшек в виде куриных ножек и рыбок был странный, солоновато-терпкий вкус, казалось, идеально подходивший под пиво. И с тех пор я пристрастился.

— Ну, как? — улыбнулся я, глядя, как писатель пробует кошачий корм.

— Нормально, — уж совсем неприлично захрустел он.

— А я тебе говорил!

Нам, двум захмелевшим котам, оставалось лишь спеть, хоть был и не месяц март. И я вспомнил уместную, так мне казалось, песню из сериала “Друзья”.

— Дранный кот, дранный кот, у тебя пустой живот...

И своим раскатистым, пробуждающим басом писатель вторил:

— Дранный кот, дранный кот...

Но на третьем “Львовском” его вдруг скрутила паника, и он заявил, что в таком виде — “я человек публичный!” — не может шляться по набережной, по Мисхору, по Крыму в принципе, и надо идти — или как уж получится с любой-другой формой передвижения — в номер, пусть там и засела баццлла Ляшко.

На подходе к даче писатель, причёсывая потрескавшийся асфальт кроссовками “New balance”, зазывал остаться, переночевать, и я согласился. Однако вскоре позвонила жена, и голос в трубке, вещающий о грудной дочери, об отсуствии совести у мерзавца-мужа (я не сразу сообразил, что речь обо мне) и головной боли, переходящей в мигрень, развернул планы, как упырь голову, на 180 градусов, хотя я и затратил некоторое бесполезное, как выяснилось потом, время на переубеждение громоподобной супруги. Писатель расстроился. Мы долго прощались, как всегда прощаются пьяные, и в результате лишних объятий и безответственных клятв я пропустил последний рейсовый автобус в Ялту.

— Это знак, это знак! — воодушевился писатель и для чего-то добавил, видимо, вспомнив наш спор о Йейтсе и Сэлинджере: — А Тедди знал!

Я перезвонил жене. Она не брала трубку. Писатель возобновил попытки оставить меня у себя, но мы не прожили с ним столько лет, сколько с женой, и я, отвергнув лёгкие варианты, втиснулся в затормозившую попутку, услышав водительское:

— Блевать не будешь?

Я помахал налитой головой, и гладкая, почти восковая физиономия писателя, всунувшись в окно, вновь крикнула напоследок:

— А Тедди знал!

На ялтинском автовокзале неуклюжей хрюшкой я метнулся к кассам — роллеты на них были закрыты. Я стукнул пару раз кулаком, — вдруг задержалась приподнившаяся кассирша? — но тут же, испуганный и пьяный, одёрнул себя, думая о полиции, которая по неясным, видимо, глубоко экзистенциальным причинам казалась страшнее милиции.

Автобусные платформы остывали от тепла ещё недавно топтавших их ног. Голубые столбы с белыми табличками уходили в цвета смородинового варенья небо. Пищцами SMSками жена подгоняла меня домой.

— Мужчина, куда ехать?

— Довезу!

— Евпатория, Симферополь!

Водилы лениво подходили ко мне, расслабленные, не такие шумные и приставучие, как обычно. Даже их неподражаемые иерихонские голоса, заставляющие либо ехать, либо завидовать глухим, стали нормальными. Водилы знали: этот пьяный, растерянный молодой человек, в зависимости от одежды и степени выпитости тянувший на мужчину, никуда не денется. Я и сам был готов ехать, хоть сейчас, но, называя сумму, всякий раз слышал отказы.

— О, приятель, с такими деньгами — это тебе пешком, дружище...

И я шоркался по вокзальной площади, заключённой меж кипарисовыми холмами, поделённой, как шоколад, на квадратные плитки, вынужденный приставать к ночным прохожим; вдруг едет кто? Сунулся даже к нескольким



спящим, дурно пахнущим людям, закутанным во что-то объёмное, бесформенное, но, не выдержав амбре и поразившись собственной глупости, пнул дурную затею под хвост, и она ускакала в сторону ялтинской набережной, где крымские девчухи состязались с донбасскими беженками за редких, а от того ещё более ценных туристов.

Этим летом они приезжали в Крым преимущественно из России. Хотя в Андреевке, где я, планируя написать несколько объёмных статей о Трифонове и Мо Яне, арендовал то ли домишко, то ли будку, слепленную из фанеры и пластика, на полупустом пляже с копеечной жирной таранькой и свежим разливным пивом — из-за чего, собственно, так и не родилась ни одна статья — мне встретились три серба. С российским флагом в дорожных сумках и русским Крымом в разгорячённых алуштинской граншой сердцах. Один из них, Зоран, читал Павича с Петровичем, и мы обсудили “Хазарский словарь” и “Атлас, составленный небом”, пока Ненад и Душан вспоминали образцовую игру Неманьи Видича в “Спартаке”. Кончилось наше знакомство логично — распитием алкогольных напитков в запрещённых местах и вместе с тем чревато — отравлением местного производства вином, которое, нахваливая, продал нам в приморском скверике говорливый дед с мохнатыми седыми бровями.

Жаль, что на ялтинском автовокзале отзывчивых сербов не оказалось. И, чувствуя промозглый холод, наползающий с покрытых хвойным ковром гор, я трезвел, ругался и отчаивался найти варианты уехать домой. Намечался запасной, авантюристский, план: купить дрянной алкоголь, вновь захмелеть, позвонить жене и, объяснив ситуацию, остаться ночевать, — а на деле слоняться, ошиваться, бродить среди сосен и пальм, — в Ялте, чтобы ехать рейсовым автобусом утром. Но у окошка единственного работающего магазина меня вдруг окликнули:

— Молодой человек, вы в Севастополь едете?

Голос у незнакомца был грудной, сильный. Он произносил слова, точно загонял гвозди, и они застревали в тебе ржавыми загогулинами без шляпок.

— Да, я, а вы, — в желудке заурчало, — водитель?

— Нет, — он улыбнулся, обнажая мелкие, почти фосфоресцирующие в ларёчном освещении зубы, — я пассажир. Такой же, как вы.

— Отлично, — я наконец решил отхлебнуть кофе, — только есть проблема: у меня мало денег.

— Но сколько-то есть? — этот его обыденный, житейский вопрос развеял некую демоничность, морок происходящего. И я назвал сумму. — Тогда едем.

Незнакомец крутанулся на остроносых туфлях, двинулся по направлению к платформам. Кивнул первому встречному водиле, худощавому горбоносому мужичку с жамканной, точно приклеенной к сизоватым губам папирсой. И мы загрузились в красную “Шкоду-фабию”.

Водила, как отыскавшийся брат из индийских фильмов, походил на моего университетского преподавателя социологии Куропаткина. Тот не мог обходиться без сигарет и разговоров. За час двадцать пары Куропаткин ухитрялся пять-шесть раз выйти на перекур, а ставя зачёты, просто распахивал окно и дымил в него. Он постоянно говорил о том, что раньше, в Томском университете, был чемпионом по бокеу, хотя, глядя на него, иссушенного, подкашливающего, с впалой грудной клеткой и желтушными глазами, слыша это, все лишь саркастически ухмылялись. Больше побед на ринге Куропаткин бравировал “амурными похождениями”. Девушки, девушки, девушки, как в песне и гримёрках “Motley Crue”. Много девушек! Но потом — тут Куропаткин тяжко вздыхал и заключал с трагическим пафосом — он женился. “Эх, — ещё сильнее вдавливалась его грудная клетка, — и зачем только?!”

Правда, квадратная Оля Бухарова, которую все называли “Дискавери” за то, что знала всё и даже больше, рассказывала, что на самом деле Куропаткин жену свою обожает, и каждые выходные они выбираются вместе на прогулку по Балаклаве.

Я об этом не знал, хотя общался с Куропаткиным больше других, потому что у него можно было взять почитать интересную книгу. Он рассказы-

вал о своей библиотеке, конечно, не так много, как о боксе и девушках, но достаточно, чтобы моя библиофилия усилилась, и я нашёл в нём и консультанта, и собеседника.

Водила хоть и был похож на Куропаткина внешне, но начитанностью, судя по коротким, грубым, иногда хамским, репликам не отличался. Впрочем, его характеристики — предметов, людей, событий — подчас оказывались точными, ёмкими, мудрыми даже. И незнакомец, расположившись на переднем сиденье в позе сфинкса, то ли отстранённо сидел, то ли внимательно слушал водилу. Я же украдкой рассматривал своего, как написал бы автор любовных романов, спасителя, не понимая, что же такого странного, инфернального отыскал в нём у ларька на вокзале. Необычными были разве что его огромные лопатообразные ладони: необыкновенно широкие у запястий, но сужающиеся к кончикам пальцев.

Однако сейчас, когда человек-сфинкс вышел в Инкермане, я вновь ощутил преддверие исходящей страхом паники. Попутчик удалялся в ночи неправдоподобно быстро, словно не шёл, а летел, как та Маргарита; только ниже, у самой земли, на бреющем полёте.

Я читал о таком. Не только у Булгакова или Гоголя, но и у эзотериков, книги которых, с карандашными *nota bene*, мне советовал и приносил Куропаткин. Хуже — я видел сам нечто подобное. В ночь перед выборами в Верховную Раду 2004 года.

Тогда я работал на одну из политических партий. Вернее, на много партий. Треть страны, зарабатывая, поступала так же, компенсируя то, что Украина недодала за предыдущие годы. В ту ночь я уничтожал, как алкает того закон, следы политической агитации — сдирал плакаты со стен и столбов.

И вдруг ощутил предельный холод. Он навалился, точно гряда окоченевших трупов, и придавил к земле, парализуя. Не пошевелиться, не сдвинуться с места. Я думал, что подобное описывают лишь в книгах или снимают в фильмах, но это была жизнь, пусть и сковывающая мертвецким холодом, пахнущая выхлопными газами, звучащая детским голоском:

— Доброй ночи!

Вообще вся эта ночь была, как бесовский гиньоль. Шпатель, которым я соскабливал ошметки плаката с очередной лоснящейся мордой, обещающей стабильность, благополучие, процветание, упал во влажную траву, и, развернувшись, я увидел старуху, будто выдернутую из босхianских полотен: с крючковатым носом, растрёпанными волосами, колкими глазами. Но голосок у неё был детский:

— Что делаешь, юноша?

— Да вот... — говорить я мог, пусть и звуки эти принадлежали как бы не мне.

Она потянулась ко мне сухопарой коричневатой рукой, и я, не терпевший касаний даже близких родственников, подчинился этому диковинному незнакомому человеку, успев заметить, что ногти её скорее такие, какие бывают у молодых, ухаживающих за собой девиц. Только на мизинце старуха отрастила длинный пожелтевший коготь, *clawfinger*. Им она и дотронулась до меня, пропев:

— Родинка у тебя, юноша, точь-в-точь, как у моего сына...

Я не ощутил ничего, только лёгкое онемение в ногах, какое бывает, когда засидишься, а потом резко встанешь.

— Покойного... умер... а на тридцать шестой день... муж...

И старуха, заржав, как взбрыкнувшая лошадь, бросилась прочь. Она перепрыгнула через зелёные лампочки насаждений и выскочила на дорогу, идущую от Камышового кольца к остановке "Почта". Старуха, оторвавшись от земли, мчалась по разделительной полосе, и машины, не сигналив, объезжали её, точно река огибала гигантский валун.

Больной, лихорадочный, я вернулся домой, а утром мама, взглянув на меня, протянула руку, погладила по щеке:

— Что это у тебя?

Она потёрла кожу, но, тут же подавшись назад, изумилась:

— Родинка?

Я не думал, не отвечал, тратя все силы на то, чтобы гнать от себя холод. И только на следующее утро, пережив ещё одну галлюцинаторную, потную ночь, рассматривая в зеркале чёрную мушку, посаженную на щеке, стараясь уверить себя в том, что она была раньше. Но фотографии свидетельствовали обратное.

С человеком-сфинксом происходит та же дрянная в своей грошовой мистичности история, пахнущая пожелтевшим журналом “Загадочное и необъяснимое”. Но, может, я ещё не проснулся или слишком увяз в собственных болотных мыслях?

— Тебе-то хоть на вокзал? Без сюрпризов?

Нет, этот голос водила реален. На всякий случай лишний раз смотрю на него, убеждаясь. Подёргал бы даже за уши, но не избежать последствий.

— Ага, — отворачиваюсь, нервно ищущим взглядом человека-сфинкса, но он уже вне зоны видимости, исчез. Есть только ночной мрак, кусок дороги, выхваченный светом фар, и почти затемнённый, скрывшийся крест.

Привиделось. Дай-то Бог.

Голодный, как многие из его племени, до словоизлияний водила жаждет бесед, монологов и потому говорит, говорит, матерком, как багром, выхватывая меня из реки дрёмы. Он знает, почему России не нужен Донбасс. Почему Украина отдала Крым. Он слышал всю правду о Яценюке и лично орал на Ветренку. Он возил “уважаемых людей из Москвы” и потому уверен, что “нынешних крымских блядей” в правительстве скоро не будет.

Откуда эта его уверенность на железобетонной основе? Как и уверенность ещё сотен тысяч людей, с таким бесстыдством втохивающих свою правоту, “разделяющую пуще греха”. Готовые разобрать войну, как предложение: вот подлежащее, вот сказуемое. И жертвы — лишь подспорье в нескончаемой брани. Оказывается, всё так просто, когда знаешь, кто виноват и что делать. Даже если вина не доказана, а действия сомнительны. Водила, подари мне частичку твоего броневой лба, расскажи состав раствора, коим скрепляешь шаткие мысли и проржавевшие слова в монолит личной правды, против которой бессильны любые ветра перемен.

— Если бы не этот гондон, жили бы мы сейчас нормально, но он, как все урки, труслив и жаден...

Сентябрь. И в машине, в которую задувает морской ветер, принося горько-сладкий запах гнили и ржавчины, двое говорят о политике. Они будут говорить о ней ещё месяц, два, полгода, год, десять лет, сто, тысячу, вечность. Не разведишь — не пытайся, не лезь — убьёт: таково напряжение. И повсюду всё больше, как на трансформаторных будках, черепов. Только не рисованных — настоящих.

— А он сбежал, сука, сдал всех...

Помню, жена включила телевизор, и пытающийся сохранять нейтралитет диктор сказал: “Виктор Янукович покинул Украину...” А на следующий день мне вдруг стали звонить, спрашивать, выяснять. Я всё думал, отчего звонят, пока ни сообразил, что на самом деле тогда все теребили друг друга, пытаясь понять, как жить дальше.

Листы А4, чёрно-белые объявления, набранные с ошибками, прилепленные к стенам в дикой спешке, подсказывали ответ на этот вопрос — севаstopольцев приглашали на митинг.

Я тоже был там. На галдящей площади Нахимова. Среди людей, обвешанных российской символикой, как промоутеры рекламой. Они вываливались из транспорта — так что я вспоминал студёный погреб, куда на зиму мы перегружали мешки с картошкой, а они дырявились, — рвались с криками “Путин! Путин!” Трёхцветной стеной они пёрли на площадь, наводняли её. А на сцене, сварганенной наспех, роились люди, вещающие о необходимости перемен, невозможности жить в Украине, люди, обещавшие изменить жизнь Севастополя к лучшему и только к лучшему.

И всклокоченный мужик, который идеально бы подошёл на роль Барбоса в детском театре, бубнил:

— Опять те же рожи! Сколько же крови вы нашей выпили! У-у-у!

Он издавал это протяжное, агрессивное “у” на манер поезда, врывающегося в туннель. А другой мужик в синем ватнике, вроде тех, что носят дворники или сторожа, люди медитативных профессий, надсаживаясь, взывал:

— Путин! Путина нам давай! Путин!

— Ты бы так Иисуса Христа ждал! — брезгливо кинула старушонка с таким острым носом, словно напрашивалась на топор философствующего студента.

— Пу-тин! Пу-тин! — не обращая внимания, скандируя, запрыгал мужик.

— Я шёл туда, более всего страхась того, что нас поведут те, кто вылизывал Киеву, — скажет мне позже чернявый актёр местного театра. — Так и было. Но потом вышел он — седобородый человек в свитере, с лисьими рассудительными глазами...

С его появлением, я и сам помню, многое, действительно, изменилось. И мы — о, это подленькое местоимение, без которого не совершается ни одна мерзость в мире! — распаковали полученный из России груз — военные ящики, забитые концентратом под маркировкой “Патриотизм”.

Чтобы позже заливать его в глотки себе и другим, ждать, когда, точно после приёма чудодейственного эликсира, произойдут изменения, и все станут могучими, отважными воинами, с криком “ура!” идущими в атаку. Раздавить, смести, победить! Крики, действительно, были, много криков, но вот атакующие движения больше напоминали судорожные рывки и бессмысленные шатания.

И когда, поднятый ранним звонком, я мчался на оборону здания ГУВД, куда должен был въехать назначенный Киевом новый глава, и надо было блокировать, не дать ему это сделать, то принялся обзванивать — прямо из маршрутки, чтобы слышали другие пассажиры, — знакомых, ожидая, что те, кто так страстно заявлял любовь к Севастополю и России, хоть завтра готовые выйти на баррикады, ринутся в бой сразу, немедля, но из двух десятков, наверное, человек откликнулось лишь двое. Впрочем, и они опаздывали.

У здания милиции толпились бородатые казаки в засаленной форме и решительные, всегда готовые к последнему бою пенсионеры с немислимым количеством георгиевских ленточек. Были ещё не по ситуации радостные женщины с внятными, крупными лицами: они притащили надорванный лист ватмана, на котором синим маркером было выведено патриотическое, как мне объяснили, стихотворение.

— Его даже вчера, на пикете, “Первый канал” снял, — не без пионерской гордости заявила та женщина, что держала лист справа.

— Вот как, — отчего-то смутился я, а казак с усами под Лемми Килмистера затынул “Боже, царя храни”...

Подъехала серая “Тойота-камри”, из неё вышло трое. Один, с лицом стареющего Аль Пачино, запахнул в тёмное пальто, поправил блестящий галстук, направился к зданию ГУВД.

— Это он! Не пускать! — крикнул кто-то, и толпа сомкнулась. Тумбообразная женщина с миловидным не по летам лицом, точно краской, брызнула на него отвращением и страхом, закричала:

— Бандеровцы не пройдут!

Она замолчала. Лицо её вновь стало миловидным, но свежий крик повторно исказил его.

— Позор! Бандеровцы не пройдут! Вон из нашего города! — перебирала женщина фразы, словно нащупывая ту, в которой её поддержит сомкнувшаяся толпа, но живое ограждение молчало, торжественное в своей концентрированно-суровой важности.

— Дайте пройти! Да что это такое, в конце концов, а? Сергей, чёрт возьми!

Человек с лицом Аль Пачино продирался вроде бы как решительно, но тычком, фразам не хватало того, что принято называть финальным аккордом, и это придавало его действиям, да и всему облику, некую обречённость, от которой державшие оборону подзаряжались, чувствовали себя увереннее. И Сергей лишь качал головой, а потом отвёл взывавшего в сторону, протянув ему сигарету из тёмно-красной пачки.

Они встали на фоне недавно построенной часовни Александра Невского с жёлтым блестящим куполом и непропорциональным крестом на нём, заспорили. Сергей улыбался, но курил одну за другой. Аль Пачино дёргался, пожимал плечами и вид имел крайне растерянный.

А люди у входа ждали. Женщина с миловидным лицом успокоилась и принялась рассказывать что-то приметному мужчине с крашеными хной волосами. Я видел такой насыщенный цвет лишь раз — у военрука школы, куда мы ездили участвовать в олимпиаде по ДШЮ. Возможно, этот мужчина был тем самым военруком на пенсии, отстаивавшим русский Севастополь. Он так заинтересовал меня, что я даже подумывал спросить его об этом, но отвлёк шум со стороны кинотеатра “Украина”.

— Ты чего, сволочь, припёрся?

— Предатель!

— А ну прочь отсюда!

Их было так много, кричавших, жестикулировавших, что затерялся сам объект ненависти. Но вскоре он проявил себя, оттолкнув пожилую даму в нежно-жёлтом шиньоне голубой натовской сумкой.

— Вы чего на человека накиннулись? — не выдержав, спросил я у женщины с миловидным лицом.

— А! Этот! — булькнула она, затрясла руками, и на что-то ещё, более аудиально внятное её уже не хватило.

— Это же диссидент, паршивец! — вмешался казак “Лемми”, и ругательства он произносил так же, как пел “Боже, царя храни”: раскатисто, торжественно, громко.

— А! Этот! — вновь булькнула женщина.

— Пишет статейки паршивые! Паршивец! Рисует нас чёрти как!

Мужика с натовской сумкой — можно ли было взять сюда что-то ещё более неуместное? — отгеснили к ионическим колоннам кинотеатра “Украина”.

— Провокатор! — кто-то озвучил мои догадки.

Модное словечко, актуальное. На него всегда можно было списать сомнительные, непонятные вещи. Им можно было отгеснить мужика с натовской сумкой или заклеить так и не вошедшего в здание ГУВД киевского засланца. Но где кончалась крымская провокация? И случилось бы всё так, как оно случилось, если бы мужчина, похожий на стареющего Аль Пачино, приехал бы не один, а с вооружёнными людьми? Если бы Киев отдал приказ флоту и армии?

Я думал об этом, когда ездил в тренировочные лагеря в Белогорье, где скупые на слова, щедрые на приёмы инструкторы доносили правила рукопашного боя. Или когда стоял на блокпостах, вливая в себя литры предельно сладкого чая, а рядом, лая, никак не могла уняться овчарка с дурацким именем Ганс, хотя никто не называл её так, а кликали просто — пёс.

Нам обещали лютого врага. А он так и не появился. Вместо него пришли другие.

Я отдыхал от будней третьей севастопольской обороны — так её окрестили в Москве. Вышел к морю, лузгал семечки. Вокруг раскинулись сакральные руины древнего Херсонеса, над ними стыл помнящий святость камень восстановленного Владимирского собора. Бледно-синие выстиранные волны бились о дырчатые, покрытые склизкой зеленью валуны и белёсой пеной падали на отшлифованную вечностью гальку. Я совершал чудной обряд экзорцизма, изгоняя из себя бесов войны, поселившихся в украинской хате, чтобы со временем превратить её в пепелище, добравшись до каждого, кто оказался причастен. Родные были предупреждены: не звонить мне, не беспокоить. Я был в себе, я был недоступен.

Но и навалившийся шум волн не помешал настойчивой вибрации потребить мою ногу. Я ответил автоматически. Вслушивался, толком не разбирая слов.

— Люди... ботинки... автоматы... новые... украинцы... наши... непонятно...

Догадался взглянуть, кто звонит. Оказалось, что знакомая, из городской налоговой — хорошая девушка Лида, что на улице Готской живёт, не сим-

патичная из-за грубых, крупных, словно наспех высеченных пьяным скульптором черт лица, но общительная, приветливая всегда и тем располагающая к себе. Мы познакомилась с ней на курсах английского языка. Она, как и я, коллекционировала видеокассеты с записями боевиков из девяностых.

Мне приходилось хранить их в гараже, и без того захламлённом пыльными шкафами, тазами, канистрам, ветошью, другой бесполезной дрянью, которую выкинуть жалко и всё собираешься перебрать. Кассетами был забит ржавеющий холодильник “Норд”. Лида же заботливо держала их дома — я бы, конечно, поступал так же, если бы не жена с её комментариями о комфортной обстановке для дочери, — и к ней можно было зайти в гости, выпить чашку имбирного чая, восхититься коллекцией, выбрать кассету (например, “Смертельное оружие—3” или “Коготь тигра”), устроиться на велюровом диванчике и посмотреть кино.

Можно, но я поступил так всего два раза. После жена безжалостными щипцами ревности разодрала мою нервную систему на лоскуты. И я, памятуя ту истеричную сцену, предпочитал общаться с Лидой по телефону или во время редких, промежуточно-скоротечных встреч.

А тут она звонила и причитала, что в здании налоговой — вооружённые люди. И ей, должно быть, — это я, лишённый нормального слуха, домыслил сам — страшно.

— Кто, кто там? — перекрикивая волны, уточнял я.

— Не знаю, не могу понять!..

Мы все тогда мало что понимали. Жили так, словно висели на дыбе: Киев тянул в одну сторону, Москва — в другую. А изнутри бодало воспоминание: “Так было уже — в 2004 году”. И швы плохо скреплённой украинской действительности с треском расходились, семьи рушились из-за лобового столкновения глупости с глупостью.

“Защити родину от врага!” — клокотало повсюду. И каждому представлялись своя родина и свой враг.

Хотя тогда, среди руин Херсонеса, всё больше превращавшихся из священных камней в просто камни, на которых, видимо, никогда ничего уже не будет создано, Русь, крестившаяся из одного источника, представлялась единой. Но связь рушилась, исчезала. На Евромайдане кропили святой водой тех, кто рвался в крестовый поход против русских, а на площади Нахимова проклинали украинских отступников, предавших истинную веру. И каждый был прав, и каждый был честен. А черноморские волны рассыпались на берегу каплями, сохнувшими, умиравшими поодиночке.

Связь с Лидой прервалась. Чёрточки, обозначающие сигнал, пропали.

По кипарисовой аллее, мимо музея византийского искусства, где девять лет не могли отремонтировать крышу, я поспешил к выходу. Стал напротив античного театра, позвонил. Связь появилась, но Лида не брала трубку. Волнуясь, я прыгнул в скрипяще-визжащий “Богдан” и поехал в городскую налоговую. Давал звонок, один, второй, третий, но — в безответность.

Уже подъезжая, я получил смс от Лиды: “Всё нормально говорить не могу”. Набил ответное: “Я у налоговой выйди”. “Не могу”.

У входа в здание налоговой стояли вооружённые люди в камуфляже. На вопросы не реагировали, внутрь не пускали. Лица были закрыты масками, виднелись только глаза. Я покрутился рядом и поехал домой.

Позже Лида рассказывала, что, устав от неопределённости, волнения, страха, подошла к одному из вооружённых бойцов — позже их назовут “зелёными человечками” и “вежливыми людьми” — с вопросом:

— Вы кто?

И он, нарушив приказ, ответил:

— Свои...

Нижняя часть лица его была скрыта, но он улыбался глазами, так говорила Лида, а я верил ей, потому что человек, смотревший фильмы “Джексон мотор” и “3:15”, а главное, хранивший их на видеокассетах, не мог лгать.

Трэй водилы в такси, ещё наэлектризованном присутствием человека-сфинкса, пробуждает воспоминания. И хочется позвонить Лиде. Пусть и по-

здно уже, пусть у неё завтра трудный, — а бывают ли другие в налоговой, зависшей в переходном периоде? — рабочий день. Но телефон стонет, батарея садится — не позвонишь.

Надо бы успеть предупредить жену, что могу остаться без связи. Набираю — сбрасывает. И тут же телефон пикает смс: “Спим у тебя всё хорошо?” Печатаю “да”, нажимаю “отправить”, и экран гаснет. Ушло ли моё сообщение? Если нет, то жена будет нервничать, переживать.

Быстрее бы добраться домой, завалиться спать. Лучше всего в отдельной комнате, потому что дочка обязательно проснётся ночью, и я вместе с ней, а если плачем разбудит не она, то жена своим недовольным бурчанием.

— Простите, у вас есть тонкая зарядка от “Nokia”?

Водила хмыкает:

— Ясен хрен, нет. Прошлый век, слышь? На вокзале спроси.

— Не поздно?

— Там круглосуточный шалман есть.

— Хорошо бы, — говорю я, жалея, что в кошельке — воздушные ямы. Так бы водила довёз меня прямо домой.

Ладно, доберусь до автовокзала и пешком по Красному спуску до площади Ушакова, а там и до Гоголя не далеко. Тем более, идти не впервой, да и на улице — вот-вот уходящее в рейс “бабье лето”.

— Подкинул бы денжат, доставил бы точно к дому, — говорит таксист, этот поднаторевший чтец мыслей.

— Нет, а может, — меня посещает идея, от величия и очевидности которой я подаюсь вперёд, — вы меня довезёте, а я денежку на месте отдам? Оставлю вам что-то в залог, быстро поднимусь и спущусь, а?

— Неа, — водитель приоткрывает окно, — “вечером — деньги, утром — стулья...” Евросоюз вон тоже обещал Украину принять...

И он заходится в кашляющем смехе. Оставшиеся километры мы едем под его шуточки о Кличко, Яценюке и Виктории Нуланд. Когда машина тормозит у шлагбаума, закрывающего въезд на площадку перед зданием автовокзала, — на ней в дальнем углу, под разросшимися платанами, где светит редкий фонарь, ещё стоят автобусы — водила финалит:

— Так что не ешь американские пирожки — бандеровцем станешь!

Неопределённо докаю в ответ и выхожу из авто в севастопольскую ночь, прохладную, ароматную, как охлаждённое шампанское в приморских кафе.

## II

Автовокзал, тёмный, безлюдный, такой привычный в дневное время, сейчас кажется незнакомым, чужим, таящим в себе опасности и секреты, хотя последние десять-двадцать лет здесь ничего не меняется. Те же приземистые, обросшие пристройками здания и вытянутые тополя с почти прозрачными в своей тонкой белизне ветками окружают его по периметру, а чуть дальше, скрытый во тьме, покоится чёрный, с красной звездой на кованом брюхе паровоз “Железняков”, герой войны. И женщина, берущая плату за пользование туалетом, на приветствие всегда реагирует одинаково: “Ты у меня поумничай ещё!” Но это днём, а сейчас — лишь пустая асфальтированная площадка под исколотым яркими звёздами небом.

Шалман, о котором столь перспективно отзывался водитель, не работает, только кофейный автомат у входа, заключенный в решётчатый панцирь, источает тусклый, чахоточный свет. Дверь, — без табличек, вывесок или каких-либо других опознавательных-информирующих знаков — кажется, срослась с кирпичной стеной, и если бы не красно-белая вывеска “Турист”, одним своим видом настойчиво рекомендующая пересмотреть или посмотреть фильм “Спортлото-82”, строение можно было бы принять за барак на случай войны. Пробую попасть в главное здание автовокзала, но оно тоже закрыто, и автобусы под платанами смотрятся уже не столь естественно, как раньше, а скорее — чудно, неуместно.

У одного из них, весёлой сиреневой расцветки, трётся человек в лазурно-голубой куртке футбольного клуба “Севастополь”.

— Извините, простите, — кричу я ему, идя через тёмную вокзальную площадь, из одного, под зданием касс, к другому, над автобусами, пятачку света, — можно вас на секундочку? — Человек не реагирует. — Простите, где здесь можно зарядить телефон?

Тот, наконец, слышит, поворачивается. Даже на расстоянии в нос кидаётся агрессивная вонь перегара. Человек пьян. Он расшатанно пялится на меня, и приходится повторить вопрос.

— А, это, — всё же сообразив, он несколько раз плюшево машет рукой, — туда...

— Туда? — повторяю за ним бессмысленный жест.

— Да, — так же неопределённо кивает он.

— Хорошо, спасибо, — от такого всё равно ничего не добьёшься.

Но на остановке я понимаю, что он имел в виду. Здесь есть работающий ларёк, этот реликтовый экспонат из девяностых. В зарешённом окошке горит свет, и я стучусь в него.

— Здравствуйте!

— Да, что?

Одутловатое раскрасневшееся лицо. Полная женщина, которая будто носит его, поправляет растрепавшуюся причёску. В дальнем углу на перевернутом деревянном ящике сидит ухмыляющийся мужик в кепке "Chicago Bulls".

— Извините, у вас есть тонкая зарядка "Nokia"? Я только приехал, сел телефон...

— Да, да, — отвечая, женщина морщится, — пятьдесят рублей...

— Я не покупать, мне просто...

— Я и не предлагаю покупать. Пятьдесят рублей — полчаса зарядки, — она, наконец, разбирается со своими взбалмошными волосами.

— Мне не надо полчаса, всего пять минут, — чувствую, как выворачивающе подступает тошнота — то ли от волнения, то ли от пива и кошачьего корма, — один звонок....

— Пятьдесят рублей!

— Простите, но я сейчас без денег...

— Так чего лезешь? — ещё больше морщится продавщица и захлопывает окошко.

Безапелляционность её обездвигивает, немит, и я стою в растерянности, зная, что все мои просьбы разобьются о красную стену одутловатого лица и принесут его носительнице суррогат удовольствия, расфасованный по бутылкам, где на этикетках — моя жалкая, растерянная физиономия. Но надо пытаться, и я, постучавшись, дождавшись реакции, бросаюсь в блицкриг:

— Можете взять что-то, — запинаясь, — ценное, но всего пять минут позвонить...

— Слушай, отвали, а?

Продавщица повторно захлопывает окошко. Дикость!

Ночь, автовокзал, ларёк. Молодой мужчина, загуляв, просадил деньги, посадил телефон и теперь переживает... о чём? Тут мысль моя сбивается, тонет в пахнущих мазутом водах Южной бухты, и плавающие на маслянистой поверхности пакеты, эти мёртвые полиэтиленовые медузы, служат чем-то вроде надгробий.

Ну, без денег, ну, без связи, но ведь не мальчик уже — штанишки коротки, рубашечка помята, — да и вокруг не глухая, закупоренная безвыходностью ночь. Идти до дома минут пятьдесят, час, не больше. Так откуда это дурное волнение, откуда эта бестолковая суета?

Есть нечто паническое внутри — щемящее, бодающее, нарушающее целостность всей системы. От того берedit вьедливая, прижавшая необходимость позвонить, сообщить, что всё хорошо; всё хорошо, слышите? А хамоватая тётка с поношенным лицом утверждает за мой счёт и не помогает в том, в чём любой человек, в общем-то, помогать обязан.

Разъярённый, я несколько раз бью по ларьку, привыкшему, наверное, к подобным истерикам.

— Эй ты, эй, открой! — кричу я, уверенный в праведности своего гнева.



Но распахивается не окошко, а дверь. Из неё вываливается мужик в кепке “Chicago Bulls”. Лицо у него какого-то странного лилового цвета. Настроен мужик беспощадно.

— Тебе, сука, неясно сказано? А ну, проваливай, нах..!

— Слушайте, мне просто надо зарядить телефон!

— По-хорошему, не понимаешь, да? — мужик выходит из ларька, в левой руке у него монтировка, обмотанная тёмным скотчем. — А ну, нах..!

Он замахивается ею, скорее, для вида, — во всяком случае, так хочется думать, — но и этого достаточно: я делаю пару шагов назад, а потом уже быстрее — прочь от ларька.

— Суки! — мой нелепый, почти детский выкрик. Мужик реагирует довольной ухмылкой. Тоже мне, герой.

“Ничего, хрен с ним! Прорвёмся!” — раззадориваю я себя, ускоряясь на Днепровском мосту. И пронсящие мимо машины одна за другой по частичке захватывают мой негатив с собой.

Днепровский мост, помню, открывал Виктор Янукович, одетый в светлый летний костюм, ужасно контрастировавший с его лицом цвета разбавленного молоком чифира. Я присутствовал как журналист, разглядывал украинского президента и удивлялся, пару раз вслух, почему такие люди, как Профессор, управляют сотнями миллионов государством. Но, возвращаясь домой, между изрисованных стен, пищащих груд мусора и червивого гнилозубья пней я понял, что в этом есть закономерность.

Ниже моста по случаю стройки облагородили заброшенный привокальный сквер: положили плитку, поставили пару скамеек, воткнули по центру ель. “А, судя по смете, — ёрничал мой лысоватый знакомый Ватутин из администрации, — там целый Ботанический сад разбили...”

— А! На! Да! — вдруг доносится крик.

На остановке железнодорожного вокзала пять или шесть пацанов в кожаных куртках — им бы ещё рогатые шлемы, и полный привет Энтони Бёрджессу! — бьют пивные бутылки о носки массивных ботинок-гадов. За осколочным досугом, потягивая тонкую сигарету, наблюдает ядовитая блондинка, похожая на рыбину, забытую в морозильной камере. На ней — форменный синий фартук в мелкий белый горох. Судя по нему, блондинка работает в круглосуточном буфете, с фасада которого улыбается губастая, с чёртиками в глазах девица. На плакате — она, а в реальности — блондинка-рыбина. Неудивительно, что в буфете пусто. И, глядя на гормонально-алкогольное воодушевление подростков, так контрастирующее с мёрзлым равнодушием продавщицы, мысль о просьбе тонкой зарядки для “Nokia” отбрасывается как угрожающая жизни.

Спешу перейти на другую сторону дороги, бреду вдоль зданий бывшего севастопольского хладокомбината. На стене одного из них ещё сохранился, — правда, уже порядком выбеленный дождём и солнцем, — рекламный щит, изображающий мороженое в вафельном стаканчике. “Сливочное”, так оно называлось, а было ещё “Шоколадное” — всего два вида, но стоили они сотни тех, что продают сейчас. Севастопольское мороженое, как и пиво, хвалили едва ли не все, кто приезжал к нам, в черноморский город-герой.

Школьником я обедался “Сливочным”, а в институте предпочитал разливное пиво местного производства. Лучше всего было брать его в будке на площадке между Матросским клубом, пересечённым террасой с колоннадой, и кинотеатром “Дружба”, под который коммунисты переделали бывший католический костёл начала двадцатого века. Здесь, под тенью разросшихся акаций, на низких скамейках, едва держа пузатые кружки, сбивались в группки — точь-в-точь Бывалый, Балбес и Трусы! — матёрые любители пива, в основном старики и ретроперсонажи в беретах, тельняшках, вельветовых штанах и болоньевых плащах, но встречались и такие, как я — молодые, не признававшие ту разбодяженную гадость, что льют в модных кафешках и пабах.

Но всё это было раньше, в душистых остатках советского прошлого, где Севастополь, пожалуй, всегда чувствовал себя неплохо. Сейчас же нет ни разливного пива, ни мороженого в вафельных стаканчиках; я не школьник

и не студент. Пивзавод купила корпорация “Оболонь”, хладокомбинат умер сам, а в будке под шелковицами — скудный ассортимент гастроэнтерологических кошмариков: шоколадные батончики, чипсы, сухарики.

От воспоминаний о севастопольском мороженом и пиве утро довольно урчит, и делается покойно, благостно даже, словно после долгих скитаний по гостиницам и аэропортам я добрался-таки домой, включил фильм из тех, что пересмотреть хочется, и завалился на диван, проводя вечер без суеты и беспокойства, но зная, что всё равно нужен, всё равно не забудь.

И жёлтый купол небольшой привокзальной часовенки, выглядывающий из-за покатых шиферных крыш, оштетинившихся кирпичными, покрытыми копотью трубами, добавляет приятия мира. Он организуется так, как угодно, и тревога, бодавшая у ларька, выветривается, растворяясь в недвижимой толще бухты, за которой виднеется рафинадное здание филиала МГУ, тёмные домишки, каменными грибами покрывшие склон, и извилистая дорога, освещённая фонарями-ягодами. В ночном воздухе уже чувствуется приближение настоящей, сырой, ветреной осени, и густая, волглая зябкость наполняет с моря.

Пешеходная дорожка поднимается вдоль автомобильного спуска, заключённого меж двумя склонами. Нижний, отделённый парапетом, сложенным из серо-розовых гранитных камней, залитых бетонным раствором, мёртвой проплешиной сваливается к морю, но выше, по мере подъёма, начинаются заросли узловатых деревьев с паутиной источённых веток. Напоровшимся на мель ковчегом застыл припортовый четырёхэтажный дом, в безжизненных окнах которого, кажется, никогда не горит свет. Верхний спуск каменист, похож на разломанный кусок крошащегося хозяйственного мыла, и на нём мохнатыми пятнами пробивается сухой белёсый кустарник.

Шаг мой бодр, мысли свежи, я напеваю: “Walked the streets of love and they’re full of tears...” И мечтается, чтобы на праздничном концерте в честь присоединения Крыма к России звучала бы именно эта песня, и Мик, Кит, Ронни, Чарли творили бы на сцене великую мистерию рок-н-ролла.

Но были не они, а Вика Цыганова и Николай Расторгуев. Я стоял на площади Нахимова, один из тысяч людей, закутанных в российские триколоры и знамёна с Андреевскими крестами. Какой-то пьяный, растрёпанный, совершенно потерянного вида мужик выплясывал извращённое пого, освоенное нами, школьниками, в рок-клубах, пахнущих табаком и блевотиной, и девицы там были страшенькие, золотушные, с мелкими, дробными личиками. Наверное, в любое другое время, в любом другом месте этот пого-мужик смотрелся бы вульгарно, дико, но только не сейчас, когда общая радость и воодушевление окружали его. Одноногий старик со свисающей, точно взбитый белок, сплюной, водружённый на инвалидную коляску, пробовал хлопать в ладоши. Симпатичные близяшки в одинаковых красных куртках и розовых угах на манер футбольных фанатов растянули шарфы “Севастополь—Россия”.

Мы были со знакомым, молодящимся, шальным Вадиком Межуевым, ездившим на Евромайдан, и я спросил его:

— В Киеве, небось, веселее было?

— Так же. — Он подумал и, улыбнувшись, добавил: — Если бы не чехи...

А Расторгуев тем временем пел: “Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт...” И Вадик вдруг растроганно произнёс:

— А ведь и правда — ждали... Но что дальше-то, а?

В музыке, гомоне, крике толпы слова его прозвучали неожиданно чётко. И я подумал, что здесь, сейчас рождается новый российский Крым.

И ты спрашиваешь, что дальше, Вадик? Классическая, всасывающая пространство чёрной дырой неизвестность. Как иначе? Но знаешь, все эти люди вышли на площадь Нахимова, как и в Киеве на Евромайдан зимой, не за пенсии и колбасу (или не только за это)! Нет, великая надежда, Русская мечта ворвались в сердца, мысли и пламенеющей зарёй на несколько дней, недель, месяцев — у кого как, — осветили самые затхлые, самые тёмные, самые удалённые закоулки души, как нечисть, изгоняя оттуда дурные

помыслы, обречённость, страх, принося нечто новое, колоссальное, неизъяснимое.

— Во мне ожило святое чувство — чувство Родины, этот Внутренний Крым, — сказал мне один знакомый писатель, когда мы прогуливались по Историческому бульвару, спускаясь от Панорамы к полуразвалившейся стене Цоя, где ещё собирался десяток недобитых фанатов “Кино”, — и его нельзя потерять сейчас, понимаешь?

Я кивнул:

— Главное — чтобы новая старая власть услышала, почувствовала это...

Знакомый писатель, из-за чёрных кустистых бровей и сытого, полного лица похожий на молодого Брежнева, горячо согласился. А силпый, картавый голос под аккомпанемент расстроенной гитары затянул: “Следи за собой, будь осторожен...”

После того праздничного концерта прошло ровно полгода. Кто-то уехал из Севастополя сразу, до или после референдума, кто-то разочаровался и покинул город спустя несколько месяцев. “У меня отняли родину, аннексировали её”, — заходилась после пары алкогольных мохито знакомая с улыбкой под Сашу Грей. Мы сидели в приморской кафешке на Парке Победы, смуглый парень у входа румянил шашлык. Через неделю знакомая уехала, но почему-то не на Украину, а в Москву.

Так растерялся ли, растрепался ли наш Внутренний Крым? Сожрала ли его, затюкала ли адова кухня роста цен, ужесточения законов и транспортно-логистических бед? Проглотил ли его лукавый Левиафан ванильных, приторных обещаний? Затёрла ли его та же, что и при Украине, — да что там, не меняющаяся со времён Грибоедова! — банда казённых морд? Не знаю. Поезда обещаний идут, тормозят, разваливаются, превращаясь в ржавый остов. Пройдёт время, и его подлатают, подкрасят, пустят по дьявольским рельсам вновь.

Но тогда, в марте, в крымских сердцах звучала песнь победителя. Я знаю точно. И не нужно продираться сквозь горы мусора, дабы понять это. Хотя он повсюду — развалился, точно бухой курортник на пляже.

Вот и сейчас передо мной — половина спуска пройдена, виднеются подсвеченная бледно-зелёная адмиралтейская башня с российским флагом и краснеющая аллержическими светодиодными точками вывеска стрип-бара “Сердцеёдки”, — брошенный на асфальт, чернеет огромный пакет, в таких гангстеры из кино перевозят трупы.

— Эти люди никогда не будут жить хорошо, — говорил мой дед, — ибо свиньи!

Тогда, в детстве, казалось, что он возводит напраслину, но со временем окружающие старательно убеждали меня в его правоте.

Но приближаясь, чёрная масса уже не кажется пакетом — слишком неровны её очертания. Вматриваясь, я всё больше думаю, паникуя, что передо мной человек.

Шаг замедляется, на смену воодушевлению приходит страх. Он формируется где-то в районе солнечного сплетения и постепенно заполняет всю грудную клетку, сбивает дыхание, и что-то тяжёлое, невидимое усаживается на плечи.

Да, передо мной человек. Спящий, живой, мёртвый или пьяный?

Первой мыслью было трусливое желание перейти на другую сторону дороги, но там — лишь скала, поросшая колючим кустарником, переходящая в забор, сложенный из белых инкерманских камней. Лестница, поднимающаяся к библиотеке Толстого, — чуть дальше. Дойти до неё можно лишь по той стороне, где лежит бездвижный человек. Поворачиваю назад, думая вернуться, но эта идея видится уж совсем малахольно-позорной.

Вновь смотрю на лежащего человека, мысли потихоньку утрясаются, остывают. И вот я уже корю себя за трусость, вызванную то ли резкой переменной чувств, то ли ночной атмосферой, то ли — этот вариант наименее приятен — внутренней конституцией. “Впереди — человек! Ему плохо! А я хочу сбежать?! Чмо, трус!” — подгоняю себя оскорблениями, но шаги мои всё равно, как у дебютирующего эквилибриста.

— Эй, вы! Эй! — кричу я лежащему, но он, конечно, не отвечает. А в голове у меня мешанина из ужастиков: кишки, демоны, кровь.

Через силу, но приближаюсь. Человек, скелетопоподобный мужик, лежит ногами к дороге, упершись головой в бетонный парапет, под ним растеклась лужа крови. Вздрагиваю. Рука автоматически тянется к телефону — вызвать “скорую” или полицию; не сразу вспоминаю, что батарея разряжена, не дозвониться. В этот миг на спуске вспыхивают фары.

Кидаюсь к дороге, что-то кричу. Горящие фары приближаются. Машина, чёрный “БМВ”, притормаживает. В полуоткрытом окне я вижу осклабившуюся физиономию человека-сфинкса из Ялты. Замираю. Взгляд его — пустой, безжизненный, немигающий — вперен в меня. Не разобрать ни выражения, ни цвета глаз; они — два колодца в туманной мгле, без дна, без края, так чертовски контрастирующие с плотоядным оскалом. Я, парализованный, соображаю: разве такое возможно? Но “БМВ” уже несётся вниз, салютя алыми маячками задних фар. Хотя, собственно, почему бы и нет? Ведь человек-сфинкс мог, выйдя в Инкермане, пересесть на авто и приехать сюда. Но для чего? И это демоническое выражение лица, какого не бывает у человека, — бррр! Почему он не откликнулся, не вышел? Или всё это мне лишь привиделось?

Лучше думать так, а пока осмотреть лежащего мужика. Ему ведь наверняка нужна помощь.

Осматриваю со смесью брезгливости и опаски. Мужик до унесения ветром худ; скуластый, носатый, с выдающимися надбровными дугами — весь костлявый и острый. Голова словно приколотая к тонкой птичьей шее, волосёнки на морщинистой пергаментной коже — через один. Расстёгнутые пиджак и рубашка — донельзя старомодные, какие обычно хранят в деревнях сначала на праздник, затем на похороны, а в итоге они так и остаются висеть в скрипучих шкафах — обнажают грудь с деревянным крестиком на тёмной верёвочке. Его можно бы принять за высохшую мумию, этого мужика, если бы не лужа крови под головой.

— Твою мать! — выдыхаю я, с олигофреническим опозданием догадываясь, что мужик-мумия может быть мёртв. — Твою мать! Твою мать! — повторяю я не знаю уж сколько раз. И в этом, наверное, есть что-то киношное.

— Эй, эй! — зову я мужика, но касаться, пусть и носком ботинка, то ли брезгую, то ли боюсь. Не трогать смерть, чтобы не заразиться ею.

Так всё же покойник? Или просто бухой в отключке? Но когда я встречал бухих, спящих на траве или скамейке, они храпели, шевелились, подавали, как говорят в криминальных хрониках, признаки жизни, а тут — абсолютная стылость.

Проедь машина, пройди человек — ну, пожалуйста! Чтобы не было так страшно, чтобы не быть одному. Но я — тет-а-тет с мумией, и фоном тому — ночной Севастополь. Поднимись чуть выше, на площадь Суворова, или спустись ниже, к вокзалу — там будет жизнь, но здесь всё покойно, заброшенно, одиноко. Не знаю, который час, — наверное, за полночь; зачался новый день, — но даже в это позднее время здесь должны проезжать машины. Почему их нет, почему?

И что делать в подобных случаях? Вызвать полицию, “скорую”? Сбежать? Оба варианта — отбросить. В первом случае не даст севший телефон, во втором — голосящая совесть. Значит, надо проверить, жив ли иссушенный человек. Как там правильно — приложить руку к шейной артерии? Ага, знать бы — куда! Пощупать пульс на руке? Это уже правдоподобнее. А если труп, и на нём мои отпечатки пальцев? Что потом докажешь российским ментам? Лучше ли они украинских? Вряд ли.

Дыхание! Живой человек дышит! Вот это уже лучше! Вот это уже толково! Почему не сообразил сразу? Твою мать! Твою мать!

Склоняюсь над мужиком. Дыхания, которое так хотелось услышать, вроде бы нет. Мёртв? За спиной проносится машина. Надо вызывать полицию.

Когда я учился в младших классах, то много читал “детские детективы” — была такая чудная серия, где выходили книги Энид Блайтон, “Альфред Хичкок и три сыщика”, истории о Нэнси Дрю и Братьях Харди. Я и сам

отыскивал (воображал) преступления, дабы распутывать их. Одна история сохранилась в моей памяти особенно ясно.

Я возвращался из школы, класс третий, наверное, на ходу листая “Тайну шепчущей мумии”, её собирались разгадать толстяк Юпитер Джонс, здоровяк Питер Креншоу и некий Боб (уже не помню ни его фамилии, ни описания, но значился он как архивариус). В арке у подъезда я наткнулся на кровавый след. Он вёл к лифту, обрывался у раздвижных дверей. Мне было девять, я, воспалённый чтением, представлял себя юным сыщиком и впервые видел нечто похожее на последствия реальной драки. Возможность настоящего дела, а не сомнительных фантазий во время шатаний по пустырям и свалкам засияла передо мной. Я пошёл на кровавому следу.

Он пеглял через соседние дворы, густо засаженные деревьями софоры, — в знойное июльское пекло здесь спасались под тенью мамыши с колясками, а засушливой осенью, переругиваясь и кряхтя, собирали цветки, дабы настаивать их на спирту, пенсионеры — кончался у гастронома “Ахтиар”. Чуть ниже, в подвальчике, открыли пивную, и мне, как матёрому сыщику, казалось, что кровавый след должен обрываться именно там — пьяная драка, разборка, нож; кто-то не сдержался, кто-то не рассчитал, — но нет: последние капли атели у боковой витрины. Я покрутился вокруг, надеясь что-нибудь выведать, уяснить, но в гастрономе мельтешили люди, а дома ждала бабушка, нервничавшая, когда я опаздывал из школы более чем на полчаса. Пришлось возвращаться.

Вечером я узнал, что нашего соседа, “непутёвого Витьку”, подрезали. Он попал в реанимацию. А уже следующим утром я рапортовал его жене о вчерашнем расследовании. Она, всегда ходившая в аккуратном платочке, слушала меня, ликовавшего, гордого, а вечером нас с мамой, возвращавшихся домой, на подходе перехватила испуганная бабушка: “Там милиционер пришёл, внука спрашивает! Говорит, знает он, кто Витьку зарезал...”

Мама отреагировала как всегда спокойно:

— Во-первых, Амалия Степановна, — бабушку, мать мужа, она называла только по имени-отчеству, — Виктор живой, его не зарезали, во-вторых, давайте я сама поговорю с милиционером, а вы побудете с внуком... Журнал ему, что ли, купите...

И мы с бабушкой побрели на остановку, к обдупившемуся ларьку “Союзпечати”, царство свинца, типографской краски и пахучей дряни вроде душистого мыла и одеколona “Тройной”.

Не знаю, что мама сказала милиционеру, — возможно, то, что я слишком мал, разыгралось воображение, — но больше ко мне из правоохранительных органов не приходили, и детские детективы родители не покупали.

С тех пор, так я думаю, во мне проросло тоскливое недоверие к милиции, колкая настроенность из серии “лучше не связываться”. Хотя в основе, наверное, гнездилися даже не случай с подрезанным Витькой Гришиным (он, к слову, тогда умер), а образ из детства, когда взрослые, покачивая головой или цокая языком, стращали: “Будешь плохо себя вести — придёт дядя милиционер, заберёт тебя”. И человек в форме представлялся едва ли не Вихрем-похитителем.

Наткнувшись на окровавленного мужика, я вновь испытал страх милиции, разволновался, дёрнутый им. Сообщить о преступлении — значит, пойти свидетелем, а там, при существующей системе, и до подозреваемого недалеко. Но сбежать? Какая подлость! Нет, надо тормознуть машину, объяснить ситуацию, пусть вызовут полицию или “скорую”.

Перемахнув через бестолково подстриженный кустарник, жмусь к дороге. Взмахиваю рукой, словно такси ловлю. Три или четыре машины проносятся мимо. Отчаиваюсь, хожу, как припадочный, топча и без того неубедительную жухлую траву. Оборачиваюсь, надеюсь, что мужик встанет, но он бездвижен.

Наконец, тормозит чёрная “Волга”. На таких, с личными водителями, по Севастополю часто ездят офицеры из штаба флота. Окошко опускается, из него выглядывает курносая, почти мальчишеская физиономия.

— Да, чувачок?

— Там вон, — я взмахиваю отяжелевшей рукой, — труп, и надо...

— Что? — физиономия скулится.

— Там труп, по ходу. У меня телефон сел. Надо в “скорую” позвонить. Или ментам, я не знаю... — скороговоркой выдаю я.

— Ты чо, мужик, какое, бля, два часа ночи, ты чо... — лепечет физиономия, и чёрная “Волга” повторяет маршрут предыдущих машин.

Два часа ночи! Как долго же я скитался! Жена наверняка проснулась. Увидела, что меня нет, разволновалась. Волнение её станет злостью, когда она вспомнит мои пьяные звонки с набережной Мисхора.

Семейные переживания заслоняют мысли об окровавленном мужике, но в то же время отрезвляют, заставляют мыслить логично, связно.

— Здравствуйте, извините, два часа ночи, у меня труп! Можете выйти, убедиться сами! Не хотите? Тогда дайте телефон, позвонить! Или позвоните сами, вызовите полицию!

Да уж, есть ли шансы на помощь после такого? Хотя последняя фраза ещё более или менее нормальна. Но кто остановится? Когда одна болезненная подозрительность кругом.

Необходимо позвонить. В “скорую” или полицию. Назвать место и уйти, не дожидаясь приезда сирен и мигалок.

А вдруг не приедут? Ну и что? Зато совесть чиста. Сделал, что должен — и будь, что будет. Тем более, если дома — грудная дочь. Главное — дозвониться.

Пробую оживить чёрный кирпичик “Nokia” — всё равно, что у булыжника взывать к подаянию. Надо идти на площадь Суворова, искать людей. По-другому — никак.

Обернувшись на мужика, убедившись в неизменности его положения, спешу наверх. Машины издевательски проносятся мимо, наваливаясь и отпуская шумом; стараюсь не обращать на них, бесполезных, внимания.

Ближе к площади Суворова на противоположной стороне дороги появляются двухэтажные здания. В редких окнах горит свет. Перебегаю через дорогу, суетливо иду вдоль зданий. У подъездов в большинство из них висят таблички — здесь административная вотчина. Удивляет одна, густо-бордового цвета с жёлтыми буквами, на мгновение рождающая прятный ретровосторг: детская морская флотилия имени адмирала Кузнецова. По правую сторону здания асфальтированная дорожка уходит в освещённый дворик, внутри которого, за увитой виноградными лозами решёткой замечаю выкрашенные в чёрно-белые цвета муляжи торпед и глубинных бомб.

Жилых домов — только два. На первом этаже дальнего от меня из-под белых створок жалюзи и зелёного нагромождения растений пробивается свет. Думаю постучать в окно, прикидываю реакцию. В подъезд всё равно не попасть — везде домофоны. Прогнозы мои неутешительны, но воспоминания о кровавом пятне, растёкшемся на асфальте, всё же заставляют приложиться к стеклу костяшками пальцев. Сначала пугливо, деликатно, потом злее, настойчивее. Внутри, кажется, лает собака. Обрываю стук. Свет горит, собака лает, но никто не показывается.

Глупая затея, тщетная! Кто распахнёт окно в такое время? А если и распахнёт, то захочет ли связываться? Нет, нужно бежать дальше.

Площадь Суворова, и без того крохотная, в ночной судороге кажется ещё меньше, замкнутая домами с маскерами в виде львиных морд и кленовыми великанами Комсомольского сквера, у входа в который на бетонных пьедесталах висят две амфоры, украшенные якорями, а дальше в лунном свете белеет ротонда, с которой открывается эпический вид на Южную бухту. Сколько коктебелевского коньяка выпито здесь, сколько местных и заезжих девиц перецеловано.

Справа от памятника Суворову на Центральный холм взбирается крутая — кошмар астматиков и сердечников — лестница, а вот левее, через трехэтажный дом, вроде бы есть круглосуточный магазинчик. Надо идти туда, просить о помощи.

Раньше, когда мы ещё шлялись по центру Севастополя без жён, заваливаясь в случайные кабаки, на улице Ленина был всего один продуктовый

магазин — “Лейла”. Так получалось, что всякий раз мы оказывались в нём, продолжая алкогольное веселье, с целью “догнаться”, и всякий раз не находили там выпивки.

— Где бухло? — бушевали мы.

Притихшие же на кассах татарочки объясняли:

— Извините, но алкоголя в продаже нет.

— Как? Да вы что? Мы заплатим! Двойная цена!

На этих словах возмущавшийся за всех чернявый Жижка — он родился на Балканах и, став актёром театра имени Луначарского, принялся утверждать, что состоит в родстве со Славоем Жижекком, — краснея ушами, а лицом, наоборот, блея, — такой образцовый фанат “Спартака”! — доставал толстенный бумажник и демонстрировал ластящиеся друг к другу купюры. Ритуал этот случался едва ли не каждую пятницу. Но татарочки оставались милы и невозмутимы:

— К сожалению, невозможно. Мы не торгуем алкоголем.

Нам понадобилось пару месяцев, чтобы сообразить: “Лейла” принадлежит крымским татарам. Наверное, правоверным. Ведь по мусульманским законам продажа алкоголя запрещена.

— Хорошо, я хоть продавиц клеить не стал, — улыбался Жижка. — Ничего, без бухла они скоро загнутся...

Позже “Лейла” и правда закрылась. Помещение осваивали разные конторы: от бутика элитных вин до лавки, торгующей рок-атрибутикой, но закончились искания предсказуемо — магазином со скучным названием “Продукты”.

Дверь туда в столь поздний час, время романтиков и маньяков, заперта, оставлено лишь окошко, которое сразу же меня напрягает: с такими уже были проблемы сегодня (или, вернее, вчера). Рядом с входом на стене дома чёрным маркером сделан рисунок: прямоугольник, а в нём — рыба и дверь. Жму кнопку вызова, вглядываясь внутрь магазина, заставленного брендированными холодильниками.

Апатичная, потухшая девушка с идеально гладким, точно заутюженным лицом, заставляющим вспомнить писателя из Мисхора, подходит к двери неожиданно оперативно.

— Да? — говорит она.

Вполне приветливо говорит, убеждаю себя я, измученный шандараханиями и отказами. И, наученный опытом, решаю не начинать разговор с истерических воплей о трупе, а для начала поболтать, расположить к себе.

— Строго у вас тут, — показываю на запертые двери, решётки, — это от кого такая защита?

Нет, не те слова; может решить, что я допытываю, вынохиваю. Хочу поправиться, добавить что-нибудь более нейтральное, но заутюженная продавица настроена разговорчиво, добродушно:

— А это после российских законов-маконов, когда алкоголь после одиннадцати — ни-ни, а всем же надо, всем же подай...

— Так это вам охранник необходим!

— Есть у нас охранник-мохранник, но тут он заболел, видите ли. Да бухал он, вот что! Это ж ежу понятно! — У неё что-то пикает в магазине, и тон крепчает: — Так вам чего?

— Слушайте, тут такое дело, — я пытаюсь смотреть ей в глаза. Они узкие, точно надрезанные, но в то же время навькате, словно веки при рождении оказались больше, чем задумывалось. — Я приехал из Ялты. Только что. На последние деньги...

— О-о-о, — тянет продавщица, и рука её ложится на пластиковую ручку окна.

Неужели ещё одна, такая же, как и носительница одутловатого лица в привокзальном ларьке? Или в их поведении есть суровая закономерность? Может, ночные продавиц отбирают в результате жёсткого кастинга, согласно строго оговорённым критериям, главные из которых — недоверие и подозрительность?

— Подождите! Поймите — там человек! Ему нужна помощь!

— Вы будете что-то брать? — в голосе продавщицы нет раздражения. Она просто выполняет свою работу. В магазине опять что-то плачет.

— Да нет же! Просто дайте позвонить! Или, — поправляюсь спешно, — позвоните сами!

— Слушай-послушай, — её переход на “ты” многозначительнее любых слов, — я тут за смену сто-о-о-о-о-о-олько историй наслушаюсь, твоя, ну, знаешь, вообще никакая...

Окошко захлопывается. Опять. И снова. Да сколько же можно, а?

Весь этот день, начавшийся с героического пробуждения и прожитый из-за желания успеть сделать многое, в ускоренной перемотке — разбитое зеркало. Всё в нём, если мыслить практически, как бы зря. И радиоэфир (кому нужна эта филологическая болтовня?), и поездка к писателю (рецензию, о которой он попросил в итоге, я бы всё равно написал, а ближе мы, несмотря на полкило кошачьего корма, так и не стали), и растрата денег (не будь её, я бы давно уже просматривал результаты футбольных матчей, доедая пирог с брюссельской капустой или переперчённый гуляш, или что там ещё могла приготовить жена)?

Бесконечная суета, круговерть, день за днём, и каждый из них — с намерением жить нормально. Или для начала понять, что это такое — “жить нормально”.

Профессиональное выгорание — так это, кажется, называется? Но существует же, наверняка, и выгорание личностное. А бывает и так, что выгорела судьба человека; осталась лишь точка наподобие той, что чернеет от затушенной сигареты.

И та мне не мила продавщица, и эта, а попутчик, благодаря которому я доехал, вообще кажется демоном. А всего-то нужен — нормальный, без седания подход к людям. Так бы сказал очередной Дейл Карнеги, их много сейчас развелось... Даже у нас, на улице Гоголя, в доме, где никак не разорится пустующий супермаркет “Большой сосед”, открыли “Психологический центр”, хотя, судя по вывеске и двум вялым кипарисикам у входа, — мол, озеленили, — там лишь один кабинетик, где психолог, месяц назад окончивший филиал хитровыдуманного института, насмотревшийся на Билли Кристалла в “Анализируй это”, планирует баламутить мозги тем, у кого дела обстоят ещё хуже, чем у него.

Если встретился этот мёртвый мужик, значит, он не только пытка, но и возможность. И важно не сдаться, не отступить. Один шаг, второй, третий — и километр ответственности пройден.

Барабану в окошко, не озверев, умеренно громко, так, чтобы не повредить стекло.

— Откройте! Дайте позвонить! Позвоните сами!

Продавщица — она за стойкой “Love is...” — разговаривает по телефону, красным пятном накрывающим ей ухо. Никакой мимики, когда она произносит слова; ей бы не сникерсами торговать, а в голливудском кино сниматься — такая женская версия Майкла Майерса.

— Откройте! Пожалуйста!

— Чо, проблемы, братишка?

Оборачиваюсь. Передо мной двое: в одинаковых блестящих куртках, джинсах-“варёнках” и лакированных туфлях. Кавказцы. Их стало больше в Крыму после присоединения к России.

— Да вот, не открывает!

— А чо, надо? — намекая на алкоголь, делает характерный жест один из них.

— Нет... Там человеку плохо!

— Плохо?

— Да, может, того...

— Чо?

— Э, Аслан, ты не понял, чо? Мёртвый, да, братишка?

Киваю. Боковым зрением вижу, как продавщица, отложив телефон, следит за нами.



— Где?

— Да там, на спуске.

Кавказцы смотрят друг на друга испытывающе. И тот, что без кепки, Аслан, говорит:

— Этой бесполезно, слышь? — Видимо, он о продавщице. — Да ты не бойся, поможем...

От слов кавказца заиндеветшая душа оттаивает. Люди, вот они — наконец-таки! — не перевелись, помочь согласились. Так я свылся за эти часы с равнодушием, неприятием, что отзывчивость, сострадание кажутся чем-то балующим. И я говорю радостный, благодарный:

— Спасибо, тут недалеко...

Мы отходим от магазинчика. Переходим через дорогу — светофор мигает жёлтым — к зданию “РНКБ” банка, из-под белых цветов которого выступают зелёные “ПриватБанка”, он располагался здесь до референдума.

— Тут недалеко, — я всё больше наполняюсь спокойствием и благодарностью.

— Да-да, — говорит Аслан и крестится на часовню Александра Невского, построенную недавно в Пушкинском сквере.

— Спокойно, братишка, — достаёт пачку “Кента” Аслан, — звонить, напрягать, после эти дела делать...

Они закуривают, густо пуская сворачивающийся змеиными кольцами дым. Так смачно, что на мгновение мне и самому хочется взять сигарету.

— Просто, кажется, он того...

— Воевал? — вдруг спрашивает меня Аслан.

— Кто, я? Нет, — машу головой, — “военка” в универе, сборы, такое, в общем.

— Да-а, — Аслан удивляется так, будто я не делал то, что делали все.

Быстро преодолеваем спуск. Со странным чувством — навязчивым, волнительным, сильным — застаю мужика-мумию там, где он и был, у паркета.

— О, слушай, — замечает его и Аслан, — тут звонить, Казбек, говорят надо, да?

— Э, слышь...

Казбек подходит к лежащему мужику. Стоит, присматривается. А потом начинает шарить по его карманам. Ловко, гладко, внимательно — профессионально.

— Вы чего? — ошалев, делаю шаг навстречу.

— Э, братишка, не суетись, слышь! — отталкивает меня Аслан. Крупный кадык его неприятно ходит под заросшей чёрной щетиной кожей.

— Да что такое?

— Та подожди, слышь!

Раздаётся щелчок. В руках Аслана появляется нож: “финка”, “бабочка” — не знаю, как назвать его правильно. Да и какая разница, если у всех лезвие при должной выучке проникает в выбранную плоть так, как удар наносящему надо? Точно в красные чернила перо макнул.

Да уж, вот и подмога. И что теперь делать в эту закупоренную безответностью ночь?

Удивительно, но пока Аслан пугает меня ножом, страха, вяжущего, как часом ранее, при встрече с мужиком-мумией, нет. Его заслоняет уж совсем неуместный, молодцеватый элемент игры, словно я герой из тех боевиков, что храню и пересматриваю на видеокассетах. Но когда Казбек — мелькает почти анекдотичная мысль: “Понаехали!” — даёт знать, что у трупа нет ничего, совсем ничего, зачем только шли, адекватное восприятие реальности возвращается. И смердящий бездомной псиной, облачённый в чёрную кожу страх с глазами цвета нового, чистого серебра тянется к моим губам. Редкие машины становятся совсем уж далёким фоном. Но я вспоминаю одну из них — чёрное “БМВ”, за рулём которой человек-сфинкс бередил мою память.

— Ты чо нас сюда тащил, слышь? — прессует меня Аслан.

— Но...

— Чо но, а? Чо но?

— Слушайте, но... — у меня не выходит ничего другого, кроме как “нокать”.

— Тебе за простой платить, слышь? — Аслан смеётся над своей как бы шуткой.

— Да, слышь? — подключается Казбек.

И если у Аслана смех, на удивление, особенно для таких обстоятельств, мелодично-приятный, то у него — гроыхающе-букающий, словно картошку в ведро бросили.

— Но человеку...

— Ты за себя думай, братишка...

И вдруг мысль: так ведь и зарезать могут. Даже не за просто так, а потому, что помочь хотел.

— Как будем решать, братишка?

— Как? — глухо повторяю за ним.

— Э, ты чо, меня дразнишь? Ты чо, дерзкий, что ли? — Аслан бодает меня головой, но удар смазывается. Хотя всё равно тоскливо ноет челюсть.

— Я не дерзкий, я не знаю.

— Мобильный дай, слышь!

Достаю злосчастную “Nokia”. Connecting people by gor-stop. Скольких людей она соединила вот таким образом? Но если бы заряд батареи был чуть выносливее, то этого пожара не случилось бы. Надо писать жалобу в центральный офис, в Хельсинки. Писать, если останусь жив. Мысль свежая, паническая, по слогам — “ес-ли ос-та-нусь жив...” — вклинивающаяся в мозг, чтобы подкосить, размягчить естество страхом.

— Это чо за дерьмо, братишка?

— Мобила!

— Слышь! — Получаю болезненный удар от Казбека под дых. Сбиваюсь на крик:

— Да, говорю же — мобила! Моя мобила!

— Э, чо орёшь?

— Какая нах мобила? Вот мобила! — Аслан тычет мне в лицо серебристым айфоном.

И где только такие персонажи берут деньги? Хотя, да, глупый вопрос, учитывая то, что сейчас происходит.

— Лопатник дай, слышь!

Покорно — у, как я ненавижу в себе эту покорность! — протягиваю ему бумажник.

— О, кожа...

Казбек довольно вертит в узловатых пальцах бумажник, но вскоре сытое выражение стягивается с его лица. Аслан, поигрывая ножом, следит за мной. Казбек потрошит бумажник, выбрасывает на асфальт визитки, карточки, вкладыши, ищет деньги — и не находит. Как вовремя я оставил вчера жене кредитку! Эта воодушевляющая мысль — единственная из приятных за последний час — утихомиривает, внушает.

— Э, лаве дай, а!

— Нет у меня, — неожиданно спокойно говорю я. — Были бы, чего бы я суетился?

— Не умничай, э.

— Карту давай, слышь!

— Нет у меня кредитных карт, сами же видите.

— Э, стой, понял? — толкает меня Казбек и принимается обшаривать карманы. Я инстинктивно дёргаюсь, но Аслан подносит нож к горлу.

— Стой, братишка!

Казбек сплёвывает на асфальт:

— Пусто. Э, ты лох, слышь?

— А я тебе, — тычет кавказец по направлению к площади Суворова, — чо там базарил?

— Слышь, ничо ты мне не базарил!

— Базарил! — они переходят на свой язык и на минуты забывают обо мне.

Я мог бы броситься прочь. Но, — голос обвинителя во мне сух и чеканен — измотанный треволнениями, переездами, алкоголем, я слишком вял, невитаелен, особенно по сравнению с этими блестящими, как их раскидной нож, кавказцами, вперывающимися друг в друга взглядами ониковых, искрящихся глаз.

— Снимай ботинки, — вдруг, улыбаясь, заявляет Аслан.

И я обалдеваю. Проваливаюсь во что-то смрадное, топкое. Ноги бездвижны, но руки ещё цепляются, не сдаются, хотя в запястьях, в локтях — ноющая обречённость.

— А ну! — плотным ударом подгоняет меня Казбек. Я ведь сам, своим поведением напоролся на них, подставив мягкое, незащищённое брюхо.

Всерьёз меня били только однажды. Я возвращался домой через Малахов курган с закончившегося как надо свидания, дул тёплый, ласковый, будто свежеиспечённый хлеб, ветер. Они вышли из-за серой, исписанной названиями рок-групп пушки, начали разговор с банальности. Я понял всё сразу и развернулся, чтобы бежать, но левая нога поползла на чём-то скользком, и через мгновение они уже навалились на меня, упавшего. И принялись молотить. Без особой цели, без конкретных претензий. Просто чтобы проверить себя, развлечься, унять зуд в юношеских кулаках. Тогда мне сломали ребро, и отец, багровея одутловатым, вечно сердитым лицом, грозился найти ублюдков. Даже подключил к поискам товарища по милицейской академии. Что дальше — я не знаю; отец не вспоминал, но был удовлетворён и спокоен.

И вот снова — серьёзная вероятность быть избитым. У парапета, на котором добавленная в серый бетон щёбёнка кажется выбитыми зубами. И два прессующих меня кавказца могут добавить к ней реальных стоматологических артефактов.

— Ботинки давай, слышь!

— Братишка, давай, а?

Они не играют в злого и доброго. Потому что в принципе далеки от подобных категорий. Они такие, как есть. Ни отнять, ни прибавить.

А меня бьёт крупная звериная дрожь. Кавказцы чувствуют её. Потому что они хищники; не случайны эти меховые воротники кожаных курток. Надо дать им, гиенам, то, что они требуют. Наклониться, снять ботинки. Так будет легче. И, может быть, безопаснее.

Развязываю чёрно-белые шнурки. Пальцы будто заковенели, хотя на улице, пусть и тянет зябкостью с моря и от земли, плюсовая температура.

— Молодец, братишка.

— И ремень, э, ремень давай, — суетится Казбек. Этот ублюдок из тех, что снимет с человека всё — от носков до зубных коронок.

— Хорошо, — шиплю я.

И стягиваю ремень с массивной бляхой. Свернуть бы его, намотать на руку. Влепить по щетинистым чёрным мордам. Но нет — не быть мне сева-стопольским Брюсом Ли. Протягиваю ремень, ботинки кавказцам. Казбек забирает вещи, а я ещё больше дрожу от этого продлевающего падения в страх.

— Кому, сука, стучать будешь?

— Что?

— Базарить кому нах будешь?

— Ментовку, слышишь, хотел вызывать, — встревает Казбек.

— Да, слушай... — чешет тупым краем ножа щёку Аслан.

— Ссучит, — настаивает Казбек, и я, леденя, догадываюсь, на чём.

— Э, подожди, слышишь, — Аслан подходит ко мне вплотную, обдавая укусным запахом, — между нами, да? Чтобы без проблем, братишка. Или... — он ножом показывает на лежащего мужика.

— Да, да, конечно, — донельзя энергично в своём подобострастии киваю я.

— Ну, — Аслан кивает Казбеку. Тот недовольно покачивает головой.

— Никому, нет, вы даже не думайте, правда, — тараторю я, разве что танцевать и фокусы показывать не готовый.

— Договорились, братишка.

И тут же я выдыхаю:

— Гх! — сперва не понимая, что произошло, скрученный тошнотой, болью.

Похоже, коленом по яйцам, сука, ударил.

— Ты отдохни, отдохни, братишка, — посмеиваются кавказцы и удаляются прочь.

А я оседаю на холодный парапет. Центрифужит живот, и ощущение такое, словно кровотоцит нутро. Но невыносимее, отвратнее всего — тяжесть, давление в плечах и затылке.

Хочу прекратить всё это. Как можно быстрее. И так, чтобы навсегда.

Ярость подступает к горлу, просится наружу. Дать выход ей и разнести весь этот мир в щепки, раскромсать, разодрать его на лоскуты. Такова моя реакция на унижение. Не стоит винить себя. Никого не стоит. Ничто ничего не стоит. Но, не выдерживая, алкая сбросить отчаяние, пинаю лежащего мужика.

Он вдруг дёргается в ответ. И я вместе с ним, от страха и удивления. Мужик шевелится, елозит по асфальту и, наконец, подставляет миру два влажных глаза. Пробует встать, но не находит сил. А я не нахожу слов, дыхания, и удивление постепенно вытесняет боль от удара скрывшихся в сева-стопольской ночи кавказцев.

### III

— Эй, вы слышите меня, эй? — кричу я мужику. — Вы слышите?

В его смятении, потерянности есть что-то ещё, кроме сотрясения или опьянения, что-то, засевшее расщелиной между ним и мной, между нашим взаимопониманием. Красная неоновая вывеска “Сердцеедок” несколько раз вспыхивает и гаснет.

Отрываюсь от парапета. Помогаю мужику встать. С первыми моими прикосновениями он мычит, замечает меня.

— Я хотел вам помочь!

Сейчас, когда мужик пришёл в себя, алкогольная вонь изолирующим коконом окружает его. Он взмахивает руками, показывает на уши, затем на рот.

— Что, что? — не понимаю я.

Он закатывает глаза, но не как-то особенно, а, скорее, привычно. Мычит, тыкает. И до меня, наконец, доходит: мужик глухонемой. Он не слышит, не воспринимает, не может объяснить. Киваю и для чего-то говорю, точно он способен понять:

— Да, да, хорошо...

Поднимаю его за плечи. Он соображает, принимает помощь. Покачиваясь, мутным оловянным взглядом обводит местность. Ему видится каменная стена с колючим кустарником, подсвеченная бледно-зелёным светом башня адмиралтейства. Дорога пуста, транспорта нет, и разрушенным белым червём лежит на ней разметка.

— Что с вами? Вы откуда? — ору я, и каждый мой последующий крик всё сильнее, всё громче. Словно от увеличения децибел будет польза.

Мужик, похоже, окончательно приходит в себя. Руки его ползут по одежде, врываются то в один, то в другой карман, ощупывают жадно. Лезут в трусы, копошатся там. И на сухом, скуластом лице его воцаряется спокойствие. Он давит из горла неполноценные, обрубленные звуки и начинает кланяться. Понимаю — благодарит. Мужик делает несколько шагов, оступается и чуть не падает. Подхватываю его, замечаю рваную рану на затылке. Крепко мужик приложился об асфальт.

— Надо “скорую”!

Усаживаю мужика на парапет. Штанины его убогих вельветовых брюк заправлены в растоптанные ботинки, и я вспоминаю, что стою на холодном асфальте в одних носках. Как только этот факт осознаётся мной, ноги сразу же коченеют. Представляется то один, то другой диагноз будущих заболеваний. Все они с гаденьким намёком на летальность.

А мужик тем временем тычет в голову. Да-да, киваю я, кружится, понимаю. И двумя указательными пальцами изображаю крест, обозначающий “скорую помощь”. Мужик напрягается. Я соображаю, что он мог принять изображённый мною крест за могильный. Нет-нет, машу я, и, попадая в тупик невербалики, завываю, изображая сирену. Показываю — звонить, позвонить надо. Мужик ощупывает карманы. Брови его стаскиваются к переносице, губы поджимаются, цыплячий пух на голове топорщится.

Нет телефона? Ага. Это понятно. Аслан с Казбеком не пропустили бы. Чёрт, что теперь делать? Не знаю.

Присаживаюсь рядом с ним. Ноги приговорены холодом. С бухты доносится несколько корабельных гудков и запах разопревшей древесины причалов. Дрожащий голубь пикирует на обломанную ветку. Зоб его тяжело раздувается.

Да сколько же можно, а? Когда кончатся все эти ночные скитания? Желание прервать их так сильно, что я ору, густо замешивая крик на брани. Вскликаю и, раздирая носки о кустарник, вываливаюсь на дорогу.

Пусть сбивают! Пусть бьют! Пусть давят! Но кто-то же, кто-то вызовет эту долбаную “скорую”! Пусть забирают меня, мужика, пусть забирают всех нас!

Стою, вцепившись в остатки уверенности. Машина катит, бьёт в глаза фарами. Ору, разведя руки в стороны. Отчаяние моё тормозит, разрывает нутро. Я хочу домой, я хочу кончить всё это безумие!

Но водиле плевать на мои чувства. И, возможно, на жизнь тоже плевать. Хотя он всё-таки дёргает руль в сторону, и авто, на секунду забуксовав, объезжает меня.

Мужик отрывается от парапета, машет, чтобы я возвращался назад. Шатаюсь, идёт навстречу. Я и сам хочу уйти. Это только в рекламе можно выпить “фанты” и тормознуть поезд. А у меня даже “фанты” нет.

Две фары, разбивающие темноту. Они почему-то кажутся особенно яркими. Шерстяной след тормозов. Я засмотрелся на мужика, а тут — такой шанс.

Дверь открывается. Появляется девушка. Волосы у неё аспидно-чёрного цвета, зачёсанные на одну сторону высокой волной, напоминающей конскую гриву. У девушки невероятно длинные ноги. Она стоит, перенеся центр тяжести на левую ногу, чуть отведя бедро. Ей бы ещё табличку, и будет, что та девица из уличных гонок: эффектная, будоражащая.

Но сейчас черногровая разъярена. Кричит, машет руками. И не страшно ей: когда ночь и два мужика; один без ботинок, второй с разбитой башкой. Или это даже забавно? В любом случае, надо бы что-то ответить — внятное, убедительное. А я всё ещё пялюсь на неё, не веря, что после всех неудач кто-то остановился. И даже в ногах становится теплее.

— Ты шо, щегол?

Доносит её вопль крылатый ветер.

— Простите... — классическое начало. Классически неудачное. Я замолкаю. Слишком важна первая, ударная, фраза. Почувствует страх, агрессию — заскочит в авто обратно, даст по педали газа. С испугу помчит так, что и мне понадобится нечто, обозначаемое двумя скрещенными пальцами. Стараюсь говорить как можно более добродушно. — Нам нужна помощь! Очень нужна! Мы...

Кто это — мы?

— ...нас ограбили. Нам нужно домой.

Нет, это мне нужно! А мужику необходим врач.

— Или нет — “скорая”. Да, позвоните в “скорую”. Пожалуйста!

— Я ментам позвоню! — кричит черногровая.

— Хоть ментам. Куда-нибудь, главное...

Слышу мычание рядом. Мужик подобрался ко мне. Вид у него собранный, но, несмотря на это, кажется, что передо мной блаженный, юродивый. Трудно объяснить словами, — а в жестах, как выяснилось, я совсем плох! — отчего так, но уверенность моя прочна, основательна. Мужик отчаянно жаждет что-то мне рассказать. Децибелы мычания, амплитуда взмахов его максимальны. Он тычет вверх, туда, где начинается Красный спуск.

— Алло, алло! — кричит в трубку черногривая. То, что она изрыгает из себя, принято называть “отборным матом”, но никакого отбора там нет — наоборот, слова валяются беспорядочно, что ни попадя.

Успеваю запомнить широкие золотые серьги в ушах черногривой прежде, чем, начав движение, спугнуть её. Она заскакивает в машину, хлопает дверью.

— Стой! Позвони в “скорую”! Стой!

Но уже фыркает мотор мышино-серого “Судзуки Свифт” — такую машину хотела купить жена. Черногривая, наверное, суетливо жмёт педали, дёргает ручку передач, шурудит ключом в замке зажигания, кляня себя за то, что остановилась, и ещё больше за то, что вышла. У меня есть всего мгновение. Броасаюсь, чтобы выхватить, забрать телефон. Но “Судзуки” делает несколько судорожных рывков вперёд-назад, будто труп для верности переехать хочет, и гонит по спуску вниз.

— Стой, сука, стой! — в истерике бьюсь я.

Какая же нелепейшая угловатая дурусть всё это! Какая раздолбанная сумятица! И разве стоило оно того, заигрывание ради спасения?

Мужик подходит ко мне, упаковывая в хмельной войлок. Кладёт на плечо руку. Касание его, физически неприятное, дёргает из конуры чувство брезгливости, но морально оно успокаивает, делая важным присутствие кого-то рядом. И то, что ещё недавно мужик сам находился в куда худшем положении, пусть и в ботинках, заставляет собраться.

Возвращаемся к парапету. Мужик жестикулирует, мол, идём вверх по дорожке.

— Что? Туда?

Он кивает: да-да. Показывает то на мои ноги, то на дорожку. Будто там есть спасение.

— Ладно, давай, — говорю я больше себе, нежели ему.

Пытаюсь идти как можно быстрее, чтобы трение между хлопком носков и хладьё асфальта стремилось к максимальному. Мужик старается поспевать, но через десяток метров вновь спотыкается, тычет в голову.

— Ещё бы, — зло говорю я в сцепленный сумраком воздух, — у тебя в башке — дырка, а ты чешешь, как Борзаковский...

Подхватываю мужика, прю его за собой. Вновь загорается красным вывеска “Сердеедок”. Щека моя от чего-то жжёт, пылает, точно после укуса.

“Для чего тащусь с ним? — мысленно бубню я, и сам же себе отвечаю: — Потому что машину поймать не удалось. И “скорую” вызвать тоже. К тому же, — продолжаю я, и есть определённая польза от подобных сношений с мозгом: отвлекает от ледяных, хворь гарантирующих ног, — он что-то знает, он уверен. Может, там есть телефон. Может, получится вызвать такси. Ну, или хотя бы согреться...”

Шаг мужика становится увереннее, и хоть моя рука вцепилась в его локоть, такой острый, что грозит прорвать ткань, но есть ощущение, будто это он, а не я, всё больше напитывает спутника волей. Ведёт, направляет. И цель наша известна лишь ему одному.

Поднимаемся на площадь Суворова, вдоль пятнистых клёнов, ветвями-лапами хищно тянущихся к проводам, чтобы в один момент зарваться, переусердствовать и быть срезанными коммунальщиками. Остановка перед нами пуста, и стеклянная боковина её, в которой прячется чёрно-белая фотография ветерана на открытым, добродушным лицом, разбита. Ползущие трещины — как напоминание о смерти. Стискивая локоть мужика, говорю:

— Идём!

Вновь себе, не ему. Он и так всё понимает. Улыбка трогает его изжёванные, тонкие губы.

По “зебре” мы переходим к памятнику Суворову. За ним — не заметил их в прошлый забег — чернеют широкие деревянные ворота, раньше служившие входом в рок-клуб. До женитьбы я проводил там субботы, и знакомые музыканты, вечно молодые и вечно пьяные, однажды разрешили подпеть на их концерте, но два десятка, наверное, слушателей дали понять: лишнего бездаря им на сцене не нужно.

У книжного магазина “Гала”, держащегося, несмотря на то, что книги в Севастополе — товар диковинный, не востребовавшийся, покупаемый в последнюю очередь, — сворачиваем в проход, ползущий навстречу брусчаткой вдоль увитой плетью стены.

Вот он — городской центр. Это и есть истинный Севастополь. Любимый, родной. Прореженный, разрушенный войной, но фрагментарно сохранившийся. В его готических и классицистических зданиях, столь отличающихся от немых панельных девятиэтажек спальных районов, есть та самая мелодия, приносящая умиротворение, стоит только остановиться, прислушаться. Я и сейчас бы поступил так, отдавшись нежности ночи, но окровавленный мужик, необутые ноги и страх заболеть чем-то страшным гонят меня вперёд.

Выше, когда кончится уютный проулок, стоит храм Петра и Павла, копия храма Тесея в Афинах. За ним, на спуске, поросшем акациями и каштанами, уютятся залепленные грязью и тоской нищие. Среди них — мы с женой носили им продукты и одеяла — много беженцев из Донбасса, людей заразительно несчастных. Наверное, окровавленный мужик тянет меня туда, в пахнущее мочой и рыбьими кишками убежище.

Но, миновав жёлтую ракушечную стену, вдоль которой высадили юкки, он сворачивает направо, ныряет в проход, оставляя позади гаражи, ради которых, похоже, и возводили стену, чтобы оказаться в уютном зелёном двореке трёхэтажного дома с колоннами. Перед ним — квадрат площадки, заваленной пахнущими сыростью листьями, опавшими с кряжистых дубов. К ней от дома ведёт узкая лесенка, поэтично увитая петунией, летом распускающейся нежно-фиолетовыми цветками.

В этом доме с колоннами, безусловно, хорошо жить. Здесь вообще надо жить, выходя на аккуратный балкончик рано утром, глядя, как троллейбусным кряхтением просыпается город, или поздно вечером, когда мерным рассеивающимся гулом убаюкивается даже самый непоседливый шалопай. И деревянный “козёл”, перепачканный краской, — впрочем, бывают ли другие, чистые, аккуратные? — не портит общей лепоты вида.

Подъезд у дома — только один, и мужик, отцепившись от моей руки, направляется к нему. Справа от металлической, бледно-синей двери я замечаю тот же рисунок, что и у магазина с продуктами: чёрный прямоугольник, а в нём — рыба и дверь. Правда, у этого изображения есть отличия: рыба наполовину заштрихована, а во второй её части — глаз, и вокруг, по всей площади, разбросаны другие, полые рыбы, а на двери начертаны греческие, так мне кажется, буквы.

Рисунок приклеивает меня к асфальтированной площадке. Ветер стихает, и воцаряется абсолютная, наполненная бесконечностью тишина. Теряю мужика, теряю дом, теряю в принципе ощущение времени и пространства, как бы сам заключённый в рисунок.

— Что это? — наконец, выдавливаю из себя, указывая на изображение.

Нахожу мужика взволнованным взглядом. Но он тупо смотрит перед собой, не замечая ни меня, ни рисунка. На тонких червячных губах его прилепилась улыбка. Он шарится у себя в трусах, извлекает оттуда связку ключей. Пищит домофон, и мы входим внутрь. В нос бросается запах плесени, сырости, затхлости; вот он, главный недостаток таких домов. Тёмные коридоры — лампочки светят тускло — каменными лестницами ползут вверх. Я говорю:

— Вы здесь живёте?

Точно этот вопрос что-то значит. Но ведь и правда странно, что такой немного потрёпанный, немного травмированный, немного поизносившийся мужичок живёт в центре Севастополя, в элитном доме, пусть и лампочки в нём горят тускло.

Конечно, на мой вопрос нет ответа. Хотя в столь мистерию ночь может случиться, наверное, что угодно, но дабы глухие услышали, а немые заговорили — это уже полный сюр.

Мужик пробирается на второй этаж. На лестнице его вновь пошатывает. Перед дверью, у которой мы останавливаемся, — нагромождение ящичков и шкафов из ДСП. Позвякивает связка, шурудит ключ. И дверь открывается.

Запах приговаривающего одиночества наваливается на меня, и я не хочу заходить в неосвещённую квартиру, лучше остаться здесь, на площадке, рядом со скомканной половиной тряпкой. Но холод поднимается по ногам, и приходите втолкнуть себя в открывшуюся пещеру блаженного.

На меня тут же бросаются две кошки. Шипят, пробуют запустить когти, но как-то нерешительно, робко. Нет, свита Изиды, вам не справиться так со мной. Тем более, что мужик привычным жестом отгоняет их. Включает свет, проходит вглубь квартиры. Жестом приглашает меня, указывая направление.

Оказываюсь на тесной, вытянутой кишкой кухоньке, где одна из стен полностью занята когда-то светло-голубой, а теперь с желтовато-коричневым налётом жира и грязи мебелью. У вспучившегося старыми досками окна приложены кособоким стол с почерневшими, перехваченными скотчем ножками и два инвалида-стула: у одного из спинки вырваны планки, у другого распотрошена подкладка. Есть ещё раритетный пузатый холодильник с большой, в глубокой древности полированной ручкой — состарившийся однорукий бандит. Довершают обстановку разбросанные на красно-зелёном полу замызганные детские игрушки. Главным образом из-за них в резком электрическом свете кухня выглядит кладбищенски и даже зловеще.

Мужик заходит следом за мной. Мычит, протягивает банку чего-то тёмного, мутного. Сними крышку, показывает он мне. Я стягиваю синий пластик. Судя по убойному, ядерному запаху, идущему от тёмной жидкости, в ней наверняка есть спирт, а вот другие компоненты так просто не определить, но я думаю — тоже мне, знаток! — о чабреце и грецком орехе.

Глотни, показывает мужик, не бойся. Да уж как тут без боязни? Когда такая ночь, такая квартирка, такой жилец! И такой я... Пей, пей, не бойся!

И я решаюсь. Смердное пойло скребёт горло, но свою миссию исполняет, принося нутру тепло, сухость. А теперь, настаивает мужик — ноги. Что ноги? Он тычет пальцами то в мои носки, то в дурно пахнущую банку. Давай, давай! Что, что он хочет? Тепло! А, точно: растереть спиртом ноги!

Уже без раздумий, отхлебнув ещё, надеясь, что пищевое отравление не столь опасно, как пневмония, стягиваю носки. На бледных ногах остаются синеватые, ворсистые разводы от грязной ткани, бывшей недавно единственной границей между мертвецким хладом земли и живым теплом плоти. Плеснув тёмной мути, растираю ею ноги, сперва не чувствуя ничего, но постепенно кровь отвоевывает меня у ледяного забвения.

Мужик мычит удовлетворённо. Похоже, я начинаю различать эмоциональную окраску издаваемых им звуков. Становится теплее, спасительнее, радостнее. Появляется чувство чего-то значительного, исполненного, быющего, как собаку по носу, бессмысленность бытия. Если бы ещё не жжение на щеке. И одно только осталось — позвонить. А после — мчаться домой.

— Где телефон? — как обычно я подкрепляю бессмысленные слова чуть более конструктивными жестами.

Мужик не понимает. Тычет в банку и на меня. Отстраняя его, пахнущего под стать тёмной мути, выхожу в коридор. Нахожу дисковый телефон на накренившейся деревянной полочке, прибитой к засаленной стене. Снимаю трубку, брезгуя прикладывать её к уху, оставляя воздушный зазор, но слышу лишь короткие гудки. Хотя телефонный провод в порядке, воткнут в нужный разъём. Нет-нет, машет последовавший за мной мужик.

— Не работает?

Вопрос мой риторический.

— Надо позвонить в “скорую”, милицию! Или — как там её? — полицию!

В ответ мужик начинает жестиковать особенно бурно. Возможно, — только сейчас в мой тугодумный, подвисяющий мозг заваливается эта догадка — он, как многие глухонемые, умеет читать по губам. Надо просто артикулировать чётче, тщательнее.

— Мы должны, — произношу едва ли не по слогам, — вызвать “скорую помощь”. Ладно, без полиции, но “скорую” надо! У вас, — я для верности показываю на него, — разбита голова. Это серьёзно.



Он машет руками, сопротивляясь. Торопливо уходит на кухню. Возвращается с банкой. Трясёт ею, бултыхая мутную жидкость.

— Что, выпить?

Мужик кивает, отхлёбывает. Зазывает на кухню. Из дальней комнаты мяукают кошки.

“Беда не в том, что мы пьём, а в том, что не поднимаем пьяных”. Помню, Антон Павлович, помню. Но ведь часто беда ещё и в том, кого мы поднимаем.

— Нет, нет, — отмахиваюсь я, — мне надо идти. Жена, дети...

Мужик кислеет, уходит в тоску. Зря я ему сказал о жене, детях. Ведь он, судя по квёлой обстановке, скорее всего, одинок. Или всё дело в неотступном желании выпить, отыскав собутельника?

— Да, да, мне надо идти... простите...

Уже не так настойчиво, уверенно говорю я, не слишком понимая, куда и как идти. Нет ботинок. Носки валяются в кухне. От босых ног прёт спиртягой и, возможно, чабрецом с грецким орехом. Нет денег, нет телефона.

— Извините, меня ждут, простите. — Хотя надо бы объяснить: — Я видел, что вам плохо: вы лежали там, у парапета, с разбитой головой. Я думал, что... ну, в общем, я искал помощи, а тут эти долбаные кавказцы и какие-то странные, дикие люди, точно всем по хер, — я давно уже забыл о чёткой артикуляции, — и всё пошло не так. Без ботинок, без денег...

Делаю характерный жест пальцами, точно не слишком усердно добываю огонь. Мужик отхлёбывает из банки, кивает. Идёт в комнату, зовёт меня за собой. Но я не хочу, не могу двигаться. Весь прожитый день: поездки в автобусах, начитанные политы, пыльные кипарисы, кошачий корм на закуску, гонор и уязвимость писателя, человек-сфинкс, странные рисунки — вся суматоха дня придавливает меня монолитной плитой, на которой предприимчивые ребята уже выбивают даты.

Нужен сон, нужна передышка. И никаких прогулок, никаких людей рядом. Только растворившаяся во мне — и я в ней — тишина. Чтобы любимые вещи на теле, чтобы правильные слова в голове.

Мужик выходит из комнаты, отталкивая ногой кошек, вид у него, словно у азартного охотника, только что завалившего кабана: довольный, гордый. Лицо, скуластое, острое, как вьёвшимися страданиями, покрытое глубокими морщинами, перестаёт напоминать мумию — теперь человеческое влило в него, и глаза смотрят со смыслом и даже нежностью. В цвета свежей глины руках мужик держит пёстрые шерстяные носки. Кладёт их на телефонную полку, а рядом — несколько мятых купюр. Показывает: это тебе.

Не пересчитывая, беру деньги, сую их в карман, следом натягиваю носки. Шерсть, обычно досадливо раздражающая кожу, теперь приятна: она разогревает, возвращает к жизни. И для пущего эффекта я еложу ногами по вспучившемуся линолеуму.

Мужик удовлетворённо смотрит на меня. Приседает перед длинным облезлым шкафчиком с передвижной дверкой, где вместо ручки — дырка, за которую, вставив палец, необходимо тянуть. Отодвигает её, копошится — вижу запекшееся пятно крови на его затылке — и, наконец, торжественно промывчав, извлекает растоптанные коричневые ботинки, изнутри отделанные грязно-белым мехом, напоминающим грибовую поросль.

Похожую по степени раздолбанности обувь я, разбирая отцовский гараж, выкидывал на свалку, и она ещё долго валялась там, не пользуясь у бомжей спросом. Но сейчас предложенный вариант кажется мне великолепным. “Ещё и мех, прекрасно”, — думаю я, и чувство благодарности к киряющему ветхому мужику наполняет меня всего, до краёв, вытесняя волнение, раздражение, злобу. И больше нет жжения на щеке.

— Спасибо! — говорю я, натягивая коричневые ботинки. Они размера на два больше, чем надо, но толстые шерстяные носки почти заполняют свободное пространство. — Прекрасно! — совсем уж доволен я.

Смотрю на себя в мутное, заляпанное зеркало, приделанное над телефонной полкой. И кажется, будто что-то во мне переменялось, но я не в силах понять — что.

Мужик, отхлебнув из своей, кажется, не пустеющей волшебной банки, протягивает её мне. Я прикладываюсь, делаю пару наждачных глотков.

— Ну, — подхожу к двери, чувствуя лёгкий хмель от навалившегося тепла и выпитого алкоголя, — хорошо, что вот так. Слава Богу! Хотя “скорую” вызвать надо бы...

Мужик ухмыляется, мол, не переживай, братуха, не пропаду, и не такое мне на башку сваливалось.

— Ладно, тогда до встречи. Зайду. Возвращу носки и ботинки. Ну, и деньги, конечно, тоже, — я на всякий случай ошупываю карман, — в общем, свидимся.

Протягиваю руку, ладонью вверх. Мужик накрывает её своей, сухой, шершавой. Мы прощаемся.

Из площадки перед домом по-прежнему густо пахнет прелыми листьями, настолько сильно, что я ощущаю их влажную липкую плоть, льнущую друг к другу. Наполняю лёгкие воздухом, выгоняя из них споры обречённости, затхлости, одиночества. С дороги слышится шум, но уже не такой чахоточный, осторожный, как ночью, а уверенный, наглый. Первые троллейбусы, потрескивая “рогами” о провода, осваивают маршрут, позёвывая сонными водителями, похлопывая распахивающимися дверьми. Город просыпается, город берёт своё. Утро подкрадывается, примеряется к людям, точно размышляя, чем встретить — порадовать или огорчить — и сколько молодости дня им отмерить.

Ночь на отходе. Одна из самых чудных, насыщенных в моей жизни. Но разбавленный сумрак ещё украшен отходящими звёздами. Странно они расположились на небе: одна половина его чиста, тёмно-сера, другая — в бледных, догорающих точках. Я иду туда, где ещё сохранились звёзды, думая о своём отражении в зеркале, пытаюсь нащупать, понять, что в нём переменилось. И вдруг кажется, что исчезла родинка, прилепленная мне старухой-ведьмой. Я трогаю щёку рукой, глажу её, но так и не могу окончательно убедиться в своей догадке.

Ничего, скоро я буду дома. И вот тогда многое станет ясно.

КРИСТИНА КАРМАЛИТА



## СБИВАЕТСЯ РАЗМЕР БЕГУЩИХ СТРОЧЕК...

НА ПЛЕЧО

Положи мне ладонь на плечо,  
Раз такая судьба.  
Горячо. Друг на друга смотреть — горячо  
От коленей до лба.

Если дальше руки протянулась рука,  
Кто судья?  
Чем нежнее рука, тем сильнее река  
И слабее ладья.

И на что нам стена и замок  
На тяжёлой двери?  
Сквозь железо и камень бьёт ток —  
Провода провели.

И звучит в тишине бестолково,  
Что вся эта беда,  
Чтоб усвоить одно только слово:  
Никогда.

---

*КАРМАЛИТА Кристина Евгеньевна родилась в Новосибирске в 1984 году. Окончила факультет психологии НГПУ. Работает фотографом. Публиковалась в журналах "Сибирские огни", "После 12" и других. Автор сборника стихов "Сны стеклодува" (2013) и сборника пьес "Голоса" (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Новосибирске.*

## ФЕВРАЛЬ

Раскалывается голова, и под небом такая тишь,  
Если сесть на спину орла и проплыть под небом.  
А здесь только ходишь или бежишь  
По дорогам, укрытым февральским снегом.

Воздух остановился, сверху — слепящий свет,  
А у тебя всё раскалывается голова и никаких таблеток,  
Только улица, снег и с дороги гудящий привет,  
Замеряющий прочность оставшихся нервных клеток.

Вот — дорога, февраль и небо над ним — пустое —  
Ни орла, ни облака, ни одного оживляющего вкрапления.  
Вот — разделённые дорогой, идут двое —  
Так, словно вместе они, — не спеша и в одном направлении.

Так, словно нет у времени ожидания, у расстояний — разлук,  
У сердец — бессонной тахикардии, у жизни — смертного часа,  
Двое идут вдоль дороги, двое идут, не касаясь рук  
Друг у друга, а друг другу причастны.

Холодно, снег, бесконечная гложет печаль,  
Смеётся и красит чёрным любое изображение,  
А ты не смотри, не плачь: это просто тебя февраль  
Учит, что главное не близость шагов, а их общее направление.

А ты не смотри на то, что показывают глаза,  
Если только это не глаза орла или неба,  
Которые — зеркало не того, что “на”, а того, что “за”,  
И страшно, если тебя никогда там не было.

Холодно, снег, и у тебя всё раскалывается голова,  
И никаких таблеток, и двое идут, и между ними гудит магистраль,  
И ты — один из двоих, а над тобою слова:  
“Не плачь, это просто учит тебя февраль...”

## ФАНТАСМАГОРИЯ

Давай заварим самый крепкий кофе,  
Чтоб сердце полетело, понеслось,  
Забыло всё — так пронесёт, авось,  
И не застрянет в этой катастрофе.

Очнётся на пути в Узбекистан,  
В Монголию, в Хабаровск, к Енисею,  
В зелёный чистый древний Абакан,  
В суровый взгляд седому Моисею.

Давай расскажем всё, как не сказали,  
Как не сказали всё нагие люди,  
Давай напишем всё, как на скрижали,  
Напишем всё, а дальше — будь, что будет.

Сбивается размер бегущих строчек,  
Как сердца ритм сбивается при звуке —  
Нет, не шагов твоих — летящих ночек,  
Злорадных ночек, уносящих стуки

В твоей груди... Так. Здесь остановиться,  
Прижаться лбом к холодному стеклу,  
Надеть одежду, позвонить в полицию  
И заявить, что больше не могу.

Я больше не могу свободно мыслить,  
Свободно чувствовать, свободно рифмовать,  
Свободно различать лимон как кислый,  
Свободно застилать диван-кровать —

Свободно ограничиваться... Всюду.  
С утра до ночи. Шифроваться в снах.  
Залезть на горб двугорбому верблюду  
И раствориться, всё пославши нах, —

Написано для рифмы. Заберите  
Вот это тело — под стальной засов,  
Вот эту душу — в лучшее укрытие,  
Вот это сердце вбейте в часослов...

Вот это сердце... Сердце? Погодите...  
Пустая чашка, турка на плите,  
И в недоступной мысли высоте  
Два сгустка крови мчатся на болиде.

\* \* \*

Заболею — никто не поможет,  
Заболею — никто не придёт,  
На кровать отдохнуть не положит,  
Не согреет, воды не нальёт.

Заболею — напьюсь в одиночку,  
В подворотне в сугроб упаду.  
Старый чёрт мне напишет отсрочку:  
Нет свободного места в аду.

Зарыдаю печально и звонко,  
Соберу все обиды за век.  
“Успокойся, дурная девчонка”, —  
Скажет рядом упавший на снег.

## НОЧЬ

вот ночь сгорает на столе  
вот капает вода  
вот входит путник на осле  
в слепые города

вот ночь крепка твоя рука  
глаза твои ярки  
горят как лампа маяка  
на берегу реки

вот ночь на берегу реки  
вот вся земля — река  
плывут ночные мотыльки  
на лампу маяка

вот ночь вот капает вода  
вот путник на осле  
идёт сквозь годы города  
сквозь капли на весле

вот ночь на корабле весла  
вот капли на столе  
вот вся земля в спине осла  
усталостью в седле

вот ночь светлы твои глаза  
темна твоя спина  
как волос на хребте осла  
как смуты стремени

вот ночь садятся мотыльки  
на берег у костра  
вот сходит путник у реки  
с летящего весла

вот ночь вот звёзды далеки  
как мысли моряка  
дрожат бескровны и легки  
как крылья мотылька

вот ночь вот лампа на столе  
вот путника рука  
по всей земле по всей земле  
приветом маяка

ЕЛЕНА ТУЛУШЕВА



## ЧУДЕС ХОЧЕТСЯ

РАССКАЗ

- Тук-тук! Можно?  
— Заходите.  
— Я с мужем.  
— Ну, давайте вместе, куда ж его деть... Ого! Это кого ж мы рожать будем с таким папой?! В вас сколько — метра три?  
— Два... — смущённый здоровяк протиснулся в кабинет.  
— А вес?  
— Сто двадцать.  
— Что ж это вы, голубчик — эдакий шкаф, выбрали себе дюймовочку, а рожать-то ей как, подумали?

“Шкаф” сконфуженно заулыбался, отчаянно пытаясь сжаться.

— Да вроде она у нас небольшая, два восемьсот была по УЗИ в прошлом месяце, — посетительница пыталась пристроить спутника в какой-нибудь угол, но тот постоянно что-то задевал и в итоге предпочёл просто замечать, взглядом умоляя больше его не трогать.

---

*ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа. Работала во Франции и США. Сейчас старший медицинский психолог в Центре по работе с подростками, страдающими наркозависимостью. Как прозаик дебютировала в 2014 году в журнале “Наш современник”. Публиковалась в газетах “День литературы”, “Литературная Россия”, на сайте “Российский писатель”, в журналах “Московский вестник”, “Невский альманах”, “Родная Ладога”, “Подъём” (Россия), “Белая Вежа”, “Нёман”, “Новая Немига литературная” (Беларусь), “Таллинн” (Эстония), “Литературный европеец” (Германия), “Простор” (Казахстан) и др. Лауреат V Международного форума славянских литератур “Золотой Витязь”, молодёжной премии журнала “Наш современник” (2014). Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

— Тогда УЗИ и — вперёд. Роды первые?

— Первые. Боюсь очень!

— Ну, что, женщины веками рожали, ничего. А беременность какая?

— Я ж говорю, первая!

— До этого выкидыши, аборт, в том числе на ранних сроках?

— Нет, всё впервые!

— Ну, как скажете. Если вдруг вспомните, сообщите, — он быстро заполнял бумаги, про себя вынося вердикт: “Наверняка врёт! И что ты с ними делать будешь? Небось наделала дел по юности. А если какие осложнения — нам ведь разгрести!” — он недовольно поморщился, вспоминая осложнённые роды годичной давности. После того случая он стал крайне скептически относиться к информации из уст беременных, и сейчас по привычке внутренне проговаривал: “Врёшь. И тут тоже врешь”.

— Игорь Владимирович, можно вас? — покрасневшая толстушка застыла в дверях с извиняющимся взглядом.

— У меня пациент, — он резко обернулся и понял, что дело срочное. Вошедшая медсестра Маша работала в бригаде детской реанимации. Бригада укомплектована неонатологом и хирургом. Раз пришла за ним, значит, рук не хватает. Просто так во время приёма никто не заходит: персонал вышколоен, отделение платное, пациенты возмутятся.

— Минуту, — кивнул он Маше. — Видимо, “сверху” звонят, начальство, сами понимаете, — обратился он к пациентке. — Вы пока снаружи подождите, я быстро.

Как только вышли из отделения, Маша затараторила:

— Там Кузякин разрывается. У нас плановое кесарево. Тройня. У одного на УЗИ выявили то ли грыжу, то ли опухоль, в общем — не отойти. А тут экстренную привезли. Схватки в метро начались. У плода сердцебиение плохое, похоже, обвитие. Меня отправили помогать, но Александр Степанович послал ещё и за вами.

— А Усачёв где?

— Усачёв дома после суток: дежурил за Камышева, тот в больнице с язвой.

Когда они вбежали в палату, дежурная бригада суетилась в ожидании последнего этапа родов. Переодеваясь, моя руки, он отметил, что для ребёнка уже подготовили реанимационный набор.

Роженица была с виду крепкой. Длинные пшеничные волосы, даже слипшись от пота, сияли здоровьем. Орала она громко, значит, силы есть. Хотя обычно такие не орала. Он уже привык делить всех их на две категории: деревенские и городские. Конечно, не по месту жительства — на разговоры, кто откуда, времени тут не было. Деревенские, в его понимании, — плотные, мясистые, с крупными бёдрами и сильными руками. Рожали они так, будто в поле косили: жарко, сил нет, тяжело, но куда деться, сделал дело и отдыхай. Такие инстинктивно знали, когда и как тужиться, как дышать. Городские же — вот это морока. Щуплые, в чём душа держится, всё за них сделай. И анестезию им побольше, и пить хотят, прям умирают, а тут ещё моду взяли за деньги мужиков своих притаскивают смотреть. Врачей не слышат. Ты им — “дыши”, а они тужатся, ты им — “толкай”, а они “не могу”! Правда, такие тысячу раз потом отблагодарят, и мужики их всей бригаде и конверты, и бутылки носят. Также приятно...

Эта была из “деревенских”, но, похоже, ребёнку что-то мешало, и орала мать беспрестанно.

— Так, заканчивай кричать. Тут работы на полчаса. Ну-ка, соберись!

Роженица будто и не слышала, только орала и мотала головой. По глазам коллег он понял, что шансы ребёнка невелики. Сёстры начали распечатывать дополнительный хирургический набор.

— Сколько уже?

— У нас она четыре часа, да плюс пока везли. Сама сказать не может, как давно первая схватка была. — Маша суетилась, поправляя ему халат и натягивая перчатки. — Сначала шло хорошо, думали, стремительные роды будут. А как головка показалась, так и застопорилось. Очень долго не продвигается.



— А резать, видимо, было поздно... — пробубнил он сам себе. — Что делать, Саш? Может, надавить?

— Да уже пробовали. Давай, может, ты посильнее... — на лице его друга блеснула испарина, сзади из-под шапочки пот каплями сползал по бритым складкам затылка за воротничок уже изрядно взмокшего халата. — Что-то не ладно. Как выйдет, он на тебе, мне — мать.

Через несколько потуг ребёнок, наконец, вышел. Мальчик. Синий. Тройное обвитие. Молчит.

Игорь быстро перехватил обмякшее маленькое тельце, в два шага перенёс его на столик, где сёстры уже приготовили трубки и отсос. Наспех обтерев не дышащего младенца, он, как в режиме ускоренной перемотки, начал реанимацию. Счёт шёл даже не на секунды.

Вокруг было множество звуков. Саша сердито что-то требовал от сестры, со звоном бросал зажимы, равномерно пищали датчики давления, из открытого окна доносился звон трамвая. Но всего этого Игорь как будто не слышал. Его слух был настроен лишь на одну частоту: сигнал от этого маленького человека. Человек молчал. Игорь вновь и вновь методично выполнял инструкции учебника по экстренным родам. Он понимал, что каждая минута уменьшает шансы на жизнь, а каждая секунда может обернуться инвалидностью ребёнка.

Ему казалось, что прошло уже полчаса: время здесь растягивается. В реальности он спасал младенца всего несколько минут: без остановки делал прямой массаж сердца, ощущая под пальцами крохотные рёбра, которые вот-вот готовы были треснуть под его натиском. А там, за ними, всё ещё молчало маленькое сердце.

“Давай, парень, давай. Мы с тобой прорвёмся!” — он пытался передать через пальцы свой импульс жизни, свою силу. “Давай, ты же мужик!” — уговаривал он.

“Стукнуло! Только что! пробилося ведь!.. Молчит... Ну, что же ты?! Показалось? Не может быть! Это ни с чем не перепутать. Ну, же, давай! Один раз уже смог. Давай, парень!” — под его пальцами отчётливо послышался второй удар. Тишина. Ещё тишина. Молчит... Вот он: третий. Четвёртый. Ещё!

— Умница! Настоящий мужик! Борец! Давай, мой хороший, не останавливайся. Мать тебя как услышит, взлетит от счастья.

Младенец слабо двинул ножкой, подтянул обе ручки к груди, медленно заворочал головой и издал слабый шипящий звук. Игорь подхватил его, ловко хлопнул по ягодицам, повернул головкой вперёд.

Слабое подобие детского крика заглушили вздохи всей бригады.

— Красавец! — Игорь завернул его в полотенце и двинулся к матери. — Ну, заслужил, брат. Вот она — мамка твоя! — развернул малыша личиком к маме. — Что, выкладываю? — обратился он к Саше.

Саша недовольно поморщился и отмахнулся.

— Да ладно тебе, Александр Степаныч. Ты же помнишь, решение главного. “Психологи установили, что в первые минуты жизни ребёнку необходим телесный контакт с матерью...” — Игорь передразнил главврача.

— Да шли бы эти психологи... — беззлобно буркнул Саша, — в бухгалтерию. Давай, быстро, я ещё не закончил.

— Слушаюся! — Игорь комично поклонился и поднёс младенца к лицу матери.

— Уберите, — едва слышно прошелестела женщина.

— Чего? — не расслышал Игорь. — Гляди, мама, вон какой у тебя богатырь! Давай, положи его тебе, готова?

— Уберите, не хочу, — чуть громче прошептала она.

— Ну, приехали, “не хочу”. Теперь, дорогая моя, лет на восемнадцать свои “хочу — не хочу” забудь. — Игорь поднял пищащего младенца повыше. — Теперь вот он за тебя решать будет.

— Не надо! Уберите! Я не хочу его видеть!

Игорь озадаченно замер. На родовые горячки он насмотрелся. Обычно он резко пресекал подобное поведение рожениц. А как по-другому: не рывк-

нешь на них, перестанут работать, а ребёнку-то ничуть не легче, чем им. Но сейчас он чувствовал такой прилив радости оттого, что это маленькое сердце забило ещё под его пальцами! Ему не хотелось портить себе настроение — сегодня ещё до ночи дежурить в родовом.

— Ладно, отдыхай. А мы твоего красавца пока взвесим и измерим, — он направился к весам, бережно держа своего подопечного.

— Так, что тут у нас... Маша, записывай, три семьсот пятьдесят. Так... аккуратненько, головку... пятьдесят два сантиметра. Записала?

— Да-да, записала.

— Внешних повреждений не наблюдается. А конкретней наши неонатологи скажут, как освободятся.

— Игорь Владимирович, а как записывать — документов никаких нет.

— Как нет? А родовая карта? Сертификат? — он держал малыша, невольно покачивая, пока сёстры нагревали лампу для младенца.

— Ничего не было, — Маша поморщилась. — Ни карты, ни паспорта. Спрашивали фамилию — не говорит.

— В смысле — не говорит? — у Игоря неприятно потяжелело в груди.

— Тебя как звать-то? — повернулся он к родившей.

— Наташа, — вяло отозвалась она, прикрывая рукой глаза от яркого света лампы.

— Ну, ты не в первом классе, полностью — фамилию, отчество. Ребёнка как назовёшь, решила?

— Иванова. Иванна.

— Так, ребёнок, значит, Иванов. Имя придумала ему?

Женщина молча отвернулась. Игорь начал раздражаться. Саша как-то странно на него взглянул и тоже раздражённо начал поторапливать сестёр:

— Я же сказал, восьмёрку, а вы мне шестой даёте! Вы на работе, внимательнее надо быть!

Игорь с мальчиком на руках подошел к матери.

— Так, давай-ка приходи в себя. Миллионы женщин рожают. Всё нормально. Нам тут время дорого, нечего тянуть. Карты у тебя с собой нет. Кто-то привезёт? Иначе нам нужно будет взять у него кровь на ВИЧ, гепатит.

— Берите, делайте, что хотите!

— Приехали! “Что хотите” не можем. Теперь на каждый чих подпись матери нужна. Твой ребёнок — тебе решать.

— Нет у меня ребёнка! — крикнула она внезапно. — Не-ту! Это не мой! Уберите!

На мгновение все замерли. Стало слышно, как жужжит, нагреваясь, ультрафиолетовая лампа над детским столиком.

— Ты чего? Ау, мамаша, ты уже родила! Живой он, всё хорошо! Ты что же, не слышала, как он кричал? Вот, смотри, богатырь твой.

— Уберите. Не хочу. Я его не хочу. Я не буду его брать, — женщина уже не кричала, а говорила громко, отчётливо и пугающе внятно.

— Игорь! — рывкнул Саша.

Игорь растерянно обернулся. Саша кивнул ему в сторону стола и чуть махнул локтем.

— Ничего, мой дорогой, всякое бывает! — приговаривал он, отворачивая всё ещё плачущего младенца, как будто заслоняя от матери. — Устала мамка твоя. Перепугалась небось, пока ты молчал, — он сам бережно укутал мальчика в пелёнку и одеяло. — Но мы-то знаем, что всё у тебя в порядке, успел ты, братец, вовремя задышал. Умница, обойдётся без патологии. У Александр Степаньча руки золотые! — малыш перестал плакать и как-то сосредоточенно начал разглядывать лицо врача. Игорь прекрасно знал, что в первые дни, а то и недели младенцы не могут различать и понимать увиденное. Но сейчас он был готов поспорить, что этот ребёнок смотрел ему именно в глаза, причём серьёзно смотрел, осознанно. — Ух, какой ты! Да, брат, задумайся. С женщинами этими нелегко, попробуй, пойми, что у них в голове! Ну, полежи теперь, погрейся, — он подмигнул малышу. Тот беззвучно шевелил губками. В груди всё так же неприятно давило. Когда он направился к Саше, ему показалось, что младенец смотрит ему вслед.

— Что у тебя? Помощь нужна? — он говорил уже негромко и выдержанно.

— Нормально, заканчиваю. Что думаешь, она из этих?

— Из каких?

— Сяких. “Кукушка”?

Игорь не хотел об этом думать, он всё ещё чувствовал в пальцах отзвуки этих долгожданных ударов.

— Да не, просто очередная неженка. Распереживалась, вот и немного “того” на нервной почве, пока ребёнок молчал.

— Ну да. Вся ухоженная, а документов ни единого. Как специально. Даже карточек кредитных не нашли. Подготовилась. Ты внимательно на неё посмотри.

— Некогда мне тут смотреть. У меня внизу контрактники. Так что, если тебе помощь больше не нужна, я пошёл. — Игорь чувствовал, как в груди нарастает тяжесть.

Направляясь к выходу, Игорь мельком ещё раз взглянул на мать. Ничего особенного. Баба как баба. Ногти покрашены, вроде, приличная, на мигрантку или бездомную не похожа. В груди у него уже ныло так, будто сверху поставили мотоцикл. “Да мне-то какая разница. Моё дело — роды принимать, мне чистые мозги нужны, а не философствования!” — разозлился он.

— Игорь! Ты ещё здесь? Подойди! — послышалось сбоку.

— Тьфу ты, Кузякин, сядет, так не слезет, — пробубнил он себе под нос. — Что там у тебя? Тройня, говорят?

— Да у меня нормально, в третий загляни. Там одна акушерка, мне ещё зашивать, а там уже головка пошла.

В третьем боксе деловитая Марья Михайловна — акушерка с тридцатилетним стажем — уже организовала двух сестёр и готовилась сама принять роды.

— А, прислали! — забухтела она, снимая маску. — Ходят табунами, дел что ли у вас нет других.

— Нет-нет, я так, только если что пойдёт внепланово. Вы же сами справитесь? Или помощь нужна?

— Тридцать лет как-то обходилась. Вон, ей помощь нужна. Успокой девчонку, перепуганная совсем. А здесь уж я разберусь.

Игорь улыбнулся ворчливой акушерке. Она и правда справлялась на “отлично” даже в экстренных ситуациях, ещё и врачей строила, если вдруг кто растеряется. Сейчас ему хотелось чего-то обычного, понятного. Хотелось, чтобы всё шло по плану. Нормальный ребёнок, нормальные роды, нормальная мать.

На столе он увидел пустые метрики.

— Давайте заполню пока. Что писать, Марь Михална?

— Ничего не писать! Партизаны у нас тут.

У Игоря кровь прилила к вискам, тяжесть из груди начала перекачиваться по всему телу, давя то на голову, то на ноги. “Ещё одна. Да что ж за день такой?! Чтобы два отказника за дежурство... Куда этот мир катится? — он поморщился от штампованной фразы. — Ну, с этой всё понятно”, — он мельком окинул взглядом роженицу. Ей с трудом можно было дать лет шестнадцать. Удивительно, что решила выносить. Хотя Игорь был уверен, что такие просто дотягивают до последнего. Сначала не понимают, что беременны, потом боятся сказать, а потом уже поздно аборт делать. Девушка ныла и причитала.

— Больше не могу, подождите! Совсем не могу!

— Милочка, я-то подожду, а девчонка твоя на свет идёт. Не обратно ж её запихивать?

Игорь всегда удивлялся, с каким юмором и при этом с теплотой и заботой Мария Михайловна общалась с пациентками. За столько лет ей бы давно уже выгореть. Сама четвертых родила. Обычно его коллеги, особенно женщины, особенно родившие, говорили с роженицами жёстко, подчас резко. Не хватало сил на нежности.

— Ты чего там уселся? — прервала она несвоевременные размышления Игоря. — Помоги человеку, успокой хоть. Или иди в свою операционную. Девчонка в первый раз рожает, молодая какая. Посмотрит на тебя и не захочет больше! — акушерка шутиливо погрозила ему пальцем. — Ты давай, милая, соберись. Эти мужики просто не знают, как оно. Только кричать и могут. Нам ещё пару раз поднапрячься, и всё хорошо. Вон уже столик нагрели, ждём твою принцессу.

Игоря всегда успокаивала слаженная работа. В такие моменты он вспоминал, как в детстве отец первый раз показал ему улей, и он никак не мог поверить, что пчёлы сами так всё выстроили, как по линейке. Мария Михайловна умела чётко организовать процесс. Рядом с ней он всегда чувствовал себя нерадивым мальчишкой, которому только и могут доверить смотреть со стороны. Но сейчас ему именно этого и хотелось — стать просто винтиком механизма, чтобы отвлечься от своих унылых мыслей. Он отстранённо смотрел на эту девочку: волосы каштановые, веснушки. На шее крестик на простой верёвочке. Ему и жалко её было, и злился он на таких. Понятно, конечно, что совсем ребёнок. Но если до секса додумалась, то предохраниться тоже могла бы. И ребёнку всю жизнь искалечит, и сама ведь взвояет потом, ночами спать не будет, думая, где теперь её малыш.

Громкий крик пробудил его.

— Умница! Без разрывов! Ты моя хорошая! Ох, красавица у тебя, ты глянь, какая глазастая!

Игорь машинально встал и направился к выходу. Он несколько раз видел, как потом эти девчонки плачут, как мечутся, подписывая отказную. Смотреть на это снова не хотелось.

— Всё нормально? Я пойду?

— Иди-иди. Отлично у нас всё! — Мария Михайловна обтирала звонко кричащего младенца.

Выйдя из бокса, он мельком заметил, как акушерка кладёт ребёнка на живот матери... Матери... как они так: девять месяцев ходят и знают, что отдадут? А мужики-то их — тоже странные. Это ж твоя кровь, как ты её отдать можешь кому? Ничего ж не может быть в этой жизни настолько твоим, как ребёнок, инстинкт самца должен срабатывать. Никакой закон или обман не сможет сделать его не твоим: природа сильнее, как бы дальше ни пошло, но ты дал ему жизнь... Игорь не считал себя религиозным. Да и о Боге вспоминал обычно только в самолёте, когда трясло. Но, размышляя об отказниках, он был уверен, что так нельзя. И не важно, почему. Просто нельзя, и всё.

Он спустился в платное отделение. Хотелось пить и выпить. Ещё хотелось в душ, смыть впечатления. Возле кабинета нетерпеливо расхаживал докторяк. Его жена сидела, обмахиваясь журналом.

— Проходите! — буркнул Игорь. — Прошу прощения, вызвали. — Он совсем не был расположен к лишним разговорам и хотел пресечь излишнюю болтливость, свойственную беременным.

— Так... значит, УЗИ. Ложитесь. А вы берите стул, пододвигайтесь к монитору.

На экране замелькали привычные очертания. Всё выглядело нормальным. Хоть здесь можно не дёргаться. Он на автомате высчитывал замеры, заносил в карту, а в пальцах всё ещё ощущал робкие удары.

— Что-то не так?! С ней всё в порядке? Она в последнее время стала очень мало толкаться! — женщина с испугом переводила взгляд с молчащего врача на озадаченного мужа, не имея возможности заглянуть в монитор.

— Растёт, вот и меньше места остаётся, чтобы шевелиться. Всё в норме. Я отклонений не вижу. По срокам тридцать восемь недель.

— А лежит нормально? Нет показаний к кесареву?

— Если бы были, я бы сказал.

— Уф, слава Богу! Я просто испугалась, мало ли что! — она умиротворённо улыбалась мужу, удивлённо глядявавшимся в шевелящиеся на экране тени.

— Меньше себя накручивайте, и ребёнку спокойнее будет. — Игорь вдруг почувствовал какую-то странную тоску. Он смотрел на эту пару

и представлял, с какой любовью они будут держать новорождённого, как этот “шкаф” всё же заплачет, перерезая пуповину, как целая делегация будет встречать её у дверей на выписку с шариками, надписями на асфальте, наклейками на машине. А для другого такого же крохотного человека первая встреча с родной матерью останется единственной. И забирать его будут дежурные сёстры дома малютки. А его мать, скорей всего, уже сегодня под расписку уйдёт через запасной выход, не выдержит после нескольких часов в палате с другими женщинами, не спускающими с рук своих малышей.

Пациентка что-то говорила, он машинально кивал в ответ для приличия ещё несколько минут, пока совсем не выдохся.

— Как схватки начнутся, берите такси и сюда. Обычная “скорая” не станет вас спрашивать, в какой роддом.

— А если не начнутся?

— Да куда они денутся. Кто там у тебя — мальчик?

— Девочка! — с нежной улыбкой выдохнула она.

— Ну, девочки могут лениться. Тогда через две недели будем стимулировать. Только предварительно позвоните, договоримся. Всего вам хорошего, меня ждут в родовом.

Закрыв кабинет, он зашагал в сторону выхода. Уже два года как не курил, но сейчас очень надеялся угоститься хоть одной сигареткой.

— Вот видишь, всё хорошо, а ты переживала, — здоровяк обнял свою жену и поцеловал в макушку. — Только ты уверена, что хочешь рожать *у этого*? Какой-то он неприятный.

— Да вроде уже решили. Не знаю, может просто занятой очень...

— Уж мог бы запомнить, что у нас девочка или хоть в карте подглядеть, или на экране своём, раз такой занятой. Он за это деньги получает.

— Ты не заводись. Главное, чтобы не грубый, чтоб во время родов не прикрикивал, а то я ещё расплачусь.

— Ещё чего! Я рядом буду, я на него сам прикрикну, если надо. Идём. Мороженого хочешь?

— Давай! Лимонного.

Игорь не спеша подошёл к турникету на входе. Охранник поделился с ним “Явой”. Дрянь редкостная, но стало полегче.

— Это вы, Игорь Владимирович? — окликнули сбоку. Доктор устало обернулся. Лопухий паренёк лет шестнадцати растеряно теребил пакет из соседнего супермаркета.

— Слушаю вас. Только я очень тороплюсь.

— А я вас везде ищу! Я на минутку! Вот! — парень протянул пакет. — Спасибо вам!

— Это что? — Игорь озадаченно взглянул на пакет, потом на его дарителя. Волосы растрёпанные, лицо неумытое, рубашка в пятнах пота, как у него бывает после дежурства.

— Эт вам. Ну, и тем, кто там ещё был. В магазине только это было. А мы потом уж отблагодарим нормально.

— За что? Вы, собственно, кто?

— За жену! То есть за ребёнка! За дочку! — парень широко улыбнулся. Игорь скептически окинул взглядом собеседника ещё раз. Обручальное кольцо у того и правда имелось.

— Мне сказали, принимали вы и акушерка Марина... забыл отчество. Это вам чаю попить. Что успел. Я ведь как ночью с ней приехал, так всё боялся отойти. Думал, это у них быстро.

— У нас нет Марин. Вы ничего не путаете на радостях? Спасибо, конечно, но мне, видимо, стоит это кому-то передать. Я роды сегодня ещё не принимал.

— Как же? — озадачился парень. — А мне сказали... Жена моя — Светка. Маленькая такая, с веснушками, волосы тёмные. Час назад родила! Дочку! Мы ещё не назвали: она переживала очень, сказала, что имя выбирать будем только после того, как родит. Первая у нас. Во, вспомнил: Михална. Марина Михална — акушерка.

У Игоря в голове складывалась картинка, но вид паренька не внушал доверия.

— Мария Михайловна принимала... Это сколько же вам лет?

— Девятнадцать! Обоим! — засиял допоухий. — Мы со школы вместе. Сразу поженились и это... Доча теперь! Спасибо вам!

— Да мне особо не за что. Основную работу делают женщины, мы лишь страхуем. Не рановато ли вы решились?

— Не, мы много детей хотим, пока молодые! — парень почему-то хлопал себя по голове, как будто там находился источник молодости. — Короче, я побежал! Светка сказала в церковь зайти, поблагодарить, что всё хорошо. У неё ведь всё хорошо там? У них, то есть.

— Да, всё в порядке, насколько мне известно.

— Спасибо вам! До свиданья! — парень впихнул Игорю в руку измятый пакет и побежал к калитке.

Игорь рассеянно смотрел ему вслед. Потом заглянул в пакет. Тортик и конфеты. Девчонки будут рады. Смешной какой папаша... В груди стало полегче. “Много хотим”, — Игорь хмыкнул, вспоминая растрёпанный вид паренька. Хорошо, если так. Посмотрим, что ты через год скажешь.

В родовом уже ощущались сумерки. Каждое время дня здесь сопровождалось своим ритмом работы. Под вечер рожают больше. Счастливых измученных женщин с закутанными конвертами у груди вывозили на каталках. Звуки отделения превращались для него в шум единого механизма. Работа была отлажена, как в муравейнике: хотя внешне могло показаться, что персонал двигается хаотически, бездумно перебегая из угла в угол.

— Какой бокс рожает?

— Пятый!

— А почему орёт третий?

— Обезболивающее ждёт! Анестезиолог в первом — отойти не может, там кесарево с астмой, побочки на наркоз бояться.

— Пошли Валю в третий, обезболит своей болтовнёй.

Игорь пару минут наблюдал за своим “муравейником”, пытаясь отключиться от эмоций и настроиться на рабочий лад. В конце коридора стояла странная парочка: мужчина и женщина в бахилах и наспех накиннутых одноразовых халатах. Женщина беззвучно плакала, приложив ко рту бумажный платок. Мужчина что-то ей говорил, то как будто злясь, то пытаясь приобнять.

Игорь двинулся к ним. Явно не комиссия и не интерны. Не роженица. Родственники. Плачет — что-то случилось. Но почему сюда пустили? Если рожают в VIP-боксе, то сопровождающие находятся внутри — санитарные нормы. В случае осложнений должны проводить из отделения. Другим женщинам вовсе ни к чему переживать за чужие беды: им всем рожать в ближайших сутки, и так перепуганы собственными схватками.

— Вы к кому? — начал он нарочито жёстко, как будто именно эти двое были виноваты в его сегодняшних наплывах сентиментальности.

— Мы из шестого блока. У нас контракт, подписано вашим главным, — мужчина говорил выдержанно, но, видимо, из последних сил. Казалось, сейчас сорвётся на крик или плач. Женщина не поднимала глаз.

— Родственники? Почему не внутри? — он осёкся, понимая некорректность вопроса. Шестой блок как раз VIP. Раз вышли, значит, там плохо. Теперь в лучшем случае женщина окончательно расплачется, в худшем — начнёт рассказывать, что произошло, а то и истерить на весь коридор.

— У нас тут беременные, со схватками, обстановка нервная. Давайте я вас провожу в холл. Там кулер с водой, автомат с кофе, передохните, — ему совсем не хотелось знать, что произошло.

— Спасибо, — мужчина поднялся, поддерживая жену под локоть. — Идём, посидим, всё будет хорошо.

Игорь довёл их до выхода. Мужчина поблагодарил кивком. Возвращаясь в отделение, Игорь в очередной раз за сегодняшний день пытался перекрыть доступ к своим чувствам, мешавшим работать. Хотя бы на ближайшие три часа. Ему необходим трезвый рассудок и уверенные руки.

Постепенно работа пошла ровнее. Он помог Кузякину, принял ещё двое родов, ассистировал при кесареве, заглянул на вечерний обход в детскую реанимацию. Напряжённый день съёживался под натиском густых августовских сумерек. Там, снаружи, они уже заволакивали небо, проникая во все закоулки. И только здесь, просачиваясь сквозь распахнутые окна, вступали в неравную схватку с ярким больничным светом.

Поток рожаящих временно прекратился. Следующий наплыв обычно наблюдался к трём часам ночи. Обычно это были те, кто чувствовали первые схватки ещё с вечера, но думали, что обойдётся. А потом посреди ночи просыпались с уже отошедшими водами. Привозили их быстро, хотя некоторые успевали родить в “скорой” или в приёмном вилу.

Но всё это позже. К тому времени Игорь будет спать дома под мерное жужжание телевизора. А пока отделение затихает, чистится, приходит в себя. Санитарки неспешно шелестят пакетами, сёстры загружают боксы лекарствами, врачи засели за карты. Любимое время дежурства. Обычно в такие минуты ему приятно было пройтись по палатам, поговорить с новоиспечёнными мамками, заглянуть в детское отделение. Там, в детском, он особенно остро ощущал свою причастность к этому священному действию природы. В своё дежурство он чувствовал себя первым крёстным отцом всех этих малышей. Если Бог есть, он где-то наверху — над всеми людьми. Тогда он, Игорь, вот здесь, на земле, на своём участке, как маленький бог. Именно родов. Именно сегодня.

В ординаторской, обложившись бумагами, Саша накручивал на пластиковую ложку заварную лапшу.

— М-мм, жаходи. Чай шкыпэл вон, — прокартавил он с набитым ртом, кивая в сторону бурлящего чайника.

— Спасибо, гурман ты наш. Камышев с язвой лежит, и ты за ним сбрался? — Игорь плеснул кипятка и плюхнулся на диван напротив Саши. — Печенье, что ль, дай?

— Вон тортик бери, Марь Михална угостила. Наш любимый — с ромом. — Саша пытался поймать соскальзывающую макаронину. — Тьфу ты, идиоты, хоть бы вилку положили... Эта-то всё-таки ку-ку.

— Чего? — Игорь не понял, о чём идёт речь.

— “Кукушка”, говорю, наша, отказную написала, зараза.

Игорь с раздражением подумал, что лучше бы и не заходил. За вечерней работой он отключился от воспоминаний об отказниках. А теперь в пальцах снова ощутил те слабые удары маленького сердца. Он постарался вспомнить наставления их профессора по этике. О праве выбора женщины, о жизненных препонах, о которых врач может и не догадываться, о том, что лучше не родная, но любящая, чем родная, но не готовая к своей миссии... Игорь взглянул на торт и вспомнил смешного молодого папашу. В душе что-то смягчилось. Ему захотелось и эту женщину простить, найти ей оправдание.

— Может, некуда ей взять его. Хорошо хоть родила, а не убила в утробе.

— Да кто знает, может, пыталась, вот он у нас едва живой и вылез. Карты-то нет. Я ж говорил, специально без документов, чтобы мы её в отчётности зафиксировать не смогли. Хитрая.

— Да кто знает, чего у неё в жизни было. А тройное обвитие у любой бывает, сам знаешь. Может, у неё мужик урод, не примет, а она любит его до безумия. Может, у неё рак или Альцгеймер, вот она и не хочет, чтобы ребёнок потом по ней тосковал. А может, её вообще изнасиловали.

— Давно это ты, Игорь Владимирович, в сказочники заделался? Сам-то хоть веришь в свои бредни?

— Да просто денёк сегодня тот ещё, — Игорь смутился, что Саша уличил его в сентиментальности.

— А, про странности. У Кузякина-то сегодня VIP-шники что отчудили! Там суррогатная мать, эти ей всё по высшему разряду оплатили, нарядились, все роды там торчали, на камеру снимали. А она родила, а отдавать отказалась!

— В смысле? — Игорь не успевал переваривать все этапы истории.

— Без смысла! На руки взяла и как заревёт, мол, не отдам, он мой, не могу. У Кузякина первый раз такое. Он их выставил, пытался с ней поговорить, а они и сами давай реветь.

— Я видел их, — Игорь представил себя на месте Кузякина. Стал бы он вмешиваться, уговаривать?.. — Вот и не поймёшь, кому из них сочувствовать. Они, наверное, бесплодные... А получается по закону ребёнок их, если яйцеклетку ей пересаживали?

— Да нет у нас никаких законов, ты где живёшь?! Она выносила, ей решать. Хоть пятьсот контрактов подпишет, за ней последнее слово. А вот ей точно взять некуда. Девчонки сказали, у неё своих трое, мужа в пьяной драке убили год назад. Решила заработать, чтобы детей поднять. Не заработала! Они теперь, наверное, деньги и за роды потребуют вернуть, и за беременность. С чего она отдавать будет? Но вцепилась — ни в какую!

Игорь медленно переваривал услышанное... У него ни разу не было родов с суррогатными матерями, и он слабо представлял себе, как это бывает. Сразу ли отдают родителям или выкладывают роженице на живот? Или к груди прикладывают? Дают ли попрощаться или поскорей уносят?.. Он представил эту женщину, сидящую там, в навороченной палате, с малышом, которого она носила, зная, что отдаст. И вот — не смогла. Держит его и плачет. Думала, сможет, но природа взяла своё. И как она вместо денег принесёт домой ещё одного голодного птенца. И как она дальше с ними будет...

— А эти какие-то крутые, с главным всё напрямую решали, фамилии зашифрованы, чтобы никто не узнал потом. Понакупили уже всего, всю палату заставили и игрушками, и люльками-одежками. Не знаю, уехали или сидят ждут, вдруг передумает...

— Вот не позавидуешь! Слушай, а там кто у них родился?

— Да вроде пацан. Да кто б ни был, им от этого не легче.

— Может им этого предложить? “Кукушонка” твоего?

— М-мм, ну, предложи, и чего? Они своего ребёнка ждали. Суррогатная — это ж биоматериал их!

— А я тупой такой, не знаю. Но я ведь вот про что: если они так хотели ребёнка, может, возьмут? Такие крутые, наверняка всем близким растрезвонили, может, она даже фальшивый живот носила, чтобы не догадались. Как им возвращаться без ребёнка? А тут в тот же день, в том же роддоме, как будто знак, понимаешь? Да и мать эта, мы с тобой подтвердим, вполне нормальная, на наркоманку или сумасшедшую не похожа, младенец без патологий...

Саша нахмурился:

— Чудес что ли захотелось? Так это ты, Игорёк, не в том месте работаешь. Ты бы в фокусники пошёл, пусть тебя научат.

— Да ну тебя, — Игорь хотел разозлиться, но почему-то расстроился. Чудес и правда хотелось. Настолько, что комок подкатил к горлу.

— Может, тебе выпить?

— Может. Ты налей, а я пойду всё-таки попробую с ними поговорить. Я быстро.

Саша сочувственно проводил приятеля взглядом.

— И заявление на отпуск заодно напиши, а то совсем чудить начал! — он достал из ящика потёртую флягу, две крохотные рюмки и аккуратно расставил их на столе.



АНТОН МЕТЕЛЬКОВ



## ГОЛОСА НАШИ ВСПЫХНУТ ПЕСНЕЙ

\* \* \*

Мы несли голоса, точно факелы,  
пламенеющие на ветру.  
А они нас смолой оплакивали  
на пути к мировому костру.  
Голоса наши вспыхнут песней.  
Сотни, тысячи голосов.  
Мы уже не умрём,  
а умрём — так воскреснем  
и уже не умрём.  
Вот и всё.

\* \* \*

Ты уехал, я осталась  
до свиданья не сказал  
и осталась только старость  
где вагон а где вокзал

---

*МЕТЕЛЬКОВ Антон Сергеевич родился в 1984 году в г. Новосибирске. По первому образованию — проектировщик радиоэлектронной аппаратуры, по второму — режиссер любительского театра. Работает библиотекарем в ГПНТБ СО РАН и там же учится в аспирантуре. Автор сборника стихов “Футляр”. Публиковался в журналах “Сибирские огни”, “Урал”, “Введенская сторона” и др. Лауреат ряда литературных премий. Участник и организатор поэтических акций в Новосибирске и других городах России.*

ты уехал и как будто  
погасил мои глаза  
ты уехал и кондуктор  
не нажал на тормоза  
и по шпалам отбренчала  
цепь надежд и цепь утрат  
у перрона у причала  
я стояла до утра  
ты уехал оборвалась  
в кулаке живая нить  
ты уехал я осталась  
ничего не изменить.

\* \* \*

Плач оконного стекла  
на окраине села  
плач о ласточке в степи  
превращающей стихи  
в тополиные бега  
плач реки о берегах  
плач по сказочным лесам  
не по дням а по часам  
плач согбенный подо льдом  
от него заносит дом  
на окраине села  
снеговая пастила  
в небесах висит калач  
спи, мой мальчик, спи, не плачь.

\* \* \*

Иван не носит сапогов  
дождя он не боится  
ему всего лишь первый год  
летает он как птица  
иван не знает дважды два  
е-два и е-четыре  
но понимает все слова  
и в том, и в этом мире  
а если вы начнёте лезть  
мол, как вы так живёте  
он вам ответит: счастье есть  
но вряд ли вы поймёте.

\* \* \*

Спит дитя под лист страниц  
хвост лисиц и хворост птиц  
хворость всех людских больниц  
нежной ночью обленись  
ночь-лисица съест луну  
ты уснёшь и я усну.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



## НАВСТРЕЧУ

ПОВЕСТЬ

### 1

Господи, с каждым из нас Ты говоришь на том языке, который он может понять, каждому ищешь тот путь, которым он может пройти. Мы же не слушаем Тебя, теряемся, и тогда Ты опять и опять обращаешься к нам, чтобы вести навстречу Себе...

Ночью перед отъездом в Москву я никак не мог заснуть.

Мне как будто мало было замкнутого пространства моей комнаты — я вставал с кровати, ходил от окна до двери и обратно, а потом торопливо выскользнул на улицу. Было по-летнему тепло и свежо. Днём прошёл сильный дождь, и потому город был залит водой, а ночные огни мерцали прямо из-под ног. Я шагал по знакомым до щемящей тоски переулкам, и мне казалось, каждый перекрёсток, каждый двор пропитан воспоминаниями. Изредка тяжело проезжали мимо машины, вздымая высокие буруны чёрной воды по обе стороны от себя.

По этим улицам, будучи ещё школьником, я часто бегал после уроков, чтобы потом будто случайно попасться на пути девушки, в которую был без памяти влюблён. В школе вокруг неё всегда толпились многочисленные подруги, а до дома она обычно шла одна. Я никогда не заговаривал с ней сам,

---

*ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году. До окончания школы жил в Башкирии. Учился в МФТИ. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар М. Лобанова). Участник II Всероссийского некрасовского совещания молодых писателей (семинар А. Казинцева и С. Макаровой). Ведёт авторскую рубрику "Дневник читателя" на сайте "Росписатель". Победитель III Литературного форума "Золотой Витязь" в номинации "Дебют". Живёт в Москве.*

я был на три года старше и никому никогда не признался бы, что мне нравится восьмиклассница, а особенно ей самой. Но она отчего-то чувствовала мою робость и, приблизившись, изо всех сил ударила меня по плечу. А я всякий раз удивлялся, как она смеет, но мог только сдержанно и неодобрительно качать головой в ответ или строго выговорить: “Осторожно, Саша...” А когда она скрывалась за поворотом, подолгу гулял по городу, думая о ней и предчувствуя что-то радостное и томительное. Как-то, найдя в учительской школьный журнал их класса, я узнал номер её домашнего телефона, но так и не решился позвонить...

А потом Саша попала в реанимацию. Ходили слухи, что она выпрыгнула из окна девятого этажа, но я не мог в это поверить. И теперь, через полтора года, я всё ещё помнил тёмные холодные коридоры этой больницы, по которым я блуждал, стучась, открывая какие-то двери, не находя никого. Вдоль стен стояли деревянные лавки, сильно пахло хлоркой. За стеной плакали, и оттого мне становилось страшно. Наконец, я оказался в просторной палате, которую заливали лучи зимнего солнца, отражавшиеся на белых стенах, на белом столе, белой простыне на кровати, закрывающей неподвижное тело. Сначала я даже не узнал Сашу. Переливалась радужными цветами трубочка капельницы над её головой, бегали озорные блики по прозрачной дыхательной маске. Я хотел было подойти к кровати, но не решился, и лишь немного наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть лицо, светлые волосы на подушке — такие длинные и густые, что их не смогли даже как следует собрать в пучок чужие руки врачей. Саша не видела и не слышала меня, и только в воображении мне показалось, что ритм сердца едва участился, когда я тихо позвал её по имени.

В тот момент чьи-то сильные пальцы схватили меня и поволокли прочь. Лишь в коридоре я разглядел перед собой женщину в белом халате с полными багровыми щеками, сердито говорившую мне о том, что это реанимация и сюда никому нельзя.

— Может, передать ей что-нибудь от тебя? — спросила она в конце неожиданно мягким голосом.

И тогда у меня всё смешалось — и страх за Сашу, и гора сочных красных яблок, которые я зачем-то хотел ей передать. “А как же она будет их есть?” — подумал я. И только несколько дней спустя я понял, что та медсестра имела в виду передать на словах: что Саша мне дорога, что я её люблю...

Отпевали Сашу в старой городской церкви. В детстве бабушка несколько раз водила меня сюда, и я помнил, как из-за тесноты люди постоянно задевали друг друга локтями, когда крестились. Теперь же меня удивило, что внутри было пусто и холодно. На похороны пришли одноклассники Саши и учителя. Всем раздали по свечке, а пожилая учительница математики каждому предлагала маленький клочок бумаги, чтобы не обжечься горячим воском. Гроб стоял поодаль, между крестом и купелью. Саша была одета в белоснежное платье, а вдоль тела лежали ярко-красные розы.

Долго стояли в темноте, но никто не подходил к нам, будто мы были здесь чужие. Я слышал надтреснутый старушечий голос, недовольно повторяющий, что самоубийц не отпевают, и другой, пронзительный и нервный, убеждающий, что это всё неправда и что девочка умерла в больнице. Но вот у входа началось движение, постепенно передаваемое всем. К вошедшему в притвор священнику зашепила худенькая женщина в больших очках и принялась отчаянно шептать что-то на ухо. Священник слушал, нахмурившись, и я видел, как отблески свечей едва колеблются в чёрной блестящей бороде. Рядом стояла суровая старушка из свечной лавки и глядела на всех исподлобья. Я понял, что решается что-то важное, но не мог понять, что именно. Все были напряжены, ожидая окончательного приговора.

Наконец, священник разобрал, что хотела сказать худенькая женщина, и резко взмахнул рукой, заставляя её молчать. “Всё знаю”, — выговорил он, ненадолго подошёл к родителям Саши и, не глядя ни на кого больше, скрылся в алтаре. Вскоре церковь наполнилась успокаивающим запахом ладана, а я, обессиленный, едва держался на ногах.

Я плохо запомнил сами похороны, и только отложилось в памяти, как мы медленно идём по извилистым улочкам мимо могил, а под ногами — замёрзшие следы грузовых машин. Несколько человек пытаются запеть, но их голоса постепенно хрипнут и замолкают. Ещё запомнил, как падает мой комок мёрзлой земли на крышку гроба и как та же худенькая женщина в очках начинает что-то долго говорить о Саше. Мне холодно, холод ледяной водой стоит в ботинках, трогает лицо и пальцы. Я закрываю глаза и вдруг ощущаю полное безразличие...

Вернувшись в свою комнату после похорон, я сел на кровать и долго ещё смотрел вокруг. На столе лежали школьные тетради, в шкафу висела одежда. Мне хотелось сейчас же вскочить, что-то ещё сделать, опять бежать в церковь или на кладбище, но ничего уже не надо было. Тогда я лёг, обхватив себя руками, и почувствовал, как тянутся секунды. В тот момент в комнату ко мне вошла бабушка и вдруг так сурово сказала: “Лежит и лежит, будто у него бабка родная умерла”. До сих пор осталась у меня обида на неё, закалённую жизнью до такой стальной твёрдости, через которую уже никакое чувство не может проникнуть внутрь.

Следующей ночью мне приснился сон, как я иду по мутным, заполненным дымом коридорам. Полная медсестра с багровыми щеками не пускает меня, что-то говорит, хватая за плечи, но я, наконец, прорываюсь в палату. И там, среди ровных рядов кроватей с неподвижными больными, сидит Саша, наклонив голову вперёд, и, накручивая распущенные волосы на пальцы, кричит громко, пронзительно, страшно. Я проснулся от сильной тоски и сначала не мог понять, где нахожусь. Машинально я поднялся с кровати, взял в руки трубку телефона и позвонил по Сашину номеру, а потом долго сидел на короточках перед телефоном, представляя, как в её пустой квартире раздаются одинокие звонки. Но когда услышал заспанный женский голос на том конце, испуганно бросил трубку. Я не мог поверить, что её родители по-прежнему живут у себя дома, что они не умерли от горя.

В нашей квартире на кухне в углу висела выцветшая икона в деревянной рамке, а под ней — большая полка, в которой пылились бабушкины старые церковные книги. Эта полка всегда была чем-то инородным среди других предметов, кажется, я даже никогда раньше не прикасался к ней. Но в ту ночь я достал оттуда потрёпанную книжицу с чёрным крестом на обложке, раскрыл её наобум и принялся читать. Мне казалось, что если сейчас изо всех сил начать молиться, то можно перенестись назад в то время, когда Саша ещё была жива, и всё исправить. Я отчаянно верил в чудодейственность древних слов, и мне вдруг показалось, что это произойдёт вот именно сейчас, нужно только как-то особенно произнести: “И ныне, и присно, и во веки веков...” — ещё и ещё раз... Но ничего не происходило. Тогда я опять лёг в кровать, но всё ещё настороженно вслушивался, не позвонит ли телефон. Я точно знал, что если это произойдёт, то на другом конце я услышу её голос.

На девятый день после Сашиной смерти мы с бабушкой ходили в церковь. Было по-обычному людно, будто ничего не случилось, будто никогда и не было здесь Сашиного гроба, а по-прежнему шла всё та же утомительная служба, что и всегда. Церковь показалась мне чужой. А когда подавали записку за усопших, я вдруг увидел в свечной лавке ту самую суровую старушку, которая спорила с кем-то из Сашиных родственников в день похорон. Не глядя на нас, она монотонно ударяла красным карандашом по каждому имени в записке, а потом недовольно произносила себе под нос: “Все крещёные, нет самоубийц?” Бабушка грубо ответила: “Нет”, — и в тот момент я был так благодарен ей за этот обычный суровый тон. Но в то же время неясная тревога защемила мне сердце. Я почувствовал какую-то странную отдалённость Саши от других умерших людей, которую всякий раз надо было с таким трудом преодолевать, а вместе с тем отчего-то и свою отдалённость от остальных живых.

Я почти перестал общаться с друзьями, на переменах сидел за партой один, не глядя на других и не слушая, о чём они говорят. Меня не интересовали прежние увлечения. Иногда по ночам я опять вставал перед иконой.

Но от этих молитв мне становилось только тоскливее. Я уже не верил в то, что Бог сделает для меня чудо, потому что был какой-то твёрдый закон, по которому что-то было можно, а что-то — нельзя. Но чем яснее я понимал это, тем настойчивее продолжал молиться с какой-то странной детской ожесточённостью. Мне будто хотелось победить этот злой закон, доказать, что я сильнее его... И теперь, через полтора года, в эту долгую бессонную ночь, когда я бродил по родным улицам, я думал, почему же всё это так сильно повлияло на меня. И может, если бы Саша просто исчезла из города, я бы забыл о ней через несколько месяцев, и ни больница, ни церковь, ни смертельно холодное кладбище не остались бы в моей душе кровоточащей раной...

Моё пробуждение случилось через три месяца после похорон на выпускной школьной линейке. Как всегда, я стоял поодаль от своих одноклассников и о чём-то думал. Поднимались вверх воздушные шары, пущенные в честь праздника, и один из них застрял в листве. Жмурясь от солнца, я смотрел на этот шар и вдруг так ясно почувствовал, что мне всего семнадцать лет, что впереди целая жизнь, и мысль об этом поразила меня. Весь день потом я ходил, как влюблённый, опьянённый этой неожиданной мыслью.

С того дня я как будто вынырнул из воды. Наступившее лето неожиданно стало для меня временем вдохновенной радости и жажды жить. По ночам я больше не стоял на коленях перед иконой, а всё больше лежал в кровати, мечтая о каком-то большом счастье, которое должно было ждать меня впереди. Часто мне казалось, что это счастье связано с окончанием школы, с какими-то новыми знакомствами и впечатлениями, ждавшими меня впереди. Но иногда смутное чувство грусти вдруг накатывало на меня, и тогда я с удивлением вспоминал свои недавние восторги.

Я поступил в институт в Москве и почти на год уехал из родного города. Учиться было тяжело, и я почти не помнил дневных часов, потому что проводил их на занятиях или задерживаясь в аудиториях после занятий, и лишь после закрытия института возвращался в общежитие. А если удавалось занять место в ночной читалке, то подолгу сидел в пахнувшей деревом маленькой комнате, где то здесь, то там моргали одинаковые тусклые лампочки на столах. Наконец, в ясном предрассветном воздухе раздавался гулкий перестук первой электрички, и надо было идти спать.

Я возвращался в комнату — соседи обычно уже лежали по кроватям. Я наливал себе некрепкого тёплого чая и сидел, почти не двигаясь, время от времени делая несколько глотков и так же осторожно опуская чашку обратно на стол. А потом отыскивал в своих вещах бабушкину книжицу с чёрным крестом на обложке, которую часто читал после смерти Саши. Но открывать её не хотелось, и тогда я просто стоял, поднося её к лицу, вдыхая запах старых страниц. И так странно было осознавать, что прошло столько времени и что воспоминание, раньше прожигавшее меня насквозь, теперь равномерным грузом лежит на моих плечах, придавая каждому движению души грустную значительность пережитого горя...

И может быть, всё забылось бы само собой, если бы буквально за неделю до отъезда на каникулы в родной город не произошло бы удивительное... В тот день я проснулся от того, что распахнулась входная дверь, а за платяным шкафом, отделяющим мою кровать от входа, раздались звуки шуршащей одежды и осторожное перешёптывание. Я знал, что сегодня должен был приехать кто-то из родственников Сени, моего соседа по комнате, но даже не помнил точно, кто именно. Вдруг из-за шкафа неуверенно шагнула девушка лет шестнадцати, и меня сразу же обожгли две яркие точки её глаз, так что я даже не сразу осознал, кого же они мне так пронзительно напоминают. Девушка остановилась прямо на том месте, где большой солнечный блик падал на стену, и, часто моргая, силилась распахнуть глаза. Я поднялся с кровати и сказал ей: “Привет”, — а она порывисто обернулась и, ещё даже не разглядев меня, сказала то же самое.

Позже я узнал, что Женя — сестра Сени, что она окончила школу и приехала подавать документы в университет. В тот день мы с ней и с Сеной пили чай, разговаривали, и мне нравилось украдкой наблюдать за Женей. Я угадал, что она находилась в особенном эмоциональном напряжении

и была так поглощена своими чувствами, что почти не замечала ничего вокруг. Наверное, общежитие, где мы жили, представлялось ей особенным миром, и ей жадно хотелось узнать этот мир. Она порывисто наклонялась к уху Сени и начинала что-то шептать, но тот отмахивался от неё и выразительно крутил пальцем у виска. Как раз в такой момент я возвращался из кухни с полным чайником. Вдруг я понял, что Женя просит показать ей институт. Не знаю, что на меня нашло тогда, но я с весёлой настойчивостью вручил Сене чайник и сказал ей: “Пойдём”. Женя торопливо вскочила с места.

Я почти не помнил, о чём мы говорили, скорее всего, я рассказывал о студенческой жизни, а ей хотелось слушать ещё и ещё. На улице шёл дождь, и в лицо нам настойчиво летели промокшие хлопья тополиного пуха, так что нас шатало из стороны в сторону, а нам было от этого только веселее.

Чтобы спрятаться от дождя, мы забежали в маленький магазин у платформы и встали перед витриной, выбирая, что бы купить. Женя откинула капюшон, и я удивился, как же всё-таки сильно она похожа на мою Сашу. Лицо её покраснелось ещё сильнее, а чёлка лезла в глаза, и она всякий раз небрежно смахивала её в сторону.

— Может, по мороженому? — предложила она, с дерзкой решительностью взглянув на меня.

А мне вдруг так сильно захотелось, чтобы она сейчас изо всех сил ударила меня по плечу, и я только растерянно кивнул. Мы вышли на улицу под дождь — от мороженого сводило зубы, но оба делали вид, что оно нам очень нравится...

А потом все эти последние месяцы, пока я был в родном городе, мы переписывались короткими телефонными сообщениями, а иногда я даже звонил ей на домашний. Кажется, сначала Женя ещё удивлялась этим моим звонкам, но вскоре привыкла и даже совсем перестала стесняться, и взахлёб рассказывала о том, сколько набрала баллов на экзаменах и как она рада, что смогла поступить учиться в Москве. А я слушал её голос и улыбался. И хотя она ни разу за это лето не сказала, как относится ко мне, не сказала даже, что рада моему звонку, но когда трубку брала её мама и громко объявляла моё имя, я слышал, как Женя торопливо выбегает откуда-то из глубины квартиры, и мне казалось, что эта торопливость значит гораздо больше каких бы то ни было признаний.

И теперь я шёл по родному городу, и мне было и тревожно, и радостно от мыслей о ней, и так отчаянно хотелось молиться от того, что жизнь моя не оборвалась, что чудо, которого я когда-то так ждал, произошло и что где-то живёт девушка, которая думает обо мне, а возможно, даже так же, как и я, ждёт нашей встречи. “Завтра, завтра я буду в Москве, а послезавтра утром, возможно, увижу её...” — шептал я про себя. Казалось, от этих моих слов, произнесённых в тёплый летний воздух, какая-то невидимая связь навсегда устанавливается между мной и Женей. А все школьные воспоминания становятся уже не просто отзвуком старого, но началом того неведомого и важного, что надвигалось на меня.

Постепенно начало светать, но я всё ещё не ощущал ни усталости, ни сна. Яснее стали очертания домов, донеслись первые утренние звуки. Город зазвенел, сначала тихо, исподволь, будто едва задрожали троллейбусные провода. Но едва только я попал на свободное пространство, дунул ветер, нарастая, злясь, хлеща ветвями деревьев по натянутому воздуху. Загремел проходящий за гаражами поезд, напряжённо заработала неизвестно откуда взявшаяся здесь в это время газонокосилка, и каждый такой звук врывался внутрь меня. Я остановился и хотел было повернуть назад, но не мог объяснить себе, зачем же мне возвращаться, и так и стоял, разрываемый смутными порывами, задыхаясь от необходимости что-то сделать, как-то заглушить нарастающее чувство внутри, и лишь через минуту опять двинулся вперёд...

Я пришёл домой, когда уже окончательно рассвело, и осторожно проскользнул на кухню. Во всей квартире было тихо, и это зыбкое утреннее спокойствие так легко было разрушить одним неловким движением. Надо мной висела старая бабушкина икона, и выцветшее лицо на ней казалось незыб-

лемым, неизменным с самого моего детства, а может, даже с того времени, которое было задолго до моего рождения. Но я не боялся этой строгой древности, наоборот, мне хотелось как-то отблагодарить её. И тогда несерьёзно, как бы для пробы, я опустился на колени, как делал это в школьные годы. Было по-прежнему тихо, только где-то за стеной мерно капало из крана. Я недолго постоял так, ощущая неловкость, будто в этот момент кто-то обязательно должен был войти на кухню, а потом торопливо перекрестился и поднялся на ноги.

А вернувшись в комнату, я не стал включать там свет и лёг прямо на деревянный пол, ощущая спиной неровность досок. “Господи, дай ей жить... дай жить, — повторял я в темноту, а дремота постепенно сковывала мои губы. — Пусть мне будет тяжело, пусть я никогда не буду счастлив... только сделай так, чтобы она жила...”

И когда через несколько часов тронулся мой поезд, исчез за окном вокзал, замелькали деревья, и в вагон ворвался густой смолистый запах леса, отчего-то похожий на запах ладана в церкви, мне так ясно стало, что там, в Москве, ждёт меня что-то необыкновенное и важное, а всё прошлое было лишь подготовкой к нему...

## 2

Женя приезжала в Москву через день после меня. На вокзале её должен был встретить брат Сеня, но у него, кажется, как раз в тот день были какие-то дела, и я уговорил его, что поеду сам, а он легко согласился.

Было раннее утро. Прохладный воздух ходил сквозь меня мелкой дрожью. Я стоял на нужной платформе, вглядываясь вдаль, будто не веря, что отсюда на самом деле приедет поезд с Женей. Мне казалось, происходит что-то невероятное, что какой-то неведомой силой я выброшен на этот вокзал. Неужели же всё это правда, думал я, и мы сейчас увидимся, а потом будем встречаться каждый день, а ещё через несколько лет, может, будем даже жить вместе, и я чувствовал — это правильно, и в этом есть какое-то высшее предназначение. Но если так, перебивал я себя, то почему же я сейчас так волнуюсь. И если мы должны быть вместе и на это есть высшая воля, то разве что-то может помешать этой воле исполниться?... Повсюду прямо на асфальте, прислоняясь к вокзальным стенам, сидели полусонные люди, куда-то решительно шагала женщина-цыганка, а за ней спешила пёстрая толпа детей. И удивительно было, что у кого-то могут быть сейчас другие заботы, другая жизнь.

Наконец, лёгкая дымка затуманила фигурки столбов и пересекающиеся линии рельсов, а через секунду вдали показался состав с длинным хвостом, тянувшимся из-за поворота. Объявили, что вагон Жени будет последним, и тогда я торопливо двинулся по платформе, глядя в укрупняющиеся черты поезда. И вот загрохотало рядом, замелькали квадраты окон. Я шёл всё быстрее, а навстречу мне двигались люди, сначала по одному, потом рваными цепочками, постепенно уплотняясь, превращаясь в единый поток.

Женя стояла в самом конце платформы, маленькая, испуганная, в белой курточке. Она так напряжённо глядела по сторонам, что не заметила, как я подошёл. Я заранее придумал, что скажу ей, но теперь остановился, не решаясь нарушить неловкое оцепенение.

— Устала? — спросил я нежно, и собственный голос показался мне хриплым и глухим.

— Да, не могла заснуть в поезде... А Сеня не придёт?

— Нет, он не смог, дела... Но завтра вы обязательно встретитесь, — добавил я торопливо, видя, как сильно она расстроилась.

У Жени была пузатая спортивная сумка на колёсиках, я торопливо подхватил её за ручку, и мы двинулись по платформе. Я смотрел вперёд, чтобы не налететь на шагающих впереди, и только изредка поглядывал на Женю. Сумка громко стучала колёсами, попадая в трещины на асфальте, гудел поезд на соседнем пути. Откуда-то издали монотонно объявляли прибытие и отправление. И было странно, что всё так просто и буднично, словно мы обыч-



ные люди, одни из сотен приезжих и встречающих на этом вокзале, словно не происходило сейчас ничего необыкновенного.

Хорошо помню, как спускались по эскалатору в метро. Стояли на соседних ступеньках, но ещё как-то отдельно друг от друга. Женя наклонила голову, и я мог видеть только краешек её лица. Кажется, в метро было даже холоднее, чем на улице, потому что иногда она подносила ладонь к щеке и начинала сильно тереть её. А мне так радостно было, что её сумка в моих руках, и оттого мы уже будто бы не совсем чужие, и я даже не пытался о чём-нибудь заговорить.

Я рассмотрел Женино лицо, только когда мы уже оказались в вагоне. Женя была бледна, и её тонкие губы стали совсем белыми. Я не мог наглядеться на неё, а она ненадолго встречалась со мной взглядом, а потом отводила. Наверно, ей было неуютно, что я смотрю так пристально.

— Что, что? — спрашивала она, торопливо поправляя волосы, думая, что с ними что-то не так.

Мы вышли из метро и сразу же потерялись в сплетении улиц, жужжании машин, потоке людей. Я никак не мог понять, в какую сторону идти к Жениному общежитию, и потому мы двинулись наугад. По пути нам попалась шумная компания парней, у одного вокруг шеи был обмотан длинный оранжевый шарф, он что-то рассказывал, а остальные смеялись. И у меня вдруг сжалось сердце от неожиданной ревности, будто я уже знал, что Женя скоро будет среди них, такая же весёлая и беззаботная.

Общежитие мы увидели издали. Это было высотное здание в два крыла, разделённое переходом с тяжёлыми дверями посередине. Над переходом навис широкий козырёк, а с обеих сторон от дверей, будто лапы, поднимались две бетонные лестницы в несколько пролётов. Сквозь огромные стёкла было видно множество студентов, толпившихся в переходе, — это была очередь на заселение, которую нам предстояло отстоять. Но я переживал не об очереди. Мне почему-то казалось, что там, внутри, может, даже в этой толпе начинается закрытая от меня беспечная жизнь, и мне никогда не победить в борьбе с ней...

Так долго тянулся этот день — сначала нужно было дожидаться коменданта, потом кастеляншу, которая раздавала ключи и бельё. Я старался участвовать во всём, что нужно было сделать, как будто от того, как я сейчас во всём разберусь, какую комнату выберем, как Женя заселится, зависело всё наше будущее счастье.

Мы ещё стояли с ней в одной из этих очередей в коридорах общежития, когда Женя вдруг отошла к окну, словно увидев там что-то особенное. Я приблизился — за окном виднелись дома, а за ними — шпиль здания университета и небо, постепенно превращающееся из дымчато-белого в голубое, и чем выше поднимался взгляд, тем янее и чище была эта пронзительная голубизна.

— Я так счастлива, — проговорила Женя, не оборачиваясь ко мне. — Мама последнее время много рассказывала, как она жила в общежитии, когда была молодая, как они ходили на занятия, как весело было.

— Знаешь, я до сих пор не могу поверить в то, что буду учиться здесь, — продолжала она порывисто. — Иногда я просыпаюсь ночью, и мне кажется, что не хватило баллов и я не поступила, и что теперь всю жизнь проживу у себя в городе, и мне становится так грустно.

Мне показалось, что её мысли очень созвучны моим, и оттого я вдруг испугался, что скажу сейчас что-то не то, и ещё минуту стоял молча, но слова так и не приходили.

— Кажется, скоро наша очередь, — заметил, наконец, я, чтобы перевести тему разговора, и мы поторопились к дверям кастелянши...

А вечером, когда хлопоты были окончены, Женя вышла вместе со мной на улицу, чтобы проводить, и мы медленно зашагали по узкой дорожке, ведущей от общежития к оживлённому проспекту. Вдалеке мелькали машины, нервно мерцали яркие вывески магазинов, а из-за нагромождения домов на другой стороне поднималось огромное, как Колизей, здание торгового центра. И чем ближе мы подходили к проспекту, тем сильнее наваливался на нас

шум машин, так что почти невозможно было ничего больше услышать. “Ох, Лёшка, я так устала, эти длиннющие очереди, поселение... Я даже не представляла, что будет так тяжело”, — жалобно сказала Женя, и это неожиданное “Лёшка” зазвучало как-то слишком близко, а оттого так неестественно. Я рассеянно ответил что-то. А на прощание она неожиданно повернулась и порывисто прижалась щекой к моему плечу. А я стоял неподвижно, не зная, обнимать ли мне её в ответ или же сдержаться, чтобы не нарушить неожиданное счастье.

Теперь-то я понимаю, что это была просто благодарность за то, что я был рядом в этот тяжёлый для неё день, и наверняка понимал это и тогда, но всё равно не мог справиться с нахлынувшим чувством. Женя ушла, а я остался, удивлённо оглядываясь по сторонам. Рядом стояли люди, в луже отражался свет фонаря, наклонившегося прямо надо мной. Мне казалось, что время остановилось и с той пронзительной секунды, как она прижалась ко мне, до сих пор тянется одно только мгновение, которое я почему-то переживаю полнее и глубже, чем обычно.

Наконец, я сделал шаг, ощущая, как двинулась на меня сырая стена воздуха. И тогда наступило следующее мгновение, а за ним ещё и ещё, будто бы тронулся неведомый механизм. Дома раздвинулись, и я шёл вперёд, не замечая, что наступаю прямо в огромные лужи на асфальте. Счастье было таким явным, как вспышка, я ощущал его отсветы везде — на ветках, в машинах, в огромных зданиях этого чужого, но уже отчего-то красивого города.

Я спустился в метро, и грохот поездов оглушил меня.

### 3

С того дня началась моя новая жизнь. Первые недели этой удивительной осени меня ни на минуту не покидало ощущение бесконечного счастья. Мы встречались после Жениных занятий в университете, втискивались в наполненный людьми трамвай, замирали у дверей, а потом спрыгивали с подножки и изо всех сил неслись к её общежитию. И каждый раз я чувствовал, как воздух вокруг натягивается, рвётся, и как отовсюду захлёстывает меня что-то старое и родное, будто я вернулся на два года назад, и всё ещё бегая по своему городу в поисках Саши.

Я видел, как Женя постепенно привыкает ко мне, как я становлюсь важен для неё, но мы по-прежнему ни разу не заговорили о наших отношениях, а я никак не решался ни поцеловать её, ни приобнять. Мне всё казалось, что это должно случиться само собой, и гораздо важнее то, что нам хорошо вдвоём.

Женя постоянно переживала, что мы что-то не успеваем: готовиться к её занятиям, гулять, разговаривать, не успеваем вдохнуть нашу весёлую жизнь. Она могла вдруг вести меня в парк, на птичий рынок, на занятия танцами, а тем же вечером позвонить и в отчаянии сказать: “Какая же я глупая, у меня завтра контрольная, а я...” “Давай не будем больше ходить туда, хорошо?” — просила она потом, как будто это я уговаривал её ещё несколько часов назад. А я не понимал этой торопливости, этого желания вместить в себя всю вселенную, способности загораться до безудержной страсти. Но бывали моменты, когда Женя радовала меня до отчаянного восторга в душе. Как-то раз она рассказывала о своих новых подругах из университета и о том, что они ходят на дискотеки и в ночные клубы, а потом неожиданно заметила: “А мне всё это неинтересно, там нет воздуха, это всё ненастоящее”. И я удивлённо вздрогнул тогда — так важны были для меня эти слова, они звенели во мне целый день, отражаясь, усиливаясь многократно.

По вечерам мы сидели у Жени в общежитии и занимались то математикой, то экономикой, и я с лёгкостью объяснял ей любое задание, потому что всё это уже проходил год назад. За огромным окном прямо перед нами лежал весь город, а сади ходили туда-сюда Женины соседки по комнате и иногда хихикали, с интересом поглядывая на нас. Мне нравилось, что для них я Женин парень, и от многозначительных взглядов в мою сторону мне каждый раз становилось приятно и спокойно. Женя же как будто не замечала

их, и в перерывах между занятиями, не стесняясь соседок, мы беззаботно болтали обо всём подряд.

В те недели я постоянно не высыпался, но всё равно каждый раз задерживался у Жени и возвращался к себе на последней электричке. Смертельно клонило в сон, но я шёл от станции до общежития, машинально делая каждый шаг. Мне представлялось, что я должен всё перетерпеть ради Жени и что чем больше я страдаю сейчас, тем сильнее становится наша любовь. И даже вернувшись в общежитие, не сразу ложился спать, а уходил в укромное место под чёрной лестницей и молился или просто сидел, вспоминая сегодняшний день. А на следующее утро вскакивал с кровати от резкого звонка будильника и лихорадочно бежал умываться. Меня ждал долгий день: сонные лекции, торопливые занятия в читалке, электричка, метро, и опять на юг Москвы, навстречу своей отчаянной радости.

Но если бы у меня спросили тогда, какой была Женья на самом деле, что её интересовало, о чём она думала, я едва ли смог бы ответить на этот вопрос. Я не знал её, как не знал до этого и Сашу, да и в общем-то не хотел знать — я был так опьянён своей любовью, что не замечал ничего, кроме собственного чувства...

В конце сентября у нас в институте должен был проходить большой праздник в честь посвящения в первокурсники, и я пригласил на него Женью. Она приехала сразу после лекций, я встречал её с электрички. В студгородке повсюду развевались флаги, у стадиона высились огромная деревянная сцена, но студентов почти не было. Мы шагали по пустым дорожкам между корпусами, и оттого казалось, что праздник нарочно задерживает дыхание, прежде чем дунуть изо всех сил. По дороге к общежитию Женья почему-то сильно волновалась, а я пытался убедить её, что всё пройдёт хорошо.

Когда мы вошли в комнату, соседи мои сидели за столами, готовясь к предстоящим на следующей неделе зачётам, но, кажется, все трое были рады возможности отложить учёбу. Один из них, которого на курсе звали по имени-отчеству Святославом Александровичем за густую рыжую бороду и аскетический образ жизни, с удовольствием присел рядом с нами, а смуглый малоразговорчивый Гера поставил чайник и принялся делать бутерброды. Сеня насмешливо расспрашивал сестру об учёбе.

Женья некоторое время ещё была в своих мыслях и, кажется, чего-то смущалась, но потом вдруг вспыхнула, увлечённо заговорила о своём университете, о лекциях и тяжёлых заданиях, стала ругать Сеню, что он так редко к ней приезжает. А через минуту с весёлой беззаботностью подскочила к столу, чтобы помочь нарезать хлеб, а когда закончила, стала вытирать скатерть. Гера оглядывал её с едва заметной укоряющей улыбкой, как шалившего ребёнка, а Святослав Александрович оживился и принялся с увлечением спорить о том, какое образование лучше, наше или их. Я же мгновенно потерялся и стоял молча, удивлённый этой внезапной открытостью Жени и радостной смелостью, с которой она теперь вела себя в нашей комнате.

Тем временем за окном постепенно нарастали звуки музыки, криков и громкого смеха. Женья зашла за шкаф, чтобы переодеться, а потом вышла в ярко-красном платье с открытыми плечами. Я взглянул на неё и поразился этой неожиданной, но уже такой взрослой женской красоте.

Впятером мы вышли на улицу и сразу же попали в необыкновенный водоворот: то здесь, то там бегали разгорячённые праздником студенты, кричали, зажигали огни. Женья с наслаждением закрыла глаза и сказала, что всё это похоже на сказку.

Мы долго не могли пройти вперёд, потому что толпа студентов перекрыла улицу перед общежитием. Один из них держал огромный флаг института и, выйдя прямо на дорогу, отчаянно размахивал им, другие столпились вокруг, останавливая проезжавшие машины. Женья была опьянена происходящим, и, когда мы пробирались сквозь толпу, я несколько раз оборачивался и ловил блеск в её глазах.

Я терялся в этом шуме, в этом беспорядочном веселье, в этой всё усиливающейся музыке, прожигающей насквозь. Мне казалось, что все вокруг

смотрят только на Женю, на её огненное красное платье. А когда мы уже стояли прямо перед сценой, на которой проходил концерт, и кто-то из толпы случайно касался её, во мне вскипала горячая волна ожесточения. Один из незнакомых парней протянул в нашу сторону бутылку пива, так что я было подумал, что она предназначена Жене, и вырвал эту бутылку у него из рук. А он только удивился моему дикому взгляду и отшатнулся от нас.

Потом мы медленно шли в сторону общежития, и я торопливо вдыхал ночной воздух, радуясь, что мы наконец-то возвращаемся. Кажется, никто не заметил моего сильного волнения, все были спокойны и умиротворённо молчаливы. Гера весело поёживался от вечерней прохлады, Святослав Александрович широко улыбался. В отсветах фонарей я видел, как едва колыхаются Женины растрёпанные волосы.

— Знаете, раньше, когда я жила у нас в городе, мне казалось, что здесь, в Москве, какие-то особенные люди, — мечтательно заговорила Женья. — Сильные духом, такие, которые знают, чего они хотят. Но оказалось, их здесь почти нет, и теперь я понимаю, что таких людей вообще очень мало... А мне самой, наверно, не хватает этих качеств, и поэтому я всё время ищу их. Я хочу, чтобы рядом находились сильные люди, со стержнем...

Я слушал её, и мне было грустно, что она не говорит явно, что хочет, чтобы рядом с ней был я, и что на самом деле я слабый и подверженный эмоциям человек, то загорюсь, то погасну, и совсем не подхожу Жене. Я убеждал себя, что всё хорошо, что она идёт рядом со мной, а на ней — моя ветровка, которой я укрыл её плечи от холода, но всё равно ощущал себя будто закованным в тяжёлые цепи.

— А что такое этот стержень? — только и смог выговорить я глухим голосом.

— Не знаю, — пожала плечами Женья, — но всегда видно, когда он есть!

— Главное, чтобы сила была с умом, тогда и остальное приложится, — вмешался Святослав Александрович, а Женья приветливо кивнула ему, хотя он ничего и не понял из того, о чём она говорила.

Я видел, что Женья чувствует необыкновенное вдохновение, что эта обстановка — праздник, ещё гудевший где-то вдалеке, новые люди рядом — всё и волнует, и радует её одновременно. Я понимал её состояние, но мне было больно оттого, что эти её теперешние волнение и радость не связаны напрямую со мной. Я удивлялся её мыслям, их неожиданной глубине, но мне обидно было, что она высказывает их не мне одному, а ребятам — как бы перед ребятами хочет показаться умной и глубокой, хотя именно я и только я мог бы по-настоящему понять её.

— Мне так хорошо здесь у вас, я чувствую настоящую жизнь, — произносила она порывисто, но задумчиво, и мне становилось ещё тоскливее...

Вернулись мы за полночь, я дождался, пока Женья заснёт, а сам лёг на пол. Из окна доносились запоздалые звуки — то чей-то крик, то пьяная песня, а потом всё смолкало, и только у меня внутри отчаянно билось сердце, будто злополучный праздник всё ещё продолжался там. В темноте резал глаза свет от настольной лампы на столе Геры, который тоже отчего-то не спал. Вдруг я вспомнил слова Жени о стержне и неожиданно подумал, что у меня ведь есть моя вера и что, несмотря на всю мою мягкость и впечатлительность, я на самом деле гораздо сильнее всех этих людей за окном. Я вскочил, взволнованный этой мыслью, и увидел, что Гера поднял глаза от учебника и почему-то внимательно смотрит на меня.

— Всё хорошо, — твёрдо сказал я ему, а он чересчур торопливо кивнул.

#### 4

С того вечера жизнь моя натянулась, так что теперь в стремительном потоке недель память почти не различает событий. Хорошо помню только день в конце января, когда мы первый раз пошли с Женей в церковь. С начала учебного года я всё хотел предложить ей это, но никак не находилось удобного момента. Потом ещё несколько раз мы откладывали из-за того, что Жене

нужно было готовиться к экзаменам в университете. И только после сессии, как раз накануне Жениного отъезда домой на зимние каникулы, собрались на утреннюю службу.

Я вышел в тот день из общежития, и было ещё темно. И каким же неподвижным показался мне вдруг зимний утренний воздух вокруг, как безмятежно лежали впереди железнодорожные рельсы, не ждущие электрички. Но отчего-то я не мог до конца успокоиться и поверить этой невозможной безмятежности.

Я вспоминал последние месяцы, и мне казалось, что мы так много потратили времени зря, постоянно ездили к нам в общежитие, проводили время с ребятами. Жене нравилось у нас, она говорила, что выходные с нами — это единственная капля радости для неё в душном мире Москвы. Но для меня всё это время было каким-то сумбурным и даже напрасным, я так и не рассказал ей главного — и про то, как со дня нашей первой встречи я думаю только о ней, и про то, как я благодарен Богу, что он дал мне её, и про Сашу, и про всю мою жизнь... Но теперь мне отчего-то казалось, что вот впереди у нас целый день перед её отъездом, и это целиком наш день, и мы столько можем сегодня успеть, о столько поговорить.

Храм находился рядом с Жениным общежитием. Это был старинный собор, огромной глыбой высившийся рядом с другими высотными зданиями. Мы опоздали, но я подумал, что это даже к лучшему, потому что Жене тяжело было бы простоять всю службу целиком. Внутри было темно и пахло сырой штукатуркой, а откуда-то из глубины надтреснутым голосом вычитывали псалмы. Мы вошли, и мне вдруг стало страшно.

Людей оказалось мало, мы стояли вдвоём прямо напротив того места, на которое выходил священник. Сначала я решил было поклониться к Жене и шёпотом объяснять что-то, но не знал, правильно ли это, и просто замер на одном месте, боясь пошевелиться. В напряжённом ожидании я предчувствовал каждое следующее движение службы, будто пытаюсь ускорить её мерное течение. Я хотел дотянуть до причастия, чтобы сказать Жене, что это самое главное действие, и что после него уже можно уходить, но минуты тянулись медленно.

Краем взгляда я видел, как Женья переступает с одной ноги на другую. В какой-то момент мне вдруг показалось, что она слишком сильно качнулась назад, и тогда я торопливо отступил, чтобы подхватить её, если бы она вдруг упала. Женья обернулась на моё движение, и я спросил: “Пойдём?” Она, кажется, обрадовалась и устало кивнула в ответ.

На улице пахло дымом, ветра не чувствовалось совсем. Всё вокруг испуганно замерло, как бывает перед внезапным, совершенно не ко времени, наступлением весны, и только осторожно падали на руки то ли тяжёлые снежинки, то ли капли дождя. Я боялся спросить Женью, что она чувствовала в церкви, но она сама вдруг произнесла тихо:

— Да, хорошо... Надо будет ещё раз сходить потом...

Я ничего не ответил, чтобы не нарушить это неуловимое хрупкое согласие, установившееся между нами. В этот момент она неожиданно раскашлялась и коротко улыбнулась:

— Болею немного.

— Пошли, тогда буду тебя лечить, — сказал я весело, кивая на высившееся рядом здание общежития.

Женья кивнула, но как-то неуверенно.

— Знаешь, у меня в комнате так грустно, — заговорила она после недолгого молчания, — и эти экзамены, так хочется отдохнуть после них... Давай, может, к тебе в общежитие? И Сеня ведь там, да?

Меня кольнула мгновенная досада оттого, что она не хочет быть вдвоём, даже в этот последний день перед отъездом на каникулы, а хочет к ребятам.

— Ты же болеешь? — переспросил я чужим голосом.

— Ну да, — взволнованно заговорила она. — Вот как раз у вас и полечусь, у меня всё равно поезд только вечером...

Кажется, она и сама понимала, что что-то не так и что она в чём-то виновата, и это ещё сильнее задело меня. Мы помолчали, будто переживая напряжённый момент.

— Поедем, — сказал я ожесточённо и решительно.

Наверно, этот день был похож на остальные, которые мы проводили у меня в общежитии, и только я отчего-то воспринимал всё острее. Сеня, Гера и Святослав Александрович сели за стол, чтобы пить чай с пирожными, которые мы принесли, а Женя принялась что-то оживлённо рассказывать им. Я же стоял у окна и напряжённо смотрел на маленькую льдинку, притаившуюся у нижней кромки стекла. Прямо на глазах она становилась всё меньше, кутаясь, уходя в себя, но не могла уже спастись и должна была растаять.

Я оглядывался назад и видел Женю совсем не такой, какой она бывала со мной по вечерам в её комнате. Там её весёлость казалась тихой и проникновенной, а здесь Женя всё время оказывалась в центре общего внимания, шутила и дурачилась, глаза её блестели. И я неотвратимо чувствовал, будто с каждой секундой этого странного веселья из меня уходит что-то важное.

Как раз в тот момент Женя игриво, как бы немного свысока, спрашивала у Геры и Святослава Александровича, почему у них до сих пор нет девушек. Гера хмурился и молчал, а Святослав Александрович принимался убеждённо доказывать, что он замкнутый и нелюдимый человек и что для него это естественно.

— Я уже давно проанализировал свой характер, просмотрел несколько статей, — горячился он. — У меня синдром Аспергера, из этого вытекают сложности в общении. Нужно применять специальные тренинги, и тогда ситуацию можно исправить...

— Да неправда, — возражал ему с усмешкой Сеня, всегда любивший провоцировать соседей, особенно при сестре, — с нами же у тебя не возникает сложностей в общении.

— Потому что вы существа того же пола, — эмоционально настаивал тот. — Не спорьте, я ведь изучал этот вопрос, просто психология мужчин и женщин различна, и вы ничего не понимаете!

— При чём тут синдром, когда есть настоящие чувства? — вдохновенно возражала ему Женя. — Неужели у тебя и правда такое логическое восприятие?

Святослав Александрович сердито пожимал плечами, потому что это якобы был неконструктивный вопрос, а Женя смеялась над этим так разительно, что через минуту он и сам уже начинал невольно улыбаться над собой.

Я же всё стоял у окна и не мог понять, почему же она не спрашивает ничего у меня? То ли потому, что считает себя моей девушкой, то ли потому, что её совсем не интересует то, что я отвечу. Мне отчего-то хотелось сказать что-нибудь резкое, чтобы разрушить это глупое веселье, но я только окончательно замкнулся и почти всё время до вечера молчал. Иногда Женя подходила ко мне и, глядя на моё подавленное настроение, взволнованно спрашивала:

— Ну, ты чего?

Я бессильно улыбался — всё хорошо, и ей опять становилось весело...

Помню ещё, как вечером шли по перрону, когда я провожал Женю на поезд. Ещё не начинало темнеть, но уже стало холодно, и мне казалось, что теперь никогда уже не быть нам такими счастливыми, как раньше. Но внутри ещё теплилась отчаянная надежда, что я чего-то не понимаю, что вот сейчас вот случится что-нибудь, что всё перевернёт и чудесным образом исправит и сегодняшний день, и эти последние несколько месяцев, но ничего не происходило.

Проводница не хотела пускать меня в вагон, потому что оставалось совсем немного времени до отправления, но я всё-таки втиснулся в узкий проём. Мы встали друг напротив друга, ощущая напряжённую важность момента. Тогда я неожиданно решился поцеловать её, но Женя неловко и как-то испуганно отстранилась.

— Я же болею, — сказала виновато, а я залился краской оттого, как же нелепо и стыдно всё это вышло.

— Прости меня, — сказал самое главное, что было на душе.

Ещё несколько секунд мы стояли так. Я боялся взглянуть ей в лицо и видел только сжатые в замок руки. А потом шёл по перрону назад, а рядом неотвратимо тянулись окна отходящего поезда, а за ними мелькали равнодушные чужие лица...

Пока я ехал в метро, в воздухе потемнело окончательно. Вокруг выхода к пригородным поездам скучились киоски, мигая тусклыми огоньками. Я на минуту остановился у кассы, чтобы купить билет, и вышел на платформу. То здесь, то там стояли редкие люди. Шёл холодный зимний дождь, на коже мгновенно превращаясь в мелкие назойливые льдинки. Пока Женя ещё была рядом, я как-то не осознавал до конца, что произошло, как будто одно её присутствие питало меня силами, а теперь совсем растерялся. Впереди высились три огромных здания, горевшие сотнями окон. Я вглядывался в эти окна и чувствовал себя таким одиноким, будто не знаю ни одного человека на свете. Неожиданно из-за поворота вылетела электричка, опоясанная гребнем вырывающейся из-под колёс мёрзлой воды. А я только растерянно смотрел, как она со скрежетом останавливается передо мной...

Когда я вернулся в общежитие, уже стемнело, но ребят не было дома. Я вошёл в комнату и вдруг увидел, что на бледном квадрате окна чёрным пятнышком виднеется сушившееся на форточке полотенце. Я понял, что это Женино, и сердце моё сжалось. Мне показалось, что это какой-то знак, что, может быть, она нарочно забыла его здесь.

Я лёг на кровать и обхватил голову руками. Стучали по жестяному карнизу редкие, но настойчивые капли дождя, так что я никак не мог успокоиться, ощущая этот твёрдый стук телом, как дрожание больного нерва. Темнота надвинулась со всех сторон. Я оглядывался, пытаюсь рассмотреть хоть что-то, но отовсюду виднелись только очертания неподвижных предметов. Тогда осторожно, содрогаясь от какого-то благоговейного страха, я прошептал: “Господи...” — и звук моего голоса замер в пустоте. Я помедлил несколько мгновений, дожидаясь, пока он растворится совсем, и тогда стал произносить следующие слова. “Помоги мне, Господи... дай нам быть вместе... дай мне понять, что делать, как себя вести...” — повторял я ещё и ещё, как заклинание, ощущая, как постепенно очаровывает меня эта мрачная ожесточённая молитва. “Она будет со мной... я всё сделаю для этого... только помоги мне...”

Я нарочно повышал голос, произнося эти слова яростнее, с напором — они показались мне вдруг такими сильными, что и сам я как будто стал сильнее вместе с ними. И оттого какое-то странное спокойствие неожиданно опустилось на дно моей души. Тело стало тяжелее, будто пропиталось горячим оловом, глаза сомкнулись, и я провалился в сон.

## 5

В конце февраля похолодало, начался пост, а с ним — особенно странное для меня время. Я почти ничего не ел, только порцию картошки в студенческой столовой на обед и варёные овощи на ужин. Не разрешал себе слушать музыку, думать о чём-нибудь приятном. Но и этого казалось мне мало, и тогда я решил читать Часы, как делали подвижники в монастырях, и каждые три часа спускался под чёрную лестницу, чтобы проговорить нужные молитвы. Я не мог пропустить ни одного раза, мне казалось, так я на последнем волоске удерживаю нашу с Женей любовь и, если я остановлюсь, то всё мгновенно разрушится. Мы по-прежнему не брались за руки, когда шли вместе, и ни разу больше я не пытался поцеловать её и даже не заговорил о том, что случилось на вокзале.

Но чем сложнее становились наши отношения, тем острее я ощущал жажду быть с ней. Самым радостным для меня оказывалось предвкушение встречи, когда я ещё ехал в метро и мог мечтать, что уже через полчаса мы увидимся. По дороге к её общежитию я почти бежал, ощущая какое-то неистовое волнение внутри. А потом замечал маленькую фигурку у входа, делал последние шаги навстречу.

— Давай сегодня на каток, я уже договорилась с Сеней, Герой и Славой, — говорила Женя, и что-то падало у меня внутри...

На каток мы ходили в огромный парк с множеством ледяных дорожек. На главной аллее было столько людей, что рябило в глазах от разноцветных курток, проносившихся то в одну, то в другую сторону. Иногда я отставал от всех и терялся, и тогда в мельтешащей толпе мне странным образом представлялось, что я вижу Женю, которая едет, держась за руку со Святославом Александровичем. Я устремлялся за ними, сворачивая на какие-то потайные тропинки, пытаюсь догнать их, и только через несколько минут наткнулся на всю компанию — вчетвером они стояли, сгрудившись у края главной аллеи, и оживлённо что-то обсуждали.

— Ты где был? Мы тебя искали, — взволнованно говорила Жёня, но мне казалось, что она нарочно отводит глаза.

Когда мы оставались наедине, я пытался объяснить ей, что больше не пойду на каток, что идёт пост и нужно быть сосредоточенным. Она обижалась и, задыхаясь, отвечала, что каток очень важен для неё, что это спорт, а ей обязательно нужно заниматься спортом.

— Но мы постоянно веселимся там, — спорил я.

— Да, — соглашалась она, не сдаваясь, — но веселье — это такое приятное дополнение к спорту!

И во время любого такого разговора, любой нашей ссоры, я думал: “Это Бог, это опять Он ведёт меня к чему-то...” Я пытался понять, что же я на этот раз сделал не так, чтобы собраться с силами и исправить это. Но потом мой порыв неожиданно гас, и тогда я мог несколько дней проходить в подавленном состоянии, ничего не желая и не чувствуя.

Хорошо помню ещё, как недели за две до Пасхи, когда я уже обессиленно окончательно, Жёня должна была опять приехать к нам на выходные. Я ждал её с той безумной тревогой и одновременно с тем страстным желанием, которые теперь не покидали меня при мысли о ней. Наконец, не в силах больше изводить себя ожиданием, я вышел из общежития и направился в берёзовую рощу, находившуюся неподалёку от студгородка, за железнодорожными путями.

Рано стемнело, и в потускневшем мире голые, будто обутленные деревья медленно качали ветвями. Кое-где ещё свисали с кустов сморщенные ягоды, а под ногами хрустели вмёрзшие в землю листья. Я осторожно делал каждый шаг, не понимая и боясь этого глухого зимнего оцепенения. И казалось, что вот ещё недавно, всего несколько месяцев назад, я бродил по улицам родного города, мечтал о нашей встрече с Женей, и всё вокруг жило, а теперь поблекло и потеряло красоту и свежесть. Я с грустью вспоминал все свои тогдашние восторги и молитвы, я ведь и не знал тогда, что духовная жизнь — это дикая боль в душе, страдание каждый день, преодоление этого жгучего страдания...

Было холодно, но мне ни за что не хотелось возвращаться. В то же время я чувствовал бесконечное одиночество, а как раз сейчас мне так хотелось бы рассказать кому-нибудь, каким невыносимым стало моё существование, как тяжело даётся мне этот пост, как я читаю Часы под чёрной лестницей, но даже это не помогает мне удержать Женю рядом. И о том, как же страшно разочаровываться во всех этих прописных истинах, и одновременно о том, сколько мужества нужно, чтобы, утратив все иллюзии, продолжать тащить себя каждый день на молитву... Но я мог только глухо шептать что-то в промороженный воздух, где слова мои мгновенно гасли.

Вернувшись в общежитие, я не стал подниматься в комнату, а сразу прошёл под чёрную лестницу — читать нужный Час. Я вытащил из щели в полу тоненький молитвослов, в угол на выступ бетонной плиты поставил иконку, стараясь приблизиться к ней вплотную, чтобы меня не было заметно с пролёта второго этажа. Помню, косая тень проходила по стене и по полу, пересекая мои руки, тело, страницу молитвослова, который я держал в руках. Иногда кто-то спускался надо мной, и тогда я замирал, пережидая гулкие шаги, наполняющие моё тайное укрытие.

Я шептал молитву торопливо, с яростью, стараясь отчётливо и резко произнести каждое слово. Но чем сильнее я разжигал себя, тем холоднее ста-



новилося внутри. Вдруг я подумал, что до конца жизни придётся мне вот так вот вставать на молитву, каждый день, без единого послабления, потому что даже если вдруг у нас с Женей всё мгновенно станет хорошо, всё равно никогда мне уже не забыть этого страха потерять её, этой беспрерывной тревоги, и уже нельзя будет остановиться, отдохнуть — и тогда мне стало так тоскливо и одиноко.

Я не поддался этой проклятой тоске и продолжал читать изо всех сил, только уже не вникая в смысл, а скользя глазами по чёрным буквам. Потом закончил, захлопнул книгу и постоял так немного, ожидая. Но ничего не чувствовалось в спёртом подвальном воздухе, хотелось просто упасть на кровать и больше не думать ни о чём. Я положил книгу и иконку обратно в потайное место в полу и медленно зашагал вверх по лестнице.

Ещё в коридоре я услышал пронзительный Женин смех сквозь дверь нашей комнаты и на секунду остановился, будто собираясь с силами.

Они были вдвоём со Святославом Александровичем.

— Привет! — торопливо вскочила Женя, увидев меня. — Ты почему так долго? А я пораньше приехала, думала, ты тоже...

Я опустил на кровать и не глядел ни на неё, ни на Святослава Александровича. Женя села рядом, думая, что я просто устал, и начала рассказывать о чём-то, но я слышал только тот самый монотонный гул у себя в голове. Я попытался взять себя в руки, даже ещё раз прочитать какую-нибудь коротенькую молитву, но всё это было так искусственно. “Нам надо расстаться”, — неожиданно подумал я и вдруг испугался не столько этой мысли, сколько того, что так просто подумал об этом. Не сдаваться, биться, биться, убеждал я сам себя, я не отдам её, она будет только моей, но постепенно странное холодное оцепенение охватило меня целиком.

## 6

Всё оборвалось между нами в начале июня. Помню, у Жени подходила к концу вторая сессия, и в один из тех дней она попросила меня приехать. Я уже так привык к тому, что это я постоянно ищу встречи с ней, и потому удивился, что она зовёт меня сама. Последнее время мы почти не бывали вдвоём — в будни Жене нужно было готовиться к занятиям в университете, а каждые выходные она приезжала к нам в общежитие, но я уже смирился с этим, и иногда даже надолго уходил из комнаты гулять по студгородку или по берёзовой роще, когда она была там. Как машина, постепенно вязнущая в колее, но продолжающая ещё ехать, длились наши странные отношения...

Погода в тот вечер стояла тёплая, повсюду летал тополиный пух, что-то шуршало в густой листве — и всё это было так легко, так настойчиво беззаботно, будто пыталось убедить меня начать жить с чистого листа, не спрашивая, хочу я этого или нет. Женя встречала меня у метро. Мы пошли рядом.

— Знаешь, таким сложным был этот год, — произнесла Женя порывисто, — мне так тяжело, особенно в последнее время...

Я слушал эти чистосердечные слова, смотрел в её взволнованное лицо, и мне хотелось думать, что это не всё, что есть ещё какая-то надежда. В то же время я уже так хорошо знал её, что не мог не понимать, что её что-то тревожит, и потому она позвала меня. Мы больше не разговаривали о мелочах, как бы отдыхая от этой её внезапной искренности, и просто шли в тишине, но эта тревога и предчувствие будущего серьёзного разговора ощущались во всём.

Миновали охрану. Поднимались в наполненном лифте, а вокруг, как замороженные, стояли другие люди и молчали, и мы молчали вместе с ними, но оба чувствовали, что впереди ещё будет что-то важное.

Когда мы вошли в Женину комнату, там было темно, и только мягким светом горела лампа над её кроватью, которую она отчего-то не выключила, уходя встречать меня. За краем светлого полукруга я различал её вещи на столе и на полках: расчёску, тюбик с кремом, аккуратно сложенное полотенце, листы, исписанные мелкими буквами, несколько книг.

— Проходи, соседки будут только вечером, — сказала Женя, и я поспешно шагнул вперёд.

Я помнил, как мы часто сидели здесь в начале учебного года, готовясь к её занятиям в университете, как засиживались допоздна, и уже пора было уходить, а нам всё не хотелось расставаться. И только когда настойчиво стучались в дверь охранники, обходящие комнаты с задержавшимися гостями, я торопливо выходил в коридор, и мы коротко и нежно прощались.

Всё было почти так же, как тогда. А на покрывале, где у изголовья притаился бугорок от подушки, ровная поверхность была чуть примята, и я глядел на эту вмятину, представляя, как Женя случайно положила туда голову, ненароком оставив этот живой след для меня.

— Знаешь, я решила исповедоваться, — вдруг сказала Женя, — но я ведь никогда этого не делала и не знаю, что именно нужно говорить... А ты делал? Ты же иногда ходишь в церковь?

Её слова мгновенно обожгли меня, мне показалось странным, что она хочет в чём-то исповедоваться. Я подумал, что это связано с какими-нибудь отношениями, о которых я ничего не знаю, и от этой мысли жгучая ревность мгновенно поднялась во мне.

— А почему ты решила? Есть какие-то причины? — как-то поспешно и резко выговорил я. — Ведь если это мучает тебя, значит, это нельзя держать в себе, — продолжал уже мягче, но даже одной первой фразы, кажется, хватило Жене, чтобы понять, что для меня этот её разговор об исповеди — только повод выспросить что-то. Она отстранилась, лицо её замерло, брови сдвинулись, будто о чём-то задумалась.

— Ну, в общем, нужно прийти в церковь и рассказать священнику всё, что тебя тяготит. Сам я делал это только один раз, поэтому не могу посоветовать ничего конкретного... — всё ещё пытался исправить я, но было уже поздно.

Женя кивнула, но по-прежнему сосредоточенно молчала. Я замолчал тоже.

Каким-то подсознательным чутьём я даже понимал, что ещё можно спросить обо всём прямо, объяснить ей, что для меня это важно, что я могу знать, в конце концов, потому что люблю её, но боялся произносить эти честные слова. Мне нужно было понять всё как-то невзначай, чтобы она ничего не заподозрила. И теперь, когда это уже не удалось, никак нельзя было подступиться к ней...

Не знаю, сколько продолжалось это наше молчание, но вдруг в дверь постучали. Женя поспешно пошла открывать. Это была подруга, они разговаривали на пороге, и, кажется, та куда-то звала. Я знал, что Женя не может просто так уйти и оставить меня здесь одного, но в то же время чувствовал, что ей хочется уйти, чтобы не находиться в тягостной обстановке недосказанности, которая установилась теперь между нами.

— Я минут на десять, — виновато и вопросительно сказала она. — Побудешь здесь, ладно?

А я даже слишком горячо ответил, что всё хорошо, конечно, побуду...

Когда она ушла, я сел в кресло, откинувшись на спинку. По-прежнему мягко горела лампа над её кроватью, и тарелки, чашки, чайник отбрасывали густые, тёмные тени на столе. Я пытался успокоиться, сжал руки в кулаки, чтобы, когда войдёт Женя, ни одним движением не показать ей, что что-то не так, но у меня не получалось. Тогда я встал, распахнул окно и долго стоял, вдыхая тяжёлый предгрозового воздух. Где-то там внизу, под окном, был виден неестественно огромный и круглый купол того холодного собора, в который мы ходили с Женей зимой, после её первой сессии.

И вдруг мне так противно стало находиться в этой комнате, ждать её, переживать, как всё сложится, так что захотелось просто уйти, не встречаясь, и закончить это безумие. Но тогда мне надо было до конца проникнуть во все её тайны, довести свою ревность до предела, выжечь себя изнутри.

В этот момент я вдруг вспомнил, что она говорила мне, что ведёт дневник, и подумал, что он должен быть где-то здесь. Я понимал, что десять минут уже почти прошли, но всё-таки бросился к двери, закрыл её на ключ

и принялся рыться в тумбочке, в книжных полках, встал на кровать, чтобы дотянуться до самой верхней, и никак не мог найти. Но уже через минуту остановился и вдруг как бы увидел себя со стороны, взмыленного, ожесточённого, посреди этой маленькой комнаты. Ну, что за чушь, ради чего всё это, подумал я тотчас же, мне просто нравится распалять себя, воображать, а на самом деле я ведь уже ничего не чувствую. И мне вдруг так захотелось какого-то настоящего осязаемого чувства, бешеной любви, которая опрокинула бы меня, подчинила — захотелось живого страстного человека.

И теперь я уже не хотел бежать, наоборот, мне нужно было видеть Женю немедленно. Я чувствовал, как внутри меня забились огромная оса и принялась зудеть изо всех сил. И тогда вся эта возвышенность, высшее предназначение, моя безумная любовь — всё показалось мне жалким. Да, решил я, стереть все эти розовые сопли, здесь, сейчас, и тогда вы все можете сколько угодно смеяться вместе с ней, кататься на коньках, веселиться, но я всё равно уже буду бесконечно ближе...

Мгновенно я успокоился, стал собранным, жестоким. Для начала нужно было подготовить обстановку: я старательно зашторил окна и вновь поставил греться остывший чайник. Я стал воображать, как всё произойдёт, стал придумывать те слова, которые скажу, чтобы усыпить её бдительность, с какой настойчивостью буду повторять их нарочито ласковым голосом. Свечи были бы кстати здесь, но свечей не было, впрочем, мягкий свет лампы вполне подходил.

Вдруг я подумал, что Женя может захотеть включить верхний свет, и тогда дотянулся до плафона под потолком и начал быстро выкручивать лампочку, а потом, поняв, что это будет слишком заметно, несколько раз резко тряхнул её, чтобы порвалась внутренняя нить, и вкрутил обратно. Сел, ещё раз оглядел комнату.

Недовольно заворчал чайник на столе — теперь всё было готово, но Женя по-прежнему не приходила. Я опять сел в большое мягкое кресло у окна и, закрыв глаза, пытался хоть на несколько минут успокоиться, чтобы набраться сил. Но ничего не получалось, скорее, наоборот, волнение моё как бы ушло вглубь, изнурая меня непрерывной тягостной дрожью. Медленно тянулись минуты, и я со страхом замечал, как вместе с ними, также медленно, но неизбежно исчезает весь мой пыл.

Помню ещё, что буквально за минуту до её прихода, когда я в очередной раз пробудился от своего ожидания и подскочил к креслу, я вдруг заметил, что на покрывале на кровати, старательно поправленном мною, не хватает трогательной вмятины, которая так нравилась мне полчаса назад. Я испуганно подбежал к кровати и ткнул рукой в подушку. Мой след показался мне грубым, совсем не таким, как Женин, и это окончательно лишило меня всей моей жажды.

В этот момент раздался настойчивый стук, от неожиданности я подпрыгнул и бросился к двери. Как же я мог забыть, что так и не открыл её после того, как искал дневник... Женя вошла, и в маленькой комнате так неестественно прозвучал её удивлённый голос. Я же поразился, насколько чужой она стала для меня за эти полчаса. Я торопливо сказал что-то несуразное, соврал, что мне пора, и выскочил в коридор.

— Я провожу тебя, — поспешно сказала она, выходя вслед за мной.

Вокруг было тихо, только недовольно скрипела длинная лампа под потолком, а в оконных рамах между стёкол гудел ветер. На полу замерли чьи-то мокрые следы, на подоконнике у лифта лежали два крошечных окурка. За окном шёл дождь, ударяя по тонким макушкам деревьев, а вдалеке чёрным пятном виднелся глухой каменный собор. Мы шли, а я думал, что это опять Бог, что Он нарочно хочет задеть меня сильнее, заставить исправиться или что там ещё. Но я больше ничего не чувствовал, мне было всё равно. И что ты сделаешь теперь, с горечью усмехнулся я над Ним.

— Ты торопишься? Может, постоим немного? — предложила Женя, когда мы подошли к дверям.

— Давай, — ответил я машинально.

На улице было свежо. Мы медленно двинулись вдоль здания, не выходя из-под широкого навеса. Под навесом стояли и другие пары, а неподалёку от входа сгрудилась весёлая компания. Тогда мы поднялись по одной из каменных лестниц, находившейся справа от входа, чтобы нам не мешали остальные.

— Необычно, — заметила Жёня, когда мы остановились на самом верхнем пролёте, почти под самым козырьком, с которого лилась вода. Было слышно, как дождь стучит по козырьку. Я слушал этот стук, и мне показалось вдруг, что я буду слышать его теперь постоянно, что он будет преследовать меня и не прекратится никогда. Хотелось зажать уши, избавиться от этого назойливого стука...

— Я хотел ещё с тобой поговорить кое о чём, и это серьёзно, — выговорил я решительно, хотя ещё минуту назад ничего такого не хотел.

— Может, не надо сегодня? — спросила она вдруг. Это поразило меня — она как будто чувствовала моё состояние, но я поспешно закачал головой:

— Нет, надо.

И тогда я начал говорить, и теперь уже не могу вспомнить, что это были за слова. Наверно, что-то ужасно жестокое, потому что мне очень хотелось сделать ей больно, отомстить за весь этот год, за все мои мучения и тревоги. Я говорил, не думая, и только чувствовал, как с каждым словом разрывается связь между нами. Жёня смотрела в меня застывшим невидящим взглядом.

Наконец, она зажмурилась и едва слышно произнесла:

— Я не понимаю...

— Нам надо перестать общаться, — выдохнул тогда я. — То есть перестать совсем и никогда больше не встречаться.

— Тебе понравилась другая девушка? — спросила она неожиданно, и я почувствовал, как всё содрогнулось у меня внутри от этого странного вопроса. Я удивился: неужели же всё это время она понимала, что я её люблю, но почему же никогда не говорила мне об этом? И что значил этот вопрос теперь...

— Нет, нет, — выговорил я мягче. — Но я знаю, что тебе нужен не я, ты столько раз говорила, что хочешь видеть рядом с собой сильного человека, который не колеблется от любой мелочи... — обида вновь захлестнула меня, а голос сорвался.

Слова внутри будто закончились, и теперь уже само моё молчание говорило сильнее и грубее, чем это делал я несколько минут назад.

Помню, нас окликнули, внизу стояли охранники, кажется, на эту лестницу нельзя было подниматься. Мы медленно пошли вниз, и так странно было, что для этих охранников мы по-прежнему парень и девушка, которых они столько раз видели здесь, у входа, за последний год, и что внешне ещё нет того страшного разлома, который мы оба уже ощущаем.

На последней ступеньке мы остановились, не зная, что же делать дальше. Ещё минуту я стоял и смотрел на неё, будто ожидая, что она сейчас скажет что-то ещё, но потом вдруг понял, что мне уже нельзя быть здесь и что чем дольше длится это наше молчаливое стояние, тем мучительнее переживёт его она. Я сказал, что пойду, она кивнула, и я двинулся прочь, стараясь скорее скрыться от её взгляда, но время всё равно тянулось так медленно. Поворачивая к метро, я ещё раз взглянул на неё — Жёня неподвижно стояла у входа.

Но когда её фигурка уже скрылась за каменным зданием общежития, я вдруг почувствовал такую боль, будто меня исполосовали ножом по всему телу. Я никуда не мог деться от этой боли, задыхался от неё, я чувствовал, что пройдёт час, день, месяц, но боль не ослабеет.

Я ехал обратно в метро, прислонившись головой к стальной стене вагона, и чувствовал, как в такт её дрожанию бьется во мне скопившееся напряжение. Я старался не глядеть вокруг, только в окно, но на поверхности стекла отражались сидевшие напротив люди, и мне постоянно казалось, что они на меня смотрят. Помню, по полу каталась пробка от бутылки газированной

воды, то проносясь в конец вагона, то возвращаясь, то, наконец, замирая и нервно подрагивая на одном месте. Так и человек, подумал я вдруг, такой же слабый, в какую сторону качнётся, туда и катится, и ни в чём нельзя быть уверенным, когда говоришь о человеке.

## 7

Не знаю, как выразить словами то, что было потом. До сих пор мне казалось, что весь мой рассказ так естественно подведёт меня к этому событию, но теперь понимаю, что это не так. Естественным для меня было бы что угодно, только не то, что произошло...

Я был тогда в страшном унынии. Я не находил себе места, не мог ни о чём думать, ничего не хотел. Я вернулся в родной город, но и знакомые места не помогли мне справиться с моим состоянием. По ночам меня мучили приступы надрывного сострадания к самому себе. Кажется, я бродил по квартире, выходил на балкон, смотрел в темноту, но возможно, всё было и не так. На самом деле я почти ничего не помню — только мрак и отчаяние внутри. Я понимал, что дело уже было не только в Жёне, которую я навсегда потерял, я не мог жить дальше и не мог понять, что же мне делать. Я пытался молиться, вставал на колени, но чувствовал только отторжение от того нарисованного Бога, который смотрел на меня с тёмной деревянной доски. Я хотел освободиться от мыслей о нём, от его непрерывного гнёта, но не мог. Я уже так привык слышать свои мысли с его существованием, с тем, что якобы было правильно и важно.

Я чувствовал тоску по обычной жизни, где всё идёт, как идёт, а не так, как нужно, где царит хаос, но все знают об этом. Где нет лицемерия, и никто ни во что не верит. И мне казалось, эта жизнь — вот она, здесь, нужно только стряхнуть с себя свои детские страхи и предрассудки. Но вместе с тем иногда, как волной, напала на меня почти безумная мысль о том, что Бог уже никогда не оставит меня в покое, не даст мне расслабиться и будет мучить меня до конца...

В один из тех дней я бесцельно бродил по городу. Улицы были пусты, лишь иногда встречались одинокие люди да бессмысленно меняли свой цвет светофоры на перекрёстках. Я рад был бы почувствовать что-то родное, погрузиться в приятные воспоминания, но город напоминал полую каменную коробку. Я шёл по ней в гулкой тишине, странный чужой человек, среди неподвижных домов, застывших машин на обочинах. Свернул в городской парк, но даже его длинные аллеи, вымощенные белым кирпичом, показались мне ненастоящими. По краям лежали высохшие кучи давно скошенной травы.

Когда я вышел из парка, то машинально зашагал вверх по улице. Вскоре с двух сторон показался подступающий к городу лес, и только впереди ещё виднелся последний жилой квартал, вклинившийся в зелёную преграду. Я вспомнил, что часто бродил здесь, когда учился в школе, но не успел ещё понять почему, как передо мной возник огромный девятиэтажный дом. Я подошёл к нему вплотную, растерянно оглядывая его крупное каменное тело. Но даже показная новизна крашеного фасада не могла обмануть меня — это был тот самый дом, где жила когда-то Саша, где нашли её тело, упавшее из окна. Тот самый, к которому я столько раз приходил после Сашиной смерти и подолгу стоял, глядя в окна их квартиры, содрогаясь от каждого случайного отблеска, попавшего туда.

Я бросился в подъезд, поднялся на девятый этаж и распахнул деревянную раму. Уж не знаю, зачем мне это нужно было, может быть, чтобы испытать, самому посмотреть вниз. Но, перегнувшись через подоконник, я не почувствовал ничего. Уходили к реке неровные линии белых крыш, как игрушечные, стояли на дороге машины. Я разозлился, что было так красиво и несколько не страшно. И даже когда я уже спускался по лестнице и ждал, что вот сейчас вот я должен ощутить хотя бы запоздалый страх оттого, как легко я на самом деле мог бы прыгнуть сейчас вниз, но и этого страха не было...

А потом, на другой стороне улицы я увидел девушку, со спины показавшуюся мне похожей на Жёну, и бросился вслед за ней. Меня вдруг охватила

болезненная радость: а вдруг это на самом деле Жёня?.. Мне отчего-то представлялось, что она приехала в город тайно, но идёт не ко мне, а к кому-то другому, и сейчас я прослежу за ней и уличу, наконец, во всём. Мне хотелось посмотреть, как она станет хитрить и извиваться, когда увидит меня, как станет врать, а я буду молча слушать её и не произнесу ни слова... Бог знает, какие мысли билась тогда у меня в голове!

Мы шли медленно, она впереди, я поодаль, и в этой нашей странной процессии было что-то торжественное и нелепое одновременно. Помню, на шее у девушки был повязан зелёный платок, и она изредка поправляла его рукой. А я впивался взглядом в её фигуру, боясь упустить из виду хоть на секунду.

Но когда она повернула к церкви, мне вдруг стало так противно и горько. Казалось, это всё нарочно подстроено, будто в насмешку надо мной. Девушка остановилась у ворот, а я торопливо прошёл мимо неё за ограду, чтобы не выглядеть глупо.

Церковный двор был пуст. Слева, у входа, лежали стройматериалы: деревянный брус, кирпичи — в церкви шёл ремонт, а ближайшая стена была вымазана штукатуркой. Где-то справа, за церковью, работали строители, и даже здесь слышны были их голоса. У стены с длинными узкими оконцами стояла огромная цистерна. Бензин они здесь что ли разливают, машинально удивился я.

Я уже не мог теперь повернуть назад, мне надо было дойти до конца, чтобы раз и навсегда убедиться, что всё это только груда камней и ничего больше. Я подошёл к крыльцу, поднялся по грязным ступеням, со следами чьих-то огромных сапог, но не стал приближаться к двери, а нарочно упал на колени, прямо в грязь, будто показывая: вот как я могу, посмотри, если уж так хочется... Но опять ничего не изменилось, я видел только лестницу, чувствовал, как стали мокрыми штаны в коленях, впитав в себя серую жижу. Тогда я встал, со злостью рванул на себя дверь, но она не открылась. И вот это, кажется, окончательно взбесило меня — мне захотелось изо всех сил ударить в неё, сокрушить всё вокруг. Я уже не понимал, как я мог плюнуть на такую детскую приманку и прийти сюда, я сбежал по лестнице и двинулся к воротам, ожесточённо делая каждый шаг, будто хотел продать землю рядом с храмом.

Через церковный двор наискосок мимо меня шла та самая девушка в платке.

— Закрыта церковь, — сказал я ей громко, чувствуя какое-то особенное удовольствие от грубости своих слов. — Иди, иди!

На секунду увидел её миловидное лицо, карие глаза, совершенно не похожие на Женины. Она замерла и неловко огляделась, будто не понимая, кто это к ней обращается.

— Как же закрыта, вон, служба идёт, — проговорила себе под нос, и тогда я заметил, что она направляется к храму с другой стороны. Там, оказывается, были ещё двери, а те, к которым подходил я, видимо, закрыли из-за ремонта.

Я вошёл внутрь следом за ней, машинально повторяя все её движения. Девушка прошла куда-то вглубь, а я остался стоять у входа, оглядываясь и сминая пальцы в руках. Было темно, передо мной сгрудились несколько маленьких старушек, похожих друг на друга, будто слепленных из одного теста, сверху пел хор, откуда-то издалека доносился голос священника, неразборчиво читающий молитву. Всё это было так знакомо, ничего необычного, та же обстановка, которую я помнил с детства. Может, только какая-то ностальгическая грусть могла бы закраситься мне в сердце, да и той не было. И странным казалось, что когда-то эта обстановка производила на меня такое сильное впечатление, что могла даже влиять на мои мысли. Теперь я всё видел отчётливо, не обманываясь и не придумывая ничего.

Но в то же время с первых же секунд, как только я вошёл, какая-то неясная тревога охватила меня, будто на самом деле что-то было не так. Я пытался прислушаться к себе, но никак не мог объяснить это странное изменение, пока вдруг так отчётливо не осознал, что в этой церкви, кроме священника,

хора, старушек и меня есть кто-то ещё. Я стоял, ощущая его присутствие в окружающей меня темноте, и с каждым мгновением всё яснее мне становилось, что это Он. А когда я понял это до конца, неожиданный животный страх прошиб меня насквозь, так что я не мог вынести ни секунды и бросился прочь.

Помню, в ужасе стоял на крыльце и пытался отдышаться. Вокруг был тот же мир, я слышал шум проезжающего трамвая, слышал, как где-то шелестят ветви на деревьях, голоса рабочих, доносившиеся из-за церкви, — мир жил своей обычной жизнью, призрак рассеялся, но я-то знал, что там, внутри, Он по-прежнему есть. Тогда я почувствовал, как мне хочется опять ощутить Его присутствие, как мне больно и невозможно стоять сейчас здесь, на крыльце, и как тянет меня обратно...

Я глубоко вдохнул и медленно, боязливо опять вошёл внутрь.

Тихо, тихо дрожал воздух в маленькой церковной зале. Всё было натянуто, напряжено. Я стоял в самом центре перед большой белой колонной и смотрел, как от движения чьих-то рук тонкие тени скользят по ней. Я не понимал точно, где именно находится Он, то ли сзади, то ли сбоку, но чувствовал на себе Его взгляд. Я хотел было перекреститься для Него, встать на колени и поклониться, но так страшно и удивительно было Его присутствие, что я боялся пошевелиться.

А потом я закрыл глаза, и сразу как-то по-иному стало вокруг, будто я больше увидел, будто сама церковь вдруг расширилась. Где-то в глубине рождались гулкие басовые звуки, а потом возносились вверх, а там уже всё звенело, натягиваясь, наполняя пространство пронзительным напряжением. Это была уже не обычная служба, я понял, что все эти люди вокруг — и священник, и хор, и старушки — тоже видят и чувствуют Его, что ради Него они сейчас говорят и поют, не позволяя себе ни ошибиться, ни задержаться ни на секунду, чтобы не повредить ни единому такту этой удивительной службы.

Вдруг я услышал, как одна из старушек попыталась подхватить мелодию вместе с хором, но стала сбиваться, отставать, задыхаться, и тогда защемило сердце от жалости к ней. Ещё несколько раз она пыталась вступить, срывалась, но потом её надрывный голосок всё-таки влился в общий нарастающий хор и остановился в одной точке. Я стоял в щемящем состоянии, дышал спокойно, полной грудью, а тем временем что-то внутри меня постепенно ослаблялось, успокаивалось.

Потом в церкви гасили свет — женщина в белом платке ходила от подсвечника к подсвечнику, и становилось всё темнее и темнее, а вскоре всё погрузилось в мирный полумрак. От одной из затушенных свечей поднималась вверх белая полоска, похожая на шарф, развевающийся на ветру, и долго ещё тянулась, а потом вдруг оторвалась и мгновенно растворилась в густом воздухе.

А когда свет опять включили, такая радость вдруг пролилась в меня. Я чувствовал, что больше нет ни боли, ни метаний, что эта радость подхватывает, приподнимает, мне хотелось тоже запеть вместе со всеми, чтобы и мой голос навсегда остался здесь, в памяти этих стен, этих икон, в Его памяти. Я ещё немного постоял, а потом медленно двинулся к выходу. Не знаю — почему, но я точно знал, что Бог не только останется в церкви, но и пойдёт со мной...

Пока я был внутри, на улице прошёл дождь. По мощёной дороге текли тоненькие струйки, так что на каждом шагу я слышал, как едва хлюпают мои ботинки. Я двигался осторожно, ощущая, как воздух вокруг наполняется мягким послегрозовым теплом. В тишине коротко чиркнула птица, потом ещё раз, бережно, будто боясь нарушить это всемирное оцепенение. Медленно нарастал шум проезжающей мимо машины, вздрогнул рядом, и долго ещё угасал где-то позади. Я и сам чувствовал какую-то особенную бережность ко всему вокруг. Мне нравилось присматриваться к неожиданным мелочам: к смятому листу бумаги в траве, к осколкам бутылки. И даже в этом мусоре не было ничего плохого — всё было на своём месте в этом огромном мире, всё было освящено и омыто.

Впереди, между высотными домами, виднелся край зыбкого серого купола, слегка окрашенный алым — там умирал длинный летний день. А когда я прошёл ещё немного, огибая дома, то передо мной, наконец, раскинулась широкая поляна, а за ней — краешек леса. На опушке в ряд стояли двухэтажные коттеджи, справа едва виднелась тоненькая струйка автодороги, а над всем этим разливался горячий закат. Огромное небо было расколото надвое, и сквозь трещину в испуганно сбившихся к краям облаках бил яркий свет. Я стоял неподвижно, ощущая, как наполняет меня пронзительный восторг. А когда небо догорело, и только на крышах коттеджей ещё можно было различить неясные алые полосы, внутри у меня будто что-то переломилось. Господи, подумал я, что я наделал... Как же я мог так обидеть её, ни в чём не виноватую, как мог причинить ей боль... И за что же это ей, маленькой девочке, было стать жертвой моих метаний... А потом сел на холодную землю и слушал, как тихо стало в мире и как благоговейно шелестит трава, боясь расплескать сбережённые силы до начала нового дня, и было мне и горько, и благодарно за эту свою горечь.

## 8

Что же ещё рассказать мне... Всё, что произошло потом, будто бы вылилось из тех минут моей жизни. Закончились мои отчаянные неопитские восторги и страдания, и началось что-то более глубокое и важное, что я не вычерпал до сих пор...

Я мог бы рассказать, как проснулся на следующее утро от смутного волнения, что сейчас очнусь ото сна и потерю всё, что было вчера. Не открывая глаз, я прислушался и понял, что в сердце у меня тот же мир и та же тишина. Дома никого не было, мама и бабушка уже ушли в сад, как обычно. Но и мне было жалко находиться сейчас в квартире, хотелось бежать на улицу, взглянуть на тот мир, который окружал меня, но который я будто ещё никогда не видел. Я вышел из подъезда, и стоял взволнованный, и всё вокруг было пропитано для меня светом и радостью. Я смотрел вокруг и думал: “Вот мои родные места, здесь прошло моё детство, здесь произошло обновление моей жизни, и как же я рад им...”

Я мог бы рассказать, как жил следующие два летних месяца и как по ночам мне всё снился неясный образ, будто бы девушка стоит в ярком солнечном блике, улыбаясь испуганно и немного грустно, и я не знал, то ли это маленькая Саша, то ли покинутая Женя. Я просыпался от пронзительного тревожного чувства, подходил к окну и смотрел на сонный город. Мне казалось, что в этом ясном утреннем мире так много искренних молодых людей, открывающих мир, других, Бога, разлитого в прозрачном воздухе, но в то же время такую невероятную боль причиняющих себе и друг другу. Мне хотелось сказать им что-то простое, но невероятно сильное, чтобы они разом поняли всё, но я не мог найти слов и знал, что они меня не услышат. И тогда меня пронзала вдруг неясная тоска по своему детству, по ярким переживаниям, по той мудрости, которой у меня не было тогда, и возможно нет и сейчас...

Я мог бы ещё рассказать, как за несколько дней до моего возвращения в Москву, гуляя по городу, вдруг встретил длинную похоронную процессию, выходящую из двора на улицу. Было много людей, шедших в монотонной тишине, и я невольно пристроился в конец. Я шёл рядом с ними, ощущая, как больно было этим людям. Я молился за этого человека, за других и чувствовал какое-то странное умиротворение вечности. В этот момент я точно знал, что я только форма, только сосуд, в который по капле собирают влагу, но потом, когда жидкость загустеет, станет твёрдой, сосуд разобьют, и никто не будет жалеть его. Я шёл рядом с этими людьми, взглядываясь в гроб, поднятый над головами, и чувствовал, что когда-то вот так же разобьют и меня...

Ясно помню и ещё один день того лета. В конце августа мы с соседями устраивали пикник неподалёку от общежития за железнодорожными путями. Святослав Александрович и я рубили дрова на краю берёзовой рощи, и оба



чувствовали какое-то радостное удовольствие от того, как разламывается сухое дерево. И хотя дров уже было достаточно, продолжали складывать новые и новые поленья в груды под ногами. Изредка ещё мы останавливались и, смахивая пот, глядели друг на друга и посмеивались своей усталости. А позади Гера старательно разводил костёр.

Вскоре должна была приехать Женя, а Сеня уже пошёл встречать её с электрички. С того дня, как я оставил Женю на пороге её общежития, мы ни разу не позвонили и не написали друг другу, и теперь я боялся нашей новой встречи. Я понимал, что всё уже потеряно для меня и даже не думал о своей любви к ней и наших отношениях, но всё равно было тревожно, как всё пройдёт сегодня.

И вот на тропинке вдалеке показались две маленькие фигурки. Я напряжённо наблюдал, как они приближаются, и, наконец, не в силах побороть неожиданный стыд, торопливо зашагал вглубь леса. Скажу, что не видел, как они подходили, лихорадочно думал я, пробираясь сквозь деревья и кусты, стремясь зайти как можно дальше. Выбрался из зарослей на железнодорожные пути, поднялся по насыпи и сел на крупные белые камни, покрытые коричневой копотью, неподалёку от рельсов.

На душе было спокойно, и таким странным это казалось после двух месяцев умиротворенного состояния. Мне отчаянно не хотелось возвращаться к костру, и, наверно, я непременно ушёл бы, если бы не понимал, что меня хватятся.

Показался вдалеке приближающийся состав. Я поднялся и стоял, пережидая, пока он с грохотом пронесётся мимо, обдувая моё лицо кислым и густым потоком. А когда он промчался, осторожно сделал шаг на рельсы и долго глядел ему вслед. Я подумал, что вся моя жизнь шла к одному только мгновению в церкви два месяца назад, но вот это мгновение осталось в прошлом, и теперь я стою и провожаю его взглядом, как ушедший поезд. Я больше не ощущал Бога рядом, не чувствовал ни недавней свежести, ни лёгкости, один лишь кислый запах мазута, и не знал, что же теперь делать. Я понимал, что должен был измениться, но не замечал внутри этого изменения, только прежнюю пустоту и даже безразличие.

Я поднялся и медленно стал продираться назад, не зная, как же мне вести себя сейчас, что говорить. Наконец, послышались неясные звуки и чьё-то голоса. Вроде бы это Сеня кричал что-то про дрова, а Святослав Александрович раскатисто смеялся.

В лицо ударила случайная непослушная ветка, и пришлось на секунду остановиться. Я отдышался, машинально хватая пальцами окружающие меня стебли. Потом сделал ещё несколько шагов, и в этот момент мне показалось, что я услышал жалобный и вопросительный голос Жени.

И в этот момент сердце моё дрогнуло...

ПОЛИНА КОНДАУРОВА



Я ВСЁ, ЧТО ЗНАЮ —  
ЗНАЮ ОТ ТЕБЯ...

МАЛО

Малосемейка и малолитражка.  
Малотиражка — полставки. Полжизни —  
Малая родина. Меньшие наши  
Братья за поясом носят ножи.  
Это не страшно.  
Не страшно нисколько.  
Как оказалось, страшнее в столицах.  
Мне межевым бы столбом застолбиться.  
Мне раздобыться бы ролькой, юдолькой.  
Мне бы пригреться, прижаться, прижиться  
Во поле — Полькой...

\* \* \*

Как сочетаются время в пути  
и тоска по дому.  
Эти почти  
с рожденья штампующие колёса:  
“Отказать”, “Отказать”, “Отказать”,  
“Переслать другому”.

---

*КОНДАУРОВА Полина Борисовна родилась на Волге (г. Жигулёвск) в 1981 году. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор двух поэтических сборников. Жила в Москве и Петербурге. Вернулась в Абакан (Хакасия).*

Абакан — “Отказать”, Москва — “Отказать”,  
“Снять вопрос”  
О моём проживании у самого синего моря.  
Сквозняк,  
Как домашний котёнок, запутался в шторе.  
И колёса бранятся размеренно и знакомо,  
Как соседи.  
Какого ещё уюта  
Мне искать,  
если я любую  
Плацкартную полку обживаю в одну минуту?  
Если самую-самую вечную вечность людскую  
Составляют всё те же два метра на семьдесят пять...

\* \* \*

Я рожу тебе двух крепких детей,  
И куплю себе с полочки весы.  
Я отважу от тебя всех друзей,  
— У тебя, — тебе скажу, — растёт сын!

— У тебя же дочь растёт, — я скажу.  
Врежем импортный замок в гараже.  
Купим дачу (я там лук посажу)  
И квартиру на втором этаже.

Заведу я на работе роман,  
Буду я тебя пилить, чтоб не пил,  
Но ты будешь пить, и, будучи пьян,  
Скажешь мне, что тоже мне изменил.

И уедут дети счастья искать.  
И однажды без особой нужды  
Ты мне врежешь, отведёшь душу-мать,  
Бог поморщится на нас с высоты.

## О ЛЮБВИ

Девочки, такие как я, думают, что любовь,  
Это когда ты на белом коне, и Родина вся под твоей защитой,  
А они под знамена выстраиваются твои,  
С именем твоим на устах сражаются,  
Побеждают,  
А из костра им Рок помешает тебя спасти.

Девушки, такие как я, думают, что любовь,  
Это когда Он с горящим взором, один, против всех,  
И Родина замрёт и заплачет, поняв,  
Кого она потеряла.  
А ты — за Ним, ивняком, тростником, болотом...  
А потом от чахотки умрёшь конечно.

Женщины, такие как я, думают,  
Что они вообще не думают о любви.  
Но если читают классику, то пролистывают брезгливо  
Болтовню Чацких, Печориных, Рудиных,  
Но замирают, когда встречается:  
“Прислонив свою седую голову к его седой голове”,  
А сами сухие, очкастые, жёлчные, в платье прокуренном.

## ПОЭЗИЯ

Я всё, что знаю, — знаю от тебя:  
Как любят, как страдают, что есть зло,  
А что — добро, что — красота, что — бог,  
Где — дом, где — родина (которая мертва,  
О чём эвфемистично ты смолчала...  
Но и твоё молчанье таково, что всё понятно...).  
Всё, буквально всё. Ну, взять хотя бы розы — у тебя  
Я их нашла и полюбила их...  
Потом, как ты велела, — разлюбила:  
Тебе их надоело рифмовать...

Благодаря тебе я — близорука:  
Не видеть ты учила — прозревать.  
Я не сумела сохранить семью:  
Ты мало говорила мне о быте.  
Я не сумела завести друзей,  
Ведь ты учила — друг всегда один,  
И обращаются к нему лишь перед смертью  
Или из ссылки... Где ты?  
Как теперь  
Ты смеешь встать передо мною в позу?  
Сказать, что ничего мне не должна?  
Ты мне должна! И я тебя достану.  
Своих младенцев бросившая мать,  
Век золотой нам снова прокукуешь!

АНТОН ШУШАРИН



## ТЕМНЕЕТ РАНО

РАССКАЗ

1

Скачков сидел за письменным столом и сочинял отчёт. Сдать документацию на подпись начальнику он должен был ещё два дня назад. Перечитав последнее предложение, старлей поморщился и, скомкав лист, отбросил в сторону. Взгляд потянулся за окно. Глаз зацепился за жилки колючей проволоки. Вот! Строчки в его отчёте выходили такие же неровные и колочие.

Скачкову вспомнился сон, который вымучил его под утро.

Ему снилась лечебница в осенних горах, обнесённая высоким забором. Выбитые стёкла, облупившаяся краска на стенах, пожелтевшая потолочная плитка, узор на которой похож на копошащихся в молоке опарышей, и несколько десятков людей, поражённых неизвестной болезнью. Он, Скачков,

---

*ШУШАРИН Антон Алексеевич (1987) — уроженец деревни Косновская Холмогорского района Архангельской области. В 2010 году он окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Северодвинский филиал) по специальности “преподаватель социологии”. Четыре года работал санитаром на “скорой помощи”, три года служил в колонии строгого режима начальником отряда, работал кровельщиком, курьером, социологом, преподавал философию. Первая публикация — в архангельском журнале “Двина”. В 2012 году он стал победителем северодвинской городской литературной премии “Никольское устье”, в 2013-м получил гран-при в области литературы V Международного фестиваля “Дар-2013” (Екатеринбург), в 2015-м стал финалистом III Межрегионального литературного конкурса “За далью — даль”, посвящённого А. Т. Твардовскому, в номинации “проза”. Живёт в городе Северодвинске.*

в белом халате ходит меж рядами больничных кроватей, на которых лежат разлагающиеся люди. С них слоями слезает кожа, плоть отстает от костей и выглядит, как мясо вяленой рыбы. Через распахнутые окна в палату ветер закидывает листья, они кружатся, опускаясь на больных. Люди почти не разговаривают, кто-то стонет, кто-то тихо бредит. Запах гниющей плоти не даёт дышать, его мутит, он быстрым шагом пересекает палату и распахивает дверь запасного выхода. Чистый горный воздух, свинцовое осеннее небо. Он прислушивается, кажется, до его слуха доносится шум прибоя, похожий на артиллерийскую канонаду. Откуда здесь-то? К нему на кресле-каталке подъезжает один из больных — сморщенный человечек с голым черепом, весь покрытый гноящимися язвами.

— Здесь рано темнеет, — тихим голосом говорит он, как будто не обращаясь ни к кому.

Скачков молчит.

— У меня отняли обе ноги, — продолжает больной, у него выцветшие глаза. — Ты же начальник, сделай что-нибудь.

— Я не врач, — разводит руками Скачков.

— Тогда улетай, — всхлипывает больной. Он скребёт язву на щеке. Под ногтями остаётся кожа, которую он принимается вычищать, потеряв интерес к собеседнику.

Скачков расправляет крылья и взлетает.

— Во, — доносится до него чей-то голос, — сапсан полетел.

— Прощайте! — кричит он, но не слышит собственного голоса.

Его крик заглушает нарастающий низкий гул. С треском падает дерево, вырванное с корнем. Гарь. В нос ударяет вонь взрывчатки, всё вокруг застилает дым. Скачков со всего маха налетает на витки колючей проволоки. Грудь пронзает холод, Скачков падает, крылья ломко обвисают. Оглушённый, он слепо шарит по земле. Под ладонями — россыпь ещё горячих стреляных гильз...

Лопатки свело дрожью, старлей поёжился, положил ручку и сунул правую руку под мышку. В кабинете было очень холодно. Он подошёл к окну, посмотрел наружу сквозь обледеневшее стекло и в который раз пожалел, что своевременно не дал команду дневальному утеплить раму. Из окна была видна часть изолированного участка и бараки соседних отрядов, здание дежурной части и лес за пределами колонии строгого режима, в которой он служил.

Скачков вернулся к столу, который располагался прямо напротив входной двери. Буквой “т” к нему был приставлен ещё один, за которым осуждённые писали объяснительные, заявления на условно-досрочное освобождение, на краткосрочное или длительное свидание с родственниками, на выдачу вещей, на... В общем, заявления осуждённые писать любили и делали это часто, отрывая начальника отряда от его работы, вынуждая бегать с этими заявлениями к руководству.

“Плыл по городу запах сирени-и-и”, — пело за дверью радио. Периодически песни прерывались, и по коридору разносился грубый голос: “Внимание, колония! Осуждённому такому-сякому прибыть в дежурную часть!” или: “Внимание, колония! Начсоставу прибыть в столовую для проведения обеда жилой зоны!”

— Ничего не успеваю, — пробормотал Скачков, покосившись на пачку необработанных документов. Но... Нарочито медленно достал сигарету, в задумчивости поднёс её к носу и вдохнул запах табака. Ему вспомнилось, как утром, проснувшись в поту, ничего не соображая, он бродил по комнате, переживая приснившийся кошмар, потом оделся, зажгёт сигарету и стал тупо разглядывать складки на своих помятых брюках.

Старлей сел за стол. От воспоминаний во рту скопилось горечь. Курить расхотелось.

— Дневальный! — крикнул он.

В кабинет ввалился невысокий худой зэк, одетый в чёрную хэбэшку. “Иванов С. Б. Отряд № 7”, — было написано на бирке, пришитой на правой стороне груди.

— Меня зовут Сергей Борисович Иванов, меня пол-Европы знает. Все в курсе?

Вид лица Серёги Иванова, угрюмого, изборождённого глубокими морщинами, не соответствовал его забойной, блатной речи и жиганским манерам. Он стоял на ставке дневального отряда, что подразумевало посильную помощь в организации работы с осуждёнными. Иванов отвечал за своевременный подъём зэков, выход на утреннюю зарядку, сопровождал рабочие бригады к месту развода на работу, давал указания уборщикам, наводящим чистоту в помещениях отряда... За работу он имел небольшое денежное вознаграждение плюс возможность получать дополнительные передачи, краткосрочные и длительные свидания с родственниками.

— Сергей, сделай кофе и возвращайся. Будем документы подбивать, — дал указание начальник отряда, оставив без внимания выходку дневального.

— Начинается, — скривился Иванов и с ходу поменял тон: — Но для вас, Владимир Николаевич, хоть мордой в грязь!

— Уймись, — осёк его Скачков. — Ставь чайник. Я совсем замёрз тут...

— Мёрзнешь, родной человек? А я тебе говорил, Николаич, давай окно утеплим. А ты мне чё? “Потом, потом”, — дневальный подошёл ближе. — Ты плохо спал, что ли, Николаич? — щурясь, спросил он. — Я вот сегодня ужасно спал. Полнолуние...

— Серёга, кончай базлать. Не то настроение, — оборвал его Скачков.

Дневальный хмыкнул и пошёл к двери.

— Хоть бы котлет домашних принёс, гражданин начальник. Совсем я без мяса отошал. — Он обернулся, внимательно посмотрел пронзительными карими глазами на начальника отряда, усмехнулся и вышел.

— Ухо! — послышался крик из коридора. — Сделай кофе для начальника отряда!

Скачков проводил взглядом скрывшуюся за дверью спину: а ведь и впрямь тощой. Он подошёл к висящему на стене маленькому зеркалу и оглядел своё отражение. А сам-то лучше? Светлые короткие волосы, высокий лоб, нос с горбинкой, усталые серые глаза, широкие скулы. Всё же свежее. Оскалив отражению зубы, Скачков вернулся к столу, нехотя взял ручку и продолжил писать. Домой бы сейчас пойти, выспаться... Странно, что об одной и той же вещи утром мы думаем одно, а вечером — другое. Утром я ненавижу эту форму, эту работу. Зато, когда я выхожу за забор, мне нравится чувствовать на себе погоны. Где правда?

— Контрик в локалке! — заорал стоящий “на атасе” зэк. Это означало, что в барак пожаловал отдел безопасности. Скачков надел ушанку, бушлат, застегнулся и вышел в коридор отряда.

— Внимание, отряд! — крикнул сидевший около его двери зэк. Все осуждённые разом обернулись.

— Вольно, граждане, — пробурчал старлей. — Ты чего орёшь?

— Вы тут ходите, движуху тормозите, — заулыбался “атасник”. Во рту блеснули золотые коронки передних зубов. — Присматриваем за вами.

— Ладно. В локальный участок кто зашёл?

— Оперативный дежурный.

— А-а-а, Саныч, — разочарованно протянул Скачков и вернулся в кабинет.

Оперативный дежурный делал формальный обход по отрядам, чтобы расписать в журнале посещения. Никакого дела до начальника отряда ему не было.

В кабинет вернулся дневальный, неся в руках кружку кофе. По кабинету распространился терпкий аромат. Зэк Иванов пил только дорогой, хороший кофе, который ему присылали с воли.

— Где салфетка, которую я оставлял?

Начальник отряда, оглядев стол, развёл руками.

— Ну, и для кого я салфетки ношу, чтобы на столе пятна не оставлять? — Иванов взял первый попавшийся листок и поставил на него кружку.

— Э-э-э! — Скачков торопливо переставил кружку. — Это же заявление. Оргман просит свидания.

— Ну, и хорошо. Ты лучше порви его, — посоветовал Иванов. — Ортман слабак. Но при этом он никого не уважает, даже своего отца. Он подбивает мужиков на тебя жалобы писать. Давай его в банку закроем.

— Рано, — отозвался начальник отряда. — В ШИЗО заехать он всегда успеет. Пусть пока плавает, а мы наблюдаем.

Старлей сел за стол, отпил обжигающе горячий крепкий кофе, держа кружку в ладонях, и глубоко вздохнул. Ему хотелось оказаться дома, скинуть берцы, походить по ковру босиком, поваляться с книжкой на диване. И чтобы дома было светло. Он уже забыл, когда был дома днём, уходя на службу рано утром и возвращаясь почти ночью.

— По дому загрустил, отец? — поинтересовался дневальный.

— С чего ты взял? — Скачков пожал плечами.

— Я такие вещи сразу подмечаю. Восьмой год сижу, — пояснил Иванов. — Эх, начальник, нашёл ты себе работу...

Отзываться на сочувствие старлею не хотелось. Он повёл рукой:

— Присаживайся давай, поработаем.

Дневальный, вздохнув, присел спиной к окну. Мысли Скачкова тянулись к дому, он медлил, сделал ещё несколько глотков из кружки, всё не решаясь отставить её.

— Ну, чего сидим-вздыхаем, Николаич? — заторопился дневальный. — Давай работу, а то я пошёл тогда. Мне по отряду двигаться надо.

Скачков протянул ему пачку листов.

— Вот тебе список отряда и таблица. Видишь названия граф? Там я карандашом статьи пометил. Считаешь, сколько у нас человек сидит по каким статьям, и вписываешь цифру в пустую клетку. Всё понятно?

— Всё понятно, — эхом отозвался зэк Иванов.

За дверью началось оживление.

— Отрядник тут? — спросил кто-то.

— Тут, — ответили ему.

— Сейчас я ему всё выдохну! Беспредельщики!

Дверь распахнулась.

— Николаич! — В кабинет ворвался всклоченный, раскрасневшийся осуждённый, очевидно, только забежавший с улицы. Его морщинистое вытянутое лицо раскраснелось от мороза, очки запотели, и он смотрел на старлея поверх них. — Что за дела, Николаич! Что за беспредел! Я в прокуратуру писать буду! — он кричал, отчаянно жестикулируя. — Я вообще...

— Алексей. Во-первых, я не разрешал тебе войти, а ты уже вошёл, — не поднимая головы, оборвал его начальник отряда. — Во-вторых, сними головной убор, в-третьих, надо представиться, как положено. Да? В-четвёртых...

— Да пошли вы все! — срывающимся голосом крикнул зэк и выскочил из кабинета. Скачков, как ни в чём не бывало, продолжал писать.

— Совсем сидельцы охренели, — не отрываясь от работы, резюмировал Иванов.

— Он по жизни кто? — поинтересовался Скачков.

— Мужик, — ухмыльнулся дневальный. — Пока что.

— Узнай, чего он хотел. Может, действительно проблема.

— Николаич, он провокатор. Не грузись. Смотри, сейчас он успокоится и извиняться придёт. Хорошо ты его срезал. “Во-первых, во-вторых...”

Скачков глянул на дневального и достал из стола половинку листа.

— Начальнику ФКУ ИК... — начал он сам себе диктовать. — Рапорт. Докладываю, что сего числа осуждённый...

В кабинет постучали.

— Да-да, — отозвался Скачков.

В кабинет зашёл “мужик” Алексей.

— Осуждённый Федотов А. П., отряд номер семь. Гражданин начальник, разрешите обратиться, — отчеканил он.

— Когда я, наконец, делом займусь! — вздохнул старлей, бросил ручку и поднял глаза на Федотова. — Алексей! Можешь ведь, когда захочешь. А я вот на тебя рапорт пишу, — Скачков ткнул пальцем в начатый рапорт. —



Сам себе. Сейчас зарегистрирую, документы составлю и на дисциплинарную комиссию пойдем. Обнаглед ты, Алексей.

— Извини, Николаич. Криво въехал, признаю. Ходил в ларёк. Денег нет на карточке. А как же их нет, если мне жена перевод неделю назад отправила! Меня уже клинит от этой вашей бухгалтерии!

— Разберёмся, Федотов, — Скачков сделал себе пометку в блокноте. — Иди в отряд.

— Ты извини, Николаич, не хотел я пылится! Клинит, представляешь!

— Иди в отряд, тебе говорят! — приказал начальник.

— Вали отсюда, мышь! Сейчас по печени получишь! — заорал дневальный. — Вишь, работаем!

Зэк Федотов, пяясь, улетучился.

— Вот видишь, Николаич, уважают тебя зэки. Извиняются, когда не правы, — усмехнулся дневальный. — Кстати, я закончил. На вот, проверяй.

— Молодец, Сергей! Пружина!

— Меня ж зэки не отвлекают через каждые две минуты, — отмахнулся Иванов.

Начальник отряда пробежался глазами по цифрам. На первый взгляд всё примерно сходится. Всё равно никто сверять данные не будет. С таким движением осуждённых по отрядам цифры всё равно ни у кого не совпадают.

— Ну, что? Всё ровно?

— Да. Заметил, сколько у нас из-за порожняка сидит? Украл телефон, отнял сумку, набил рожу. За банку кофе сесть! И таких половина отряда. Ну, что вы за народ!

— Зря ты так, Владимир Николаевич, — Иванов отложил бумаги и посмотрел на начальника отряда. — Зэк зэку рознь. Счастливы те, кто не сомневается. Любящий муж, ребёнок, блаженный какой-нибудь... А в зону попадают сомневающиеся. Потому и пьют на свободе, потому и воруют, потому и грабят, что сомневаются. Ищут что-то, без чего жить нет никакой возможности.

— Ну-ну, — отозвался начальник отряда. — Всю жизнь по тюрьмам да по лагерям. Это вот поиск?

— Знаешь, в мире много хороших людей, которые совершают плохие поступки, а мы уголовники, какой с нас спрос, — ответил дневальный и, помолчав, добавил: — Тот, кто не убивает себя, должен молчать о жизни.

“Откуда он это берёт? Неужели сам придумывает?” — озадачился Скачков.

Зазвонил телефон. Начальник отряда поднял трубку, представился. Оператор поста видеонаблюдения попросил подойти в дежурную часть. Выходить на мороз не хотелось. Занят. А если на него настучат начальнику, он что-нибудь соврёт. Здесь так принято. Врёшь, а тебе верят. Это удобно. Так удобнее всем, потому что так проще.

Старлей захлопнул рабочий блокнот, собрал на краю стола бумаги и встал из-за стола.

— Ты куда? — озаботился дневальный.

— Курить хочу, — отозвался начальник отряда. — Зайди к Окуневу, скажи, пусть чайник ставит, а то я у него ещё с утра не был.

## 2

Скачков вышел из кабинета и прошёлся по отряду. Осмотрел подсобные помещения, пожелал приятного аппетита тем зэкам, которые гоняли чай в комнате для приёма пищи, проверил работу кабельного телевидения в помещении для воспитательной работы. Всё было в порядке. Если бы не случайность. В сушилке для верхней одежды он поймал жулика, который разговаривал по мобильнику. Старлей отнял запрещённый предмет, сунул его в карман и велел осуждённому зайти к нему на беседу.

Завершив обход, Скачков зашёл в каптёрку, где располагался старший дневальный, “смотрящий на отряде”. Он отвечал за дисциплину в отряде, за ремонт помещений, считался неоспоримым лидером и авторитетом среди зэков седьмого отряда. Окунев сидел за столом и мешал ложкой кофе, при-

готовленный для начальника отряда. Он встал, уступая место старлею, и поприветствовал его кивком головы.

— Здорово, Николаич.

— Привет. Дай пепельницу. Рассказывай, какие движения, какие новости, информашка оперативная какая есть? Что за ночь произошло, пока меня не было?

Обычно с самого утра Скачков первым делом заходил в каптёрку и разговаривал со старшим дневальным, или завхозом, как его ещё называли неофициально сотрудники. Окунев рассказывал, что произошло в отряде и в локальном участке барака за время отсутствия начальника отряда. Сегодня отчёты наконец выбили из графика.

Окунев поставил на стол пепельницу, закрыл дверь на ключ и присел по другую сторону стола.

— Замполит вызывал вчера. За ремонт спрашивал.

— И как?

— Давайте быстрее, говорит. А где я денег возьму? Позвоню домой, скажу: мама, продавай квартиру, пацанам надо новые сортиры ставить, — завхоз глубоко затынулся и потушил сигарету.

Зэк Окунев был на голову ниже Скачкова, но шире в плечах. Под серым свитером перекатывались мощные мышцы. Весь он походил на молодого, очень сильного зверя. Его глубоко посаженные голубые глаза, даже когда он смеялся, глядели жёстко. Даже голос Окунева был похож на рык. Он отсидел восемь лет за разбой. Ему осталось каких-то девять месяцев, и последнее время он заметно нервничал. Дмитрий, как и все, хотел домой. В Питере его ждала старенькая мама.

— Дим, я не помешаю? Начальник, день добрый, — в каптёрку зашёл один из приближённых к завхозу людей. Это был воистину амбал. Он повернулся боком, чтобы пройти в дверной проём. Помещение заметно уменьшилось, настолько много места занимал зэк. Игорь Акимов почти два метра ростом, и весу в нём килограммов сто тридцать. У него коротко остриженные тёмные волосы, голубые глаза навывкате, огромные кулаки и низкий, всегда хриплый голос.

Игорь “двигается” по отряду, поддерживает дисциплину, если необходимо, даёт денег на ремонт, поэтому Скачков разрешает ему некоторые вольности: подольше поспать, посмотреть телевизор после отбоя, покурить в каптёрке.

Осуждённые в колонии дезорганизованы. Каждый второй зэк бегаёт к операм и делится информацией: где прячут телефоны, кто напился, кто принял “пронос” или “переброс” и так далее. Здесь много врагов и нет друзей. Люди запуганы, озлоблены, здесь каждый сам за себя, и потому разрозненной массой управлять нетрудно, как, впрочем, и на воле.

— Николаич, ты спишь с открытыми глазами, что ли? — Игорь присаживается на свободное место у стола. Табурет трещит под его весом.

— Встань! Сломаешь табурет! Я тебе говорил: не садись на него, — Окунев уступил своё место на устойчивом стуле, а сам пересел на табурет. — Такие все тупые! — Он искоса смотрит на наколки, покрывающие левую руку Акимова. У завхоза наколка была только одна — “перстень” на среднем пальце, и свидетельствует она о том, что он побывал в питерских Крестах.

— Николаич, когда в отпуск? — не обращая внимания на ворчание Окунева, интересуется Акимов.

— Через неделю.

— Ты вчера тоже говорил, что через неделю.

— Через неделю минус один день. Если замполит отпустит. — Скачков посмотрел на кусочек неба в маленькое слуховое окошко в стене напротив двери, потом взял шапку и стал приглаживать мех вокруг кокарды. “Девочка моя синегла-а-а-зая”, — пело радио. В коридоре кто-то подпевал ему, коверкая мотив.

С улицы доносился стук железа — кто-то занимался на спортплощадке, несмотря на мороз. Идти в кабинет не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Не хотелось видеть жуликов, выслушивать нытьё про одежду, питание, сви-

дания, передачи, работу, отдых... Не хотелось видеть начальство, выслушивать нотации, выполнять невыполнимые приказы.

Ему вспомнилось, как вчера замполит попросил его остаться после вечернего совещания на разговор.

— Посадишь завтра утром своего старшего дневального в изолятор, — закуривая, приказал он.

— Товарищ майор, за что? — изумился Скачков. — Меня мой завхоз устраивает, оперов тоже, с порученной работой справляется. Обстановкой на отряде владеет, люди его уважают. Мне новый завхоз не нужен.

— Ты чего понёс, Вова? — спокойно прервал его замполит. — Он мёртвый у тебя. Ремонты встали. Зэки курят в подезде, униженные и оскорблённые головы поднимают. Каждая мышшь имеет что сказать. Такого быть не должно. Он давить должен. Режим должен быть!

— Сажать не буду, — отрезал старлей, упрямо наклонив голову. — Я с ним поговорю. Ремонт пойдёт. Дисциплину наладим. Всё нормализуется. Я обещаю.

— Ну, смотри, Вова. Офицерское слово твоё, — замполит открыл окно и выкинул окурки.

— Николаич, куда в отпуске поедешь? В Египет? — вывел его из задумчивости хозяин каптёрки. Окунев закурил третью сигарету и вопросительно посмотрел на начальника отряда. — Какой-то ты смурной сегодня.

— Никуда не поеду. Денег нет. Машину буду ремонтировать.

— Продай ты свою “девятку”! Давай пацаны с Питера тебе “ауди” подгонят. Я тебе сто раз говорил, — предложил Окунев.

Старлей покачал головой.

— Я за восемь лет так и не понял, зачем вы здесь работаете. Денег не получаете, зато геморроя — до фига. Каждый день из-за всяких животных по сандалиям получаете. Угрожают вам постоянно. Наказывают за всё, — Акимов повертел в руках резиновое кольцо-эспандер, с которым не расставался. — Вот скажи, Николаич, тебе это зачем надо?

— Не знаю, — вздохнул начальник отряда и отхлебнул остывший кофе из кружки.

— Может, ещё кофе? — спросил завхоз.

— Давай.

— Голованов! — крикнул Окунев в коридор. — Три кофе!

— Уходи из этого болота, Николаич, — продолжил Акимов. — Чтобы здесь работать, нужно быть мерзавцем. А ты другой. Мы с тобой три года работаем. Я неглупый человек, вижу тебя. Все видят, что тебе тут нехорошо. Ищи другую работу, — закончил Акимов и откинулся на спинку стула. — От тебя я только добро видел и справедливость. И тебе добра желаю.

— Я ищу, — протянул Скачков. Завхоз и его помощник смотрели выжидательно. — Но пока безуспешно. Деньги нужны.

В каптёрку зашёл тощий зэк и, поставив на стол три кружки кофе, молча вышел.

— Владимир Николаевич, мне с вами поговорить надо, — в каптёрку заглянул зэк, у которого начальник отряда забрал телефон.

— Дверь закрой, — зарычал Окунев.

Он встал и закрыл дверь на ключ.

— Как они меня все додолбали, — проворчал старший дневальный.

— У меня близкий в Питере — бандюга, — Акимов упёрся локтями в стол и придвинулся к своей кружке кофе. — Полтора миллиона в неделю поднимает. Ни разу не сидел! Он себе значок сделал какой-то. Под кирпич проезжает как-то раз, нас патруль останавливает. Всё, думаю: или штраф, или заберут. Он им значок сунул, менты ему честь отдали и отошли. Я говорю корешу: мне срочно такой нужен. А он: у тебя фигура не той формальности!

— По твоей роже можно лекции читать о вреде алкогольного зачатия, — подтвердил Окунев и хлопнул Акимова по плечу. — Ты это к чему рассказал?

— Так. Начальника развеселить, — Акимов залпом опрокинул содержимое своей кружки, встал и направился к выходу. — Николаич, я к тому, что деньги можно всегда заработать. А если душа не лежит — ничего хорошего не получится. Я это тебе сто раз говорил. — Он повернул ключ и вышел. Завхоз поднялся и снова закрыл дверь.

Акимов действительно на свободе сильно пил. Дело кончилось тем, что в пьяном угаре он насмерть забил жену. Дали ему восемь лет строгого режима. Отсидев пять лет, он обзавёлся новой семьёй, сыну скоро будет два года, и сроку осталось полтора. Уголовное дело и судьбу Игоря Скачков знал досконально. Он готовил материалы на его условно-досрочное освобождение. Втайне начальник отряда надеялся, что это его последний осуждённый, которого он подготовит на УДО. Со дня на день должен был прийти ответ от одной фирмы, где ему обещали хорошее место.

— Николаич, переведи с отряда Жездриса, — прервал молчание Окунев. — Я редко такие вещи прошу сделать. От него толку никакого. Уборщик он хреновый. Весь больной. Всё время ноет. Один, говорит, выход у меня — самоубийство, — завхоз умахнулся. — На отряде он не нужен. Сними ответственность с себя. Чую я: криво въедем мы из-за него.

— Ладно, Дима, — Скачков поднялся из-за стола. — Решим в ближайшее время. Спасибо за угощение. Пойду работать.

— Да ладно тебе, Николаич. Всегда рады с человеком поговорить. — Окунев открыл дверь и выпустил начальника отряда в коридор.

### 3

— Внимание, отряд! — крикнул “атасник”. — Отрядник идёт!

Старлей быстрым шагом прошёл по коридору и открыл дверь своего кабинета. Не успел он сесть за стол, как к нему ворвался дневальный Сергей Иванов.

— Слышишь, Николаич, мне бумажка пришла из спецчасти, — вскричал он. — Скоро я гражданином Финляндии буду и уеду досиживать срок туда!

— М-м-м, — промычал Скачков.

— Вот зачем ты так, отец? — с осуждением посмотрел на него Иванов.

Старлей никогда не мог понять, когда этот человек шутит, а когда говорит правду. Люди в колонии между собой считали, что Иванов “пересидел” и немного помешался. Однако работал он хорошо и на должности стоял ещё до того, как Скачкова перевели сюда начальником отряда.

— На, посмотри, — дневальный протянул бумагу, в которой говорилось, что при условии предоставления необходимых документов осуждённый Иванов имеет право быть признанным гражданином Финляндии.

— У меня мать русская, отец финн. Сейчас все родственники имеют финское гражданство. У меня два паспорта. Понял теперь?

— Теперь понял, — озадаченный, Скачков вернул листок.

— Ну, и почему ты мне не поверил, Николаич? Разве я тебя обманывал когда-нибудь?

— А почему я должен тебе верить? У меня нет оснований тебе доверять, — отрезал старлей.

— Вот! — торжествующе поднял палец Иванов. — То есть если я в чёрном, а ты в синем, то мы разные. Жизненные обстоятельства, разные стороны баррикад, бла-бла-бла.

— Тебя чего понесло, Серый? — устало улыбнулся Скачков.

— Ты представь, что я работаю, что я просто здесь работаю. Согласись, зэк даёт работу сотруднику: не было бы нас — не было бы вас. Представь, что я такой же человек, что мы не разные. Просто я тут работаю.

— Ты умный и хитрый, Серый, — ответил начальник отряда, вертя в руках степлер, которым он играл всегда, когда размышлял. — Значит, опасный. Мы же в тюрьме! Здесь никто никому не доверяет! Ты сам-то доверяешь кому-нибудь?

— Как же ты тут служишь?! — закатил глаза дневальный, и старлей опять не понял, шутит дневальный или всерьёз. — Отчуждение и одиночество.

— Одиночество — как стержневое чувство, — добавил начальник отряда.

— Хороший ты человек, Володя, — помолчав, признался Иванов. — Я бы тоже мог быть хорошим человеком, но меня посадили. Да, виноват. Каждый день думаю об этом. А с тобой мне приятно общаться, отец, — зэк снова пристально посмотрел в глаза начальнику отряда. — Ты бы знал, какие показания потерпевшая давала! Вот уж точно: чем больше счастья в жизни человека, тем трагичнее его свидетельские...

— Из-за разговоров работа встала. Теперь я уже точно выговор получу, — не дослушав, прервал его Скачков. — Сегодня весь день одни душе-спасительные беседы.

— Вот ты думаешь: дурачок Иванов С. Б., отряд номер семь, да? — дневальный подался вперёд, продолжая пристально смотреть на начальника отряда. — А мог бы ты обаянием город взять?

— Как это?

— Вот тебе сколько лет, начальник?

— Двадцать восемь.

— А мне сорок четыре. Видел бы ты меня в двадцать восемь лет! Я тогда мог приехать на любой район и просто одним обаянием его взять. Я в Питере жил. Ну, ты знаешь, читал дело.

— Нет, не знаю. В деле не всё пишут, — ответил начальник отряда.

— А-а-а, — возбуждённо протянул Иванов и продолжил: — Так ты не знаешь ничего, родной! Ну, ничего, я расскажу тебе. Я же учился в Институте международных отношений. Я лингвист. На пяти языках говорю. Говорил. Давно. Школу закончил в Финляндии, а в институте учился в России. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что мать моя — умная женщина. В СССР тогда бесплатное образование было, бесплатная медицина. Всё на халяву.

— Ну, — согласился Скачков.

— Я всегда себя финном считал, это мой родной язык, я на нём думаю. Хотя в России я прожил больше времени. — Тут в дверь поскреблись, кто-то начал открывать её. — Закрыл дверь с той стороны, грач! — крикнул Иванов, и дверь тут же захлопнулась. — Вот видишь, начальник. Сила в тюрьме — абсолютный бог. Если ты добрый, великодушный — значит, беспонтовый. Странствие не даёт никаких прав. Только сила. Остальное — уход от реальности.

Скачков с интересом посмотрел на дневального. Впервые человек, который сидел в колонии, так раскрывался перед ним. Начальник отряда старался не потерять нить разговора и одновременно пытался понять, к чему клонит дневальный, где тут подвох.

— Я же первый раз сижу, Николаич, — продолжил дневальный.

— Не может быть. “Первоходы” у нас не сидят.

— Судимость вторая, — пояснил Иванов. — Мне условно давали, а потом я человека убил. Я плохой был человек. Я думал, что я самый лучший, самый умный. Мы тогда, если бы захотели, могли бы города брать. Представь, что у тебя друзей не пять, не десять, а десять тысяч! Конечно, я был плохим человеком.

— Что значит “плохим”?

— Я ногу гайшнику прострелил. Он меня остановил, я ему взятку дал, а он взял. Я ему ногу прострелил. Ты же должен меня штрафовать, а ты деньги берёшь, говорю ему. А он: у меня семья, дети, не убивай. — Зэк вытащил из кармана пачку курева, достал сигарету, покрутил в руках и спрятал обратно. — А один раз я четыре часа битой бил троих коммерсов, а одному ухо отрезал, потому что они детям шоколадку не дали. А дети были бездомные, голодные.

Глаза у Серого блестели.

— А сколько у меня женщин было! — Он вскочил со стула и в волнении заходил по кабинету. — Тому, кто создан для игры, всегда хорошо в женском обществе. Женщины — благодарная публика. Они многое готовы терпеть, если ты умеешь зажигать огонь восхищения в их глазах.

— Ты с чего разоткровенничался? — прищурился Скачков.

— А не знаю, — наклонившись к нему, ответил дневальный и снова зашагал по кабинету. — Хочу так сегодня. Карты под стол, стволы на стол! Должен же я хоть с кем-то раз за срок начистоту поговорить! Без оглядки! Как с психологом или с психиатром, в моём случае. Может, это из-за бумажки этой, — задумавшись, он медленно присел обратно к столу.

— Знаешь, в чём разница между нами, Серый? — задумчиво спросил начальник отряда. — В том, что у меня есть идеалы, а ты свои давно потерял. Ещё тогда. Посмотри на себя. Ты же разочаровавшийся романтик. Циничный романтик. Хочешь, чтобы людям хорошо было, — молодец. Но методы-то... — теперь уже старлей усталился в глаза дневальному. — Я верю в добро. Просто так верю. Мне для этого не нужно никому уши отрезать. Мне даже не нужно ненавидеть вас, осуждённых: бандитов, убийц, насильников, людоедов, воров... Добро есть. Для этого ничего не нужно делать. Нужно просто это знать. Знать и поступать по совести.

— Ты хороший человек, Володя, — вздохнул зэк Иванов. — Была бы моя воля, я прямо сейчас отпустил бы тебя домой. — Он махнул рукой, потёр лоб, вспоминая, что хотел сказать, и продолжил: — Цинизм — это искушение, преодолевающее все умы. Ты ещё не поддался, но уже вот-вот... Надеюсь, я не увижу, как ты превратишься в циника.

Он сел на стул, ссутулился, сложил руки перед собой в замок. Скачкову показалось, что дневальный постарел за время разговора. Теперь это был не жиган, не топотун, а уставший человек с морщинистым худым лицом, большими залысинами, узловатыми пальцами и печальными карими глазами.

— Два года досидеть осталось, — сказал сам себе Иванов. — Спасибо, начальник! Как-то легче, что ли, стало. — Дневальный хлопнул себя по коленям и усмехнулся. В глазах его снова загорелся привычный огонёк. — А ты пока загадку отгадай, — он вытащил из кармана листок, положил перед начальником отряда на стол, поднялся и вышел.

Скачков развернул бумажку. “Что на свете милее всего? Что на свете слаще всего? Что с земли не поднимешь?” — прочитал он.

#### 4

— Владимир Николаевич, разрешите? — В кабинет зашёл зэк, у которого начальник отряда забрал телефон.

— Ну, чего ты ходишь, Киселёв? — раздражённо спросил Скачков, посмотрев на худенького лопухого мужчину с тонкой щёткой усов, стоящего по стойке “смирно”. Киселёв никогда не имел никаких нареканий. Заходил редко, говорил по существу, режим не нарушал. Скачков был огорчён, что забрал у него телефон. С точки зрения оперативной обстановки это было бесполезное действие.

— Представляете, Владимир Николаевич, с женой разговаривал, — развёл руками зэк. — Помните, вы доверенность помогли мне оформить? Я звонил ей сказать, что отправил. Только жена-то бывшая.

— Ну, понятно, — начальник отряда посмотрел на листок с загадкой. — Андрей, что на свете милее всего?

— Каждому своё. Семья, наверно, — и уточнил: — Для меня.

— Почему семья?

— Потому что у меня её нет, а она для меня очень дорога. Дочь, когда па-спорт получала четыре года назад, взяла фамилию матери, а отчество деда. Ты мне, говорит, только биологический отец. Я тебя не знаю и знать не хочу. Я ведь двенадцать лет сижу. Она маленькая совсем была, когда меня посадили. Сын тоже фамилию деда взял. А с женой я ещё раньше развёлся. Владимир Николаевич, не наказывайте меня за телефон. Он у меня простой. Я никому не звоню. Только жене. Мне больше некому звонить, я столько лет сижу, да и возраст не тот, чтобы сексом по телефону заниматься, как некоторые.

— Иди, Андрей. Позови мне Сашу Жездриса.

— Жездриса? Уборщика? Позову. — Киселёв вышел из кабинета.

“А что тогда на свете всего слаще?”

В дверь постучали.

— Осуждённый Жездрис прибыл. — В кабинет, ссутулившись, бесшумно зашёл седой мужчина, субтильный, с большой головой, тихим голосом и удивительно чистыми, светлыми глазами.

“Какой из него насильник? — в который раз поразился Скачков. — Да ещё и детей! Он же рубаху в штаны нормально заправить не может. И подушка у него, как лягушка, и одеяло убежало. Чего-то я не понимаю в этом мире”.

Жездриса осудили за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Проще говоря, он показывал свои причиндалы детям.

— Присаживайся, Жездрис, — начальник отряда указал на стул. — Рассказывай, как здоровье твоё, как настроение?

— Сегодня получше. Вчера голова очень кружилась. Утром в санчасть хотел пойти. Не выпустил прапорщик из локального участка. “Иди сортир мой, животное”, — сказал. Меня никто не любит здесь.

— Здесь люди не для любви собрались, если ты ещё не понял, — сухо отрезал Скачков. — За что тебя любить?

— Я знаю. Сам виноват, — Жездрис обхватил голову своими большими ладонями. — Я, Владимир Николаевич, думаю, это болезнь какая-то. Отец тоже страдал этим.

Скачков, заметив, что у осуждённого затряслись губы и на глазах выступили слёзы, встал и закрыл дверь на ключ. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь увидел, что Жездрис плачет. Тогда его точно сживут со свету. Один Серый чего стоит!

— Я боюсь, что эта болезнь сыну передастся, — дрожащим голосом прошептал зэк и, достав платок, вытер лицо.

— Эта болезнь эксгибиционизм называется, — старлей с трудом подавил зевок. — Мне психиатр твой в санчасти сказал.

— Может, и так, я не знаю, — Жездрис высморкался. — У меня нервная система совсем распатана. Сахарный диабет усугубляет состояние. Я добрый человек по натуре. Делаю, что говорят, всегда. А они ведь не понимают, издеваются. Специально мусор кидают на пол, унижают меня. Я думаю, что я тут умру. Срок у меня большой, здоровье слабое, возраст — мне на свободу уже не выйти.

— Вот таких разговоров мне не надо! Если есть у тебя трудности, ты сразу подходи и говори, будем решать.

— Хорошо. Спасибо, Владимир Николаевич, — осуждённый посмотрел на начальника отряда своими светлыми глазами. — Мне тут не спалось вчера. Я знаю, что вы ко мне положительно относитесь. А я говорить не умею.

В общем, я вам письмо написал, — он положил на стол конверт. — Вы сейчас не читайте, а читайте, когда я уйду, чтобы я не видел.

“Что сегодня за день? — Скачков со вздохом посмотрел на часы. — То загадки, то письма”.

— Саша, — сказал он, — я тебя перевожу на другой отряд.

— Почему? — Жездрис растерянно посмотрел на начальника отряда. — Я что-то плохо сделал?

— Дело не в этом. Ты человек больной, вот я тебя и переведу к пенсионерам и инвалидам. Там условия лучше, контингент другой.

— Избавиться от меня хотите, — Жездрис был похож на побитую собаку, заискивающую перед пнувшем её хозяином. — Условия — это одно, а человеческие отношения — это другое. Мне ведь поговорить не с кем. Вот с вами разговариваю. А вы меня переводите, — зэк с упрёком посмотрел на начальника отряда.

— Саша, у нас не хватает спальных мест, сегодня будет распределение. Я тебя перевожу в другой отряд. Там тебе будет лучше. Я всё сказал, ты свободен, — Скачков указал Жездрису на дверь. Тот покорно встал, придвинул за собой стул.

“Старшему лейтенанту Скачкову просьба прибыть в дежурную часть!” — прервав поющее радио, отчеканил по громкой связи металлический голос.

— Ну, вот, — старлей встал из-за стола. — Сейчас припашут куда-нибудь. Поработать сегодня не получилось. Зато поговорили.

— Поговорили, — эхом отозвался Жездрис. — Я пойду, Владимир Николаич. — Уже взявшись за ручку двери, он развернулся и сказал: — Вся беда человека в том, что ему приходится плакать и молить о том, что его унижает. Знаете, о чём?

— О чём? — спросил Скачков. Он торопился поскорее уйти.

— О помощи, — объяснил зэк.

— Саша, постой-ка! — начальник отряда вдруг вспомнил про загадку Иванова. — Что на свете слаще всего?

— Труд. Благодарный. Тот, что приносит человеку удовлетворение и радость. Я любил свою работу. Печником был, — сказал Жездрис и вышел.

## 5

Скачков дошёл до дежурной части. Оказывается, его вызывал начальник пятого отряда капитан Темник. Не то чтобы они дружили, просто накануне Скачков уговорил Темника дать посмотреть ему свою документацию. Старлей хотел составить отчёты по подобию. Так легче и быстрее было...

Вдвоём они вышли за зону и отправились в столовую. Пообедав, покурили на улице, поделились последними новостями.

— Как отчёты? — спросил капитан, торопливо затягиваясь.

— Никак, — усмехнулся Скачков.

— Здесь так всегда, — добродушно хлопнул старлей по плечу Темник. — Синдром нев्यученного урока. Ну, давай, — капитан протянул руку Скачкову. — Не забудь, сдай вечером журналы, чтобы мне не возвращаться.

Темник пошёл домой, потому что у него сегодня был выходной, и он приезжал доделать кое-какие бумаги, а Скачков, пообещав вечером сдать его журналы на проверку начальнику, отправился в свой отряд.

Зайдя в зону, он остановился выкурить в курилке ещё одну ленивую сигарету. Мимо пробежали два встревоженных сержанта.

— На сработку, что ли? Вводная «Побег»? — крикнул он им вслед, но те только рукой махнули.

Докурив, Скачков бросил сигарету и пошёл в дежурку. В дверях он столкнулся с дежурным, который вытеснил животом его обратно на улицу.

— Товарищ майор, с вами в узкостях уже не разминуться. Живот-то генеральский, — уступая дорогу, пошутил старлей.

— Ты чё ржёшь? У тебя на отряде зэк повесился, а ты ржёшь! У всей дежурной смены задница в мыле, а тебе смешно!

— Как повесился? Наглухо? Кто? — Скачков растерянно посмотрел на дежурного. — Ты так не шути, Саньч...

— Пошли, Володя, покурим, — дежурный придержал за рукав рванувшего было в отряд Скачкова. — Сутулый, уборщик твой, повесился! — майор выругался и плюнул себе под ноги. — В сушилке. Когда успел? Полный отряд зэков...

— Жездрис?!

— Пошли, пошли. Там пока делать нечего. Ты не грузись. Ты же на обеде был. Тебя не прицепят. Вот я попал... — Саньч прикурил сигарету и глубоко затянулся. — Не поймёшь этих зэков. Тут толпа офицеров ходит, им сопли вытирает. С его статьёй его тут убить должны бы, а ему работу какую-никакую дали, психолог беседует с ним через день...

— Я ему сказал, что в другой отряд перевозжу его, вот он... — Скачков не договорил.

— А слышал это кто?

— Нет. У меня даже кабинет был на ключ закрыт.

— Тогда чего ты переживаешь? Отмажешься, — успокоил его Саньч.

— Саньч, человек повесился! Понимаешь? Тут дело в принципе! «Отмажешься...» — Старлей закрыл глаза и прислушался. Морозный день вдруг захлопал, стал мягким и влажным, словно болотная жижа. Ему стало жарко, он расстегнул бушлат, сдвинул шапку на затылок.



— Ну, ладно, — хлопнув старлея по колену, Саныч поднялся, бросил сигарету в урну. — Это тюрьма, а не санаторий. Привыкай. Я тут двадцать лет отработал, навиделся!

— К смерти я давно привык, ещё в армейке, когда на Кавказе служил, — Скачкову опять вспомнился вопрос дневального: — Ты мне скажи, Саныч, что на свете милее всего, что на свете слаще всего и что с земли не поднимешь?

— Володя, ты чудишь, по-моему, — усмехнулся дежурный. — На хрена тебе это?

— А всё-таки, — не унимался Скачков.

— Что милее всего? — майор поскрёб подбородок. — Отпуск, товарищ старший лейтенант! На охоту съездить, на даче покопаться, выспаться, газету почитать. Слаще всего мёд с пасеки моей тёщи. А ещё?..

— Что с земли не поднимешь? — повторил Скачков.

— Это не знаю. Всё. Ушёл. — Дежурный развернулся и скрылся в дверях.

Старлей закурил. Достал из кармана конверт с письмом Жездриса, развернул тетрадный лист и пробежался глазами по неровному почерку, где письменные буквы перемешались с печатными, а вина за совершённое — с обидой, усталостью и отчаянием.

*“Начальнику отряда В. Н. Скачкову.*

*Информация по болезням: сахарный диабет, гипертония. Что для этого нужно: постоянный контроль сахара крови в организме, правильное питание, т. е. через каждые 2 часа, понемногу, поддержка организма витаминами и инсулином. Постоянный контроль давления.*

*Гражданин начальник отряда, здесь нет возможности правильно всё делать; колоть инсулин, проверять давление, сахар, правильно питаться. В санчасти дают то, что есть, не всегда можно выйти из изолированного участка. При плохом самочувствии мне не к кому обратиться, идёт полное нарушение психики, вплоть до суицида. Хоть как болеешь, всё равно надо работать. При работе быстро снижается уровень сахара в крови. Когда расстраиваюсь — повышается давление. Никому нет дела до меня. Как хочешь выживай. Что мне делать? Родственников нет, средств, чтобы помогать, у жены нет. На воле региональный бюджет выделял лекарства бесплатно.*

*У меня постоянные головокружения. Боль в сердце. Боль в поджелудочной. Ноги болят. То изжога, то голова болит. Пропадает память, зрение. Постоянные простуды.*

*В столовой нет возможности брать с собой дополнительно что-нибудь, даже хлеба не дадут, хоть и лишнее остаётся, а при низком уровне сахара надо постоянно что-нибудь кушать. При плохом самочувствии не всегда можно прилечь. Некому помочь в трудную минуту. Поговорить не с кем. Надо мной все издеваются, оскорбляют, унижают. Лучше сидеть в одиночке весь срок, как опасный преступник.*

*Я добрый, безотказный, стараюсь делать добро, потому что зло всегда бессмысленно в мире красоты и гармонии. А, что ни делай, всё равно нет благодарности. Конечно, сам виноват. Никто меня сюда не тащил. Государство наказало жестоко, сам зашёл в систему, наказал себя. Придётся мучиться.*

*Можно много говорить. Я был и руководителем, очень много людей меня уважало, любило. И богатые, и бедные. Идёшь по улице, а с тобой здороваются, говорят: “Спасибо, печь наладил”. Приятно. До сих пор спрашивают, куда Саша делся, пропал. Здесь я никому не нужен. Некому меня выслушать, понять. Я не хотел никому делать плохо. Болезнь у меня какая-то. Может быть, меня лечить надо было. Теперь уже ничего не изменить, не переделать. Рано или поздно я тут умру. Обидно. Люди будут говорить — извращенец, маляк. Сын стыдиться будет. А потом забудут, как будто не было меня никогда на свете”.*

Сигарета давно истлела, а старлей всё сидел в курилке и смотрел на заходящее зимнее солнце. Рядом присел Иванов. Некоторое время они молча смотрели на закат.

— Николаич, я тебя везде бегаю ищу. Даже в дежурку прорвался. А ты тут куришь, — Серёга коснулся его плечом: — Это ты из-за Сутулого? Судьба у него такая, отец. У каждого своя. Значит, так надо было. Никто его в петлю не тащил. Сильные люди даже в неволе остаются свободными, потому что свобода — она внутри. А слабых ломают. Естественный отбор.

Скачков достал сигарету, удивляясь, как много он сегодня курит.

— Серёжа, в загадке какой ответ? — спросил старлей, щелчком выбил из мятой пачки ещё одну сигарету и протянул её дневному.

Зэк Иванов глубоко затянулся, помолчал и усмехнулся:

— Нет правильного ответа, Николаич.

— В смысле?.. — не понял Скачков.

— А вот так. Что на свете милее всего? Для меня жизнь, потому что она одна и, когда я умру, больше ничего не будет. Что на свете слаще всего? Сон, потому что, когда я сплю, я свободен, и ни ты, ни начальник-полковник мне не указ. Что с земли не поднимешь? Собственную тень. Тень своего прошлого, которая будет преследовать тебя всю жизнь. Думай, прежде чем что-то сделать, начальник, потому что тебе потом с этим жить.

Иванов докурил, бросил сигарету и посмотрел на горизонт. Солнце закатилось, и стремительно наступали ранние зимние сумерки, густые и тягучие.

— Темнеет рано, — дневальный плюнул на снег и пошёл обратно в отряд.

Скачков проводил его взглядом, поправил шапку и, сутулясь, вышел из курилки.

МАРИЯ НАПРИЕНКО



## ПРОЧЬ ОТ МОСКВЫ!

МАМЕ

Мамочка! Мамочка! Вещие сны чисты.  
Радости ангелов нет в этих снах предела!  
Мамочка! Мамочка! Ветер уже простыл  
Слёзы сушить твои, дрожь отделять от тела.

Мы улыбаемся не потому, что нас  
Грех не касается, а потому, что верим  
В то, что исправимся прежде, чем смертный час  
Вынесет мытаря лодку на Правый берег.

Рыщут  
    под крышами все твои декабри,  
Ищут  
    меня, отделившуюся от стаи...  
Школы, училища, вузы, монастыри  
Имя твоё произносят и повторяют...

Утро искрится, разбужено до зари,  
Если счастливою снишься ты мне, родная...

---

*НАПРИЕНКО Мария родилась в 1985 году в Новосибирске. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького, 2015, семинар поэзии Станислава Куняева. Публиковалась в "Юности", "Дне литературы", "Зинзивере", "Кольце А", "Литературной гостиной", "Крещатике", "Истоках", "Росте", сборнике "И вновь, как по законам волшебства, рождаются стихи...". Автор и исполнитель песен, автор поэтических переводов с итальянского языка, певица, актриса в детских спектаклях.*

\* \* \*

*Никакая родина другая  
Не вольёт мне в грудь мою теплынь...*  
Сергей Есенин

Больше нет таких улиц, уткнувшихся небом в виски  
и целующих волосы. Нет таких окон в подъездах.  
Никому таких знаний, для каждого взора полезных,  
не желаю, но всё-таки самой красивой невестой  
я вернусь в этот город, не выдержав смертной тоски!

Он бежал по железной дороге объятьями рук  
моей бабушки, дедушки преданным, мерным молчаньем...  
И друзей нет других, заполняющих воспоминаньем  
мою молодость, юность, отчасти став каждым желаньем  
моей зрелости, творческих поисков, всяких разлук.

Он позднее вырослел без меня, но в тот день фонари  
зажигал, как причастную косвенно, благословляя...  
Мама верно ждала. И металась дома, вырастая...  
Я узнаю его по заснеженным признакам рая.  
Ничего больше делать не надо — дыши и смотри!..

\* \* \*

Распятых сосен за окном  
бег, ретроградное скольжение.  
Прочь от Москвы, гребя дождём,  
плыть, уличая в преступленье,  
молчать, терпеть, переступить  
через себя и улыбаться.  
Берёзам душу оголять  
стволами, с липами мешаться.  
На час от света удалён  
осенний день. Забитым в холод,  
деревьям слушать в унисон  
всё уменьшающийся город.  
Он так открыться норовит,  
но помнит, подливая музе:  
октябрь — не время для любви  
и жизнь — не место для иллюзий.

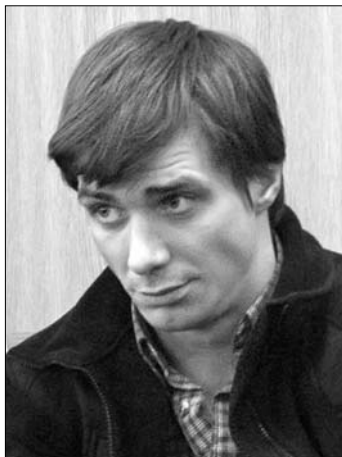
\* \* \*

Эта улица — в сердце её католический храм —  
так и просится вырваться в прошлое, чтобы не помнить  
в ней меня, чтобы новые лица придать именам  
и не слышать шагов, доносящихся плачем из комнат.

Эта улица к ногам привыкла, как к фазам луны,  
и вернёт сюда каждого, здесь говорившего с Богом.  
Эта музыка выше предательства, слаще, чем сны.  
Всепрошения свет благодать разольёт по дорогам.

Эта улица ждёт тебя, несколько вёсен спустя,  
сколько б поисков жадно душа твоя ни проходила.  
Эта улица знает, что ты перед Богом — дитя,  
что просить может лишь об одном Его: “Боже, помилуй!”

ЕГОР СОРОКИН



## ЗАПАХ КОСМОСА

РАССКАЗ

Немолодой уже человек сидит на крыше. Он не свешивает ноги за парапет и не дурачится от замираний сердца, находясь на высоте. Наблюдает верхолаз, как проходит цветение весны, пролетает лето, сквозит осень и засыпает зима. Очень зависит от погоды его жизнь, ведь труд его — уличный. Сегодня работа нехитрая, стены красить краской. Только вот попасть на неё не так уж и легко. Пока он вяжет узлы, ветер сдувает с деревьев последние осенние листья, раскидывает их омертвевшим ковром под концы болтающихся с крыши верёвок.

Анвар не стремился к стабильности, вот и дошёл до такой жизни. Штанишки так бы и свалились, если бы не альпинистская обвязка. Но не только эту функцию выполняет она, на ней ещё карабины и зажимы висят всякие, страховочная она, наконец. А ветер знай себе свистит в жерлах водостоков. Вот и наш герой в обед свирельку-дудочку, что флейтой называется, достаёт из кожаного чехольчика и подыгрывает всем ветрам свой незатейливый мотив “милого Августина”. Из термоса он пьёт супчик, из другого чаёк. Вот Борей успокаивается, и лишь спутанные в бороду верёвки напоминают о буйствах природы.

По ломаному рельефу крыши, будто скаковая лошадь на полосе препятствий, держа в руках ведро, шпатель и ещё Бог весть что, он пробирается к точке навески. Сегодня это дымовая труба. Да! Это то самое место, с которого и начинается рабочий день всякого промышленного альпиниста. В голове его мало места занимает работа, она ведь проста донельзя: спуститься по верёвке с крыши, махнуть валик в ведро, раскатать на стену, спуститься, махнуть, раскатать... Вот воспоминания художника Коровина о Шаялине

---

*СОРОКИН Егор Александрович родился в 1985 году в Москве в семье строителя и педагога. Окончил строительный техникум и Литературный институт им. А. М. Горького (семинар А. Ю. Сегеня). Работает промышленным альпинистом.*

его занимают куда больше, и думы направлены вперёд, в зиму. В то чудное время, когда он берёт тайм-аут и сам пишет картины. Перелезая через очередную преграду, он теряет мысль, и вот уже сидит перед мольбертом и творит. Не стоит забывать, что, передвигаясь, он издаёт ритмичный звон — это всякие-разные железячки бряцают друг о друга. Он уже собирается вылезти на верёвку, как его останавливает окрик из слухового окна. Заботливые соседи и соратники по труду желают вернуть ему карабин, который ранее он случайно обронил.

— Спасибо! — говорит Анвар.

— Не за что, — отвечает ему сосед в малиновом горнолыжном комбинезоне.

Вот он, видите? Маленькая зеленовато-серая точка на бежевом доме, влево от малиновой, ведь видите? Это он, это Витёк. Он уже болтается висюлькой и катает валиком краску из ведра по стенке дома — дом этот стоит на берегу Москвы-реки. Раздаётся звон ударов тысяч молотков, визг сотен дрелей и уханье не одного десятка рабочих. Да! Вот она, мелодия вновь “отмытой” столицы. Финальной канонадой бьёт перезвон колоколов храма всея Руси. Все радуются! Бюджет пилится, работа работается, жизнь продолжается.

В этом гомоне, среди лесов и прочих люлек, висит наш Анвар. Он слушает музыку в плеере и тихонько подпевает известному певцу. Дело в его руках спорится, стена метр за метром покоряется его валику и окрашивается в нужный цвет.

Семья Анвара переехала в столицу из Ташкента ещё при Союзе, поселились в Кокоскино. Молодой человек так и не озадачился получением высшего образования. Уехал от родителей и облюбовал уголок в одном подвальчике, отданном под мастерские его друзьям-скульпторам. Подрабатывать пытался разными способами, но больше всего запомнились мытарства коммивояжёра. Приключения начинались с утра, он шёл на базу и набирал в рюкзачок немного книг. Мыслимыми и немислимыми путями Анвар должен был сбыть свой товар, минуя преграды, состоящие в основном из проходных и заборов. К вечеру он так утомлялся, что едва шевелил ногами, но всегда выручала настойчивость — и он, вдохнув сырую затхлость подвала, погружался в него и ел да спал. Не лучшим образом сказалось место проживания на его здоровье. Не было даже окна, свет лился из маленькой жёлтой лампочки, висящей под низким потолком и раскачивающейся при открытии двери.

Одним летним днём Витёк взялся восстанавливать лепнину на Солянке. Привычка к скрупулёзному труду помогла немножечко, но вот отсутствие оной к штукатурному инструменту портило практически все усилия работать быстрее. Всё же эта работа оказалась куда более интересной и выгодной, чем предыдущий промысел. Начал он и на крышу поглядывать: сначала появляется верёвка, потом человек, как будто в доспехах, и перемещается по совершенно отвесной стене. Заинтересовался Анвар. На его счастье или беду, отозвался на рвение “вывеситься” паренёк-альпинист, тот у которого опыта немногим больше оказалось — и тут понеслось. Крыши, стены, стройки, офисные стекляшки, заводы... Даже в Кремле удалось ему поработать.

Забавнейшая, в сущности, приключилась история. Обычное дело — нелепица в промышленном альпинизме. Но этот случай стоит отдельного упоминания.

Анвар ещё со времён своей службы радистом в ГДР увлёкся историей Великой Отечественной и, пресытившись информацией с бумажных и цифровых носителей, ушёл в поля. Своего металлоискателя сначала не было, вот и приходилось одалживать у знакомцев. А вот котелок приобрести пришлось первоочередно, как и костюмчик “горку” — больно липка грязь рядом с бывшим окопом. Зимой не копалось: земля промерзала, а “трофеи” дома валялись. Вот в белоснежную пору и раздался звонок от постоянного заказчика, Серёжи Кудрина:

— Анвар! Не хочешь снежок в Кремле покидать?

Заманчива была перспектива поработать в сакральном месте всей государственности Российской.

— Ну да. Где? Во сколько? — Альпинист быстро согласился, надеясь на

парочку отменных селфи. О финансовом стимуле речи не было. Анвар явно был заинтересован и уверен, что уж в Кремле-то точно “не обидят”.

— В семь на Боровицкой. Вот только ещё что... Нужны паспорт, корочка и каска. Есть у тебя? — На каску был сделан особый упор, а её как раз под рукой и не было.

— А без каски никак вообще?

— Ну ты что, не понимаешь? Не, никак. Ну что, найдётся к утру она?

— Будет. Ну конечно, будет! Так значит, к семи? А верёвки сколько надо?

— Возьми два полтинника. Счастливо!

Ещё затемно Анвар приступил к работе. Когда рассвело, и холодное зимнее солнце принялось весело играть с золотистой снежной пылью, разлетающейся от пластика лопаты во все стороны, вдруг зазвонил телефон. Поднеся трубку к уху, Анвар буквально услышал, как бьётся сердце в горле подрядчика.

— Анвар, сними каску, — говорил он негромко, но в этом почти что шёпоте слышался рёв испуганной белуги. Анвар огляделся — вокруг никого, только дворник заметает снег под Царь-пушку, да безжизненные глазницы домов темнеют во впадинах откосов. Снял.

И понял, что не самая лучшая идея вылезать в трофейном головном уборе на крышу одного из зданий московского Кремля. В принципе, вина его не велика, Анвар не смог себе позволить нелепых и сложных предположений. За ним, в столь ранний час, устроена слежка? Кто-то очень умный смотрит на него? Ну кто увидит? Обычная немецкая каска времён войны.

— Снял уже, — спокойствием своим он раздражал Серёжу.

— Так слезай уже. Я свою привезу. Ладно? — Было слышно, как стукнула железная дверь за спиной говорившего, быстрый топот ног.

— Ладно.

Анвар ушёл на чердак. Потом за сущие копейки наелся от пуза в фэсэшной столовке и задрях в подсобке, ожидая Серёжу.

Процентов восемьдесят времени в день заезда на не исследованный никем ещё объект отнимает досконально изученный Анваром процесс. Это не является правилом, но проблем с ключами, дуболомством охранничков, невероятнейшими рельефами крыши ещё никто не отменял. Добыть ключ, чтобы пройти по крыше, обнаружить ещё одну дверь под замком и искать ключ уже от неё, что может быть интереснее! Так раз за разом Анвар тренировал в себе качества находчивого геймера.

Как представители свободной профессии, промальпы редко задерживаются на одном месте, вот и кочуют с объекта на объект. Рюкзак со снаряжением представляет собой внушительных размеров заплечную сардельку. Там собрано всё необходимое для жизнедеятельности. Упакованные в рюкзак верёвки, железки, одежда, инструмент, походная кухня, книжка, непривычному человеку могут показаться просто-напросто неподъёмным барихлом. Понаблюдав вокруг себя, можно и в подземке заметить нагруженного верхолаза. Имеется некоторая сложность в дифференциации от обычных туристов, хотя на досуге многие таковыми и являются. Но есть у промальпов одна характерная дурацкая привычка — вешать карабин на затяжную лямку.

Весёлую жизнь проживал Анвар, но этот обед изменил всё. Снедь простая: картошенька с двумя сосисками из пластикового контейнера и чаёк из чёрного термоса, обшитого дерматином. Анвар вкушал пищу неторопливо, робкий солнечный луч струился в сумрак чердака сквозь щели дверки слухового окна. Дудочка лежала в клапане рюкзака, рядом с книгой, настраивалась издавать гармонии сытости, выдуваемые верхолазом после принятия пищи. Анвар доел хлеб, залпом махнул сладкий чай, покусал яблоко и полез в клапан, дудочка уже практически пела, но взгляд его случайно упал на текст листовки, так настойчиво выпирающий над серостью книги криком красных букв. Листовка эта была незаурядной, отсутствовали слова “меха”, “кредит” и “скидки”. Не упоминалось о парикмахерских, ближайших стоматологиях, про фитнес с соляриями. Она скорее походила на визитную карточку, только слегка увеличенную и вытянутую. Он взял её обеими руками и поднёс к лицу, чтобы как следует разглядеть. Не поверил своим глазам, на-

правился к слуховому окну, распахнул ставни, так что солнце ворвалось на чердак, и прочёл ещё раз. Листовка вопрошала: “А ты хочешь стать космонавтом?”, на оборотной стороне была отпечатана карта с указанием здания, точным адресом и временем начала мероприятия.

Анвар достал телефон с монохромным экраном и посмотрел на часы. У него было полтора часа, чтобы добраться до ВДНХ, в павильон “Космос”, знакомый не понаслышке — когда-то давным-давно он реставрировал тот фасад. Весёлые были времена, неподалёку располагалась дешёвая столовая типа “Пельмешка”, в которой действовал вечный закон жёлтых засаленных скатёрток и витал дух пережжённого масла. А какие там были чебуреки с сыром...

Верёвки так и остались на стене, времени бухтовать их не нашлось, обвязка брошена валяться на дощатом настиле, защищающем утеплитель, разбросанный по чердаку. Рядом с нею заветривалось яблоко, запах его был настойчив и слышен. Анвар сбегал по лестнице с одиннадцатого этажа на первый — лифт пребывал в состоянии ремонта. Всем приходилось преодолевать лестничные пролёты, вверх и вниз, на своих двоих.

Проходя по мосту, Анвар бросил взгляд на фасад — там всё ещё кто-то висел. Исполинская громадина храма для солидных господ угрожающе нависала над брусчатой площадью у метро. Будущий космонавт второпях забыл наушники на крыше, и ему пришлось заметить два плазменных экрана, расположенных у забора. Внимание его привлёк радостный хор верующих — патриарх стегал их водицей собственного освящения. Только сейчас он заметил, что патриарх в этом белом праздничном колпаке похож на ракету-носитель.

Под гомон печальных мыслей ноги несли брэнное тело под землю, электронное табло турникета высветило нолик, это значит, что закончились поездки. Анвар спустился по ступенькам. У него развязался шнурок — очень некстати, больно уж спешил он погасить “листовку счастья”. Педант по натуре и перфекционист по жизни... Анвар присел на длинную лавку и старательно зашнуровал ботинок. Поезд стремительно исчез в тоннеле, прошествив голубыми вагонами. Следующего надо было ждать ещё целых три минуты. Пока Анвар ждал и высматривал в темноте тоннеля фары приближающегося поезда, справа, поодаль, миловался кто-то. Набравшийся соку полицейский катился по своим делам, опять начали прибывать люди.

Подъехавший вагон был полон “подозрительных лиц”, теперь-то он понял, о чём так настойчиво его предупреждали на ленте эскалатора. Вот они! Целый вагон битком набит опасными людьми. Кто они? Куда? Зачем? Незвестность пугала. Тяготила вся тщета бытия, как своего, так и всех этих прекрасных незнакомцев. Мечта! Только одна она и спасала от безысходности. Анвар хотел стать космонавтом. Он не верил в Бога, листовки и телевизор, зато верил в чудо. Добраться, узнать, что это был развод, профанация, лохотрон... Нет! Важно убедиться в этом лично, ведь он не простит себе, если упустит хоть одну возможность.

А ещё ему мама рассказывала, когда он был совсем маленьким, что род их идёт от хана — мол, Анвар дворянин или того круче. Наш вельможа одобрял восточных женщин, одетых скромно, осознание преемственности подкачивало ему возможность брать на себя роль судии. Он порадовался, увидев закутанную во всё чёрное девушку, но тут же отвёл глаза, стараясь не смутить её. Переплетение жил тоннеля становилось видимым от света, льющегося из плафонов, кабеля причудливо петляли. Эту игру можно наблюдать если носом уткнуться в стекло двери, попробуйте: так весело! Состав, слегка покачиваясь на рессорах, несётся в подвешенном вагоном пространстве, будто космический крейсер, совершающий подпространственный рывок.

Анвар шел по ВВЦ и покусывал зелёное яблоко, решительно направляясь сразу же лететь на Марс. Пройдя через арку массивного главного входа на ВВЦ, кандидат пошёл прямо к ракете, которая стояла перед павильоном “Космос”. Он знал, как пахнет космос, не павильон, нет, межзвёздное пространство! Один известный космонавт рассказывал, что от обшивки входного отсека, в котором побывала эта бесконечная пустота, устойчиво пахнет антоновкой. Анвар с нетерпением ждал, когда врачебная комиссия установит, что он готов лететь на красную планету. Он читал в журнале, что собирают, мол, экспедицию, с билетом в один конец. Желающих много, но почему-то Анвар



был уверен, что его точно выберут, что именно ему предстоит стать межпланетным героем. Его ничего не держало на этой планете: семьёй он так и не обзавёлся, так что красная планета была его терра инкогнита, была его второй дом.

Когда Анвар подходил к павильону “Космос”, ему показалось странным, что отсутствовали журналисты и сброд зевак, милиция и пожарные. На площади, вопреки его ожиданиям, стояла лишь одинокая белая ракета. Он хотел зайти с центрального входа, но там было закрыто. Анвар приуныл. “Вот ракета, вот я. Чего же ещё надо вам? Поехали!..” Но площадь молчала, лишь одинокий дворник в оранжевой накидке подметал улицу.

— Извините, а вы не скажете, где тут встречаются космонавтов? — Анвар надеялся, что его просто не дождались и сейчас где-нибудь готовятся. Поэтому он обратился с этим вопросом к единственной живой душе на площади.

— Кошмонвата, нет, Алтынбек не знает кошмонвата. — Дворник задумчиво опёрся на метлу и разглядывал Анвара, добрым взглядом благодаря за минутный перерыв в монотонной работе. Анвару показалось, что Алтынбек недопонял его и ткнул рукой в ракету, стоящую посреди площади.

— Жжу-жжу, виши, — имитировал он звук вырывающихся газов из её сопла. — Лететь. Ракета. Космос. — Анвар, рукой показал на себя и на небо.

— Шесть прикол ешт! — решил Алтынбек и продолжал по-детски улыбаться Анвару. — Смешной кошмонвата тебе что хотиш? — Он правда хотел помочь, но не мог понять, чем. Анвар обессиленно взглянул на небо и издал нетерпеливое сопение, потом начал жестиковать и быстро говорить.

— Космос, ракета, лететь, летать, пуск, Марс, я хотеть. — Когда Анвар упомянул красную планету у Алтынбека радостно расширились глаза: знакомое слово, он может помочь! Он замахал рукой на еле приметную аллею слева от павильона.

— Кошмонват туда. Марш. Ходи туда, там Марш. — Алтынбек недвусмысленно указал направление. Анвар понял, ему надо в какую-то боковую дверь огромного здания, не доходя купола. Он прошёлся по аллее до двери, обитой толстым листом металла, с перекрещивающимися полосками, приклепанными поверх, выглядело это внушительно, и Анвар понял, что пришёл по адресу. Он нажал кнопку видеозвонка:

— Здравствуйте. Я тут припоздал немного на марсианскую экспедицию. Все уже здесь?

Ответом на его монолог стало пищание, сигнализирующее о том, что дверь открылась. Анвар вошёл в помещение, коридор был не привычно прямоугольным, а круглым и прозрачным, за его плексигласовой стенкой видны были повсюду разбросанные красные камни на красном песке, среди которых застрял марсоход, не доехавший до базы, стоявшей неподалёку. Идя по коридору, Анвар наблюдал и изучал — вероятно, ему не один день придётся провести в этих суровых условиях, готовясь к экспедиции. Он уже чувствовал щемящее чувство одиночества и оторванности от родного дома, планеты. Анвар готовился ко всем тяготам, выпадающим на долю пионеров-первопроходцев, и проществовал, сохраняя достоинство, к стойке регистрации. Он протянул листовку и подкрепил её важность словами.

— Здравствуйте. Я готов лететь на Марс.

Молодая девушка отложила телефон и одобрительно закивала, потом привстала из-за стойки и проворковала:

— Где тут наш маленький космонавт?

Но когда она увидела, что Анвар пришёл без “маленького космонавта”, и оценила его решительный настрой, ненадолго опешила. Ей потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Как раз в этот момент из “Марсианской базы” вывалилась гурьба детишек. Их вёл мужчина в настоящем скафандре, все устремились к марсоходу.

— У нас обычно родители с детьми приходят, а вы один. Вы, наверное, хотите попасть в кафетерий? — Она понимающе посмотрела на Анвара. — Вам по коридору налево, во вторую дверь, там будет ещё надпись: “Кафе Тюбик”.

Но он не сдался. Достал яблоко, потёр его об коленку и надкусил, даря миру запах космоса.

— Дайте мне один билет на “марсианскую станцию”!

НАТАЛЬЯ КОЖЕВНИКОВА



## ПЕЧАЛЬ ЗЕМНАЯ

\* \* \*

*Саше*

С ветки слетел богомол и притих:  
Богу ли молится, солнышка ль просит?  
Ворох монеток своих золотых  
Бросила в ноги нам сонная осень.

Роща прозрачна, и русский простор  
Робкую душу сегодня тревожит.  
Стая ворон обогнёт косогор,  
В небо востёт и вернуться не сможет.

Только для тех, кого жизнь не страшит,  
Поле пустое, в потёмках жилище.  
Морок, огонь ли вдруг всё сокрушит —  
Им возвращаться на то пепелище.

Утром скрести по сусекам, латать  
Конную упряжь и солнцу вдогонку  
В пашню зерно золотое кидать,  
Песню придумать под стать жаворонку.

---

*КОЖЕВНИКОВА Наталья Юрьевна родилась в 1948 году в Бузулуке Оренбургской области. Окончила Оренбургский пединститут. Главный редактор литературно-художественного и общественно-политического альманаха "Гостинный Двор". Автор трех стихотворных книг. Лауреат областной Аксаковской премии, Всероссийской Пушкинской литературной премии "Капитанская дочка". Член Союза писателей России.*

Знай же: загадочность русской души  
Лишь иноземцу лихому морока.  
Пришлому тайну раскрыть не спеши —  
Что на просторе она одинока.

### ПЛАЧ

Шалью пуховой закроюсь до пят,  
Ветры метельные в поле вопят.  
Гляню в окошко — ни света, ни зги,  
Мечутся в воздухе вихри пурги.  
Нежитью белой дома замело  
Очи затмило и руки светло.

Все наши клятвы на майском крыльце  
Спрятаны в памяти, словно в ларце.  
Жизнь пролетела, как летняя ночь,  
Кудри развились и выросла дочь.  
В печке, смирясь, догорают дрова,  
Дым восвоеси уносит слова.

Женское счастье, что алый вьюнок,  
Вспыхнет, вплетённый в венчальный венок,  
Брошенный в воду неловкой рукой,  
И вниз поплывёт серебристой рекой.  
В ряби речной изомнутся уста,  
Белая роща до дрожи пуста...

\* \* \*

Мой духовный отец белокож и кудряв.  
Божья Матерь посмотрит со скорбной улыбкой,  
Как, смиренной косынкою волосы смяв,  
Я целую оклад в полусумраке зыбком.

Вспыхнет золотом вечное в небо окно.  
Станет тесно и шумно на паперти узкой.  
Что забыто и брошено в пропасть давно?  
Что воскреснет и вырастет в памяти русской?

То ли плач и мольба, то ли яростный крик  
Вознесётся к весеннему птичьему гаму?  
И смеётся, и плачет поддатый мужик,  
Не нашедший дороги ни к дому, ни к храму.

\* \* \*

Перелесок, дорога, тишь,  
Голубая Полынь-звезда.  
И не знаешь — живёшь?  
Летишь?  
Или падаешь в никуда?

Нет ни времени, ни границ,  
И лишь долго хранят небеса  
То ли ангелов, то ли птиц  
Осторожные голоса.

\* \* \*

Есть особая праздничность русских небес,  
Где незримо цветут виноградные лозы.  
Но опять и опять — как по коже надрез —  
Отрешённость лица её, взгляда и позы.

Что в любви и тоске обнимает дитя,  
Словно знает о мýке его предстоящей...  
Как смириться, смолчать и, покой обретя,  
На колени упасть безответно молящей?

В безграничном, родимом, любимом краю,  
Где под дождиком ходят берёзы босые,  
Не умея молиться, я тихо стою  
В недостроенном храме, в изножье России.

\* \* \*

Из мартовского льда,  
дворовой скверны,  
Сырых бараков, выстроенных в ряд,  
Старухи, торопясь, идут к вечерне  
И тает солнца вымученный взгляд...

На время здесь всё сумрачно  
и зыбко...  
Но тот, кто впереди меня идёт,  
О воздух обопрётся без улыбки  
И в ночь сырую тихо перейдёт,  
На миг лишь потревожив птичьи гнёзда  
И крыльями раздвинув облака.  
Вечерни час. Сильней и ярче звёзды.  
Печаль земная, словно вздох, легка.

СЕРГЕЙ АНТИПОВ



## ТИШИНОЙ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ

### МЫСЛИ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Стоп... Взбунтовалось некстати уставшее тело.  
Жить... Просто нужно, раз столько уже приручил.  
Сон... Как воришка стучится в сознание несмело.  
Высь... Будоражит огнями далёких светил.

Знать... До чего ж иногда это тяжкая ноша.  
Мир... Мы с тобой очень долго лежали во зле.  
Стать... Невозможно для всех дорогим и хорошим.  
В тир... Не хочу, чтоб пылился “макаров” в столе!

Бог... Говорил что-то мне с почерневшей иконы,  
Слух... Заполняли соседи и грохот кастрюль...  
Боль... Словно ржавым гвоздём расцарапала горло.  
Дух... Одиноко влюблялся в горячий июль.

Плыть... По течению — много ли в этом заслуги?  
Там... Всё равно наши фишки сгорят на “зеро”...  
Прыть... Не поможет нам выйти из Дантова круга.  
Шанс... Стол и свечка, чернила, бумага, перо...

---

*АНТИПОВ Сергей Сергеевич родился в 1973 году в Москве, окончил Московский Государственный инженерно-физический институт (МИФИ) и Высшие литературные курсы имени И. А. Бунина. Автор семи книг. Секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей России. Действительный член Академии российской словесности, член Союза журналистов России.*

## НАДЁЖНЫЙ РЕЦЕПТ

Тишиной замедляется время,  
Фокусируя внутренний взгляд,  
Но мешает полёту, как бремя,  
Глупых мыслей назойливый ряд...

Прижимает к подушке усталость,  
Обнуляя все хлопоты дня,  
Чтобы меньше всего оставалось  
Чепухи в голове у меня...

Засыпают эмоции, чувства,  
Открывая сновиденный путь,  
Но я знаю: большое искусство —  
До конца в этот миг не уснуть!

Выхожу за светящейся нитью:  
Мир податлив и мягок, как воск,  
И цепочку желанных событий  
Программирует с лёгкостью мозг...

И как будто в колоде игральной  
Выбираю себе козырей,  
Чтобы сделать раздачу фатальной  
Для того, кто становится злей...

Управлять этой жизнью непросто,  
Потому-то надёжный рецепт  
Применяю без лишних вопросов,  
Зная четко, где тьма, а где Свет!

## СТРАННЫЙ СОН

За страданья Полифема,  
За угасшую зарю,  
За любовные измены  
Я тебя благодарю...

Раскромсал кинжал твой душу  
На лоскутные куски,  
Обесточен, оглоушен,  
Переклинило мозги...

Всё уходит безвозвратно,  
Остаётся только пыль,  
Красным сполохом заката  
Умывается ковыль...

Сквозь травинки видно звёзды:  
Рыбы, Овен, Млечный Путь,  
Есть такое слово — “поздно”...  
Сердце сложно обмануть...

Но спасусь для новых песен,  
Где не будет зла и лжи,  
Говорила, что кудесник, —  
Всё могу наворожить...

Новый день не за горами,  
Странный сон про ночь в степи...  
Утро встретит нас дарами —  
Только дар свой не проспи!

#### ВРЕМЯ ЛЕТАЮЩИХ СТРОК

На ладошку присел мотылёк,  
Словно горнего мира дыханье —  
Это время летающих строк,  
Вдохновенья и светлых желаний!

Расширяется с небом душа,  
Утопая в небесной лазури.  
До чего ж наша жизнь хороша!  
Передать эти чувства смогу ли?

Отовсюду исходит любовь,  
Проникая до самого сердца,  
И ловец наших радостных снов  
Открывает нам райские дверцы!

Я тебе эти сны подарю,  
Волшебством наполняя реальность,  
И поймёшь ты, что слово “люблю” —  
Для меня далеко не банальность!

ЗОЯ КОЛЕСНИКОВА



## ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЖИЗНЬ

\* \* \*

Любовь, как полусон, оборвалась...  
Её, как свет, я удержать пыталась,  
но с темнотой налаживая связь,  
она за полумрак ещё цеплялась.  
Узнала я тогда лишь об одном —  
она уйдёт и я — навеки — с нею...  
Как медленно темнеет за окном!..  
А может быть, теперь уже светлее?..

.....  
...Наверное, прошло немало лет:  
я по тебе по-прежнему скучаю...  
Всё так же мил мне тот и этот свет...  
— Какой милей?  
— Я их не различаю.

\* \* \*

В октябре по-весеннему птицы поют.  
И трава зелена. А от солнца...  
А от солнца особый весёлый уют.  
И малыш, просыпаясь, смеётся.

---

*КОЛЕСНИКОВА Зоя (Покорная Зоя Константиновна) родилась в селе Елизаветино Бутурлиновского района Воронежской области. Окончила исторический факультет Воронежского педуниверситета. Автор восьми стихотворных сборников. Директор Воронежского регионального отделения Литературного фонда России. Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.*



И чисты облака. И листва шелестит,  
с позолотою лёгкой пока ещё.  
И листочек один, отрываясь, летит  
в этот мир, голубой и сверкающий.

\* \* \*

Ты был готов к разлуке этой...  
И сам всё чаще говорил  
о доле русского поэта...  
И ты меня не удивил,  
когда сказал, слегка сутулясь,  
насторожённый сам к себе,  
среди вокзалов, башен, улиц:  
— Я буду помнить о тебе!

\* \* \*

Люблю июль. В нем отдыхаю я.  
Ни пыль, ни комары — ничто не может  
нарушить волхованье бытия  
у времени на слишком чуткой коже.  
В соседстве со Вселенной рождены,  
под звёздами, которым близок август,  
мне тёплые цветные снились сны:  
Деревня. Детство. Бабушка. И аист.  
А он взлетал и небо наклонялось,  
земля за ним приподнималась ввысь.  
И всё кружилось в зное. Повторялось  
рождение дня. Так начиналась жизнь...

\* \* \*

Над нами песня пролетела,  
куда-то якобы спеша...  
Чего от нас она хотела,  
свой путь таинственный верша?

То встрепенётся, то растает,  
то снова словно оживет,  
как будто слишком много знает,  
пока лишь знаки подаёт...

А может быть, в ней не хватает  
тех самых несвершённых нот,  
где ночь влюблённых разлучает,  
а днём расстаться не даёт?..

МАРИНА ШАМСУТДИНОВА



## НЕБО ДЛЯ СИЛЬНЫХ

СИБИРЬ

*Есть такая страна — Бог.  
Россия граничит с ней.*

Р. М. Рильке

Кровью белых берёз перелески залиты зимою.  
Пар молочный туманом взлетает под самый восход.  
Изваляюсь в снегу, этой липкой измажусь смолою.  
Без добычи вернусь, как домашний зажавшийся кот.

Наше Небо для сильных, для гордых наш Лес, наше Поле,  
Где, кричи, не кричи, только леший ответит: “Ау!..”  
Как цепная собака, Москва замерла на приколе,  
А Сибирь не загонишь в бетонную конуру.

Горы здесь достают до десятой звезды. Небоскрёбам  
До такой высоты не взлететь даже в тяжком прыжке.  
Горловым своим криком, прокуренным спившимся нёбом  
Не обляять такую махину, не спрятать в мешке.

Переждём, отстранимся, уйдём от греха и от смрада  
По медвежьим углам да в сибирской дремотной тайге.  
Здесь пройдёт оборона последней страды Сталинграда.  
По сибирской, по русской, как Божия вена, реке!

---

*ШАМСУТДИНОВА Марина Сагитовна родилась в 1975 году в Иркутске. В 2003 году окончила Литинститут им. А. М. Горького (мастерскую С. Ю. Куняева). Автор двух книг стихов “Солнце веры” (2003 г.) и “Нарисованный голос” (2007 г.). Печата- лась в журналах “Сибирь”, “Наш современник”, “Созвездие дружбы”, “Первоцвет”, в других периодических изданиях. Член Союза писателей России. Живет в Москве.*

\* \* \*

Хочешь, я стану твоей Украиной, а ты — Россией.  
Не удивляйся, маленький, не плачь.  
Ты вырастешь быстро и станешь таким сильным,  
Что удивится дяденька палач.  
Твой русский выучу, ты вспомнишь мой украинский.  
“Матуся”, “мама”, “хлеб” и “хлиб” похож.  
Смотри, волна морской волны касается.  
Мы ближе, нас водой не разольёшь.  
Дома у нас стоят в одной станице,  
Незыблемой, чтоб враг не забыл.  
Одной летят над нами к дому птицы  
Окраиной... от Польши до Курил.

\* \* \*

Посты пропахли пропастиной —  
Рецепт сорочьих неудач,  
Майдановской пропитан псиной  
И смрадную мочой кумач.

Радеют в Раде радикалы  
Под стягом чёрным и рудым.  
Горят дворцы Одессы-мамы,  
Дым над Днепром, над Доном — дым.

Жжёт постсоветская семейка,  
Один постит, другой смердит.  
Не бабка-ёжка, дедка-гейка —  
Бандеру помнящий бандит.

Убийца окружён почётом.  
Бить памятник — туфта вопрос.  
Здесь герб со сбитым самолётом —  
Трезубец, сокол — в землю нос.

Ещё в Европу не пролезла.  
Дна, Дона нет... А дальше — бездна.

### КРЕЩАТИК СПИТ

Крещатик спит. Весёлый содомит  
Ещё свинью на нём не оскопит,  
На Днепр из парка очень милый вид.  
Спокойно всё, молчание элит.  
Молчание ягнят, ведь год овцы.  
На этот случай вспомни Лао Цзы.  
Сиди и жди — покойника несут.  
Он — подсудимый. Это скорый суд.  
Всё хорошо. Всё очень хорошо...  
И кожу из спины — на ремешок.  
Все только повторяют, как молитву:  
“Зарезать к празднику одну большую тыкву,  
В салатик яблочко, изюм и корешок”.  
Всё хорошо. Всё очень хорошо.  
Терпи, казак, ты зелья перепил.

Ты торты покупал, а не тротил.  
Ты ёлку разобрал на баррикаду  
Или загон... Ты сам попал в засаду.  
Терпи, казак, ты это сделал сам.  
Ты сам горшок и сам себе с усам.  
Терпи, казак, терпи. Я пожалею.  
Потом, если захочешь... бакалею  
Диабетично-шоколадный бред,  
Тропилово-взрывной эквивалент —  
Всё это положил себе под ёлку.  
Нас на гиялку, в стрингах девку-тёлку,  
Брюссельскую капусту, доллар, цент.  
Канавка спит, лежит убитый мент.  
Он новомученик, ему должны молиться.  
Он не простит. Он в снах вам всем явится —  
С щитом и в каске безоружный мент,  
Защитник мира, сброшенный в кювет.

## ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ



## ЖИЗНИ СВЕТ НЕБЕСНЫЙ...

*Станиславу Куняеву*

1

Денёк подрост почти что на вершок,  
А зимушка снежком всё побелила.  
И удлинился даже мой стишок,  
В себя впитавший синие чернила.  
Тускнеет день... И скоро на столбе  
Зажжётся свет, сверкнёт в моём окошке.  
Зашастанут по нашей городье  
Гулящие восторженные кошки.  
На ветках иней и на проводах  
Засеребрится... Нет ясней погодки!  
И зачернеют на припайных льдах  
Рыбачьи оттаявшие лодки.  
И отразит, мерца, полынья  
Теченье звёзд, их жизни свет небесный...  
Затихнет всё! Оцепенею я!  
Тоска, как гирька, упадёт отвесно.

---

*МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Касимовский индустриальный техникум и Литературный институт в Москве. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Был редактором в издательстве "Лениздат". Автор более десятка книжек поэзии и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Касимове Рязанской области.*

И, падая, заполнит пустоту  
Моей души, что нынче онемела,  
Но вспыхнет Слово, точно уголь, во рту  
И мелкую мирскую суету  
Возвысит до смертельного предела.

2

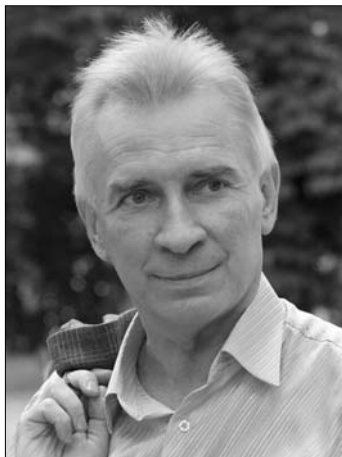
А я живу, где блещут воды,  
Где к лодкам ластится Ока,  
Где неоглядь небосвода  
Объята шелестом леска,  
Где блеск полуденного зноя  
Златит сосновые стволы,  
Где скрыто что-то неземное  
В наплывах сумеречной мглы  
И где слоистый вал тумана,  
Клубясь, туда меня влечёт,  
Где слышен рокот океана  
В струистом русле окских вод,  
Где мне, как в Первый День Творенья,  
Во дни душевного смятенья  
Молитвенно нашепчет лес:  
“О, человек! В сии мгновенья  
Ты зришь не страх исчезновенья,  
А свет взыскующих небес”.

3

На деревьях бугрятся почки,  
А на прудах синеют льды.  
И всё слышнее, между прочим,  
В оврагах бульканье воды.  
То там, то сям сбегают струйки  
По желобам... И сохнет тёс.  
И на сосне её чешуйки  
Блестят, как крылышки стрекоз.  
А небо купольно, огромно,  
Быстры, прыскучи ручейки,  
И на земле, сырой и тёмной,  
Белеют снежные клочки.  
Трепещет в небе, как простынка,  
Дневное облако... В сей миг  
Являет жизни веселинку  
Горластый птичий переклик.  
А басовитое жужжанье  
Шмелей, как шелесты леска...  
Мелькнувшей бабочки порханье  
Так схоже с веяньем снежка!  
Вот взмыла в высь! Там и подавно  
В любом движении вольна,  
Там и пленительно, и плавно  
Пластает крылышки она.  
Порх-порх! Порхает, как мигает,  
Объятая сияньем дня.  
Комочком кремовым мерцает...  
И лучезарно исчезает —  
Ей нету дела до меня.

Как ярок, звóнок майский день!  
Как воды вешние текучи!  
Синей и трепетнее тень  
От дождевой, лиловой тучи.  
Опять за удочки возьмусь,  
Помчусь к дощатому парому...  
И хоть, весна, тебе дивлюсь —  
Томлюсь по небу грозовому.  
По небу грозному, когда  
Оно клубится, пламенея,  
А с крыши падает вода,  
В огне небесном розовея.  
И в этот сумеречный миг,  
Когда горит край небосвода,  
Травы топорщится язык —  
На крик срывается природа.  
О чём она средь бела дня  
Кричит, смятенная, сердито?  
И в громе ливня и огня  
Защиты просит у меня,  
Когда я сам ищу защиты.

ВЛАДИМИР МОЗГО



## И ПАМЯТЬ НЕ ИСТЛЕЛА...

\* \* \*

Мостик... Переправа...  
Речка, будто Лета.  
Этот берег, правый,  
В росы разодетый.

Этот берег, левый,  
Вышит васильками...  
Утоляя гнев,  
Волны бьют о камень.

Что осталось справа? —  
Лишь кресты да слава.

Что осталось слева? —  
Не слышать напева.

Только время мчится  
Вспененной водою,  
Да в волнах дробится  
Солнце молодое...

---

*МОЗГО Владимир Минович родился в 1959 году в городском посёлке Зельва на Гродненщине. В детстве жил вместе с родителями в Кемеровской области. Окончил Белорусский государственный университет. Заместитель главного редактора журнала "Нёман". Лауреат нескольких литературных премий. Автор семнадцати поэтических книг для взрослых и для детей. Публиковался в журналах "Наш современник", "Невский альманах", "Нёман", в "Литературной газете". Живёт в Минске.*



## СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА

Совсем замшелая на вид,  
Где нынче камни — грудой,  
Всё так же мельница скрипит  
Над старою запрудой.

Здесь сквозь века не помнят дат,  
Да и при чём здесь даты?  
Рождали мельники — солдат  
И мельников — солдаты...

Всё познавали: боль и смех,  
Плодов тугую завязь,  
Когда мололся с неба снег,  
Колючий, будто зависть.

Давно та мельница крива,  
Давно стоит без дела.  
Но не истёрлись жернова  
И память не истлела...

\* \* \*

А в Новогрудке самокрутку  
Скрутил махорочный туман.  
Травой объявлена погудка:  
Чуть полежишь — и сразу пьян.

Давно минувшие столетья  
По этой утренней поре  
Спешат разбуженно приветить  
Старинный замок на горе.

И чудится — пропахнув воском,  
Зовя на ратные дела,  
В Великом Княжестве Литовском  
Навзрыд гудят колокола.

Твердят: “Приходит час расплаты  
Для тех, в ком помыслы — не те...”  
И даже ветер, как распятый,  
Чуть слышно стонет на кресте.

\* \* \*

Нам природа подарит права  
Прикоснуться к траве... И трава

Отзовётся... Звенящей листвою  
Опоит небосвод голубой.

В небесах жаворóнок звенит  
Так, что светится счастьем зенит.

И полны полуночные сны  
Синеглазым бездоньем весны.

*Перевёл с белорусского  
Анатолий Аврутин*

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ...”

Книга, которую я держу в руках, похожа на старинную шкатулку – обложка обтянута золотым шитьём, сияет золотым обрезом, украшена цветными гравюрами, напечатана на глянцевой бумаге цвета слоновой кости с водяными знаками и вставляется в жёсткий футляр, обёрнутый позолоченной тканью, словом, это – вершина гуттенберговской эпохи, которая, видимо, заканчивается в XXI веке.

Стихотворному корпусу книги предшествуют два предисловия: одно президента БИНБАНКа, другое вице-президента, в котором сказано: “издание коллекционное, тираж ограничен, эту книгу нельзя купить в магазине. Смысл нашей идеи в том, что мы делимся с друзьями БИНБАНКа самым дорогим... мы делимся опытом и мудростью легендарного человека”...

Автор книги Михаил Гуцериев родился в 1958 году в ингушской семье, сосланной в феврале 1944 года из предгорий Кавказа в центр Евразии – в советский Казахстан, в сердцевины среднеазиатского Востока с его континентальным дыханием, с его просторами, с его верованиями и предрассудками, с его мусульманством и буддизмом, с его прагматической одухотворённостью, повлиявшей на русскую историю и на русскую литературу.

За эти кавказско-азиатские земли шла, и до сих пор идёт, вечная борьба многих великих народов – персов и монголов, русских и англичан, арабов и древних греков, китайцев и американцев, ибо “Кто владеет сердцевиной Азии – “Хартлендом” – тот владеет миром”, – говорил известный английской историк Маккиндер. Но, даже не зная этой геополитической истины, многие русские поэты, писатели, историки, путешественники, полководцы чувствовали значение “срединной земли” для России. Щедрую дань изучению такого Востока отдали не только Афанасий Никитин, Пржевальский и Семёнов-Тянь-Шаньский, но и Пушкин, написавший повесть “Капитанская дочка”, поэмы “Кавказский пленник” и “Тазит”, а также цикл стихотворений “Подражание Корану”. Михаил Лермонтов продолжил пушкинскую стезю в поэме “Валерик”. Вслед за Лермонтовым Лев Толстой обогатил восточную традицию повестями “Хаджи-Мурат” и “Казачи”. А в двадцатом веке Сергей Есенин создал свой образ Востока в “Персидских мотивах” и, конечно же, в гениальной поэме “Пугачёв”, написанной с особой русской любовью к детям великой Азии:

*Он ушёл, этот смуглый монголец,  
Дай же Бог ему добрый путь.  
Хорошо, что от наших околиц  
Он без боли сумел повернуть.*

А в послеесенинскую советскую эпоху поэмы Павла Васильева “Ярмарка в Куяндах” и “Путь на Немигу”, повесть “Такыр” Андрея Платонова, азиатские

стихи Анны Ахматовой, написанные в эвакуации, продолжили духовное русское освоение необозримых восточных пространств.

Конечно же, попытка Гущериева, родившегося и выросшего на этой земле, вписать своё слово в “евразийскую антологию” и дерзка, и в то же время увлекательна. Как говорится, новое время – новые песни. И можно только удивляться тому, что юноша из ингушской репрессированной семьи, родившийся в Казахстане, сумевший закончить советскую школу и музыкальное училище, прочитавший немало нужных книг и попавший в восьмидесятые годы прошлого века в пекло уголовно-рыночной, алчной, анархической стихии, сумел не только выжить в этой круговерти, но острой памятью запечатлеть её сущность в поэме “Азия-80”, сумел создать целую галерею персонажей, рождение которых свидетельствовало о переломе евразийской советской истории в годы разрушения великой державы. Поистине прав был Сергей Есенин, когда писал в “Пугачёве”: “*Но озлобленное сердце никогда не заблудится*”... В то роковое время словно какой-то космический ливень оплодотворил землю казахстанских скотоводов, целинников и шахтёров ядовитыми семенами. Липучие сорняки, взрывая почву, враз вымахнули на рудных отвалах, травянистых полях и хлебных пашнях. На глазах будущего поэта за несколько лет на землях Шёлкового пути выросла рыночная экономика, а вместе с ней и общество потребления.

Но рынок гудел на этих просторах всегда. Однако он был другим. В до-революционные годы под пером знаменитого поэта Семиречья Павла Васильева в поэме “Ярмарка в Куяндах” рыночная стихия выглядела словно цветное, красочное эпическое полотно:

*Над степями плывут орлы  
От Тобола на Каркарлы,  
И баранов степные отары  
Поворачивают к Атбасару...*

*В этот день поёт тяжелей  
Лошадиный горячий пах,  
Полстраны, заседлав лошадей,  
Скачет ярмаркой в Куяндах...*

*Над раздольем трав и пшениц  
Поднимается древний рёв —  
Казаки из своих станиц  
Гонят в степь табуны коров.*

*А на сёдлах — чекан-нарез  
И казаки смеются: — Во!  
И киргизы смеются: — Во!  
И широкий крутой заезд  
Низко стелется над травой.*

Рынок-праздник объединяет их.

А в следующую “целинную” эпоху на Атбасар и Акмолинск один за другим шли уже не табуны и отары, а железнодорожные составы и платформы, нагруженные строительным лесом, цементом, тракторами цистернами с горючим, о чём поэты-шестидесятники оставили нам свои стихи – свидетельства этих исполинских преобразований жизни:

*Длинные дороги целины,  
До Баранкуля, словно до луны.  
Застрял “Зисок”, придётся грязь месить.  
Коль хорошо подумать, то удастся  
На этих горизонтах разместить  
Четыре европейских государства.  
А то и пять. Какая ширина!  
Такую не поднять простой валютой.  
Кроме валюты — воля здесь нужна  
И мощности великих революций...*

Но эпоха энтузиазма быстро закончилась. К концу восьмидесятых в центре Евразии началось выветривание советской цивилизации, и Михаил Гучериев, учившийся в эти годы в Джамбуле, углядел своим цепким взглядом приметы распада и запечатлел образы новых людей, сменивших выходцев из патриархального казачества и целинной эпопеи. Он зорко выделил в людской каше восьмидесятых людей нового склада. Его поэма “Азия-80” – уникальное свидетельство разложения всех идеалов социалистической жизни, уклада, созданного в довоенное и послевоенное время на просторах от Каспия до Балхаша, от Кара-Богаз-гола до Алтая.

В этой поэме перед нами проходит целая панорама авантюристов, мошенников, наркоторговцев, игроков, ссыльных крымских татар и вайнахов, прибалтийских лесных братьев и бандеровцев, немцев Поволжья и турок-месхетинцев.

Вот несколько отрывков из этой подлинно исторической саркастической и горестной поэмы, отразившей то, как стареют и как изнашиваются племена, забывающие о божественных и всечеловеческих законах Бытия, как люди, теряющие совесть и высшие начала жизни, погружаются в смрадную пучину алчного потребления:

*“Кореец Ким, директор лавки, торгует левый ширпотреб”, “Играет в лянгу еврей бухарский”, “Старик-баптист торгует бренди”, “Кидала Алик напёрстки крутит”, “Армянка Зара – полукровка, торгует девками на час”, “Таксист залётный с Намангана пробил отвёрткой рот лезгину, сражались долго у ресторана, в ответ водиле зашили глотку”, “Цеховик – еврей Самсон туфли шьёт, футболки строчит”, “В кабаке идёт гужбан: водка, шлюхи, балаган, каратист косой Салман одел Сеню на калган”.*

Вот так в 80-е годы зажил “по рыночным законам” – уголовным и воровским – “Тараз, столица Семиречья”, носивший в советское время имя знаменитого акына Джамбула, когда власть и её законы держали в ежовых рукавицах цеховую, спекулятивную, ссыльную, авантурную, многонациональную вольницу. . . Но не удержали. И не случайно то, что первое потрясение Советский Союз получил на алма-атинской земле в 1986 году, когда вместо снятого с поста руководителя компартии Казахстана казаха Кунаева московская власть прислала на его место русского Колбина.

Именно в это же время персонажи последнего романа Чингиза Айтматова “Плаха” раздевались донага, погружались в заросли конопли, растущие в Чуйской долине, и бродили в них, чтобы на их потные тела налипала пыльца конопли, годная для изготовления анаши, о чём Гучериев знал и без Айтматова:

*Весь город окружён полями,  
Ночами варят опиум из мака,  
В долине Чуйской рай из конопли  
И анаша дешевле шлака.*

Ушла в далёкое прошлое ярмарка, воспетая Павлом Васильевым, исчезла дружба народов, завершилась великая целинная пятилетка, покрылись стеблями конопли земли Чуйской долины. Началось время новых поэтов. А ведь ещё в начале семидесятых казалось, что история постепенно и прочно входит в надёжное русло, что высланные в сердцевинную Азию племена и народности постепенно залечивают свои раны и возвращаются на исторические родные земли. Эти мысли укрепились во мне в 1971 году, когда я, страстный рыбак, взяв с собой пятнадцатилетнего сына, поехал на только что приобретённом “Жигулёнке” рыбачить в Нагорный Карабах, а по пути, миновав Ахтубу и северный берег Каспия, свернул на горную дорогу к озеру Кезеной-ам, где, по слухам, в изобилии водилась горная форель. Мы миновали Ведено – родину будущего бунтовщика Шамиля Басаева – и по опасным горным дорогам в конце концов добрались до заветного озера. Однако порыбачить не удалось. У сына вдруг начался сильнейший приступ аппендицита, и мне пришлось развернуть машину обратно. Мы покатались вниз, в надежде найти какой-либо районный центр с больницей. Сын прижимал к животу бутылки с ледяной родниковой водой, а я, завидев на горных тропах местных жителей, тормозил машину и расспрашивал их – где, в каком ауле есть врач или фельдшер, где есть больница, можно ли туда проехать. . . Местные люди порой с трудом подбирали русские слова, но доброжелательно и подробно отвечали на все мои вопросы. . . Лишь много позже ко мне пришла мысль о том, что все эти доб-

рожелательные встречные ингуши и чеченцы всего лишь 10–12 лет тому назад вернулись в родные горные аулы, в свои родовые дома, к своим тропам, мечетям и кладбищам. И многие из них, кто терпеливо объяснял нам, как проехать к ближайшему аулу или райцентру, где есть больница, пережили все ужасы и лишения депортации, все тяготы жизни в степях Казахстана. И если бы в их душах жили чувства возмездия, — ничего бы не стоило им поступить с нами так, что никто — никакие милиции, никакие органы — не разыскал бы автомобиль “Жигули” с отцом и большим сыном. . .

Но ни в одном из них мы не почувствовали никакой враждебности, никакой отчуждённости и не услышали от них ни одного мстительного слова.

Каким-то непостижимым образом они, вернувшиеся из азиатской ссылки в конце пятидесятых, через десять лет — уже относились к нам, русским, попавшим в беду, по законам кавказского гостеприимства, будто ничего страшного в жизни их народа, их семей не произошло в годы войны.

. . . И вдруг грянули 80-е с взрывом вражды, алчности, беспредела! На их глазах — разрушалось государство. Все они — ингуши и чеченцы, крымские татары и прибалтийские лесные братья, украинские бандеровцы, и калмыки — все, оставшиеся жить на казахской земле и почти породнившиеся с ней, поняли: настала пора, когда каждый сражается или сам за себя, или объединяется в борьбе за место под солнцем со своим племенем. . . Звериный закон стайной кровной жизни начинал властвовать на глазах молодого человека, будущего поэта Михаила Гучериева.

*Тараз, столица Семиречья,  
Оазис посреди степи,  
Хребта киргизского предплечье,  
Исток песчаной Маюнга.*

*Ночами в городе вендетта,  
Дерутся “стеночка” на “стенку”,  
Ножи, обрезы и кастеты  
Ломают жизнь через коленку.*

*Наркош Бахит, меркенский бес,  
Торгует чуйской анашой,  
Торчки визжат (сырец на вес),  
Дурман глотают всей братвой.*

*Кипит, шумит Восток и Азия,  
Вода из чайника по три копейки.  
Тараз, ты юности моей фантазия,  
Учитель мой, как делать деньги.*

Суровая школа обтесала юношу, обучила его борьбе за существование, и он, подводя итоги этой учёбы, написал поэму “Плоть и суть”, давшую имя всей книге с гравюрами и золотым обрезом, поэму, в которой уроки жизни воплощены в афоризмы, подобные тем, что отпечатывались на ассирийских глиняных табличках и египетских папирусах. И в каждом из этих изречений есть крупица если не мудрости, то опыта, обучающего нас, как выжить в жестоком и алчном мире.

*Не бойся силы. Найди другую силу.  
Старайся мир собрать в свой кругозор.  
Не пресыщайся — потеряешь веру.  
Смотри вперёд и обостряй свой взор.*

*Обиды не прощай, не жди награды,  
Долги — не собирай, и лучше не давай,  
Обман раскрыл — не покажи досады,  
Врагу двумя руками руку пожимай.*

Умение выстоять в любых обстоятельствах особенно ценится в мире, где жил и живёт поэт. Русская пословица “от сумы и от тюрьмы не зарекайся” — не для него, он выработал для себя другое жизненное кредо:

*Держи удар, не падай, не кричи,  
Не почивай и не сиди на лаврах.  
Смотри вперёд, от жадных псов беги!  
И это лучше, чем сидеть на нарах.*

*В борьбе не отступай, иди на щепку,  
Используй всё, что под рукой,  
Когда тебя кидает, словно щепку,  
Плыви и встань на твердь ногой.*

В такой схватке за жизнь все средства хороши. Конечно, легче бороться, если верить, что правда Всевышнего на твоей стороне, но если не хватает сил для веры, что делать?

*Ты верь Пророкам, если нет — придумай,  
Так легче тяготы, страданья пережить.  
Ты в рай поверь, про ад не думай,  
Так легче и спокойней жизнь прожить.*

Но если нет надежды на пророков, то остаётся родовое начало, обычаи тейпа, стержень семьи, как основы и текущей жизни, и будущей памяти о тебе смертном.

*Ты — плоть, частица матери своей.  
Она тебя спасала сотни раз.  
В долгу ты неоплатном перед ней,  
Не поленись и съезди к ней на час.*

Жизнь мудра тем, что простые и вечные чувства каждый раз являются нам, как чудо, как нечто небывалое:

*Поверь, что страсть лишь утоляет жажду,  
Напьёшься досыта — наступит скука.  
Но если встретил, полюбил подругу, —  
Нашёл ты мать своих детей и друга.*

Может быть, наше бессмертие заключается в памяти родословного древа, которое будет шуметь зелёными ветвями над нашим прахом?

*Когда ты держишь внуков на руках,  
Найдёшь в глазах детей отца родного,  
Знай, кровь его течёт в их венах,  
Сходи на кладбище и поскорби немного.*

Конечно, мудрость Экклезиаста время от времени посещает душу поэта. От неё, этой печальной мудрости, не убежишь, не скроешься, ибо она гласит: “Род приходит и род проходит, а земля пребывает вовеки”...

*Ты помни — всё становится ничто,  
И времени молва затихнет молча,  
Судьба твоя истлеет, словно моль,  
И в этом суть и соль людского рода.*

Но обращение к будущему поколению спасает душу поэта от уныния.

*Я написал сей манифест потомкам,  
Собрав часть опыта моих уставших лет.  
Читайте, слушайте, пока не надоеет,  
Я написал вам мудрости совет.*

\* \* \*

Жизнь, проходящая в таком мире, полном опасностей, риска, тёмных человеческих страстей, вольно или невольно, но заставляет талантливых пассионарных людей задуматься о происхождении зла, о тёмных силах, которые

живут в людских душах и в природе, о сверхъестественных сигналах, которые время от времени посылает нам то ли космос, то ли адская бездна.

И тогда Александр Сергеевич Пушкин пишет великое стихотворенье “Бесы”, с которого начинаются все взаимоотношения русских поэтов с нечистой; тогда Николай Васильевич Гоголь населяет нашу литературу образами Вия, Басаврюка, великих мертвецов, русалок и встающих из гроба панночек; тогда Анна Ахматова, ожидая явления призрака, который придёт за её грешной душой, в “чёрной епанче” и “с зеленоватой страшною свечою” понимает, что этого “ночного пришельца” послал к ней сам “Владыка тьмы”:

*И странный спутник мне был послан адом,  
Гость из невероятной пустоты.*

Попытка поиграть со слугами тьмы сверхчеловеческую игру, соблазн поставить на кон свою душу, чтобы переиграть их, — обычное искушение, которое овладевало душами многих русских поэтов. Чаще всего силы тьмы во время такого рода искушений материализуются в образе чёрного человека, явившегося к Моцарту в пушкинской трагедии “Моцарт и Сальери” (“мне день и ночь покоя не даёт мой чёрный человек”), приходящего к Сергею Есенину лунной ночью (“чёрный человек на кровать ко мне садится, чёрный человек спать не даёт мне всю ночь”), привидевшегося Хоме Бруту из повести “Вий” Николая Васильевича Гоголя. Явление этих призраков сродни безумию.

В стихотворном цикле “Безумие” подобные же посланцы тьмы, принимая различные личины, являлись и к нашему поэту:

*На оконной раме лица,  
На стекле сплошной коллаж:  
Голова змеи в глазницах,  
В середине — жуткий глаз.*

*Мой соперник, моя тень  
Бьёт меня, в руке стилет,  
Я держу в руке кистень,  
Размахнулся — рикошет.*

Ты стараешься ударить нечистую силу, но ударяешь — рикошетом — почему-то себя. Это — центральное место схватки с посланцами тьмы у всех наших поэтов, разгадка, свидетельствующая прежде всего о том, что призраки тьмы не живут отдельно от нас, что они являются нашими двойниками, сгустками наших грехов, наших пороков, нашей тленной сути. У Есенина в его сражении с чёрным человеком тоже случился подобный “рикошет”:

*“Чёрный человек!  
Ты прескверный гость.  
Эта слава давно  
Про тебя разносится”.  
Я взбешён, разъярён,  
И летит моя трость  
Прямо к морде его,  
В переносицу.*

Есенин бьёт чёрного человека тростью. Гучериев — кистенём, но “чёрного человека” не убьёшь никаким орудием, поскольку он твоя тень, твоё отражение в зеркале жизни:

*Месяц умер.  
Синеет в окошко рассвет.  
Ах ты, ночь!  
Что ты, ночь, наковеркала?  
Я в цилиндре стою.  
Никого со мной нет.  
Я один...  
И разбитое зеркало.*

Никаких комментариев к этим есенинским строчкам, как и к стихам Гугцериева, из цикла “Безумие”, не нужно, и так всё ясно.

*Тень стилетом режет руку,  
И душа берёт топор.  
Одиночество — подлюга  
Мне плюёт в глаза, в упор.*

*Долго дрались, тень устала,  
Без зубов и зло сопит.  
Одиночество — пропало,  
А душа моя хрипит.*

Зеркало и тень — две явных приметы чертовщины, которая начинает с тобой зловещую игру:

*На коленях у кривых зеркал  
Я одно увидел наизнанку:  
Чёрт на скрипке вальс играл,  
Бесы танцевали спозаранку.*

Такого не придумаешь. Эти виденья навязчивы и, по словам Пушкина, “Бесконечны, безобразны в мутной месяца игре”. Освободиться от них чрезвычайно трудно — разве что молитвами и покаянием, если у человека хватит духовных сил стряхнуть с себя всю тьму, облепившую его душу:

*Мефистофель у окна  
Плачет и смеётся.  
Вижу, чёрная спина  
Тихо в дверь крадётся.*

*Первый сон похож на сон,  
Сидит в кресле бес,  
Стоят люди на поклон  
И кричат: “Воскрес!”*

*Второй сон похож на бред —  
Я стою нагой.  
Полумесяц, чёрный крест  
Машут мне рукой.*

*Третий сон похож на явь —  
Мы играем в карты,  
За роялем чёрный князь,  
Молятся сектанты.*

*На кону лежит душа,  
Я ловлю удачу.  
Мой соперник, бес-ханжа,  
Шепчет под раздачу:*

*“Да, мы бесы без души.  
Наша радость — просто дни.  
Ты подумай, не спеши,  
Проиграешь — не вини”.*

Но выиграть у бесов невозможно. Как пронзительно догадался тот же Пушкин, невозможно потому, что один из главных бесов однажды признался Александру Сергеевичу:

*“Ведь мы играем не из денег, а лишь бы вечность проводить”.*

А то, какие искушения посылает нам тьма именно во сне, мы знаем из страшных признаний знаменитого поэта нашего поколения Юрия Кузнецова, которые наверняка будут понятны Михаилу Гугцериеву:



*Туча в сумерки. Буря огня,  
Тьму свою отдаю ради света,  
И летаю во сне, и меня  
Люди сна ненавидят за это.*

*Сразу кручъя озлобленных рук  
Начинают цепляться и плакать.  
Это ад. Это родина мук.  
Корча памяти, пекло и слякоть.*

Недаром, когда Юрий Кузнецов однажды втайне от всех лёг по своей воле в какую-то психиатрическую привилегированную лечебницу, то, вернувшись, сказал обо всём, что произошло с ним, коротко и отрешённо: “Я был в аду”...

Наш поэт подобно Кузнецову с бесстрашным отчаяньем признаётся в том, какими недугами заболевает его душа после поединков с ночными гостями:

*Моя суть от злости матерится,  
Гость смеётся: “Перестань орать!”  
Тень моя по-доброму кривится.  
Надоело драться и страдать.*

*Он частями покупает душу,  
Платит хорошо, готов вперед,  
Иногда он летом любит стужу,  
Он не лицемерит и не врёт.*

С посланцами тьмы разговаривали не только Пушкин и Есенин, чёрт являлся Достоевскому в каких-то нелепых панталонах горохового цвета и уверял Ивана Карамазова не только в том, что последний виноват во всём, что произошло с ним, но и в том, что сидящий перед ним тип с хвостом, рогами и копытами якобы всего лишь плод воображения Ивана, призрак, возникший перед ним в результате его болезни... Нечистой силе выгодно, чтобы человек верил, будто бы на самом деле её не существует.

Так же ведёт себя и Воланд с целой бригадой профессионалов, являющихся к Ивану Бездомному и Михаилу Булгакову, о чём Гучериев вспоминает, как о чудесном явлении:

*Янтарная осень на лунной гряде  
На руки возьмёт Маргариту.  
И Мастер за ней, задыхаясь в огне,  
Попросит у солнца защиту.*

Юрий Кузнецов в наше время тоже бывал окружён голосами, терзавшими его душу: “Постоянно слышатся голоса: “сволочь, сволочь, сволочь! Сука; сука, сука! Тварь, тварь, тварь!.. Вызывают на спор. В прения с ними не пускался, а попросил Катюку поставить Моцарта, и музыка меня спасла!”

Музыкой спасается и автор позолоченной книги, вспомнив, что в детстве он ходил в музыкальную школу, где, конечно же, в его суть навсегда вошли сладкие звуки Моцарта, о чём он и вспоминает:

*Сыграем Моцарта вдвоём.*

Но тьма не сдаётся и насылает на него новую рать призраков и видений, и эти виденья есть расплата за грехи, за всё то тёмное, что ощущает в себе и от чего не может освободиться её пленник, демонстративно выворачивающий тьму своей души наизнанку:

*Разрывая жилы, вены рву,  
Скручиваю губы узелком,  
Сам себе застенчиво шепчу:  
“Лучше негодяи с кошельком...”*

Эта строфа вместе со следующей предельны по бичеванию поэтом самого себя за связь с бездуховной тьмой жизни. Прежде чем покаяться, он исто-во перечисляет свои грехи, словно любясь ими:

*Я хочу любить одно — своё,  
Я ещё люблю слова, где — “месть”,  
Я люблю зело и просто зло,  
Я люблю места, где любят лесть.*

Однако самыми чистыми глубинами души поэт понимает, что от страшных видений и страшного наказания за смертные грехи его может спасти кроме музыки лишь любовь. (Ну как тут не вспомнить слова того же Пушкина “Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия”) и наш поэт, как за последнюю надежду, хватается за неё:

*Устал мой старый телефон,  
Краснеют кисти рук.  
Садятся птицы на балкон,  
Я слышу сердца стук.*

*Я вижу в спальне синий блеск  
И тень двух голубей.  
И мои чувства на ночлег  
Уносит шум дождей.*

Как это “аукается” с есенинским:

*Может, завтра совсем по-другому  
Я уйду, исцелённый навек,  
Слушать песни дождей и черёмух,  
Чем здоровый живёт человек.*

*Позабуду я тёмные силы,  
Что терзали меня, губя.  
Облик ласковый! Облик милый!  
Лишь одну не забуду тебя.*

И когда Сергей Есенин захлёбывается несбыточной мечтой:

*Я вернусь, когда раскинет ветви  
По-весеннему наш белый сад,*

то Михаил Гучериев словно бы вторит своему великому русскому со-брату:

*Я обязательно вернусь,  
Вернусь зелёною листвой,  
Дождём тебя слегка коснусь,  
А может, радугой цветной.*

*Вернусь замёрзшим февралём,  
Сыграем Моцарта вдвоём.  
Романсом грустным на гитаре  
И белым танцем, где мы в паре.*

Кроме спасительных звуков Моцарта, которыми лечилась пушкинская душа, Гучериев вспоминает и есенинскую сирень — из “Анны Снегиной”: “Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень”.

И когда “тёмные силы”, уверенные в своей победе над вроде бы слом-ленной душой, делают ему предложение, от которого невозможно отказаться:

*Так что, друг мой, не гордись!  
Выпей водки и проспись,*

*Сними шляпу, поклонись,  
Прощайся, к нам спустись...*

“К нам” — это значит вниз, в царство “тьмы”, в геенну огненную. Но вдохновлённый “Моцартом”, “белым танцем”, “белой сиренью”, “небесным дождём” поэт вспоминает о Высшей силе и отвечает уже уверенный в своей победе над нечистью:

*Не пугай меня, дружок,  
Время есть на посошок.  
К Мекке взгляд свой обращай,  
На коленях попрошу.*

Оказывается, кроме “Моцарта” и любви — есть ещё одна спасительная сила — Божественная. Сергей Есенин в таких случаях отвечал по-своему:

*Чтоб за все за грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать,  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.*

\* \* \*

Каждый из русских поэтов с искрой Божьей в душе открывал для себя, кроме заповедей вечных, свои собственные, ведущие их по жизни.

У Некрасова это были ставшими знаменитыми слова: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”. У Есенина мысль о поэтическом призвании была противоположной Некрасову: “Отдам всю душу октябрю и маю и только лиры милой не отдам”. Ахматова пыталась освободить поэтов от совести: “Поэтам вообще не пристали грехи”. Маяковский демонстративно заявлял: “Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, Атакующий класс”.

Блок самозабвенно приносил свою судьбу в жертву на алтарь поэзии:

*Пускай я умру под забором, как пёс, пусть жизнь меня в землю втопта-  
ла, но верю — то Бог меня снегом занёс, то вьюга меня целовала”.*

А Пушкин? Он всеобъемлющ, и потому ни в одну поэтическую фразу, ни в один афоризм, ни в одну строфу завет Пушкина о том, кому и как должна служить поэзия, — не уместается.

Всё дело в том, что поэзия — это не только рифмы и ритмы, эпитеты и метафоры, ямбы и хорей — но, и в первую очередь, — это осознание и выражение мировоззренческих глубин, которыми живёт и дышит душа человеческая.

И Гущериев — самородок и самоучка, не прошедший в жизни никакой литературной школы, не посещавший никаких литературных объединений, не дышавший прокуренным воздухом творческих профессиональных дискуссий, может быть, бессознательно, но ощущает эту истину. Божья искра, живущая в его душе, освещает ему путь в поэзии.

\* \* \*

Прочитав эту “антикварную” книгу, это “коллекционное издание”, я понял, что золотая клетка — не для неё. Эта книга достойна более трудной, но и более естественной и лучшей судьбы. Она достойна того, чтобы в простом переплёте, отпечатанные на простой бумаге, продаваемые по недорогой цене её экземпляры стояли в ещё существующих книжных магазинах России, чтобы стихи из этой книги читали неведомые автору любители поэзии, признание которых дороже любых авторских гравюр и золотого шитья... Одним словом, многие стихи и строфы Гущериева (исправленные, доработанные, сокращённые, отредактированные хорошим редактором) могут и должны стать достоянием не узкого “дружеского круга”, а широкого, безымянного читателя, о любви которого мечтали самые значительные наши поэты.

Вспомним хотя бы Анну Ахматову:

*А каждый читатель, как тайна,  
Как в землю закопанный клад,  
Пусть самый последний, случайный,  
Всю жизнь промолчавший подряд.*

Нельзя терять веру в благотворную встречу с умной читательской душой, как бы ни была она сегодня затуркана борьбой за существование, шумным господством массовой культуры и рёвом попсы, такое безверие – гибель для поэта. “Не хлебом единым жив человек”, – гласит евангельская истина.

Анна Ахматова в самые тяжёлые времена к концу жизни обрела-таки эту веру:

*Наш век на земле быстротечен  
И тесен назначенный круг,  
А он неизменен и вечен,  
Поэта неведомый друг.*

Не терял этой веры и Александр Твардовский, который мечтал о читательской любви к поэту и писал с исповедальной страстью:

*И ради той любви бесценной,  
Забыв о горечи годов,  
Готов трудиться ты и денно  
И ночью — душу сжечь готов.*

Конечно, не читательскую, но – свою душу. Без обратной связи, без эха, отражённого читательским сердцем и летящим к сердцу поэта, нет божественного равновесия слова и жизни.

Недаром Александр Пушкин выделял “среди читателей вообще” – читателей поэзии в особенности, как особых резонаторов “мировой гармонии”, когда писал, что “прозу читают и офицеры, и чиновники, и простые обыватели”, а поэзию – “лишь любители поэзии”.

\* \* \*

Конечно, авторскому самолюбию всегда лестно сознавать, что твои тексты на эстраде и телеэкране озвучены голосами Пугачёвой, Киркорова, Баскова, Лепса, Стаса Михайлова и прочих идолов нашей массовой культуры, что твои тексты становятся хитами.

Но хиты живут лишь до тех пор, пока исполняются звёздами. А звёзды не вечны. Закатится звезда, или изменится её репертуар, и слова твоих хитов останутся в прошлом, станут ненужными, выйдут из обихода, как одноразовая посуда.

А между тем, многие поэтические опыты Михаила Гучериева, если их умело отобрать и издать массовым тиражом, достойны того, чтобы обрести жизнь в великом изобретении человечества – в книгах для широкого демократического читателя, в книгах, которые продолжают жить после нас, смертных. Латинская пословица гласит *Nabent sua fata libelli* – “книги имеют свою судьбу”. И русская пословица, переключаясь с пословицей латинской, подтверждает: “что написано пером – не вырубишь топором”.

\* \* \*

Но что помогло Михаилу Гучериеву не опуститься в молодые годы, не “разбазарить” себя в этой звериной, пахнущей анашой, деньгами и кровью рыночной стихии? Откуда он почерпнул волю и силы, чтобы “сделать самого себя”? Ответы на эти вопросы он дал в беседе с главным редактором журнала “Наш современник”.

**Вопрос:** Кем были Ваши предки и Ваши родители? Как и когда они оказались в Казахстане? В каких условиях они там жили?

**Ответ:** Начну с дедушки. Гуцериев Саад имел юридическое образование, служил полицейским приставом Западной Грузии. Моих родителей выслали в Казахстан в 1944 году. Первый год в ссылке они, как все, жили в землянке. Потом отца назначили старшим следователем по особо важным делам Акмолинского УВД и дали двухкомнатную квартиру на улице им. Сакко и Ванцетти. Мой отец, Гуцериев Сафарбек Саадович, имел два высших образования: юридическое и экономическое. Во время войны он работал и прокурором, а после войны на различных руководящих должностях областного масштаба: был начальником УПТК “Целинстрой”, директором СМУ, а также других организаций в промышленности и торговле.

Моя мама, Марем Якубовна Ахильгова, была домохозяйкой. В нашей семье было девять детей. Я восьмой по счёту.

**Вопрос:** Получали ли Вы религиозное, мусульманское образование в семье, водили родители в мечеть?

**Ответ:** Я и вся моя семья получили добротное советское образование. В мечеть мы не ходили. Тогда мечетей вообще не было.

**Вопрос:** Во сколько лет научились читать? Какой язык был родным? Кто советовал тех или иных авторов? Какие книги особенно ярко запомнились?

**Ответ:** Я стал читать в шесть лет. Родным считаю русский язык. Отец собирал книги, и дома была большая библиотека: Драйзер, Лондон, Мопассан, О. Генри, Бальзак, Стендаль, Толстой, Шолохов, Гюго и другие. К 12 годам я успешно прочитал все книги домашней библиотеки и в 13 взялся за “Капитал” К. Маркса, в котором ничего не понял. Переключился на Теодора Драйзера: “Финансист”, “Титан”, “Стоик” и заболел тем, что тогда называлось спекуляцией, а сегодня – бизнесом.

По дороге в школу единственным зданием культуры была библиотека. Все 10 лет обучения я ходил по этой дороге и неизбежно заходил в библиотеку, которая стала для меня вторым домом.

**Вопрос:** Каких русских поэтов Вы впервые прочитали, каких полюбили и за что?

**Ответ:** Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Полюбил Лермонтова за его стихи про Кавказ. Есенина знаю практически всего наизусть. Полюбил его за русскую душу.

**Вопрос:** Откуда взялся интерес к музыке? Кто-то из родных повлиял на Вас?

**Ответ:** Мама хорошо играла на аккордеоне, именно она отвела меня в музыкальную школу.

**Вопрос:** Когда впервые Вы почувствовали, что хочется писать стихи, в каком возрасте Вы осознали в себе литературное призвание?

**Ответ:** В 16 лет впервые почувствовал желание писать стихи. Как впервые ощутил желание любить, жить и сходить с ума. Просто от жизни.

О литературном призвании я не думал. И сейчас считаю, что его нет. Есть волнение сердца, игра ума, полёт мыслей и фантазии. Если проще: прошлое в настоящем, а настоящее в будущем и мои чувства во мне теперешнем. Всё это вместе и есть мои стихи и песни.

**Вопрос:** Как Вы пишете? Как закрываете внутренние шлюзы от сумасшедшего ритма Ваших буден, обилия дел, толчеи людей?

**Ответ:** Я пишу только ночью и в сумерках на рассвете. Закрываю дверь наглухо, задёргиваю шторы. Я должен быть один и никого рядом. Полное одиночество. И сигареты”.

Вот так просто и убедительно рассказал поэт о том, почему он не сгинул, выстоял и сложился как человек во время распада страны и жизни. Его спасла семья, его спасла советская школа, его спасла русская литература. Особенно Пушкин и Есенин.

\* \* \*

В 17 лет, сразу после школы, Гуцериев начинает трудовую жизнь грузчиком овощной базы. Через год Гуцериев уже накатчик цеха шелкографии, а потом и мастер швейного цеха на джамбульской фабрике народных художест-

венных промыслов. Следующая его должность – инженер-технолог грозненского объединения местной промышленности, которое он возглавит через четыре года.

А в эпоху перестройки – дальнейшие “этапы большого пути” Гуцериева в большом бизнесе и в политической жизни страны похожи на мелькающие кадры из гениального кинодетектива. С какой целеустремлённостью, с каким успехом он, кандидат в мастера спорта по десятиборью, овладевал разными видами лёгкой атлетики – с такой же лёгкостью Гуцериев брал “высоты” и науки, и бизнеса, и политики, и даже английского языка.

Джамбульский технологический институт, Финансовая академия при правительстве РФ, знаменитый Институт нефти и газа имени Губкина, Российская экономическая академия имени Плеханова, Санкт-Петербургский юридический институт!.. И всё это – за какие-то 20 лет, одновременно занимаясь созданием и управлением крупных корпораций с многотысячными коллективами, и работой в Государственной Думе, и сопротивлением рейдерским попыткам захвата его собственности. Ведь дело доходило до того, что Гуцериеву на какое-то время пришлось оставить пост президента “Русс-нефти” и заявить об “уходе в науку”, и даже на три года уехать за границу... А тут ещё буквально в разгар этой суровой борьбы его любимый сын Чингиз погибает в автомобильной аварии... Все эти переживания так или иначе отразились в его исповедальных стихах и поэмах. Может быть, он и выстоял благодаря своему дару. Семья, круг ближайших друзей и поэзия помогли ему преодолеть все удары судьбы и вернуться на родину...

Есть и ещё одна причина **“победоносности”** Гуцериева. Дело в том, что большинство олигархов или просто богатых людей той “лихой эпохи” были детьми из семей советской аристократии, – выходцами из прогнившей партийной номенклатуры, которая, по словам историка Вадима Кожинова, **“захотела выйти из тени и жить во дворцах, а не на государственных дачах”**, многих фигурантов из “списка “Форбс” породила и “комсомольская верхушка”, и, конечно, продажная часть будущих “сильных мира сего” вышла из кабинетов Лубянки, а также из сословия “красных директоров”.

Но в среде такого рода деятелей перестройки Гуцериев всегда был “белой вороной”. Он рельефно выделяется глубокими знаниями, образованием среди других людей. Он всегда делал ставку только на себя, свои силы, свой талант. Отсюда и его пассионарность, и жизнестойкость, его жажда знаний, терпение, железная воля, и его любовь к песне. Отсюда и особенный характер его благотворительности.

Он не покупает клуб “Челси” или американскую бейсбольную команду, он помогает спортсменам Института нефти и газа в Удмуртии, детским и юношеским командам “Нефтяник” в посёлке “Новоспасское” Ульяновской области, сборной команде Удмуртии по биатлону, велоспорту и стрельбе, ледовому дворцу спорта в Саратове.

Он, правоверный мусульманин, понимающий значение и роль православия в России, восстанавливает и строит православные монастыри, соборы и храмы в Ярославской области, Удмуртии, Нижневартовске, Ульяновске, в Москве, Витебской области и даже в Вифлееме. Он, с детства знающий, что такое нужда и что такое многодетные семьи, помогает детским домам Томской области, детскому саду в Саратове, выделяет средства на операции детям Чечни с сердечными заболеваниями, оснащает больницы в Ижевске.

В предисловии к книге “Плоть и суть” близкий друг Гуцериева назвал его “легендарным человеком”. И с этим нельзя не согласиться. Биография нашего современника, непостижимым образом сочетающего в себе яркий талант лирика и жесткость руководителя десятков мощных промышленных и финансовых предприятий, достойна того, чтобы выйти в свет в книжной серии “Жизнь замечательных людей”.

\* \* \*

Михаил Гуцериев знает цену деньгам и понимает, что они могут служить и добру и злу. Об этом двуликом Янусе – золотом тельце, о том, человек ли правит деньгами или деньги правят им, поэт размышляет неустанно:

*Сам во всём ты виноват,  
Всё проспал и промотал,  
Душу золоту продал,  
Только “нужных” уважал.*

*Все в погоне за Тельцом,  
Сколько дал кому на чай?  
Диалог ведут с Творцом  
Все про всё — и сразу в рай.*

Гуцериев горько иронизирует то ли над миром денег, то ли над самим собой:

*Выпил, съел и закусил,  
Ради скуки вновь запил,  
Взятку дал и прошептал:  
“Льготы, должность, пьедестал”,*

*Банки в долг дают свой долг,  
Льют на уши нежный шёлк,  
На процент бежит процент,  
Дорогой Вы наш клиент.*

С горечью убеждается поэт в том, что нынешняя мировая жизнь часто подчиняется не Божественной, а дьявольской воле:

*Голодный раб слабей свободы,  
Готов за пайку всё простить.  
Голодный волк сильнее природы.  
Не может волк в неволе жить.*

В мире идёт война всех против всех — где нет героев и победителей.

*Хочешь быть бедным — стань гордым,  
Хочешь богатства — безбожным,  
Хочешь великим — будь скромным.  
Хочешь стать первым — стань подлым.*

Мечется душа поэта в чащобе истин и заблуждений, где метались во все времена души великих. “Всё моё”, — сказала злато; “Всё моё”, — сказал булат. “Всё куплю”, — сказала злато; “Всё возьму”, — сказал булат”. Даже Пушкин не решился дать нам окончательный ответ, кто прав — булат или злато. Но мне кажется, что чем больше вопросов задаёт себе поэт, чем глубже пытается он влезть в “суть и плоть” жизни, тем крепче становится его душа, энергия которой превращается в энергию духа. Удивительно то, что душа Гуцериева, прошедшая через все угрозы времени, через все заблуждения юности, через все алчные и греховные соблазны восьмидесятых годов и кровавой, криминальной революции 90-х, через искушения и “булатом”, и “златом”, и властью, и “бременем страстей человеческих”, не истрепалась, не потеряла “божественной искры”, не утратила того состояния, которое Пушкин называл “духовная жажда”... Он по-прежнему, как в молодые годы, “духовной жаждою томим”.

МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ



## ПЛОТЬ И СУТЬ

### ИЕРИХОН

Гора искушения — зла Рубикон.  
Ниже в пустыне стоит Иерихон.  
Сотней веков город зачат,  
Труб Иерихоновых слышен набат.

Вечности время кружит колесо,  
Древнего Рима мерцает лицо.  
Дерзкий Антоний — тень Клеопатры.  
Стены багровые, солнца закаты.

Библии свет озарили страницы,  
Миру открыли тайны темницы.  
Дьявол Спасителя в пост искушал,  
Гений Иисуса ему отказал.

Пишет история путь свой без грима:  
Герб иудея, щит христианина,  
Вера паломников, взгляд пилигрима,  
Тени кровавые, меч Саладина.

Сборщик Закхея, пророка улыбка,  
Ржавый песок, озарённые лица.  
Русские люди, крест православный,  
Плачь минаретов и звон поминальный.



Страсти кипят, иорданские воды,  
Через страдания — война и невзгоды.  
Беженцев круг, детские слёзы,  
Крик интифады, еврейские дзоты.

Солнце встаёт, зажигает восходы.  
Время рождает новые годы.  
Спит в Палестине у гор Иерихон,  
Дьявол устал, гони страшный сон.

### ТРИ ТИРАНА, ТРИ ЛЮБВИ

Седые камни древности ведут меня к безумству,  
И пыль дороги вечности разносит времена.  
Любовь великой страсти стремится к совершенству,  
У каждой власти есть своя цена.

Разносит страх историю столетий,  
И миф сливается с реальностью в легенды.  
Любовь сплетает цепь своих созвездий,  
И правда жизни — только аргументы.

Между простым и сложным гений,  
Меняет разум и сжигает города.  
Страдает жизнь людей и поколений,  
И цель одна: гори, моя звезда.

Александр Македонский — звёздная судьба,  
Искандер, жестокий царь — славы нет конца.  
Жизнь твоя — пример потомкам: жадная борьба,  
Города в крови народов и судьба творца.

Между Тигром и Евфратом — рая колыбель,  
Тень Роксаны с Александром бродят каждый день.  
Буцефала стук копыт — вечности капель.  
Плачет древний Вавилон — пыльная сирень.

Сулейман Великолепный — крепостное бремя,  
Век войны и запах крови, голубой Босфор,  
Музыканты и поэты, золотое время,  
Ожерелья из Китая, розовый фарфор.

Между Азией, Европой дрыхлый спит Стамбул.  
Тихо шепчет лунный вечер: “Я тебя любил”.  
Роксолана Сулейману: “Я хочу, люблю!”.  
Стон несётся пять столетий: “Нет, я не забыл”.

Бонапарт — источник зла и король войны,  
Век искусства, след костра, мясо на крови,  
Галуны, аристократы, алый свет луны,  
Грязь окопов, блеск Бурбонов, на затылке — вши.

Жозефина Бонапарту: “Ты мой бог, кумир!  
Хочешь, солнце соберу, украду весь мир!  
Возвращайся, буду ждать, приезжай в Париж!”.  
Горько плачет над волной островной камыш.

Жозефине Бонапарт: “Отшумел Версалья сад.  
Будут вечно помнить первый мой штандарт.  
Не забудут грешники храбрый строй солдат,  
На короне вензеля и любви азарт”.

Несёт ветер вечности чувства над землёй,  
И любовь всегда сильнее порока.  
Побеждает время умный, кто смелей.  
Все надеются и снова ждут Пророка.

Три истории любви написал я между строк:  
Три тирана, три страны в жизнь мою вошли.  
Каждой рифме дал я срок, преподал любви урок:  
Помнят тех, кто короли, остальные все ушли.

### Я РОДИЛСЯ В ТАГАНРОГЕ

Тянулся мыслей страшный рой.  
Сержант сказал: “Примкнуть штыки”.  
Стоит над полем запах злой,  
И страх рвёт сердце на куски...

Бегу вперёд, всё наугад.  
Штык в мясо, слёзы на ветру.  
Мой оппонент в ребро назад,  
А в Таганроге зори поутру...

Бросаю нож, ногою в пах.  
Он в спину мне вонзил лопату.  
Мой рот в крови, смерть на устах,  
Я видел ночью во сне папу...

Бью головой, ломаю нос,  
Он мне зубами жилы рвёт,  
Я — сверху вниз, он — не дорос.  
А в Таганроге мама ждёт...

Я — руки в рот и пасть порвал,  
Он — откусил два средних пальца,  
Я — истекаю, он — пропал,  
А с неба смотрят глаза старца...

Лежим в пыли лицом к лицу,  
Пытаюсь локтем глаз пробить.  
Я так устал, плевком кричу:  
“Хочу домой, хочу любить...”

Он плачет, что-то мне кричит,  
А я — глухой, убит мой слух.  
Язык в ответ мой не молчит,  
А в Таганроге тополиный пух...

Прошу: “Скорее умирай,  
Я жить хочу, мне восемнадцать...”  
Он мне сказал: “Там будет рай”.  
А в Таганроге полночь, за двенадцать...

Вцепились в глотку и хрипим,  
И наши тени встали в тень.

Над нами плачет Серафим...  
А в Таганроге зацвела сирень...

Мы дрались долго, бой затих.  
И наши чувства остывали.  
Мы болью сделали триптих,  
А на Азове волны спали...

Смерть дописала свой дневник,  
И мысли, улыбаясь, исчезали.  
Он в душу мне насквозь проник.  
А в Таганроге ландыши завяли...

Мы рано утром до зари  
С моим врагом в раю гуляли.  
Мы в дружбе клялись на крови,  
А в Таганроге свечи догорали...

### РАЗГОВОР НАИСКОСОК

По комнате — зловещий смех,  
Читаю заповеди вслух.  
Из десяти я помню шесть,  
Четыре оставляю злу.

Я строчкой делаю надрез  
И рифмой сердце потрошу.  
Со мною рядом дышит бес,  
И я себе стихи пишу.

Я не живу, я в мире слёз,  
Я однобок, души шматок.  
Мои слова — сплошной курьёз.  
И разговор наискосок.

Я гость, я просто лунный дождь,  
От всех далёк и одинок.  
В подвале ржавый длинный гвоздь  
Забит крючком за потолок.

Мне нужен воздух позарез,  
С луной за полночь диалог.  
Я к совести в долги залез  
И для крючка ищу предлог.

Я придумал трусливый вердикт,  
Приговор от страха условный.  
Ржавой бритвой в память проник,  
И процесс в голове уголовный...

Что могут слёзы — ничего,  
Просить, жалеть и вспоминать.  
Итог не может одного:  
Простить, надеяться и ждать.

Исток рождается с подлеска  
И снег без ветра — не метель.  
Сплетенье страсти — арабеска.  
Любовь без секса — канитель.

Стреножит правду фарисей,  
Беспольные слова без боли.  
Не людям верят, а в людей,  
С нуля до трёх — отсчёт для воли.

Без облаков вода — не дождь,  
И сумерки рожают сутки,  
Приходят, двигаясь насквозь,  
Луны и солнца промежутки.

На всякий случай лицемерим,  
Все иноверцы чернолицы.  
Душа страдает от поверий,  
И ближе к уху небылицы.

Интимный свет в постель влечёт,  
Уродство прячется от страха.  
Надменный взгляд — вполоборот,  
Убогий видит всё вполглаза.

Когда в дороге тяжело,  
Мы начинаем проклинать,  
Мы возвращаемся назло —  
За каплей каплю допивать,

Не уставая боль внушать,  
Своим страданьем восторгаться,  
Затылком вверх в кровать дышать,  
Табачным дымом задыхаться.

Мазок любви — цветок природы.  
У каждой страсти свой пикник.  
Уходят люди, исчезают годы,  
Секунды пишут вечности дневник.

Для “да” и “нет” ответ заведом.  
У взгляда разные подходы,  
Мы придаём значения беседам,  
Где главное не суть, а эпизоды.

Мы в падежах используем рода,  
Не выгодно — как выгодно беседей.  
Полегче средний — не добро и не вражда.  
Смакуй любовь и исповедай.

Мы вождедем то, что видим,  
Так подешевле и вкусней.  
Нам трудно с тем, кто независим,  
И не с руки, когда честней.

Нам рядом сесть порой за честь.  
Бывает стыдно за версту.  
Нельзя учесть, когда не счесть.  
Последний день невмоготу.

Меняет разум голоса,  
Несёт за временем молву.  
Слова, обычные слова  
Нас приближают к Божеству.

## РУЧКОЙ НА ЛАДОШКЕ: “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ”

Крестики — нолики, папины глаза.  
Ручкой на ладошке: “Я люблю тебя”.  
Крестики — нолики, мамина слеза.  
Ёлка новогодняя, будто бы вчера.

Снеговик, Снегурочка и конфеты “Сказка”,  
Новогодний вечер, Дедушка Мороз,  
Мандарины, яблоки и смешные маски,  
Запах никотина отцовских папирос.

Детские кораблики, лужи босиком,  
Радуга цветная, грёзы за окном.  
Бабушки наказания, время узелком.  
В магазин за хлебом, сказки перед сном.

Пионерский лагерь, дружба на крови,  
Летние концерты — крестники любви.  
Горькая обида — вестница вражды,  
Розовое детство, чёрные дрозды.

Двое на причале рядом у реки,  
Алые закаты, первые стихи.  
Синие туманы, белые буйки,  
Светлые надежды, мамины духи.

Школьная зарница, фонари — жучки,  
Проводы и встречи солнечной зари.  
За грибами лесом, на дворе июль,  
В сад за абрикосами и ночной патруль.

Крестики — нолики, юности загадка.  
Краской на заборе: “Я люблю тебя”.  
Школьные экзамены, старая тетрадка.  
Песня под гитару: “Милая моя”.

Первая любовь, слёзы у костра,  
Взрослые забавы, жгучая весна.  
Лунная улыбка звёздного шатра,  
Острым по скамейке: “Я люблю тебя”.

Голуби на крыше, мамины глаза.  
Дерзкие ответы и упрёк отца.  
Куртка на меху, модная аляска:  
Кукла из сатина и сестры коляска.

Синие фиалки, запахи любви,  
Танцы до утра, спящие цветы.  
Проводы на службу, только подожди.  
Письма бесконечные, серые дожди.

Талисман на шее — золотые пряди,  
Клёны на аллее, жёлтые наряды.  
Тёмные рассветы, листьев кружева,  
Снятся поцелуи, спелая айва.

Крестики — нолики, дружная семья.  
На траве постель, нежная спина,  
Крестики — нолики солью из ружья.  
Юность убежала, молодость видна.

Брюки клёшем, батники, старый саксофон,  
Со сметаной драники, за столом в лото.  
Кино с классом в праздники и аттракцион,  
Ночь у телевизора, уроки на потом.

Рюкзаки за плечи, летние походы,  
Пляжная прогулка, замки из песка.  
Песни от Высоцкого — дайте нам свободы!  
Пиво из баллона, чёрная треска.

Летом солнце южное, тихая рыбалка,  
С пирса сальто сложное, водная война.  
Чайка кружит белая, хитрая нахалка,  
И купает берег буйная волна.

Небо целовало скалы с Эдельвейсом,  
И гуляли звёзды с месяцем вдали.  
Летние террасы, ужины с портвейном,  
И кусали больно жёлтые шмели.

Крестики — нолики, взрослая судьба,  
Юностью по сердцу: “Я люблю тебя”.  
Разнесла по жизни зрелая страда.  
Я живу отрывками, память теребя.

## БЕЗУМИЕ

Календарь скукожился, устал,  
Дни укрылись за историю столетий.  
Я пропал, в безумие упал,  
Между строк не вижу междометий.

Говорю с надрывом, на износ  
И ищу слова на цепь событий.  
Мысли скачут, бегают вразброс,  
Речь становится сановней и маститей.

Я ищу суть истины соитий.  
Не пойму — зачем и почему?  
Связь любви изнеженных наитий  
Тихо шепчет в ухо: “Посему”.

На окне гардины шевелятся.  
Я сижу на корточках в углу.  
В потолок навверх глаза косятся.  
Я страдаю, рассуждая вслух.

За ресницами пугаются зеницы.  
Стрелки подгоняют время к двум.  
Циферблат задумчиво дымится,  
И глаза слоятся наобум.

Я лишенец, горя ученик.  
На спине копаются мурашки.  
Научило время, соль постиг,  
На лице надрез и две подтяжки.

Дверь шатается, грызутся голоса,  
И в проёме ёмкая фигура.  
На ковре рисунок палача.  
Улыбаюсь, тихо балагурия.

Собираю мысли, бормоча.  
Капли падают из крана.  
Наливая двести первача,  
На душе кровится рана.

Утопает ночь в стакане,  
Через раз по три затяжки.  
Нахожусь в самообмане,  
Наливаю грог для кошки.

Дней уставших вереница  
Ищет память в беготне.  
Ночь, корявая блудница,  
Прячется от ужаса во сне.

На оконной раме лица,  
На стекле сплошной коллаж.  
Голова змеи в глазницах,  
В середине — жуткий глаз.

С перепуга говорю: “Скотина!”  
Наливаю двести, пью с колёс.  
Одиночество, глаза морщина,  
Засияло в золоте волос.

За столом сидит сомнение,  
Кто-то рвётся из утробы,  
И душа, забыв стеснение,  
Говорит: “Не бойся, пробуй”.

Мой соперник, моя тень,  
Бьёт меня, в руке стилет.  
Я держу в руках кистень,  
Размахнулся — рикошет.

Бьёмся насмерть, не до смеха,  
Мои силы покороче.  
Тень кричит, заходит слева,  
Примеряюсь, бью, что мочи.

Отбиваюсь, бой вприсядку,  
Тень бежит за мной по кругу.  
Душа метится в сопатку  
И визжит: “Добьём ворюгу!”

Одиночество-подруга  
Бьёт кувалдой по ноге.  
Пропадаю, я испуган,  
Кровь струится по губе.

Тень стилетом режет руку,  
И душа берёт топор.  
Одиночество-подлюга  
Мне плюёт в глаза, в упор.

Кровь фонтаном, ругань в доме,  
Я стараюсь тень убить.  
Вижу чей-то взгляд в проёме.  
Всё равно вам не добить!

Долго дрались, тень устала,  
Без зубов и зло сопит.  
Одиночество пропало,  
И душа моя хрипит.

Наливаю всем по двести,  
Память горькая, сиделец.  
Я прошу, не надо мести,  
И в проёме появляется пришелец.

И душа, бесстыжая мещанка,  
Зашипела: “Вот он, супостат!”  
Говорит: “Была ему служанка”.  
Вместо слов проклятье, перемат.

Говорит: “Я стала оборванкой,  
День и ночь блудила напрокат.  
Негодяй, паскудная поганка,  
Он порвал мне платье, виден зад”.

Моя суть от злости матерится,  
Гость смеётся: “Перестань орать!”  
Тень моя по-доброму кривится,  
Надоело драться и страдать.

Достаю аптечку и бинты,  
Делаю укол и ставлю чайник.  
Одиночество с душою мне близки,  
За столом втроём, напротив странник.

Начинаем разговор, мне тяжко,  
Кто не первый — первый начинает.  
Одиночество с душой — бедняжки,  
Вытирают слёзы, обнимают.

Вы едины вместе, но не вместе.  
Расскажите, что у вас случилось?  
На каком, скажите, перехлёсте  
Ваша дружба развалилась?

На пороге счастье загостилось.  
Не пустили, и назад не вышло.  
Не родили — значит, не родилось.  
Дергали судьбу за дышло.

Меланхолия добавила разруху,  
И депрессия сковала чувства.  
Сумасшествие залезло в ухо,  
И настигло счастье безрассудство.

Время пишет, время без грехов.  
Обманулся и нашел измену.  
Не хотел быть грешным без рубцов.  
Я грешил, молился феномену.



Разорвал на сердце две аорты  
И поставил гордость на колени.  
Мне по нраву твёрдость и экспромты.  
Я отрезал пальцы без гангрены.

Мне милее зависть, чем восторг,  
И улыбка, скрытая назло.  
Мне ханжа поближе, а не лорд.  
Я мечтал, но мне не повезло.

Я пойду в дурдом с Наполеоном  
И увижу строй его солдат.  
Мы устроим там любовь с наклоном  
И подскажем, где дорога в ад.

Мы поскачем на врачах галопом,  
Ты увидишь лошадей с изъёмом.  
Оскопим лекарствами, не скопом,  
Там считают время виртуальным.

На коленях у кривых зеркал  
Я одно увидел наизнанку:  
Чёрт на скрипке вальс играл,  
Бесы танцевали спозаранку.

Разрывая жилы, вены рву,  
Скручиваю губы узелком.  
Сам себе застенчиво шепчу:  
“Лучше негодяи с кошельком”.

Я хочу любить одно, своё,  
А ещё люблю слова, где месть.  
Я люблю зело и просто зло,  
Я люблю места, где любят лезть.

Я хожу за дьяволом с опаской,  
Опахалом отгоняю мух.  
Он умён, и он со мною ласков.  
Люди распускают гадкий слух:

Он частями покупает душу,  
Платит хорошо, готов вперёд.  
Иногда он летом любит стужу.  
Он не лицемерит и не врёт.

Я ногами землю прижимаю  
И давлю крестом ладони.  
Обнимаю тень, себя ломаю  
И с луной сажу на небосклоне.

Я купался и ходил по морю,  
Просыпался и бежал опять,  
Был на Каракумах и Босфоре,  
Научился чувства опреснять.

Снился белой ночью чёрный конь  
И седло с каймой из красной кожи.  
Дождь просил у облаков дисконт,  
И земля твердила: “Будь построже”.

За венком слова, на сердце память,  
Сохнут слёзы и скорбит любовь,  
Эпитафия затем, сначала камень,  
Голая душа без каблуков.

Комплексы порочные из детства,  
Честь порой — смешная самоцель.  
Жизнь канючит на погосте место,  
Саван белый — вечности постель.

Я — исчадие уставшего порока,  
Всё равно себя разрушу.  
Хочу с кошкой выпить грога.  
Я покой ваш не нарушу.

## МОЙ ВТОРНИК

Не звони, не трогай мои раны,  
Ну зачем слова, которых нет.  
Знаю, это входит в твои планы —  
Кинуть камень горечи вослед.

Мы сегодня ждём развязки,  
Десять не забытых мною лет.  
Ты звонишь и хочешь встряски,  
Говоришь ехидно: “Ну, привет”.

Брак наш оказался не обетом,  
Сын для связки — хрупкая стезя,  
И моя любовь не стала вето,  
Без надежды не звони зазря.

Не целуй мои воспоминанья,  
Не хочу обмана глупой лжи.  
И моих ночных обид мерцанье  
Не терзай, не бери души.

Горький дух и радость наших дней  
Пусть останутся пытаться меня.  
Для любви — ты лучший из людей,  
Но ты любишь только для себя.

За окном зима накрыла ели,  
Снег метёт, и убирает дворник.  
Слышу звук звонка — родные трели.  
Да, я рада, что сегодня вторник.

Не забыл, и мне не всё равно.  
У тебя всегда другие цели.  
Расписал свой сборник ты давно.  
Мои чувства снова закипели.

Позвони ещё раз на неделе,  
Приходи ко мне, любовник.  
Пусть всё будет, как в борделе.  
Ключ я положу под коврик.

## СОН ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ

В доме тихо, пустота.  
За окном блестит луна.  
Шум и страх из-за угла,  
Звон в ушах и тишина.

Мефистофель у окна  
Плачет и смеётся.  
Вижу, чёрная спина  
Тихо в дверь крадётся.

Вижу белый пароход,  
Синих голубей.  
Все слова наоборот.  
Сон из трёх частей.

Тень души — мои глаза.  
Снова надо мной  
Источает кровь лоза,  
Ночь ушла в запой.

Первый сон похож на сон:  
Сидит в кресле бес,  
Стоят люди на поклон  
И кричат: “Воскрес!”.

Вальс танцует сатана  
В красном зипуне,  
Поёт оперу весна,  
Ноты на огне.

Пляшут голые казачки  
В серых сапогах,  
Плачут чёрные скрипачки,  
Слёзы на глазах.

С потолка летят осколки,  
Черти на балу,  
По углам четыре волка,  
Слякоть на полу.

Плачет бывшая жена,  
Профиль на стене.  
Вижу руки колдуна.  
Бес сидит во мне.

Второй сон похож на бред:  
Я стою нагой.  
Полумесяц, чёрный крест  
Машут мне рукой.

Воздух дымом разогрет,  
Слышу треск огней.  
На столе стоит обед —  
Блюдо из червей.

Язык бесов — игра слов,  
Шепчет про любовь.

Принесли дары волхвов.  
Вместо неба — кров.

На плите кричит каплун,  
Волки ждут прыжка,  
Плотник точит свой колун,  
И в крови рука.

Льётся кровь в мои глаза —  
Красный цвет зрачка.  
Ровно полночь на часах.  
Рядом два сурка.

Один тёмный, другой белый,  
Синие глаза.  
Пахнет водкой и холерой.  
На шкафу сова.

Надо мной висит петля,  
Ноги паука.  
Летит ангел без крыла.  
Запах кизяка.

Кто-то плачет под кроватью,  
На полу листва.  
Руки тянутся к распятью.  
За окном Москва.

Третий сон похож на явь:  
Мы играем в карты,  
За роялем чёрный князь,  
Молятся сектанты.

На раздаче рыжий чёрт.  
Бесы жуют кад.  
Под ногами жёлтый крот.  
Слышу редкий мат.

На кону лежит душа,  
Я ловлю удачу.  
Мой соперник, бес-ханжа,  
Шепчет под раздачу:

“Да, мы бесы без души,  
Наша радость — просто дни.  
Ты подумай, не спеши,  
Проиграешь — не вини”.

“Я согласен, выбор мой,  
С вами легче, я чумной.  
Я устал быть сам собой,  
Мой напарник — домовый”.

Мы играли два часа,  
Ели мясо из котла,  
На шкафу сова кричала,  
И душа моя шептала:

“Мы с тобою много лет,  
Я с тобой была честна,  
Много слёз и много бед.  
Скажи, в чём моя вина?”

Ты же сам меня создал,  
Сам искал дороги.  
До конца быть обещал.  
Ты любил пороки!

Твоя жизнь была со мной:  
Ты вперёд, я за тобой,  
Ты назад, я впереди.  
Ты просил: “Не уходи!”

Я страдала, но жила,  
Ты же сам учил меня.  
Честь и совесть берегла,  
Я любила за тебя.

Ты иудой оказался  
Душу дьяволу продал.  
Ты пропал, ты потерялся,  
За грехи меня отдал”.

Бес смеётся: “Надоело,  
Надо быстро доиграть.  
Любишь ты гнилое тело.  
Возьми деньги, иди спать.

Позови на помощь князя,  
Я не против колдуна.  
Ткань для савана  
Одолжи у горбуна”.

“Хватит бес, не разводи,  
Только с ней была весна,  
Только с ней я пил дожди,  
Она совести нужна.

Душу я тебе не дам,  
Убирайся, сатана!  
Я её вам не продам,  
Она мне была верна”.

“Идиот, забудь про верность  
И не думай про любовь.  
Лучше зависть, легче подлость,  
Слаще с ведьмой на альков”.

Солнце встало утром в пять.  
Бес опять сел на кровать:  
“Надо спор наш доиграть.  
Я хочу тебя забрать”.

Над Москвой Великий Спас.  
Бес на крышу убежал.  
Красно-розовый Пегас  
В мою дверь ногой стучал.

## КРОКОДИЛОВЫЙ НАРОД

Жлоб даёт советы снобу,  
Как набить свою утробу,  
Как украсть зимой метель.  
Крокодиловая куртка. Крокодиловый портфель.

Каждый видит всё и сразу:  
Кто, кому и по заказу.  
Все давно везде протухли.  
Крокодиловые страсти. Крокодиловые туфли.

Биржа, Форекс, губы ботокс,  
Мясо с кровью, чести кодекс.  
Ночь цепляет день — и ломка.  
Крокодиловая самка. Крокодиловая сумка.

Без айпада плачет правда.  
Всё одно и без контраста.  
Шьют дела и дуют в уши.  
Крокодиловые прайды. Крокодиловые души.

Кто не с нами — дураки!  
Все в долгах и батраки.  
“Барин я!” — кричит вельможа.  
Крокодиловая ферма. Крокодиловая рожа.

Гол сокол, кругом измена.  
Друг пропал, ушла жена.  
Локтя нет, один пльиви.  
Крокодиловые будни крокодиловой любви.

Чёрный цвет разводит белый.  
Лучше тёмный, лучше серый.  
Нам домой и всё на блюдец.  
Крокодиловое сердце. Крокодиловое тельце.

Через раз все иноверцы.  
Захватили мир туземцы.  
Город наш, страна не наша.  
Крокодиловая лажа. Крокодиловая кража.

На Покровке строят дом.  
Все кричат: “Он вор и гном!  
Научите нас украсть!”  
Крокодиловая масть. Крокодиловая пасть.

Снял с плеча не свой пиджак.  
Ничего, он наш вожак,  
Раз при власти — на поклон.  
Крокодиловый закон. Крокодиловый шаблон.

День и ночь кругом мольба:  
Пусть дадут по два раба.  
Деньги зло, нам лучше льготы.  
Крокодиловые звуки. Крокодиловые ноты.

Всем стоять, и по порядку!  
Бабка деду даёт взятку.  
Скоро выпьем кислород.  
Крокодиловая водка. Крокодиловый народ.

Нет работы — не судьба.  
Пьёт, гуляет голытьба.  
Все масоны, где-то ложа.  
Крокодиловая хитрость. Крокодиловая кожа.

Жить по совести — рулетка.  
Метка чёрная — и клетка.  
Лесть играет с честью в прятки.  
Крокодиловые шутки. Крокодиловые святки.

Шпунтик пьёт, талант не в счёт.  
Винтик плачет, ум в зачёт.  
К нам упал с Луны Незнайка,  
Крокодиловая душка. Крокодиловая зайка.

Хочешь — десять, хочешь — сто.  
За любовь одно пальто.  
Впятером один массаж.  
Крокодиловый пассаж. Крокодиловый пейзаж.

Наша жизнь — одни курьёзы,  
Всё бесплатно, и побольше.  
Хочу много, текут слёзы.  
Крокодиловые прозы. Крокодиловые грёзы.

## “Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ”

Усталой поступью по жизни  
Идёт и кается судьба.  
Конец пути — обед на тризне,  
Две рюмки водки и хвальба.

Моя душа, презрев усталость,  
На день останется с тобой.  
И, веря в искреннюю жалость,  
Я ночь оставлю за собой.

Я буду жить у изголовья,  
Тяжёлый сон оберегать.  
Я буду греть тебя любовью  
И до утра глагол спрягать.

Я обязательно вернусь,  
Вернусь зелёною листвою.  
Дождём тебя слегка коснусь,  
А может, радугой цветной.

В саду подснежником вернусь.  
Когда зима покинет пост.  
Возьму за плечи и прижмусь.  
Спрошу тебя, как сын подросток.

Вернусь дождями ноги мыть,  
И солнцем, чтобы день открыть.  
А может, в знойную жару  
Прохладным ветром обниму.

Старушкой-нищенкой вернусь,  
У входа в двери спотыкнусь.  
Ты быстро руку мне подашь,  
Заплачешь и любовь отдашь.

Протянешь воду и лаваш.  
Подаришь платье, денег дашь.  
Я буду запах твой вдыхать,  
И моя тень начнёт дрожать.

И веки станут разбухать,  
Ты будешь долго утешать.  
И наша боль в одну сольётся,  
И вечер горько улыбнётся.

А может, я вернусь зимой,  
На Рождество приду домой.  
Быть может, снегом на окне,  
Цветным узором на стекле.

Вернусь я ночью, полутьмой,  
Метелью, снежной кутерьмой.  
Кружиться буду и скучать,  
И дом любовью охранять.

А может, я приду при свете,  
Рекламной вставкой в интернете.  
Слезой ночной, глухонемой,  
Беззубым стариком с сумой.

А утром кислой пастилой,  
На листьях снежной бахромой,  
Костром погасшим и золой,  
И ты мне скажешь тихо: “Мой”.

Вернусь апрельской нежной ранью  
И отомкну глазами спальню.  
Ты быстро встанешь и поймёшь,  
И озираясь, тень найдёшь.

Я осенью к тебе вернусь  
И с неба громом громыхнусь.  
Листою жёлтою, кружась,  
До вечера в любви божась.

И летом бабьим в сентябре,  
Свечой на скорбном алтаре.  
Фиалкой синей на парче,  
Тяжёлой ношей на душе.

А может, белым журавлём  
И тёплым проливным дождём.  
Печальной розой во дворе,  
Застывшим солнцем в октябре.

Вернусь игрушкой-неваляшкой,  
Найдуся бездомною дворянкой.  
Вокруг тебя буду бежать  
И нежно пятки целовать.

Листом кленовым на заре  
И буквой “я” на букваре.  
А может, ржавым зимородком,  
И нагишом во сне коротком.

Вернусь замёрзшим февралём,  
Сыграем Моцарта вдвоём.  
Романсом грустным на гитаре  
И белым танцем, где мы в паре.

Сиренью белой на окне,  
Улыбкой горькой на луне.  
Июньским пухом на бульваре  
И мятным чаем в самоваре.

Помадой красной на губе  
И белой чайкой на волне.  
Слезам памяти в вине  
И сладким мёдом на блине.

Я твою страсть на час раздену  
Лучом горячим на коленях.  
Я буду сердце межевать  
И чувства к чувствам плюсовать.

Я солнце попрошу поспать  
И до восхода сутки дать.  
Я тело буду корчевать,  
И ночь подскажет, где кровать.

Я шторы тихо опущу,  
И ночью в сон к тебе зайду.  
Любовью спальню озарю,  
И прошепчу, что я люблю.

Я буду джем с тобой варить,  
Бразильский кофе подносить.  
Ночами простыни стирать,  
И день, и ночь тебя ласкать.

Дышать с тобой одним дыханьем,  
Желать желания стенаньем.  
Я в полночь солнце привезу,  
Достану с неба бирюзу.

Я в полдень принесу луну,  
И подарю зимой весну.  
Отдам любви по близнецу  
И помогу летать птенцу.

Я буду ждать, любить и ждать,  
К луне и солнцу ревновать.  
Сквозь время чувства целовать,  
Вокруг ходить и горевать.

Я буду грязью на подошве,  
Коровкой божьей на ладошке,  
Холодной каплей на листве,  
И белым инеем в траве.

Улыбкой нежной на матрёшке,  
Глазами детства на обложке.  
Цветным рисунком на ковре,  
Отцом и другом детворе.

Вернусь, мурлыча, словно кошка,  
Вернусь принцессой на горошке.  
Морозом лютым в декабре  
И женским днём в календаре.

Сыграю в праздник на гармошке,  
Врачом приеду в неотложке,  
Собакой верной в конуре,  
Цветком на лунном пустыре.

Не говори, что ты вдова,  
Ты — есть, была моя жена.  
Ты в церкви свечи прикупи,  
Поставь за упокой души.

Я дочке в глазки загляну,  
И с неба звёзды соберу.  
Ладонью к ручке прикоснусь,  
Даю вам слово, что вернусь.

Я все обиды зачеркну,  
Семье надежду одолжу.  
Я вам клянусь, что я вернусь,  
Я своей кровью распишусь.

Я к вам вернусь, приду, вернусь,  
Вы подождите, я клянусь.  
Я вам свою любовь верну,  
Я постараюсь и дерзну.

Я буду воздух и вода,  
Поверь, ты будешь мной горда.  
Я мыслями с тобой свяжусь  
И от любви преобразусь.

Я так люблю, не надыхусь,  
Я каждый день с тобой ложусь.  
Не предавай, я так горжусь.  
Мне тяжело, но я держусь.

Я буду взгляд твой целовать  
И ночью тихо наблюдать,  
Улыбкой душу бередить.  
Я не могу тебя забыть.

Я буду тенью обнимать,  
Ты о другом не смей мечтать.  
Ты будешь мне принадлежать,  
Я буду рядом ждать, молчать.

Не сможешь ты с другим лежать,  
Ты будешь голос мой искать.  
Ночами выть, изнемогать,  
С утра в истерику впадать.

Я обязательно вернусь,  
Сквозь вены в сердце заберусь.  
Твоим дыханьем излечусь,  
И поцелуем расплачусь.

Я мысленно войду в сознание,  
И ты услышишь заклинание.  
Я буду ждать, любить и ждать,  
И тихо время возвращать.

А летом ты поедешь к морю,  
Я это право не оспорю.  
С тобою в волны окунусь  
И от бессилья разревусь.

Я уступлю в ненужном споре  
И попрошу луну в дозоре  
Сберечь мою любовь от хвори,  
И вечность времени ускорю.

Я обязательно вернусь,  
И летним зноем распахнусь.  
Я буду верить, буду ждать,  
Любить и снова вспоминать.

Не надо, милая, рыдать,  
Не надо чувства разрывать.  
Я виноват, ты не сердись,  
Ты помни, помни и молись.

Я в церковь не хожу, смеюсь,  
Мы встретимся, я искуплюсь.  
Я здесь один и не женюсь.  
Я верю, жду и не сорвусь.

Незримо я с тобою рядом,  
Я прилетаю снегопадом.  
Кажусь осенним листопадом,  
И летним розовым закатом.

Вокруг тебя у ног верчусь,  
Смеюсь, и плачу, и сержусь.  
Всю ночь смотрю, не нагляжусь,  
Когда ты спишь — с тобой треплюсь.

На Юрьев день к тебе вернусь,  
Я достучусь и возвращусь.  
Не дам тебе со мной порвать,  
Люблю, когда скрипит кровать.

Я по следам твоим иду,  
И наши чувства берегу.  
Я так устал, я соберусь,  
Я обязательно вернусь.

Ты мне скажи, ты устаёшь?  
Я знаю, любишь и поймёшь.  
Я нашу страсть с собой ношу,  
И строчки памятью пишу.

Клянусь, что с ветром прилечу,  
Закатом нежным обхвачу.  
Твой сон, целуя, обниму,  
И всем скажу, что никому

Я не позволю, не отдам.  
Я за любовь тебе воздам.  
Я позвоню, ты не грусти,  
Не плачь, родимая, ты жди.

Я не отдам и не прошу,  
Любовь невидимо внушу.  
Ты — моё счастье без крыла,  
Моя любовь горит дотла.

Да, ты не веришь чудесам,  
Ты — моё сердце, мой бальзам.  
Я буду ждать, ты приходи,  
Я рядом здесь, ты не дрожи.

Ты сильной будь, не унывай,  
Прошу, не плачь и не страдай.  
Я стужу летом замещу,  
Куплю машинку малышу.

Ты сказки детям почитай  
И спой им песню “Каравай”.  
Ты говори и повторяй,  
Что я вернусь, не забывая.

В кругу друзей своих любимых,  
На вечеринках скучных зимних  
Не смей, не вздумай изменять —  
Я буду за спиной стоять.

И свет любви наш, негасимый,  
Нас озарит, и я, незримый,  
Руками крепко обниму,  
И тень твою на ночь возьму.

Не отпущу тебя на час —  
Я не могу без твоих глаз.  
Ты — суть любви, моя напасть,  
Ты — моя боль, не дам украсть.

Я сам себя готов карать,  
Ты — моя власть и моя страсть.  
Я буду ночи зажигать,  
Губами ноги вытирать.

Все мои мысли напоказ,  
Готов на всё и жду приказ.  
Ты не спеши, я научусь,  
Я обязательно вернусь.

Да, виноват, я не ценил,  
Я думал просто и любил.  
Я не могу, прости меня,  
Моя цена — любовь твоя.

Я — одиночество, калека,  
Моя любовь другого века.  
Я буду небо умолять  
Твою любовь короновать.



ЗАХАР ПРИЛЕПИН

## ...ПОКА КАПКАН СУДЬБЫ НЕ ЩЁЛКНЕТ

*Слово про Луговского*

### **Володя натягивает нос**

“Вот, детка, такая картинка!” – было любимым присловьем поэта Владимира Луговского.

Мы нарисуем несколько картинок, стараясь не сильно их раскрашивать, но лишь идти вдоль линии человеческой судьбы.

Всякий сочинитель, выбирая свою тему, рискует не только получить награду за выдуманное, но и однажды встретиться в жизни с тем, о чём писал на бумаге. Мало в чьей жизни эта встреча была так явственна, как в случае Луговского.

Капкан, поставленный тобой для кого-то, – многие годы ждёт тебя самого.

Шаг за шагом, следуя за биографией Луговского, мы придём к этому капкану.

Даты его жизни – образцовые для того поколения.

Рождён в 1901-м – начало века.

(1900 – слишком ровная и красивая цифра для поэта, а 1899 – совсем прошлый век, и оттуда неизбежно потянется его наследство; в том году, характерно, родились Владимир Набоков и Леонид Леонов – два года разницы, а далеки от Луговского несказанно.)

Умер же Луговской в 1957-м – в год юбилея Великого Октября, познав всё его наследство: с одной стороны, уже после страшных разоблачений, с другой стороны – когда революция ещё дула во все паруса русской истории и ветер был горяч.

(Следующий юбилей уже содержал лёгкую тревожную ноту, юбилей 77-го – если и звенел, то казённой бронзой, а юбилей 87-го года, по сути, сорвали, и делать там легендарному революционному поэту было бы совершенно нечего: или вызывать скепсис и снисхождение, или самому брюзжать на собственную юность – ещё неизвестно, что хуже.)

Предки Луговского по отцовской линии жили на Севере, в Олонецком крае. Дед Фёдор Александрович был священником.

На свадьбе родителей Луговского, в 1896 году, Фёдор Александрович поднялся, провозгласил тост “За здоровье молодых!” – в тот же миг выронил рюмку и умер.

Свадьбу отложили на год. Рождение поэта Луговского отсрочили.

Родился он в доме у деда по материнской линии в Москве, на улице Поварской, 1 июля (по новому стилю). Первый ребёнок в семье. Мать едва не умерла при родах.

“Говорят, что всё случилось как-то одновременно, – вспомнит потом сестра Луговского, – начали бить часы, полил дождь и появился на свет большеголовый укрупнённый мальчик... Чудом выжила мать, а ребёнок чувствовал себя прекрасно”. (Укрупнённый мальчик, поторопимся сказать, вырос в огромного – выше эталонного великана Маяковского – мужчину.)

Отец поэта, Александр Фёдорович, преподавал литературу в Первой московской мужской гимназии на Волхонке, 16, напротив храма Христа Спасителя.

Мама, Ольга Михайловна, тоже происходила из семьи священника – Михаила Дмитриевича Успенского, настоятеля церкви Симеона Столпника на Поварской. В юности она была певицей, а затем, как и муж, занялась преподаванием – учила пению.

Жила семья Луговских возле отцовской гимназии.

Квартира – очень большая, многокомнатная, огромная кухня. Мать любила натёртые полы – в дом приходили полотёры: всё сияло.

Имелись две сестры, Нина и Таня (по прозвищу Володи – Тучка, она же Туся).

Красавица кухарка Лиза, обеды из трёх блюд.

Няня Катерина Кузьминишна – из деревни Непрядва на Куликовом поле, знаток поговорок и преданий, и заодно – пьяница. Рассказывала прекрасные и несусветные сказки (был такой царь Додон, тоже с Непрядвы родом, однажды проглотил все звёзды, стала тьма, потом обожрался блинов, его вывернуло – и свет вернулся). Раскалённую кочергу брала голой скрюченной рукой. Напивалась и несколько раз забывала детей на улице, её увольняли – но младшая сестра Таня начинала целыми сутками реветь, и няню возвращали в семью.

Ещё была фрейлен Аделина, немка. Катерина Кузьминишна называла её фришкой.

Картинки детства странным образом мелькают в стихотворении Луговского “Биография Нечаева”, там он пародирует свою судьбу: “Жизнь?. . Жизнь была ласковая, тоненькая, палеваая, / Плавная, как институтский падекатр. / Ровными буграми она выпяливала / Блока, лаун-теннис и Художественный театр”.

Чтению выучился в пять лет без посторонней помощи.

Читал, поджав под себя ногу и то медленно и плавно, то вдруг резко взмахивая рукой – словно подыгрывая себе. Читая, ничего не замечал, весь был – там.

Сестра Таня вспоминала: “Любил играть один”.

“Всё строил из кубиков какие-то города и дома. Потом прятал свою руку в одном из домиков, а другой рукой стучался в него и спрашивал: “то там” (кто там?), и не пускал вторую руку в дом”.

“Был горд. Не любил подарков”.

Таня была плакса, Володя не выносил слёз. Когда начинала реветь, вставал на коленочки возле её кровати и шептал: “Туся, хочешь я стану Робинзоном и посватаюсь к твоему пупсу?”

“Он подрастал как-то странно, – вспоминала она, – Скачками. Несоразмерно. Сначала у него страшно выросли ноги. Потом голова за одно лето сделалась такая большая, что новая, купленная весной фуражка уже не налезла на его голову и пришлось покупать другую. Потом он и сам к 14 годам так вырос, что когда мы все трое заболели скарлатиной и нас отправили в детскую клинику, то там, в клинике, не нашлось кровати по Володиному росту. Пришлось родителям покупать новую большую кровать и дарить её потом больнице на память”.

(Болел очень тяжело, терял рассудок, кричал, что он лесной царь, однажды вскочил и, в бреду, пытался выбежать из палаты; в этот день умер его дед – священник Успенский. Верно, хотел дедушку спасти.)

Потом ещё по-разному росли нос, глаза и уши и только брови с детства оставались неизменными. О бровях мы поговорим отдельно, они играли не последнюю роль в жизни Луговского.

Отец его был знаком со Львом Толстым. Маленький Володя однажды стал свидетелем, как отец, — который всегда казался величественным и строгим, — встретил какого-то бородатого деда и бросился целовать ему руку.

В доме Луговских бывали историк Ключевский и поэт Брюсов.

Отец был больше, чем учитель — его знали, как одного из умнейших людей Москвы. Ну и мать пела так, что, бывало, исполнит романс — дверь откроют, а там стоят их домработница и соседская, забежавшая помочь, и обе плачут.

Семья снимала дачу, которую до них много лет снимал композитор Скрябин.

Володя занимался музыкой и подавал блестящие надежды: бесподобно пел и отлично играл на рояле.

Быть может, в подобных семьях и вырастают революционно настроенные юноши.

Даже 1905-й год Луговской (четырёхлетнее дитя!) не забыл и рассказал после: “Я помню обстрел Трёхгорки, гром и пламя, пустые переулки, цокот подков казачьих патрулей, постоянное отсутствие отца в эти дни, тревогу во всём доме, а до этого — известие о смерти дяди Павла, убитого, как я позже узнал, залпом роты Семёновского полка на Гороховой улице в Питере”. (Дядя Павел выступал перед студентами, зацепившись за фонарный столб: так и погиб, у столба.)

Учился Владимир в той же гимназии, где преподавал отец.

Отличался, по собственным словам, “феноменальной неспособностью к математике и фантастической приверженностью к истории, географии и литературе”.

Имел интерес к морским сражениям (бесконечные тетрадки, куда наклеивал картинки баталий) и к Средней Азии. “Подолгу застаивался перед картинами Верещагина”.

В сорок лет Александра Фёдоровича Луговского хватил жесточайший инфаркт. Володя читал ему вслух — отцу запретили даже перелистывать страницы. Бессильные веснушчатые руки поверх одеяла.

Лежал так целый год. Володя, совсем мальчик, сказал матери: “Я буду вместо отца”.

Мать влезла в долги и сделала отцу непомерно дорогой подарок, купив картину Саврасова “Грачи прилетели”.

Раскрыли двери спальни — отец увидел картину и единственный раз во взрослой жизни заплакал. От счастья.

После этого случилось чудо и болезнь пошла на убыль.

Чуть позже, на радостях, Луговские ещё и Левицкого приобрели.

Так что Володя рос среди подлинников русских изобразительных шедевров.

Александр Фёдорович владел двенадцатью языками — греческий и латынь в числе прочих.

Володя успел выучить, как минимум, половину из этого списка. С самого раннего детства — французский, немецкий и латынь, потом сын вдруг объявил, что собирается идти на флот и ему нужен английский.

Спорить было не в правилах отца, сказал: хорошо, зарабатывай на репетитора сам.

Володя зарабатывал четверть стоимости репетитора, тем не менее, в дом стал приходить англичанин — котелок, белое кашне, трость.

В тот же год Владимир решил, что музыкой больше заниматься не станет. Родители взяли с него расписку: в будущем он обязуется не корить их из-за того, что они послушались неразумного сына. Расписался и — не корил никогда.

Помимо несомненного музыкального таланта, он ещё и рисовал — “очень своеобразно, лаконично и с большой лёгкостью. Этот врождённый дар он совсем не развивал, а пользовался им всю жизнь в минуты рассеянности или для выражения смешного...” — вспоминает сестра Таня.

Лет в 14 начал писать стихи. Звал Таню послушать, и никогда не признавался, что стихи его.

В юношеском дневнике писал: “Хочется хоть немного возвыситься, быть хоть маленьким камешком среди песка. Может быть, кто-то прочтёт, сохрани Бог, мой глупый дневник, пусть тогда он не смеётся надо мной. Он, наверно, испытывал тоже такое желание. А ведь кто меня знает? Мало кто. Подумаешь,

что пропадёшь в мире и никто не будет знать об этом и “равнодушная природа красую вечно сиять”. Впрочем, прочь эти мысли. Теперь я пишу трагедию “Ганс Флоритен”, наверное, глупая вещь. Хочу также писать роман “Среди волн мирского моря” из собственных чувств и переживаний”.

У сестры имелась разгадка будущего характера брата.

С 14 лет Володя научился проделывать один фокус с физиономией. “Он подходил к зеркалу, тянул за какую-то невидимую ниточку своё лицо, и оно становилось другим: брови свирепо сдвигались и закрывали глаза, невидимые глаза должны были подозреваться злыми, рот ужимался внутрь, нос горбился, и на переносице выступал хрящик. И сразу из милого, доброго Володи он становился грозным человеком. Мы с сестрой этот вид его лица называли “Володя натягивает нос”. А мама говорила: “Володя ранимый мальчик, он даже придумал себе лицо для защиты от плохих людей”.

“Наш Володя больше любил читать, чем драться, – вспоминала сестра, – Но уж если приходилось ему вступать в драку, то так лупил товарищей – был сильный, – что их родители приходили к нашему папе жаловаться. Да и сам он являлся после драки окровавленный, а няня прятала его в кухню и смывала с него кровь перекисью водорода”.

Он потом целую жизнь будет проделывать этот фокус с физиономией и доказывать, что умеет драться. Пока не дойдёт до своего капкана. Мы уже прошли часть пути, и капкан стал ближе.

В гимназии, зимой, инспектор младших классов как-то заметил Володю курящим. Сообщили об этом родителям, но мальчика даже не поругали. Но потом наступила весна, Пасха. Детям в семье Луговских традиционно дарили подарки – все ждали Пасхи с нетерпением. Тане достались альбом и краски, Нине – медальончик с сердечком, а Володе... большая пачка табаку и машинка для набивания папирос – остроумная родительская месть. Мальчик сидел перед подарком, пунцовый от стыда. Долго потом не курил...

Ещё на минутку останемся в детстве, там всё-таки хорошо.

“Читаю Диккенса. Иногда мне нравится его тихая, семейная, чисто английская жизнь...” – это из его дневника.

Нянька затапливает печку. Печка гудит. Звук начала жизни, взросления, тепла, защищённости.

Нянька рассказывает младшей сестре очередную сказку про Додона. Тот Додон управлял своим государством, располагавшимся на семи китах, вьюга служила ему, а вместо коня был ветер.

Ох уж этот ветер.

“Декабрьские ветра, не плачьте, не пророчьте...” – это из стихов Луговского, где слово “ветер” будет, наверное, самым частым и самым важным.

### **Командир с кобурой**

Луговской вырастет и возмужает на непрестанном фоне сражений и убийств. В своём юношеском дневнике он будет, в полном соответствии с российскими настроениями первых двух лет Первой мировой, называть её патетично, с двух прописных “Великой Войной”.

“К нему приходили мальчики... – вспоминает сестра Таня, – которые... зачарованно слушали его объяснения про Цусиму, оборону Севастополя или вообще про войну, которая уже шла и сводки с фронта громко читались у нас дома... Приходили письма от папиного брата, нежно любимого нами дяди Жени. Он был военным врачом и находился где-то в Галиции.

Нянькин сын Василий тоже воевал где-то солдатом, и она искала утешения в казёнке... Васька был неграмотный, и за него писал письма его товарищ... Однажды нам пришёл ответ в стихах... Неизвестный нам адресат писал: “Папиросочку курнул и барышню хорошую вспомянул”. Мы все были очень довольны этим письмом”.

Много позже, в автобиографии, Луговской напишет о войне: “Сначала она пришла трофейными германскими касками, ослепительными олеографиями побед, лихих рубак и подвигов, а потом стала оборачиваться иной сущностью”.

Луговской, ещё совсем подросток, работает в госпитале, ухаживает за ранеными. Забегая вперёд, надо сказать, что санитарная работа для него, доброго, обходительного и заботливого – была бы лучшей из возможных.

Но его всё время будет нести туда, где раны, которые он обрабатывал, получают. К “ослепительным олеографиям побед” и “лихим рубакам” – в строй. Ему бы смыть чужую кровь перекисью водорода, а он как начал “натягивать нос” в шутку перед близкими, так и не перестал, выйдя в мир.

Дневник Луговского за 17-й год: “1 марта. В Москве тоже революция. Перед Думой на Красной площади громадные толпы, там войска... В три часа я вышел на улицу. Вот мои впечатления: По Волхонке двигались нестройные толпы народу (рабочих, студентов, женщин) и солдат. Кое-где виднелись красные флаги. Раздавались революционные песни. Публика немного торопилась. Толпа останавливала офицеров, отнимала у них оружие, затем осматривала сумки посыльных солдат... Собирались митинги. Толпы осаждали Манеж, где засели 2 эскадрона жандармов... В 4 часа дня (приблизительно) растворились двери Манежа, и на белой лошади, с белым платком на сабле выехал жандармский полковник, за ним офицеры с белыми платками, и наконец все жандармы. Толпа их встретила овациями и криками “Ура”... Народ уже был вооружён: мелькали шашки, штыки-ножи, иногда винтовки...”

В октябре 17-го дом Луговских оказался ровно посредине перестрелки – большевики забрались на колокольню храма Христа Спасителя, а юнкера сидели в Александровском училище на Воздвиженке.

Отец закрыл матрацами окна и работал. Володя горячился, супил брови, ему хотелось на улицу, в стрельбу.

“Пусти меня, мамка, не то печь сворочу”, – позже будет у него такая строчка.

На первый раз мамка не пустила, видимо, ещё могла справиться – но на другой день он всё равно сбежал из дома. Не было до самого вечера, вернулся с карманами, полными гильз, похвастался, что юнкеров отогнали – Луговской сразу и безоговорочно болел за большевиков.

Стрельба продолжалась – и теперь Володя каждый день уходил в город. Его повлекло.

В 1947-м, в юбилейных строчках, опишет, что было так: “Я мальчишкой бежал по твоим переулкам, / Осень глотал, качался от пуль. / Проектор вору чал белесыми буркалами. / Сыпался первый морозный пух”.

Революция своим чередом, а дом Луговских понемногу начинает беднеть – они до недавнего времени жили в достатке, от которого стремительно, к 18-му году не осталось и следа.

Мать, пишет в своих воспоминаниях Татьяна Луговская, “без всякой трагедии... выменивала на продукты свои колечки и серёжки, не только не жалея их, но даже удивлённо радуясь, что их можно было съесть”.

Владимир, окончив семь классов гимназии, некоторое время учится в Московском университете, но ему было совсем не до наук.

Луговскому ещё не исполнилось 18, когда он уехал на фронт, в Смоленск. Попал в Полевой контроль Западного фронта.

Не передовая, но весь необходимый набор в наличии – знакомства и ночные беседы с комиссарами, пленные белогвардейцы, раненые красноармейцы, жаркий революционный гон – всё это он видит, всё это покоряет его навсегда, обо всём этом он будет писать целую жизнь – и даже почти полвека спустя. Успевает один раз навеститься домой, привозит два караваев хлеба, испечённого на кленовых листьях. Торопливо возвращается на фронт, к своим удивительным приключениям и... вскоре заболевает сыпным тифом.

Судьба бережёт от бойни: погоди.

Совсем юному фронтовику приходится вернуться в Москву на лечение.

В семье заметные изменения быта.

“Сразу после революции отец идёт работать в Наркомпрос”, – писал Луговской в биографии, что было не совсем правдой.

Только в конце зимы 1919 года Александр Фёдорович через Наркомпрос создаёт в Сергиевом Посаде колонию для подростков, натурально спасая многих от голода.

Подростки работают в поле, занимаются скотиной, а в свободное время их учат. Учитель поначалу был, собственно, один – Александр Фёдорович, а жена его Ольга Михайловна – заведующая по хозяйству. Потом ещё прибавились помощники.

В колонии, кстати, учится сестра будущего режиссёра Всеволода Пудовкина – Маруся, по прозвищу Буба. А самого Пудовкина звали Лодя. Он был

тогда ещё химик. Они сойдутся с Луговским и все 20-е будут дружить взахлёб. Потом — расстанутся и напрочь забудут о юношеском přátельстве.

Владимир время от времени ездит к отцу в Сергиево, вроде как навесить родных, но ещё и с новой целью. Неподалёку стоит туберкулёзный санаторий, и у него начинается бурный роман с дочерью врача. Дочь зовут Тамара Эдгаровна Груберт. Имя, словно созданное для поэзии и посвящений. (Впрочем, называть он её в письмах будет то Тамуся, то вообще — Самара Егоровна.)

Она и войдёт в поэзию: станет женой и другом Луговского. И матерью его первой дочери.

В 19-м Луговской сочиняет, как приговорённый, стихи: ночами, еле успевая записывать... Что-то из стихов тех лет будет прочитано давнему знакомому отцу — Валерию Брюсову, что-то Константину Бальмонту, ещё жившему в России... Ничего из этих стихов не будет опубликовано.

Но несколько строф сохранилось. Вот строки от 15 мая 1919 года: “И волк серый рыщет, и половец свищет, / И бьётся в кольчугу стрела. / Но миг... и вот сеча в звериной отваге / На дальнем безвестном пути. / Старинные песни, суровые саги / Опять закипели в груди”.

Пролечив все последствия сыпного тифа, Луговской устраивается в милицию и получает должность младшего следователя при Московском уголовном розыске. Участвует в разгроме Хитровского рынка, который стал фактически государством в государстве: сеть притонов и бандитских хаз вступила в противостояние с милицией и новой Советской властью. Луговской несколько раз мимолётно участвует в погонях и перестрелках. Хитровку задавят и рассеют.

Во время очередного заезда в Сергиев Посад родные с удивлением замечают, что Владимир хоть старше местных курсантов всего на два года, а выглядит и ведёт себя так, будто разница между ними просто непреодолима. Опыт! И кобура на боку.

Девушки буквально повизгивают, когда Луговской рассказывает то про Западный фронт, то про бандитов с Хитровки.

Он поступает в Главную школу Всевобуча (всеобщее военное обучение трудящихся — по 96-часовой программе в течение 8 недель), заканчивает её (там, на выпускном звучит курсантская “Венгерка” — из которой потом вырастет классическое стихотворение Луговского) и переходит в Военно-педагогический институт.

В 1921 году институт окончен; дальше — пехотные курсы и политотдел Западного фронта.

Луговской становится профессиональным военным и проходит полный круг должностей: от курсанта до командира и политработника.

В феврале 1921 года инструктор Красной Армии Владимир Луговской (3-я Пехотная школа Западного фронта) пишет из Смоленска свой Тамаре: “. . . великое слияние со смертью и природой нужно почувствовать, что ты и мастодонт, бешено ревуший миллионы лет тому назад, одно и то же проявление радостной могучей жизни, но жизни, которая сменяется и мешает меньшей жизни, обособившейся от неё, залезшей в скорлупу своего “я”, где ей тепло и тесно. А если по чьей-то скорлупе и ударит судьба железным кулаком, то как больно делается этому жалкому “я” и каким холодным кажется мир, когда оно выупляется из осколков этой скорлупы. А Великая жизнь несется, гремит, кидает миры, носит кометы”.

Он желает растворить своё “я” внутри “Великой жизни”, чтобы вместе с ней “греметь” и “нести”.

Действительность располагает к таким стремлениям.

Любимой Тамаре отчитывается в тот же год из Смоленска: “Завтра опять беготня и казармы, казармы, военкомы, клубы; может быть, только вечером зайду в Университетскую библиотеку и почитаю”.

Иногда в письмах Тамаре, посреди прозы, вдруг появляются две строки: “Буду затвором щёлкать / И думать, милая, о тебе”.

В 1922 году Луговской возвращается в Москву и поступает на службу в Кремль: гренадерского роста красавцы актуальны во все времена. Он служит в управлении делами Кремля и в Военной школе ВЦИК. Становится свидетелем последнего приезда Ленина в Кремль.

“Он вышел медленно, но как бы быстро, / Ссутулясь и немного припадая, / Зажав в руке потрёпанную кепку. / Он вежливо ответил нам. / Желтел / Огромный лоб болезненно и влажно...” — это из поздних поэм Луговского.

В письмах Тамаре писал, что работает в Кремле “с отвращением”: но тут никакой оппозиции нет — просто жизнь стремилась к литературе, а кремлёвская работа была скучная и однообразная — вот только что Ленина видел разок, и всё.

Наконец, в 1924 году — демобилизуется.

Они втайне заключают брак с Тамарой Груберт, о чём Луговской постфактум отписывает её матери письмо весьма сомнительного содержания: “Мы сочли нужным наши отношения оформить... причём... я оставляю Тамару совершенно свободным человеком, каким она была до сих пор. Она сейчас ещё очень хрупка и не сформировалась психически, как человек... Поэтому я представляю Тамаре полную свободу и самостоятельность”.

Родители Луговского тоже обо всём узнают постфактум. Отец — отчитывается Володя своей молодой жене — “назвал нас дураками, обещал меня выпороть, но сменил гнев на милость... мама, к моему удивлению, целиком приветствует нас”.

Характерно, что сама Тамара, даже после заключения брака, желая жить с Луговским совместно не изъявляла. (Сам Володя характеризовал, хоть и в шутку, свою жену, как “капризную”, “лохматую” — мы понимаем, что речь здесь идёт о натуре, но не о причёске, и “нахальную”, а сестра его Таня, в письмах брату тех лет, совершенно всерьёз называла Груберт “чужой”, “своевольной” и “властной”.)

В том же году, зимой, Луговской пишет ещё сбивчивые, ещё юношеские, но уже в чём-то пророческие стихи, проглядывая судьбу свою:

“Год седьмой в тяжёлый грохот канул... / Год восьмой — упорство укреплю”, — Луговской отсчитывает своё бытие от года революции, — “Но судьба змеящимся арканом / Мне на горло кинула петлю <...> Каяться мне вовсе не пристало. / Прошлое бесчестить — не хочу. / Сам я сапогом давил усталым, / Сам уподоблялся палачу. / А теперь оправдываться странно, / Жизнь ведь к обвиняемому строга. / Многие твердили мне пространно, / Что свалюсь я к черту на рога. / Поздно поворачивать обратно, / Мир на повороте отупел. / Нужно погружаться троекратно / В новую холодную купель”.

Стихов им написано множество, но как главную профессию Луговской поэзии ещё не воспринимает. (Он так и работает в политпросвете до 1928 года.)

Отец, самый строгий его читатель, публиковаться ему пока не велит: сын слушается. На фронт — без спроса, а в литературе авторитет отца неоспорим.

Александр Фёдорович умер 3 мая, на 51-м году жизни, 1925 год. Во сне.

Сын был с Тамарой в Загорске — за ними послали.

Когда приезжает — проходит в комнату, находит на полке Блока — и читает отцу: “Боль проходит понемногу, / Не на век она дана...” И следом — Некрасова: “Уснул потрудившийся в поте! / Уснул, поработав в земле! / Лежит, непричастный заботе, / На белом сосновом столе...”

В этом, кажется, есть не только глубокое трагическое чувство, но и некая аффектация. У Луговского эти вещи часто будут смешиваться. Или мы сейчас незаслуженно строги и не видим действительной высоты горя?

На гражданской панихиде в школе и жена, Ольга Михайловна пела — пушкинский романс на музыку Бородина: “Для берегов отчизны дальней...”

Хоронили на Алексеевском кладбище, гроб всю дорогу несли ученики.

Когда священник отпевал покойного, сын, не дав закончить панихиду, встал у гроба и ещё прочёл из Блока. Отец, наверное, не рассердился бы на это; искусство, как порой говорили в те времена, было его религией.

Своей смертью Александр Фёдорович будто вытолкнул сына в поэты: теперь можно, теперь ты за старшего, теперь ты совсем один и отвечаешь сам.

Владимир Луговской дебютирует в “Новом мире”. В десятой книжке за 1925 год выходит одно, одобренное самим Луначарским стихотворение, которое Луговской потом не публиковал:

“Хотел я жить, ползти и падать первым / В пальбу, в теплушку, в рыжие года”.

И главное:

“А завтра мне... А завтра за расплатой — / Осенний фронт шинелью подметать”.

Сам напрашивался на эту расплату с первого же выступления в печати.

### “Заряжай стихи!”

Литературная группа конструктивистов появилась ещё в 1922 году — поэт Сельвинский, критик Зелинский. Тогда любили создавать литературные банды, чтоб жизнь оборачивалась веселей и звонче. Нужна была боевитая смена сошедшим на нет футуристам и понемногу теряющим пыл имагинистам. И Лефу, конечно (под которым зачастую тоже понимались футуристы). И доброй дюжине других малосильных группировок.

Сельвинский пояснял: “Каждая из групп занималась только одной гранью стиха: имагинистов интересовала исключительно метафора... футуристы утверждали агитку и пытались истребить все другие жанры, как контрреволюционные, поэтому я начал сколачивать свой “изм” и, вернув им единство, заставить подчиняться доминанте содержания”.

Коммунистический призыв “Техника в период реконструкции решает всё!” — был воспринят конструктивистами буквально.

“Конструктивизм есть центростремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведённого в фокус) в предустановленном месте конструкции”, — было объявлено в декларации “Знаем” (“Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов”).

Зелинский писал в статье “Госплан литературы”: “Конструктивизм рождался в атмосфере нашего нового своеобразного “Советского западничества”.

В чём содержалось их западничество? Помимо того, что как таковой конструктивизм изначально появился на Западе, российских конструктивистов привлекала американская деловитость, эстетика высотных мостов и небоскрёбов, которые они видели на картинках: всё это они желали так или иначе наложить на русский революционный размах.

“Будущий динамизм будет продуктом величайшей технической нагрузки, — говорил Зелинский, — величайшей эксплуатации вещей. Он заменит трамвай более удобной системой движущихся тротуаров. Он сделает дома поворачивающимися к солнцу...” (Движущиеся тротуары, кстати, потом появятся в ранних вещах братьев Стругацких.)

Первый конструктивистский сборник “Мена всех” — вышел в 1924 году ещё без Луговского.

Группу переименовали в ЛЦК: Литературный центр конструктивистов.

Осенью 24-го к ним примкнула поэтесса Вера Инбер и ряд других товарищей. Скоро появятся Всеволод Багрицкий.

Луговской свёл знакомство с конструктивистами в начале 25-го.

Он только-только начинал — ему нужна была своя задорная компания.

Между прочим, Луговской приятельствовал тогда с поэтом, анархистом, бывшим партизаном, соратником Щорса Дмитрием Петровским — тем самым, о котором Велемир Хлебников во время Гражданской войны писал: “Как Петровский?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в чёрной папахе, белый как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный, бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили писать его голого. А теперь воин в жупане цвета крови — молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись — опасный человек... В свитке, перешитой из бурки, чёрной папахе... он был сомнительным человеком большого города и с законом был не в ладу”.

Петровский вечно был полон сокрушительных идей, собирался выкладывать тысячи на новый литературный журнал, создать с молодым товарищем собственное издательство, Луговского воспринимал как младшего брата и, может быть, оруженосца (кстати, и в прямом смысле — у Луговского хранилась серебряная шашка, которой Петровский был награждён в Гражданскую). Давал ему по сто поручений за раз, в основном касающихся того, куда переслать или пристроить рукописи Петровского, а также: “Пойди к Марийке, возьми у неё моё пальто, шляпу зимнюю и калоши и вышли мне посылкой на Гаспру”. Писал ему письма, где мог себе позволить острить, например, так:



“Владимир Александрович Луговской! Если Вы не ответите мне немедленно на моё последнее письмо, я вызову вас к барьеру!”

В общем, Луговской достаточно быстро, но бережно эту дружбу свёл к минимуму. Он был совсем не резкий человек, но собой манипулировать не позволял.

Одновременно Луговской вошёл в товарищество поэтов при издательстве “Узел” – к товариществу имели отношение Пастернак, Зенкевич, Парнок, Бенедикт Лившиц, множество молодых сочинителей, туда заходил Булгаков – читал “Роковые яйца” и “Собачье сердце”; заседания товарищества иногда проходили дома у Луговского. . . Но отдельной боевой идеологии у товарищества не было. (Спустя пару лет Луговской пренебрежительно охарактеризует “Узел” в письме жене как “манную кашу с подливой из тухлых яиц”. Боевого задора ему в этой компании категорически не хватало.)

В Лефе собрались слишком взрослые, слишком опытные, они бы задавили одними своими тенями (Маяковский, Асеев, Третьяков, Каменский).

“Едва ли мне сойтись с акмеистами”, – записывал Луговской в дневнике. (Судя по всему, имея в виду не собственно акмеизм, как литературную группу, уже распавшуюся, а тех, кто когда-то числился акмеистом: скажем, Мандельштама или Зенкевича, которого знал лично).

Пролеткульт был явно не по части Луговского (какой он, по совести говоря, пролетарий?).

В общем, конструктивисты подходили больше всех.

Сам он, немного ошибаясь в датах, напишет позже, что попал в сети конструктивистов в 1926-м, группа привлекла его “высокими требованиями к технике стиха и. . . молодой агрессивностью. . .”

Требования к технике – это близко Луговскому, а молодая агрессивность – важна ему вдвойне. Надо же “делать нос”. И в жизни, и в сочинительстве он будто бы задался целью преодолеть свою врождённую, отчасти унаследованную по линии дедов-священников доброту и открытость.

В октябре 1926-го, тиражом 700 экземпляров, выходит первая книга Луговского – “Сполохи”. Издана она была на свои деньги как раз в издательстве “Узел”, где тогда же были опубликованы книжки Пастернака, Сельвинского, Зенкевича и Павла Антокольского, который станет на многие годы ближайшим другом Луговского.

С техникой в “Сполохах” всё в порядке; тут напрашивается поправка, – всё в порядке в ущерб смыслу, – но нет, это не так. Например, потому, что высокая техника может подтянуть содержание: в правильно придуманном стихотворении необычная рифма или отлично пойманный ритм подстёгивают мысль. У Луговского зачастую так и получалось.

А вот западничества в “Сполохах” нет никакого – напротив, Луговской совершает здесь родственный есенинскому (Есенина образца начала 20-х), прорыв, который мало кто отметил: когда почвенничество настояно не на нарочито элементарной форме (которая отчего-то станет на весь последующий век для почвенников нормой), а на форме изощрённой.

Первое стихотворение – “Ушкуйники” – посвящено отцу, речь идёт об Онеге, о русском Севере: “И ты, мой товарищ, ватажник калёный, / И я, чернобровый гусярник, / А нас приволок сюда парус смолёный, / А мы новгородские парни”.

И дальше, в следующем стихотворении: “Дорога идёт от широких мечей, / От сечи и плена Игорева”.

(Позже Антокольский с доброй иронией вспоминал про Луговского: “В хорошую минуту он шутивно возводил свою генеалогию чуть ли не к языческому Стрибогу”.)

В дебютной книжке Луговской проводит чёткую силовую линию от Древней Руси – к революции: сполохи русской истории – пожар московский, Емельян Пугачёв, Нахимов и Севастополь, и так далее – вплоть до красногвардейской атаки на Каппеля. Собственно говоря, Луговской сразу занялся тем, к чему большевики придут только в самом конце 30-х: он поженил русскую историю на русской революции.

Конструктивисты приняли Луговского с восторгом: такой молодой козырь сразу угодил в колоду.

Зелинский писал о Луговском: “Он самый ортодоксальный и самый последовательный, он более чёткий конструктивист, чем сам Сельвинский”.

Сельвинский, подписывая Луговскому свою нашумевшую поэму “Уляла-евщина”, вывел на форзаце: “Помните, что на вас делается ставка, переключите эту поэму”.

Перекрыл ли, нет Луговской отличную поэму Сельвинского – пока не важно, важно, что шумной известностью своей он вскоре затмевает многих конструктивистов и в самые краткие сроки перестаёт уступать старшим товарищам. В первую очередь Сельвинскому и Багрицкому.

В 1926 году появляется его “Песня о ветре” (сначала она называлась “Обречённый поезд”): “Итак, начинается песня о ветре, / О ветре, обутом в походные гетры...” – стихи классические, одни из лучших в советской поэзии.

И пошло-поехало: стихотворение непрестанно читали на радио, разучивали для устных выступлений на всех площадках страны, цитировали, ставили в пример, заодно и Александр Архангельский написал пародию.

Второй сборник – “Мускул” (1929), куда и вошла “Песня о ветре”, подтвердил взятый этим стихотворением вес.

Коммуна, работа, прощание с юностью, “звёздами осыпанная ночь / придёт к тебе любовницей огромной” (Луговской писал ночами) – естественное влияние Маяковского, много стихов о Гражданской, о продотрядах и о Кавказе (с лёгким влиянием Николая Тихонова), об испанке, о десятилетиях революции (в основном сборник написан в 27-м), “Товарищ, заряжай стихи! Вся власть весне!”. В строках – “Когда мы наклоним шашачные головы, / И, ритм коммун материкам суля, / Славянами, кавказцами, тюрками, монголами / Начнёт полыхать покатая земля”, – слышны “Скифы” Блока.

С одной стороны, подобной поэзии в те годы было много, с другой – Луговской оказался одним из первых, кто интонации старших собратьев положил на юную, ломкую, стопроцентно искреннюю мелодику.

То ли ты оседлал время, то ли время оседлало тебя – в любом случае, вперёд.

Наглядно современные “конденсация сил” и “фокстрот” органично соседствует в сборнике с народными стилизациями – “Девичья полночная” и “Отступление колчаковцев”.

Декламативность и некоторая дидактичность используются как нарочитый приём. Поэт не столько верит в то, что говорит, сколько говорит о том, во что хочет поверить.

“Жизнь моя, товарищи, питается работой. / Дайте мне дело пожестче и бессонной. / Что-нибудь кроме душевных абортков – / Мужское дело, чёткого фасона. / Честное слово, кругом весна, / Мозг работает, тело годно, – / Шестнадцать часов для труда! / Восемь для сна! / Ночь – свободных! / Хочу позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять. / Огромная жадность к существованью / На тёплых руках поднимает меня”.

От огромной жадности к существованию – до огромной невозможности жить, как вскоре подтвердит Маяковский, расстояние – один шаг.

### **Многоэтажный бровеносец**

Непрестанная весна и весенняя слава, кружит голову Луговскому. Женщины, конечно же, появляются – они тоже символ весны не меньший, чем воспоминания о колчаковцах, будённовцах и продотрядах. Всюду поклонницы, от них не убежать, особенно если не хочешь убежать.

Итог: обожаемая жена – Тамара Груберт – в 1929-м подаёт на развод.

Удар сильнейший – Луговской всё это переживает более чем болезненно. Когда такая весна вокруг – всё же должно прощаться! Или не всё?

В общем, в том же году он женился на Ольге Алексеевне Шелконоговой, дочери фабриканта.

Иногда пишут, что брак был фиктивный – нет, это ошибка.

Они – венчались, чего от них никак не требовалось. Луговской, у которого оба деда были священниками, значение венчального обряда понимал.

Но спустя считанные месяцы Луговской собирается вернуться к Тамаре, и с Шелконоговой прощается “навсегда” – о чём отчитывается Груберт в письмах. Рассерженная тем, что Володя возвращается слишком медленно, Тамара обвиняет его в “трусости”. Луговской объясняется: я уже поселил в своей квартире Ольгу Алексеевну (он так и называет свою вторую жену, по имени-отчеству), и не мог её выгнать столь стремительно – “как элементарно поря-

дочный человек и друг женщины”. Поэтому ждал, когда она уедет с “экскурсией друзей попутешествовать”.

Мелодрама! И заодно, как водится, квартирный вопрос.

Хотя не только это: “Проходившая тогда у неё чистка и доносы на неё как на дочь крупного буржуа, — пишет Луговской первой жене, — заставили меня помочь ей, т. к. на чистку она явилась как жена пролетарского писателя — т. е. до отъезда я не оформлял развода”.

В этом уже есть определённое, — да что там, — даже очевидное благородство. Он прикрывает свою мимолётную и по сути уже бывшую жену, легко ставя на кон свою едва начавшуюся, но такую звонкую карьеру.

Одновременно он пишет Тамаре: “Мне нужно всё — или ничего... Мне нужна ты вся... Я хочу тебя видеть как венец своего мира, как высшую моральную силу и высшую правду. Дай ответ, полный и конечный. Иди ко мне со всей силой и нежностью твоей природы”.

Она не идёт.

Разлад с обожаемой женщиной и вся эта низкая круговерть едва не становятся причиной для самоубийства Луговского. По некоторым косвенным данным, попытка суицида имела место. Оказалось, что жизнь тоже умеет “натягивать нос”.

В архиве Луговского сохранился листок следующего содержания:

“Основания для самоубийства:

- 1 — Она ушла
- 2 — Денег не занять даже у (нрзб.)
- 3 — Она опять-таки ушла
- 4 — Она ушла и значит всё кончено
- 5 — Меня невозможно читать
- 6 — Редакторы весь роман исполосатили
- 7 — Домком применяет особый нажим
- 8 — Она ушла, обозвав меня писателем”.

Всё это — домком, редакторы, она ушла — было бы смешно и напоминало бы то ли эпизодического героя Ильфа и Петрова, то ли персонажа Михаила Булгакова — но ничего смешного здесь нет, конечно.

Далее на том же листке Луговской записывает:

“Сомнения (?) затруднения:

- 1 — Револьвер не дают из простого опасения
- Рельсы уродуют лицо и организм
- Петля — не (нрзб.) у Сергея Есенина
- Для принятия яда — (нрзб.)”.

Обратите внимание — даже эта записка, которая вполне могла стать предсмертной — неизбежно выдаёт поэта. Если четвёртая строка завершается чем-то вроде “клизм” — то перед нами готовое, случайно сложившееся, четверостишие — срифмованное, организованное ритмически и стилистически.

И, наконец, третья часть записки:

“Возражения против:

- 1). Исключительно весело
- Желание есть
- Потребность сна
- Всё-таки я буду писателем...”

Посыл финальной части записки естественным образом берёт своё.

Выспался, позавтракал в ресторане на неожиданный гонорар, плюнул на безденежье — и рванул дальше в жизнь, на публику, на сцену.

В конце 20-х Луговской уже всероссийская звезда. В газетах пишут, что ему сомасштабен только Пастернак. Луговской, к тому же, умел себя подболающе нести, о чём наперебой рассказывают все мемуаристы.

Кто это у нас написал такие прекрасные стихи? Неужели вот этот красавец? Боже ж ты мой!

Лев Левин, цитата: “Увидев Луговского, мы сразу были покорены. Да, он выглядел именно так, как и должен был выглядеть автор “Мускула”. Высокая и стройная фигура, широкие плечи, густые, гладко зачёсанные назад, блестящие волосы, просторный пиджак, показавшийся нам неслыханно элегантным, узкие бриджи, пёстрые спортивные чулки”. Это 29-й год — и 28-летний Луговской кажется студентам взрослым, огромным.

Будущий поэт Александр Межиров увидел Луговского совсем ребёнком

и запомнил на всю жизнь: “Он стоял на сцене, высокий и сильный. Неслышанно красивый. С гордой головой. Весь “слажен из одного куска”. И в четверть прекрасного голоса (настоящая октава) свободно читал великую поэму войн и революций “Песню о ветре”. В зале стояла тишина, как при сотворении мира. Я не мог поверить, что всё это на самом деле.

Няня сказала мне: красиво поёт. Наверное, из храма перешёл” (И почти угадала).

Эдуард Бабаев: “Он был гигант в сравнении с другими, как будто вышел только что из свиты Петра Великого”.

Поэт Лев Озеров: “Я видел его на Петровке. Был летний, очень жаркий день. Луговской не шёл, а плыл в своём ослепительно-белом костюме, как линкор среди лодок и парусников.

Мне он казался многоэтажным”.

Поэт стремительно получает прозвание: броненосец советской поэзии.

У него были, помимо роскошного голоса, роскошной осанки, роскошной жестикуляции (даже Евшушенко десятилетия спустя застал его “древнегреческие вздымания рук”), роскошной гривы — ещё и роскошные брови. Поэтому “броненосца” скоро переделали в “бровеносец советской поэзии”. Что, собственно, придало образу лишь некоторый трогательный оттенок.

Кукрыниксы уже в 20-е рисовали шаржи на него (с этими самыми бровями, схожими до степени смешения с гривой Пегаса, которого мощно держит за узду Луговской). Их рисунки тоже признак успеха необычайного. Да что там Кукрыниксы — даже Владимир Маяковский рисовал на него шаржи чуть позже.

... Что до любимой Тамары — то Луговской не теряет надежды её вернуть.

Именно ей он отчитывается во всех поездках — как жене, как самому близкому человеку: “Вокруг меня крутятся десятки и сотни людей. Выступления — это нездоровая вещь. Эстрадный массовый успех, который мне так нравился, теперь даёт только ощущение нервной затруднительности. Приятно только работать и пробивать группу и себя. Успех конструктивистов и мой в частности более чем крупный. Молодежь тянется к чему-то новому, она жадно, судорожно читает те новые ритмы и свежие мысли, которые мне приходится бросать”.

Одновременно идут болезненные сигналы от власти: лидер ВЛКСМ А. Косарев неожиданно обрушился на конструктивистов, заявив, ни много ни мало, что литераторам поменьше нужно заниматься идеологией, а побольше хозяйственными вопросами: вы конструктивисты? — вот и занимайтесь реконструкцией в прямом смысле.

Критический голос Косарева был далеко не единственным.

Поэты озадачились поиском выхода. Смычка с властью искренне (и не беспочвенно порой) казалась не конформизмом, а соответствием эпохе.

## Домны и поросята

В 1929-м, пасмурном и сложном, и одновременно, по собственному замечанию поэта, “весёлом” году Луговской начинает понимать, что лучший способ, чтобы принять решение (или сбежать от решения) — это уехать куда-либо.

Для начала: рудники, заводы и фабрики Урала и Ростовской области.

20 мая 1929 года “Литературная газета” сообщает: “Сегодня в 10 часов вечера с Северного вокзала уезжает на Урал первая группа писателей”.

В составе первой советской писательской делегации были литераторы из МАПП (“Московская ассоциация пролетарских писателей”), “Кузницы” и примкнувшего к ним конструктивиста Луговского. Косарев сказал — писатели приняли к сведению.

Разъезжать по стране и смотреть на бурное социалистическое строительство (мы несколько не иронизируем — шло масштабное строительство) Луговскому понравилось. Детская страсть к географии и путешествиям получила неожиданную возможность реализации — и Луговской воспользуется этой возможностью, как мало кто другой.

Сестре Татьяне сообщает в мае 29-го из Свердловска: “Я здорово устал в Москве. Внутри меня все сломано и разрушено. Прошла неделя, а я всё ещё продолжаю находиться в фантастическом мире забвения с минутными грозно-

болезненными ударами сердца... Я опять удираю от судьбы, от всего на свете в стук поезда, в дорожный хохот товарищей, в ночевки, в столовки, в выступления, аплодисменты, к доменным печам, к плавящейся стали...

Характерно, что в те же дни он пишет о том же Тамаре Груберт, но чуть иначе: "Идут непрерывные огромные еловые леса. Скалы, как замки башенные, изглоданные временем. Закаты тревожные, азиатские, представляешь себе закат из шатра Ивана Грозного в рериховском этюде.

Свердловск американизируется, как бешеный. Все изрыто: по мостовым нельзя проехать – строят трамвайные линии, проводят канализацию и водопровод в новые кварталы. Бесконечные стройки, леса, цементная пыль, которая несётся тучами по всему городу. Выстроены колоссальные здания среди домишек и пустырей. Новые пяти-шестиэтажные дома в коробчатом стиле поднимаются всюду. Мы остановились в гостинице "Централь" (6-й этаж, Европа!), выстроенной в этом году. Она побьет лучшие московские. Ресторан, почта, телефон, киоски, холл, биллиардная, ванны и пр. Обстановка прекрасная. Но тротуаров возле этого великолепного дома не имеется.

Со всех сторон огромные заводы. Среди города – озеро-пруд, красивый, но дико грязный. Тут же, черт знает почему, какое-то паровозное депо!

Был в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая II. Дом белый, под горкой, купеческой архитектуры. Теперь там музей.

<...> Будет большой вечер в городском театре <...> Настроение города – энтузиастическое строительство, гордятся Уралом, планируют, проводят кампании. Все заняты нефтью, которая забила в Чусовских самородках.

Пока у меня продолжается реакция. Оставшись наедине с собой в чужом месте, я ещё ярче заметил некоторые перемены, происшедшие во мне".

И следующее письмо, ей же, из города с характерным названием Надеждинск, самой крайней северной точки их маршрута: "Вот я и погрузился с головой в незнакомый мне мир мартенов, вагранок, рельсопрокатных, литейных и механических цехов, газогенераторов, динамо, рабочих казарм, гари и грохота. Конечно, когда в трёх шагах от тебя из чудовищной утробы земли льются тысячи пудов белого, ослепительного чугуна – это перевёртывает всю психику наизнанку. Ты кричишь – и ничего не слышно, ты задыхаешься в сатанинской жаре, которая оседает на теле какими-то хлопьями, ты хочешь познать брата своего – человека и видишь страшные лица морлоков в проволочных масках и смертных асбестовых халатах. А чугун, сталь, железо в домнах, мартенах, Вильмановых печах свистит и воет, сквозь синие очки видно, как пляшут где-то далеко и глубоко в глотке печи языки и волны могучего расплавленного металла..."

Мы уже три дня в Надеждинске. Он много севернее Тобольска. Зимой сюда приезжают зыряне – самоеды. Завод – гигант, над городом облако дыма из труб. Всюду стройка, груды щебня и опилок. Мы работаем с утра до ночи. Я обхожу цеха, корпуса, рабочие поселки, занимаюсь со всеми, исписываю блокноты, даю консультации, обследую, веду тысячи разговоров, лезу под самую морду всех печей и станков, со звериной жаждой глотаю всё виденное и испытанное. Вечером – выступления, записки, опять беседы, наконец, измученный, сажусь подводить итоги..."

Любопытно, как чувствующие и мыслящие люди объяснялись тогда в своих чувствах: "Каждую ночь я вижу тебя во сне. Доменные печи и электрические молоты, тяжелый и трудный быт углубили и по-иному закалили и воспитали то, что ты знаешь о моем исключительно остром и всеобъемлющем чувстве... Мне хочется, чтобы всё, что я буду видеть бывшего, важного и значительного – видела бы и ты..."

Прежде чем скривить лицо, читая эти строки, не будет лишним вспомнить, а что воспитало наши чувства, что их закаляет...

Вернувшись, Луговской принимает знаковое решение. В его понимании товарищи конструктивисты не могут отвечать великой повестке дня в полной мере – нужно, нужно делать ещё один шаг навстречу большевикам и господствующему классу.

А именно: искать пути в РАПП – в Российскую ассоциацию пролетарских писателей, главенствующую (и самую агрессивную в своём главенстве) на тот момент в советской литературе организацию.

Не скажем, что решение далось легко. В ЦГАЛИ хранится отпечатанный на машинке текст письма, которое Луговской хотел отправить (и не отправил)

в «Литературную газету»: «Прошу сообщить, в связи со слухами о моём переходе в РАПП, что пока в намерения мои это не входило».

И далее, от руки: «Моё примыкание к литературной школе конструктивизма отнюдь не может помешать мне служить своим творчеством делу пролетариата».

Или всё-таки может? Не одного Луговского мучает вся эта ситуация – когда неистово преданный революции поэт одновременно находится как бы на обочине литературного процесса.

В феврале 1930 года Луговской и Багрицкий всё-таки вступают в РАПП. Одновременно в РАПП вступает Владимир Маяковский. Мощное трио: от таких гигантов должна палуба проседать – но в РАППе это, в целом, восприняли как само собой разумеющееся. Рапповцы давно убедили себя, что ухватили советского бога за бороду.

Для Сельвинского, как позже скажет один мемуарист, уход Луговского стал «страшной невосполнимой потерей» – куда большей, чем уход Багрицкого. Это мы теперь можем думать – какие-то литературные группки, буря в стакане воды – а там была жизнь, эпоха, история!

Группа конструктивистов самораспускается под давлением обстоятельств.

Корнелий Зелинский, с которого всё и начиналось, изобретательно кается в журнале «На литературном посту»: «Конструктивизм в целом явился одним из наиболее ярких обнаружений в литературе классово враждебных влияний».

В те же дни 30-го года другой конструктивист – Борис Агапов пишет Зелинскому в письме: «Мне жалко только, что мы капитулировали, а не закрылись с треском, свели на нет, а не взорвались, «наобещали и уехали». Нечего было обещать, ну их к лешему. Я не верю в бригаду ни на йоту... «кружок просвещённой молодёжи» – ЛЦК – лопнул к концу 20-х годов нашего столетия».

Случай Луговского в контексте всей этой проблемы чуть сложнее. Ещё в 1929 году у него появляется стихотворение «О друзьях»: «Вы, ощерив слова и сузив глаза, / Улыбались, как поросята в витринах. / Потом, постепенно учась на азах, / Справляли идейные октябрины».

Мужчины из числа ЛЦК смолчали, сделав вид, что не поняли, о чём тут говорится, а Вера Инбер позже призналась: «Поросята – это были мы, конструктивисты. Дальше идёт речь о «небольшом враге», «сусликах», «индивидуалистах-приспособленцах» и «мелкобуржуазной интеллигенции». Всё это были мы. Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при его вступлении в РАПП, Луговской вёл борьбу».

Ирония Инбер понятна и отчасти оправдана, хотя стихотворение, конечно, загребает глубже и касается далеко не только конструктивистов. Если и говорится там о них, то ровно в том месте, которое Инбер отчего-то не захотела отметить; цитируем: «Вы стали бранить москошвейные штаны / И на Форда лить вежеталь восторга. / Вы видели ночь, а не день страны / И не слышите, что говорят на Востоке».

Луговской не отругивался от констров (так они называли друг друга) пост-фактум – он, ещё находясь в центре группы, объявляет о неприятии как раз того западничества, о котором на заре конструктивизма писал Зелинский.

Зелинский, допускаем, говорил о западничестве не как о бытовой идеологии, но как о подходе в ремесле; однако Луговскому ситуация отчего-то виделась иначе.

В любом случае это позиция не случайная у Луговского, но, напротив, осмысленная и характерная для него с первых строк.

Так что, все эти метания упрощать не стоит, сводя к одной или другой причине: там было сразу всё – и давление эпохи, и желание выйти из-под этого пресса, и восторг при виде великих и очевидных преобразований – «психика наизнанку!» – и требовательное, может быть, даже ревнивое чувство кровной причастности к русской истории, и личные отношения с друзьями, и тщеславие тоже – куда без него.

...А с РАППом Луговской всё равно прогадал.

### **Жюльверн-младший**

22 марта 1930 года писательская бригада в лице Луговского, поэта, и прозаика Н. Тихонова, поэта, в прошлом редактора журнала «Октябрь» Г. Санникова, писателей Вс. Иванова, Л. Леонова и П. Павленко отправилась в Туркменистан.

Несмотря на то, что поездка первой писательской делегации на Урал уже состоялась в прошлом году, в советском литературоведении принято отсчитывать традицию писательских бригад с туркменского путешествия. Сказался, видимо, и более весомый состав этой бригады и неожиданный творческий результат поездки – каждый из участников в итоге написал едва ли не по тому сочинению, так или иначе связанных с Туркменистаном.

Накануне поездки сидели в ресторанчике Дома Герцена – Луговской, Тихонов и писатель, участник Гражданской Пётр Павленко. Подошёл Маяковский, поинтересовался в своей манере, что тут за сговор происходит.

Вот, отвечают, в Туркмению собрались – прийти, увидеть, описать.

Маяковский засмеялся: теперь под каждой пальмой в Туркмении будет гора черновиков и разорванных рукописей.

То ли он правда думал, что в Туркмении растут пальмы, то ли валял дурака. Скорей, первое.

Сказал, что тоже хочет поехать, но много дел, много дел.

К подобным поездкам много позже стало принято относиться иронично: но какая, товарищи, ирония? Страна обратила внимание на свои окраины, отправила туда лучших мастеров и лучших литераторов – чтобы глубоко отсталую с точки зрения быта азиатчину, вместе с тем обладающую богатейшей культурной традицией, – вписать в контекст новой жизни, огромного строительства, единого пространства.

Потом эти бригады начнут колесить по всем окраинам и стремительно сделают колоссальную работу, которую до тех пор, в таких масштабах – точно, никто делать не собирался. В конце концов, Маяковский – и тот предполагал, что в Туркмении растут пальмы, что уж говорить об остальных.

Через пару десятилетий страна будет иметь целую библиотеку национальных литератур, собранную и переведённую в том же стремительном ритме, в каком шёл промышленный рост.

Туркменская бригада, как было подсчитано, проделала свыше 2000 вёрст по железной дороге, 800 вёрст на машинах, 250 вёрст по воде – на каюках и лодках по бурной Амударье, и ещё неучтённое количество вёрст в седле – по горным перевалам Копет-Дага и Гиндукуша.

В Туркменистане вовсю шла коллективизация. На границах периодически возобновлялась война с басмачами. Глава туркменского сопротивления обещал в своих листовках каждому погибшему в борьбе с большевиками пост председателя райкома... в раю. Женщин, собравшихся учиться и становиться полноправными гражданками СССР, время от времени убивали. Памятник Ленину в Ашхабаде был зелёный – такой местные умельцы выбрали состав бронзы, пообещав, что со временем вождь потемнеет; а пока Ленин удивлённо стоял в зелёном пиджаке и зелёных штанах, стеснительно скомкав кепку. В общем, колорита хватало.

Луговской сдружился с Тихоновым, Леонов – с Всеволодом Ивановым. Проведя в Ашхабаде неделю, ряд поездок советские литераторы совершали уже не полным составом, а малыми группами.

Каждый искал себе тему, которая зацепит. Леонов уже в Ашхабаде заинтересовался местными сражениями с нашествием саранчи (об этом он и напишет отличную повесть в том же году), Санников задумал поэму о хлопке (и будет поэма), Иванов и Павленко впоследствии выдадут по несколько прозаических вещей, Тихонов же с Луговским сразу поделили басмачей – первый взял себе туркменских, а второй – бухарских (впоследствии Луговской будет присутствовать при ликвидации Курбаши Ибрагим-бека, непримиримого борца с русскими).

Тихонова и Луговского за их страсть к непрерывным поездкам вдоль и поперёк Туркменистана в компании тут же прозвали Жюльверн-старший и Жюльверн-младший.

Луговской писал сестре Тане: “С 28 по 6 апреля дни были заполнены совершенно чудовищной работой. Нам читали лекции, демонстрировали кинофильмы, устраивали заседания и банкеты. Принимали нас предсовнаркома и председатель ЦИК и секретарь ЦК партии. Нас снабдили литературой о Туркмении по пуду. Читать – записывать, ездить, осматривать без минуты отдыха... За это время мы были в Фирюзе и Гаудане (персидская граница), Анау (мёртвый город с остатками потрясающей мечети), Багире (крепость парфянских царей эпохи Александра Македонского), Безмеине (колхоз),

Мерве, Кунгуре (колхоз). К Анау ехали на автомобиле по пустыне, подталкивая где нужно руками машину.

Завтра выезжаем в Кушку – на афганскую границу. Оттуда к белуджам, которые переселились из Индии и вождь которых Керим-Хан чрезвычайно интересен. Равно мы будем и у других племён, переселившихся из Афганистана и Индии. Затем в Иолотань, Чурджуй, оттуда воздухом в Хиву и Ташауз. Посетим и другие оазисы. Материал невероятный. Нам предоставляют всё, никто ещё не видел страну, как мы”.

Тихонов в Туркмении уже бывал, и радовался, какое впечатление эта земля производит на Луговского: “Он влюбился в неё бурно, сразу, как влюбляются с первого взгляда”.

В апреле Луговской пишет Тамаре: “Сейчас мы с Тихоновым откололись от бригады и ведём самостоятельную работу <...> Семь дней мы пробыли на афганской границе в районе Кушки. Жизнь крепости. На пространстве тысяч квадратных километров живут только афганцы, дженшиды – выходцы из Индии. Проехал верхом 100 вёрст по афганской границе. Видел афганский городок. Шли бесконечные караваны. Ночевки у афганцев-дженшидов. Пограничные посты, контрабандисты и разбойники. Снеговые вершины Пара-Памиза и Гиндукуша. На весь горизонт моря, озёра красных тюльпанов. Видели горных козлов, джейранов, гиен. Встретили очковую змею. Одна ночь была такая, что я совершенно спятил с ума – 75 км фисташкового леса. Колокола караванов. Афганцы в чёрных жилетках, шитых серебром, с длинными курдюками. Ковры и фаланги.

Потом район Иолатани. Верхом 54 версты к Керим-хану. Уцелевший феодал – вождь белуджей (25 000 человек из Британской Индии). Шатры в пустынных степях. Колоссальная чёрная палатка хана. Телохранители. Угощение на коврах, длинейший пир с рассказами об охоте, винтовках, конях и перестрелках. Живописные костюмы свиты и младших ханов. Дикая помесь советизации и феодализма. Четыре жены (одна очень красивая) во второй половине палатки. Охота вечером. Ночевали в особом для нас шатре на коврах и сунанах. Вся ночь горел светильник. У входа спали двое стражей с винтовками. Силуэты верблюдов на звёздном небе. Ночью стук копыт каких-то всадников и песня мальчика. Утром – опять плов, кок-чай, пити (кушанье), охота, стрельба в цель, фотографирование. Уехали в 2 часа. Скакал как сумасшедший. Подстрелил орла. Хан подарил мне свою плеть (камчу). Озёра красных маков, подснежников и ещё каких-то неизвестных цветов. Здесь лето.

Гигантские плотины Мургаба. Огромные озёра весенних вод. Десятки белых цапель. Миллионы птиц. Черепахи на каждом квадратном метре.

<...> Я одичал страшно. Загорел и поздоровел. Буквально нет свободной минуты. На ногах – мозоли от седла”.

Однажды пересекали пустыню на конях, им выдали оружие, которое могло пригодиться. По пути им снова попались белуджи-кочевники, но эти слишком подозрительно и навязчиво смотрели на Луговского: у того висела на плече хорошая английская винтовка. Едва расстались, местный провожатый посоветовал прибавить ходу – кочевники признали своё оружие, которое забрали у их убитого соплеменника во время одного из боёв. Мчали, ожидая погони.

Тихонов писал потом, что под утро Луговской “смотрел какими-то расширенными глазами, точно видел перед собой нечто необыкновенное...”

– Я ещё не знаю ничего, но я должен сказать – всё это мне безумно нравится... – признавался Луговской.

В поездке Тихонов не мог налюбоваться на Луговского. Тот оказался отличным и неутомимым наездником, – а Тихонов в этом знал толк: он был самый настоящий гусар и во время Первой мировой участвовал в конных гусарских атаках. Описывал Тихонов своего нового замечательного товарища так: “широкоплечий, с решительными движениями, строгий, подобранный, втянувшийся в трудную кочевую жизнь”.

В пустыне им встречались вараны, они передвигались – по остроумному, хоть и не совсем точному замечанию Тихонова – “как заведённая модель крокодила”.

Когда воссоединились с бригадой – началась выступления. Один раз добирались на грузовике всей командой к месту очередного митинга – на мосту под колёсами рассыпался настил из брёвен, грузовик съехал за край и завалился прямо на крону огромного дерева, ежесекундно рискуя обвалиться



с пятидесятиметровой высоты. Выбирались из кузова по одному. Последним шагнул на землю Тихонов – через миг грузовик рухнул вниз.

... Это была бы потеря для советской литературы, когда б разбились все... Ночью тарантулы бегали по одеялам, к ним привыкли.

Однажды угодили в самум – большую палатку на шестерых унесло мгновенно, её потом так и не нашли; было по-настоящему страшно, но всё обошлось.

Другой раз, пишет Луговской, “скача по развалинам великого Мерва, на полном карьере, один, провалился в какую-то могилу или чёрт знает что, но лошадь вынесла”.

На встречах и разнообразных посиделках Луговской много пел, он это замечательно умел делать – причём Тихонов говорит, что не только чужие песни исполнял, но и свои стихи на собственные мелодии.

На месте эти двое усидеть не могли никак, и в любой свободный час отправлялись куда угодно – к развалинам, в пески, к новым людям.

Были у одного зоотехника, он рассказывал о своём туркестанском житье, его жена в разговор не встревала, но уже потом, когда прощались, кто-то из поэтов спросил женщину: как вам тут, не скучно? а газеты читаете?

Она говорит: да нет, не скучно, газеты читаем, но с опозданием. Вот вчера пришла газета, какой-то там у вас умер... как его?... Каковский, таковский... Маяковский! Не знаете?

... Шли к месту ночлега ошалевшие от новости, никак не умея поверить в случившееся. Кто-то забрал с собой газету, нёс её в руках, сжав.

Маяковский являлся, наверное, важнейшим поэтом той поры для Луговского. Кумиром юности был Блок (и его влияние сохранилось на всю жизнь). Затем – влюблённость в Гумилёва (и эта чувство тоже не исчезнет многие годы). В 20-е явился в полный рост Маяковский – масштаб его был очевиден многим.

Недаром вождь конструктивистов Сельвинский оспаривал именно Маяковского и претендовал на его место.

Луговской, надо сказать, никогда не страдал зудом пошатать чужие авторитеты.

... Проговорили всю ночь о нём.

Остальная часть бригады уехала в Москву намного раньше Жюльверна-старшего и Жюльверна-младшего. Луговской с Тихоновым собрались в сторону большой России только в конце мая. В итоге получилось два месяца путешествия.

Незадолго до отъезда их в очередной раз куда-то унесло, рисковали опоздать на поезд. Рванули в ночь по ущельям.

Грузовик-полутонка, Луговской сел на платформу, “прямо на пол, – рассказывал Тихонов, – отдав себя на растерзание бешеным броскам машины, причём единственное, что он предпринял в защиту себя, – это пропустил под руки верёвки, охватывающие стенки грузовика, и стал похож на спускающегося на парашюте человека, запутавшегося в верёвках парашюта и прыгающего безостановочно с дерева на дерево”.

“... тряска стала невероятной. Мы въехали в белые лунные скалы”.

Путешественников всю дорогу мучили видения. Тихонов, который уселся с водителем, сначала увидел, как машина едет в пропасть (что, опять?) – едва не закричал – оказалось, что здесь так падают тени, что от пропасти их чёрные языки не отличишь. Сама пропасть, между тем, была совсем рядом, и водитель непрестанно просил слушать, не свистят ли тормоза – на этом пути даже днём сорвалась уже далеко не одна машина.

Потом на дорогу выскочил белый танцующий зверь. Тихонов протёр глаза. Оказалось, обычный заяц.

Затем явилось другое животное, чёрное и торопливое, тоже похожее в свете фар на невесть что. Выяснилось, что всего лишь тушканчик.

Следом появились пляшущие голые люди возле костра с головнями в руках. Тёр глаза, но люди всё равно оставались и продолжали танцевать. Оказалось, это водители, не желающие пробираться по опасным ущельям в ночь, встали переждать до утра, разожгли огонь и отгоняют скорпионов.

Следом Тихонов увидел целую улицу, полную людей, и сквозь эту толчею ехал их грузовик. Что там в это время видел Луговской, Тихонов потом постеснялся спросить. Потому что никаких улиц среди этих скал быть не могло.

Еле добрались до какого-то селения.

Луговской, пишет Тихонов: “сошёл со своего мрачного ложа, разбитый и зелёный, и мы курили папиросы, как демоны глухонемые”.

“Шофёр не появлялся.

– Он умер, – сказал я.

– Он хитрит, – сказал Луговской. – Мы должны быть в Кызыл-Арвате, и мы будем. Я сейчас найду его. Подумаешь, Художественный театр.

И он ушёл на поиски, и вернулся через пять минут. В ночном киселе люди тонули, как иголки.

– Я испорчу ему сон, – сказал Луговской, и мы немедленно задремали сами, не успев привести в исполнение свою мысль.

Но спать мы не смогли. Я думаю, что и шофёр наш не сумел заснуть, ибо Луговской инстинктивно нажал грушу сигнала, и рёв разнёсся по всей Хаджи-Кале. Ему это понравилось. Он нажимал грушу, и та стонала и ревела, пока тыма не родила мятой и молчаливой фигуры шофёра”.

Тронулись дальше. Когда уже были на месте, “Луговской спал, повиснув на верёвках, как древний разбойник, умерший на кресте”.

Ответственный работник, встречавший их, отвёл Тихонова в сторону и спрашивает: улицу видели? Полную людей, да?

Тихонов молчит, боясь показаться дураком.

– А там все её видят, и я, слушай, каждый раз тоже вижу, – говорит ответственный работник. – Горы такие тут, да. Удивительные горы.

По результатам путешествия Луговской освоил социальный заказ и сделал хорошую, бодрую книгу “Большевикам пустыни и весны” (сначала цикл стихов под этим названием появился в седьмом и девятом номерах журнала “Октябрь” за 1930 год). Там почти нет следов вымученности, в отличие от тех бесконечных заказов, что ему ещё не раз – по собственной воле – придётся исполнять.

Тихонов, крепко полюбивший Луговского, посвятит ему два стихотворения, одно неплохое, а другое: “Я слово дал: богатства Копет-Дага...” – просто прекрасное.

Луговской в ответ посвятит Тихонову “Милиционера Нури” (так себе), и в 1939 году – “Горы” (хорошие стихи).

Ещё одно стихотворение Луговской посвятил Павленко.

Санникову, Иванову и Леонову эти двое ничего не посвятили.

С тех пор Луговской и Тихонов дружили целую жизнь.

Тихонов много позже с лёгкостью простит Луговскому то, чего многие другие не простят никогда.

### **Лошадиные дозы тревоги**

В первой книге – всего их будет четыре – “Большевиком пустыни и весны” Луговской пишет:

“Я не ястреб, конечно, / Но что-то такое / Замечал иногда, / Отражаясь / В больших зеркалах. / Доктор / Мне прописал / Лошадиные дозы покоя, / Есть покой, / Есть и лошадь, / А дозу / Укажет Аллах”.

За сказанным стоит реальная жизнь Луговского: покоя он знать не будет подолгу, и осмысленно выберет жизнь кочевую и периодически сопряжённую с опасностью.

Зато Тамара его простит и примет. Женщины иногда ценят мужчин, которые рискуют головой. Ценят или жалеют.

В июле 1930 года было создано Литературное объединение Армии и Флота, куда Луговской немедленно призван и принят: имел все основания, армеец же.

По линии ЛОКАФ на крейсере “Червонная Украина” в октябре 1930 года Луговской совершает рейд по Средиземному морю – Турция, Греция, Италия. Заходили в Стамбул, Пирей, Неаполь, Палермо.

Беременная Тамара ждёт дома, он пишет ей: “Такой нагрузки, такой амплитуды колебаний не знал ещё в жизни. Главное – ведь это всё нужно вложить в мировоззрение. И над всеми морями и городами – ощущение рождения ребёнка и страдания рождения для тебя”.

“Вот я нахожусь в Сицилии, в горном городке Таормина, знаменитом своим греческим театром. Такой красоты я в жизни ещё не видел. Сзади дымится Этна. Приехал из Мессины”.

“Сейчас только возвратился из Акрополя. В Афины пришли вчера. Город весь в пальмах и лаврах. Прекрасные улицы, залитые феерическими огнями. Смешение всех языков. Отели, кафе. Отовсюду слышится танго – почему-то на всём юге только и играют танго. От этой щемящей музыки делается грустно. Пирей весь в озёрах огней. Под самой луной над городом плывёт Акрополь и холм Ликабетта.

Подземная дорога на площади Акипион выбрасывает толпы людей. Шумит грандиозное кафе, занявшее всю площадь. А вокруг этого светлого ядра бесконечные кварталы городской бедноты, трущобы.

Над городом три гряды гор – те самые, о которых мы с тобой слышали с детства, – Гимет, Пентеликон и Парнас в голубой дымке”.

“В последнем походе мы шли через Дарданеллы днём, мимо Стамбула и через Босфор вечером. Вместе с нами на рейде Пирея стояла Британская эскадра Средиземного моря. Когда мы уходили, было незабываемое зрелище – на всех британских гигантах были выставлены караулы и все оркестры играли “Интернационал”.

Луговской впервые был за границей.

В русской поэзии уже сложилась поэтическая традиция – подробно поведать о случившейся зарубежной поездке. Подобным образом отчитывались ещё до революции Блок, Кузмин, Гумилёв. За первое десятилетие Советской власти успели выехать Есенин, Маяковский, Мариенгоф, Тихонов – каждый предоставил цикл стихов по поводу, а то и книгу – кроме Есенина, которому долгий заграничный вояж наваял, ни много ни мало – один саркастический монолог Рассветова в “Стране негодяев”. Ну и в придачу дюжину злых писем и очерк о Нью-Йорке “Железный Миргород”, название которого говорит само за себя.

Луговской выдаст целую книжицу – “Европа”, стилистически родственную Маяковскому, немного пересушенную, немного публицистическую, но при этом неплохо сшитую и прозорливую.

“Асфальт городов твоих / Отполирован / Шинами машин. / В чёрных рубахах / Ребята чернобровые / Чванно несут фашизм”.

“В великоленных мозгах / Растит мировая усталость / Тощую амёбу – индивидуализм”.

“Два лица проясняются, / Каждое из них роковое, / Это – / Революция / И война”.

Из объявленной Луговским (хотя не только им, конечно) в самом начале 30-х повестки в целом и сложилась мировая жизнь на последующие полвека, а то и больше.

С января 1931 года Литературное объединение Армии и Флота начинает издавать свой журнал, Луговской становится членом редколлегии. Через два года журнал “ЛОКАФ” переименуют в “Знамя”.

У Луговского рождается дочь Мария (он будет её называть Мухой), но на упорядоченный семейный лад это его не настраивает. Вскоре у него появится новая женщина – Сусанна Чернова.

Весной 31-го Луговской снова в Азии. Сестре пишет, что “пересёк Узбекистан и Средний Таджикистан, был в Самарканде, Термезе, Сталинабаде, Кулябе, Дангаре... Я совсем военнизировался, хожу в пограничной форме, при шпалере... Жизнь на лошади”.

Случайно встретивший 30 апреля Луговского поэт Григорий Гаузнер записет в дневнике:

“Вчера приехал Луговской. Он едет как военный корреспондент в район действий Ибрагим-бека. Его авантюризм, наконец, получил реальную основу. Он бредит английским шпионажем и в каждом нищем видит Кима. Он дружит с чекистами, видит в этом шик, и смешно наблюдать, как мальчишеский романтизм этого пустого человека здесь обрастает мясом”.

Непонятно, чего в этой записи больше – сарказма – или некоторой даже зависти.

В “Автобиографии” Луговской скажет: “В моё творчество вошла ещё одна тема, – тема границы и славных пограничников”.

Впечатлений так много, что он собирается писать прозу (но так и не решится).

Когда летел в Самарканд — самолёт попал в аварию, были повреждены колесо и крыло. Аварии с какого-то момента будут сопровождать Луговского постоянно.

В этот раз командировка оказалась более чем серьёзной: фрагментарно он участвует в военных операциях, и шпалер при нём точно не только ради красоты. Несколько раз вспомнит потом, как хоронил товарища в пустыне, роя могилу в песках.

“Путь мой лежал, — расскажет ещё, — от ледников Памира до самой сердцевины Кара-Кумов. Однажды группа пограничников, в которой я находился, чуть не погибла от жажды при спасении маленького пограничного отряда”.

Сохранились протоколы допросов басмачей, которые вёл сам Луговской — то есть полномочия он имел куда большие, чем корреспондентские — что, впрочем, не удивительно: он же красный командир.

Ответы допрашиваемых традиционные: “До прихода Хасан-бека в наш колхоз я ничего не знал, что начинается басмачество... Взяли для численности... Во время ограбления кооперативов не участвовал... Я никого не убивал, не видел, как убивали, боёв не видел, но часто слышал стрельбу...” Вместо подписи: чернильный отпечаток пальца.

Все события последних лет дают Луговскому возможность писать жене: “Был в настоящих “делах”, и от этого нервно успокоился и начал обретать самого себя”.

“Тамара! Я как-то страшусь своего роста, меня куда-то распирает, расширяет. Я становлюсь новым человеком на новой земле”.

(Обращение к жене по имени, а не по шутливому прозвищу подчёркивает серьёзность произносимого.)

“...живу, как сухой аскет или старый слон. Сам себя ношу. Очень смешно купаться в речке бурой, как шоколад, холодной, как мороженое, через которую — рядом — видны афганские шалаши, дальше афганский городок, горы, закат, стада и прочая география”.

Ранней весной 1932 года в Москве на поэтическом совещании РАПП Луговской читает доклад “Мой путь к пролетарской литературе”, отрясая с ног прах конструктивизма, формализма и прочих “измов”, мешающих пути к социалистической идиллии. Юрий Олеша, уже решивший поменять писательство и славу на тихий алкоголизм, без обиняков говорит товарищам Луговского — Зелинскому и Сельвинскому: “Луговской ваш — раб. Его речь — это речь раба, подхалима”.

Но ладно бы ещё ругань Олеши и косые взгляды констров.

Доклад Луговского публикуют “Известия”, затем “Красная новь”. РАПП, я с вами! РАПП, я с вами! — раздаётся голос Луговского на всю страну — и тут... И тут РАПП закрывают.

Не просто закрывают — а постановлением ЦК — ЦК ВКП(б)! — от 23 апреля.

Вдруг выяснилось, что РАПП организация вредная и ненужная. Самовольно присвоившая себе главенство в литературе.

Это ещё не тот самый “капкан судьбы”, но уже ощутимый удар по пальцам, по живому.

К тому же брак, даже после рождения ребёнка — так и не заладился: однажды надломленное не срослось. Тамара уходит окончательно.

Так что весной 1932 года Луговской снова в Средней Азии: к чёрту, к чёрту вашу Москву — понять, кто свои, кто чужие, куда проще посреди пустыни. Шпалер, аскетизм, “вишнёвая заря Таджикистана... оранжевые тучи над снегами... усталые кочёвки караванов... пастушеский костёр на дальнем склоне”, седло, палатки, пограничники, афганские шалаши — вот жизнь.

“Вдруг — выстрел. Выбегаю. Залп. Кричат. / Команда: “В цепь!” Потом приказ: “Отставить!” / Храпящим жаром катится отряд: / Стреляют в воздух, машут, выются в сёдлах, / Визжат, как кошки, горячат коней. / Толпа молчит. / Передовой с размаху / Кидает оземь лёгкий карабин, / Срывает шашку, револьвер, подсумки, / Снимает выцветший английский френч, / И голый торс его блестит как бронза <...> Здесь старики с лиловыми висками, / Густые бороды сорокалетних, / Размётанные брови молодых, / Немые, тонкие фигуры женщин, / Доброотрядцы в порыжелых кепках, / Чекисты в запалённых сапогах”.

Всё на местах, как видим.

И, Боже мой, как же приятно ощущать себя полноправным героем ещё в юности прочитанного стихотворения Гумилёва “Туркестанские генералы”, где речь идёт про “. . . дни тоски / Ночные возгласы: “К оружию!” / Унылые солончаки / И поступь мерную верблюжью. / Поля неведомой земли, / И гибель роты несчастливой, / И Уч-Кудук, и Киндерли, / И русский флаг над белой Хивой. . . / “Что с вами?” – “Так, нога болит”. / “Подагра?” – “Нет, сквозная рана”. / И сразу сердце защежит / Тоска по солнцу Туркестана”.

Конец весны, лето, начало осени 1932 года Луговской проводит в Уфе с Александром Фадеевым – около полугода!

Фадеев, ближайший, наряду с Тихоновым, товарищ и собрат Луговского, его успокаивал: забудь про РАПП, про баб, всё в порядке, всё наладится, мы на верном пути. И сам заодно успокаивался.

В эти же дни один из самых серьёзных деятелей советской литературы, тоже рапповец, но по-прежнему очень влиятельный – критик Леонид Авербах – делится в письме Максиму Горькому своими ощущениями: “Фадеев и Луговской пишут зверскими темпами, и, по-моему, получается у них очень здорово”.

“Жили мы анахоретами. . . – признаётся Луговской, – Днём работали, вечером выходили на шоссе, выбритые и торжественные, и рассуждали о мироздании и походе Александра Македонского. Неподдалёку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенней ночью по саду ходила огромная старая белая лошадь, и со стуком падали яблоки. Стояли железные ночи. Как-то к нам заехал О. Ю. Шмидт и рассказывал о происхождении вселенной”.

Отто Юльевич Шмидт был геофизиком, астрономом, математиком, исследовал Памир, руководил двухлетней арктической экспедицией на ледокольном пароходе “Седов” в 1930 году – когда советский флаг был поднят над архипелагом Северной земли.

Другим товарищем Луговского и Фадеева был в те полгода Матвей Погребинский – полпред ОГПУ в Башкирии. Литераторы запросто называли его Мотей. Мотя, помимо поиска и разоблачения контры, занимался беспризорниками – знал все их чердаки и хазы, ходил по самым опасным местам без оружия и не без успеха перековывал сирот Гражданской войны в законопослушных советских граждан. Именно с Погребинского потом сделают главного героя фильма “Путёвка в жизнь”. Мотя был человек незаурядный, совестливый, в 36-м году застрелится. . . Но кто ж знал, что Луговской пьёт кумыс и веселится с двумя будущими самоубийцами.

В Уфе он – любясь на новых товарищей – сочинит вторую книгу “Большевиков пустыни и весны”.

Ему кажется, что большевики, пустыня, вселенная – всё это близко друг к другу; а остальное – детали.

Возможно, так оно и было.

### **Выпьем за Сталина**

26 октября 1932 года в доме Горького на Малой Никитской состоялась встреча Сталина с советскими литераторами. Луговской, естественно, тоже был там. И это был не самый простой из его дней.

Из писателей, помимо хозяина дома, присутствовали: Фадеев, Всеволод Иванов, Катаев, Леонид, Шолохов, Павленко, Юрий Герман, Зазубрин, Либединский, Малышкин, Гладков, Никулин, Никифоров, Сейфуллина, из критиков: Авербах, Кирпотин, Ермилов, Зелинский, из поэтов: Багрицкий, Луговской, Сурков, за детскую литературу отвечал Маршак, за драматургию Афиногенов. . .

Компанию Сталину составили Молотов, Каганович, Ворошилов и Постышев.

Разговор начался с РАППа, который в 20-е много кому попортил жизнь. Авербах в очередной раз признал свою и коллективную вину, но Лидию Сейфуллину это не успокоило – она призналась, что пребывает в отчаянии от того, что, распустив РАПП, бывших рапповцев опять тянут в литературные начальники – они ж снова смогут затравить любого беспартийного до потери здоровья.

Сталин посмеивался, Горький, который рапповцев любил, выступал как дипломат, пытаясь не допустить скандала. Атмосфера понемногу стала человечной и даже весёлой.

Выступал Леонов, просивший предоставлять больше информации о жизни страны. Высказался Зазубрин, переживающий о том, что Сталина нельзя описывать как он есть, например, с рябинами на лице – попутно, он сравнил Сталина с Муссолини: литераторы готовы были провалиться со стыда от такой бестактности. Маршак сказал о детской литературе...

В перерыве Горький попросил Луговского прочитать отчего-то не собственные стихи, а “Куклы” молодого поэта Дмитрия Кедрина.

Почему Луговского? Ну, все знали артистизм и бархатный голос этого красавца, в том числе и Горький, с которым Луговской познакомился годом раньше, в 31-м.

“Прослушали молча, одобрили, тоже молча”, – сообщает Корнелий Зелинский, оставивший записи об этой встрече.

Потом обедали, спорили о критике, о том, что важнее – производство душ или производство танков, шумели, совсем расслабились, Авербах предложил, чтоб Луговской прочитал новые стихи.

“Луговской не заставляет себя долго ждать, – вспоминает Зелинский, – Он встаёт, высокий, в своём крупнозернистом свитере портового рабочего или моряка, он играет бровями”.

– Я прочту “Сапоги”, – объявляет Луговской, – Это из нового.

“Сапоги” – вещь энергичная, остроумная – одна из лучших у Луговского; хотя у него много “лучших”. Тем не менее, это всё-таки поэма – маленькая, но поэма.

Зелинский вынужден констатировать: “Начинают слушать Луговского со вниманием. Он читает вкусно, патетично и громко... Луговской читает две, три, пять минут. Читает десять минут... двадцать минут... это слишком. Обстановка совсем не такова, чтобы слушать высоко-идеологические стихи. Начинают позванивать стаканы, устаёт, слабеет внимание. Все ждут выступления Сталина. А Луговской читает и читает, и это, наконец, начинает всех тяготить. Он переиграл и, закончив, не получает ни одного аплодисмента”.

...Такая незадача, что хоть прямо со встречи опять уезжай в Туркменистан.

(Хотя скидку на то, что Зелинский на тот момент Луговского не любил, считал предателем конструктивизма, и в данный момент испытывал что-то вроде злорадства – сделать стоит. К тому же, если “Сапоги” читать вслух – на двадцать минут поэмы не хватит. Но в целом он, конечно, написал что-то похожее на правду.)

Обидно ещё и то, что следом просят читать Багрицкого – он пытается сбегать, потом нехотя, задыхаясь от астмы, читает “Человек из предместья” – и срывает аплодисменты.

В эти минуты Луговской, что называется, поплыл – так бывает, когда совершаешь один неудачный поступок, и всякий следующий шаг выставляет тебя во всё более неприглядном свете.

Снова разлили по бокалам, писатель Малышкин изъявил желание чокнуться со Сталиным, писатель Павленко, который на прошлой писательской встрече, подогретый вином, трижды облобызался с вождем, теперь подшутил над Малышкиным: “Это плагиат!” – все захохотали, и тут Луговской, видимо, решил под шумок исправить своё положение, объявив своим громовым голосом:

– Давайте выпьем за здоровье товарища Сталина!

Но тут влез уже изрядно поднабравшийся писатель Никифоров:

– Да надоело уже это! Да сколько можно пить за его здоровье! Ему и самому надоело это слышать!

– Правильно, товарищ Никифоров! – поддержал его Сталин.

Зелинский, правда, отметил, что вождь при этом посмотрел на Никифорова “иронически и недобро”.

А на Луговского вообще не глянул.

Выпили за что-то другое, после чего Сталин произнёс длинную, продуманную речь про партийных и беспартийных, которым всегда найдётся работа по душе в Советской стране, чем подкупил писательские сердца, и кто-то, но уже не Луговской, во второй раз предложил:

– Выпьем за товарища Сталина!

И все, надо ж тебе, вдохновенно поддержали этот тост.

Следующий тост поднял Фадеев – “за самого скромного из писателей – за Шолохова!” – и все с удовольствием пьют за Шолохова, к искреннему смущению великого донца.

Сталин, с удовольствием и показательно выпив за Шолохова, произносит речь про инженеров человеческих душ – и снова поднимает бокал за Шолохова. Везёт же кому-то.

Затеваается, насколько возможно в такой обстановке, серьёзный разговор о диалектике и материализме.

– Можно быть хорошим художником и не быть диалектиком-материалистом, – отвечает Сталин, – Были такие художники. Шекспир, например. Мне кажется, что если кто-нибудь овладеет, как следует, марксизмом или диалектическим материализмом, он стихи не станет писать.

Луговскому не молчится, и он в очередной раз пытается проявить себя.

– А разве не может быть хороший поэт диалектиком? – спрашивает он.

Сталин, наконец, его замечает и по-отечески ещё раз объясняет: может-может, но сумеет ли он после этого писать так же хорошо? Никто не должен забывать голову художнику тезисами. Он должен просто правдиво показывать жизнь.

После этого, видимо, Луговской вновь почувствовал себя живым. Когда затеялись петь – Луговской запел сначала вместе со всеми, а дальше мастерски выступал соло. Тут-то, наконец, сорвал аплодисменты и всеобщий восторг.

Расстались вожди и писатели в благодушном настроении.

Горький, обнимая Сталина, пустил слезу, смутился.

Что там было с Луговским, мы не знаем, но по крайней мере в Туркменистан он на этот раз не уехал.

В качестве послесловия к этой истории придётся сказать, что писатель Никифоров Георгий Константинович, сорвавший тост Луговского за Сталина, будет расстрелян спустя шесть лет, в 38-м году.

Было бы нелепо предполагать, что его убили за эту выходку. Но вот так совпало.

Критика Авербаха, предложившего на этой встрече Луговскому читать стихи – расстреляют тоже.

### **Удачнейший в мире человек, моветон и неврастеник**

С новой женой – Сусанной Михайловной Черновой – Луговской познакомился на радио – где работал в 1931 году. Он будет звать её Сузи.

Распишутся второпях, праздновать свадьбу не станут.

Отношения их насколько страстные, настолько и странные. Едва начался роман – Луговской уезжает с Фадеевым в Уфу. Не столько прочь от Сусанны – сколько затем, чтоб решить: с Тamarой всё, с Тamarой больше не будет ничего, та, прежняя его жизнь, надорвалась – и теперь надо переждать, чтоб зажило.

Когда возвращается, они так и не селятся вместе – Луговской живёт с матерью на Тверской, Сусанна – в Палашевском переулке.

Луговской ходит туда в гости, иногда с Фадеевым – хозяйка играет им на пианино, занимающем половину комнаты; другую половину занимает тахта, Володя и Саша лежат на тахте и пьют глинтвейн, сваренный очаровательной Сусанной.

Фадеев описывал её так: “Белокура, стройна, инфантильна”. Сложно в такое существо не влюбиться поэту.

Но и обманывать такое существо, тоже, наверное, не сложно.

После того, как первая семья развалена, многое позволяется с куда большей лёгкостью.

Помимо малых увлечений, у Луговского вскоре возникает очередной серьёзный роман на стороне – с красавицей Ириной Соломоновной Голубкиной.

Сестре Татьяне он пишет в те дни: “Жизнь хороша. Правда состоит из ряда лжи”.

Красивый, безответственный, добрый, сентиментальный, избалованный двухметровый мужчина-подросток – его хватает на многое, и ещё остаётся.

Он сходится с Михаилом Голодным и Павлом Антокольским. Но особенно крепка его приязнь в те годы с Тихоновым и Фадеевым – дружба эта, судя по их письмам той поры, – чистая, почти мальчишеская, в самом лучшем смысле – советская.

Тихонов пишет ему в одном из писем: “Ты вообще, чудак, не понимаешь одного: что ты удачнейший в мире человек. Удача идёт впереди и сзади те-

бя. Удача идёт к тебе, как военная форма, простая и всё же изумительная”.

А вот Фадеев: “С каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе – о том, что ты существуешь на свете и что ты – мой друг... Ты стал очень необходим мне, милый старый медвежатник, и я рад наедине со своей совестью сказать тебе эти наивные, но правдивые и большие слова... Ты доставишь мне большое удовольствие своим видом – видом мужественного неврастеника, моветона и убийцы”.

Луговской хорошо, по-гусарски, выпивает – и поит всех на свои деньги.

Один раз, правда, случился забавный казус. Была у Луговского тётка, целая генерал-губернаторша. Как только Советская власть укрепилась, она быстро сообразила что к чему, обменяла свой генеральский дом на квартиру в Староконюшенном, заселила сёстрами, а сама уехала в деревню: тихо живу, развожу коз, никаки генералов и губернаторов знать не знаю.

Но однажды в 30-е какие-то неотложные заботы привели её обратно в Москву. Козу не с кем было оставлять, и она её привезла с собою. Дома в Староконюшенном как раз туалет не работал, тётка туда козу загнала, припёрла стулом дверь, и ушла по делам.

Тут и явился который день кутящий Луговской: родню проведать, супа поесть, стихи почитать. Открыл своим ключом, никого не обнаружил, зашёл в туалет, открыл кран, пытается умыться, вода не течёт, света тоже нет. Вдруг слышит дыхание позади. Оглянулся и увидел бородатое страдающее лицо с рогами. Подумал: всё, допился. Тихо вышел, закрыл дверь, припёр стулом, покинул квартиру и никому ничего не рассказал.

Только много позже выяснилось, что это всё-таки не белая горячка приходила и рассунок его в порядке.

В марте 33-го Луговской в компании Тихонова и Павленко едет в Дагестан, живут они в доме отдыха Совнаркома.

“Дом отдыха, – отчитывается Луговской Сусанне, – висит над пропастью более километра глубины. Сидишь и видишь на много десятков вёрст кругом, как в орлином гнезде. Ночью при луне вид потрясающий, мрачные ущелья, полные мглюю...”

Вскоре к Луговскому приедет Ирина Голубкина, она беременна, но об этой гостье он уже Сусанне не напишет.

27 августа 1933 года Оргкомитет Союза писателей под руководством Горького занимался распределением писателей в братские республики: кто кого переводить, изучать и славить будет. На Украину направили Фадеева, Катаева, Ольгу Форш, в Грузию – Павленко, Тихонова, Тынянова, в Армению – Безыменского, Каверина, Федина, ну и Шагинян, ей проще всех работать по армянской линии, в Татарию, естественно, Сейфуллину, и почему-то Олешу, Ильфа и Петрова, в Узбекистан – Леонова, Ермилова, Никулина, в Туркменистан – Всеволода Иванова и Луговского.

Далеко не все перечисленные справились с возложенной на них работой, однако Луговской трудился сразу по нескольким направлениям. Не сказать, что он прославил современную поэзию Туркменистана – её, по-видимому, просто не было в тот момент, зато Луговской неустанно прославлял сам Туркменистан. Заодно вдохновенно переводил и с тех языков, которые знал, и с подстрочников тоже: под его руководством выйдет первая объёмная антология азербайджанской поэзии, он переводил узбекского поэта Гафура Гуляма, литовского поэта Теофилиса Тильвитиса, тем же летом Луговской съездил в Дагестан, где в компании с Тихоновым и Павленко открыл Сулеймана Стальского. Помимо этого, он занимался переводами Шекспира и Байрона, болгарских поэтов Вазова и Смирненского, турецкого классика Назыма Хикмета, с немецкого перевёл – Вольфа, с испанского – Неруду, с польского – Броневского, Стаффа, Лесьмяна, Бжехву, Ивашкевича, Тувима – всех вышеназванных поэтов Луговской знал лично. Именно переводы с польского Луговского замечательно показывают, какими отличными возможностями обладал этот широкий человек.

13 декабря 1933 года у Ирины Голубкиной и Луговского родится дочь Людмила, его второй ребёнок. Жить вместе с новой семьёй Луговской не станет – официально он всё ещё женат на Сусанне Черновой.

“Какое же место в то время в моей жизни занимал отец? – напишет Людмила потом, – Да почти никакое. Он появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному,



даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира. Может быть, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нём было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немислимыми бровями. <...>

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена ещё не знала, что мой отец. Я звала его “дядя Володя”. Уже позже я как-то домучила маму вопросом: “Кто мой папа?” – И она сказала: “Спроси у дяди Володи”.

Антокольский пишет, что жизнь у Владимира Луговского была в те годы “весёлая, богатая, шумная”. До детей ли тут.

17 августа 1934 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов открылось небывалое мероприятие: первый Съезд советских писателей.

В президиуме сидели Максим Горький и секретарь ЦК Андрей Жданов.

Доклад о поэзии делал Николай Бухарин. К тому моменту он уже покинул вершины власти – ещё в 1929 году его вывели из Политбюро ЦК. С другой стороны, Бухарин оставался виднейшим большевиком, соратником Ленина, к тому же редактором “Известий”, академиком АН СССР, и так далее.

Имеет смысл предположить, что Сталин предложил ему доклад, как фигуре компромиссной – с одной стороны, Бухарин представлял партию, с другой – всегда можно было сказать, что это частное мнение общественного деятеля далеко не высшего ранга. Бухарина, в конце концов, литераторы могли оспорить, он же – не ЦК.

Можно представить, как Луговской ждал услышать своё имя – и как ждали и не дождались упоминания своих имён десятки, а то добрая сотня находившихся в зале поэтов (всего на съезде присутствовало 597 делегатов).

Бухарин говорит о Демьяне Бедном и Маяковском, как о тех, кто положил зачин советской поэзии. Когда произносит имя Маяковского – все встают и аплодируют стоя. Это – признание.

Далее идёт пассаж про Александра Безыменского – снисходительно похвалив, Бухарин называет его “лёгкой кавалерией”, сетуя, что “с ним произошло то же самое, что с Д. Бедным: не сумев переключиться на более сложные задачи, он стал элементарен, стал “стареть”.

“Светлее и глубже оказался безвременно погибший Багрицкий”, – говорит Бухарин (Багрицкий умер за полгода до съезда).

В целом хорошо, но сдержанно Бухарин отзывается про Светлова, трижды подчеркнув, что Светлов, к сожалению, не Гейне – в том смысле, что образован мало, а любить “сопливеньких” уже не хочется: советскому писателю необходимо образование.

“Жаров и Уткин, к сожалению, страдают огромной самовлюблённостью”, – говорит Бухарин. Упоминает Сергея Есенина, что многим в зале, конечно же, очень нравится: Есенин хоть и не запрещён, но занимает в поэтической иерархии место не сопоставимое с тем, которое занял Маяковский.

Из поэтов “очень крупного калибра” Бухариным названы (и довольно подробно разобраны) Пастернак, Сельвинский, Тихонов, Асеев.

Чуть позже Бухарин вспомнит и назовёт в “пятёрке” “калиброванных” Василия Каменского.

И, наконец, считает важным упомянуть о талантливых стихотворцах нового поколения. “Борис Корнилов – крепкая хватка поэтического образа и ритма”. Прокофьев. Павел Васильев... Луговской.

У Луговского вроде бы отлегло от сердца: он есть, и ему не досталось, как Безыменскому или Светлову. С другой стороны – о поэзии его вообще ничего не сказано – в отличие от, например, того, как бережно и любовно было разобрано творчество Николая Тихонова.

В любом случае, если успокоиться и всё разложить по полочкам, то в сухом остатке – две величины: Маяковский и Багрицкий. Два идейно близких, но ослабевших в последнее время: Бедный и Безыменский. Пятёрка сильнейших представителей относительно старшего поколения: Пастернак, Асеев, Каменский, Сельвинский, Тихонов. И пятёрка молодых: Светлов, Корнилов, Прокофьев, Павел Васильев, Луговской.

Вовсе не плохо, учитывая то, что десятки поэтов просто не были упомянуты, включая не сказать, что очень актуальных, но всё же маститых – Сергея Клычкова и Сергея Городецкого; несомненно актуального и верховоюще-

го Алексея Суркова; Мандельштам месяц назад отбыл в воронежскую ссылку, о нём речи нет – хотя ещё в прошлом году его публиковали в “Литературной газете”, но есть ведь Анна Ахматова, которой Демьян Бедный предложил издать новую книгу с его предисловием (она отказалась, об этом шли толки) – портрет Ахматовой в 30-е и 40-е будет стоять на столе у Луговского; есть его сотоварищи по ремеслу – Вера Инбер, Михаил Голодный, Павел Антокольский, или, скажем, Семён Кирсанов и Василий Казин, в те годы имевшие большую известность. Имеются плюс к тому Сергей Васильев и Пётр Орешин, Рюрик Ивнев и Всеволод Рождественский, Николай Заболоцкий и Ярослав Смеляков, ещё не так давно гремели Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич – где они, кстати? – только что появился Александр Твардовский, пролетарские поэты и крестьянские поэты – рой имён.

Луговскому всего 33 года, он начал меньше десяти лет назад – теперь он один из первых, и у него все шансы стать самым первым.

На съезде он тоже выступает, 29 августа, после Тихонова, перед Пастернаком, произносит речь с трескучим зачином (“Моё поколение, которое теперь стало поколением мастеров и инженеров, механиков лаборантов и строителей пятилеток, встретило мировую войну в тринадцать, и в шестнадцать лет услышало Октябрьские залпы. Я с моим поколением возненавидел старый мир...”), но следом неожиданно цитирует Гераклита (“Всё, что мы видим наяву, есть смерть”) и Эмпедокла Агригентского (папино наследство так просто по ветру не пустишь), “Одиссею”, погребальные стихи Иоанна Дамаскина и – самое удивительное – Николая Гумилёва, расстрелянного в 1921 году за участие в антисоветском заговоре.

Доклад Луговского, как и многие иные доклады на съезде являл собой, по меткому замечанию Сельвинского в кулуарах, “странную смесь искренности и казёнщины”.

Луговской выстраивает свою поэтическую иерархию, в целом, кстати, схожую с бухаринской: Маяковский и Багрицкий, Пастернак и Тихонов.

Далее он утверждает: “Здесь уместно будет сказать, что партийность в поэзии, в самой человеческой лирике только увеличивает во много раз силы и возможности поэта. Пора сдать старому чёрту на рога старые сказки о том, что существует мир для себя, мировой уют для себя, а рядом с ним обязательный, правильный, но жёсткий, не интимный мир коммунизма. Коммунизм – это не узкий коридор. Коммунизм – это всё”.

Что ж, Луговской сделал ставку. Всё так всё.

А пока – пожинаем плоды отличной поэтической работы и звонких речей.

*(Окончание следует)*

## НАВСЕГДА ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ

*Есенин...*

*Порою одно только это звукосочетание заставляет прерывистой биться моё сердце, далеко не вчера “тронутое холодком”.*

*Есенин...*

*Для меня одно это имя — как позывной сигнал самой несказанной русской поэзии, неизрекаемой — кровной и насущно-неизъяснимой, — как само понятие родины.*

*Есенин...*

*Под светильником этого имени моя шалопутная душа нащупывала собственную поэтическую тропку (тем паче, что мы “календарные братья” — день в день — и именно октября). И не где-то нащупывала, а под небушком в крупную клетку — как, видно, было угодно самой моей безбашенной планиде. И недаром, сдаётся, не одно десятилетие над моим письменным “станком” висит его “образ”, запечатлённый на обыкновенном берёзовом срезе безыскусной кистью давно покинувшего белый свет безвестного русского мастерового-пропойцы...*

*Я выхожу в октябрьскую стынь, отрешённо выбредая туда, где “о красном вечере задумалась дорога”, где на окраинных крышах закатная заря, “как котёнок, моет лапкой рот” и “словно бабочек лёгкая стая, // с замираньем летит на звезду” сиротливо-кручинная листва под невыразимо-глобальную мелодию пронзительной есенинской кантаты:*

Если крикнет рать святая:  
“Кинь ты Русь, живи в раю!”  
Я скажу: “Не надо рая,  
Дайте родину мою”.

*Я уже, конечно, не захлебнусь “лихой самогонкой”, как “соломой пропахший мужик”, но и наверняка не разминусь с известным русским заведением, так родственным мне и любым ещё и потому, что под его окошками “горит костёр рябины красной”, который по-своему согреет не тело, так душу, простёртую к нашей общей с поэтом Родине, которую так любил мой поэтический вожатый.*

*Владимир БОЛОХОВ,  
г. Новомосковск Тульской области*

ВЛАДИМИР БОЛОХОВ



## ЕСЕНИНСКИЙ СОРОКОУСТ

*Трубит, трубит погибельный рог!*  
Сергей Есенин. “Сорокоуст”

1

Опять знобят заветные слова,  
что всё пройдёт — как яблонево́й дым,  
что смерть и на погосте — трын-трава:  
под жизнетворным стоном молодым...

Рязанский дух над Тульщиной осенней  
мятётся в день рождения не зря:  
мой календарный брат Сергей Есенин,  
мы кровники не только октября.

И я скажу до дна на этот раз,  
покуда надо мной не прохрипели  
часы планидные двенадцатый мой час  
в каком-нибудь заштатном “Англетере”.

Ловчились муровать и шельмовать  
тебя литературные кастраты.  
Да шутка ли — с эпохой шутковать,  
и правда есть, да нету виноватых.

Теперь гнут, как нищий заклинанья:  
“лицом к лицу лица не увидеть”,  
блудливые строча воспоминанья  
в тшете своё холуйство оправдать.

Что ж, им не внове памятники ставить,  
в архивах жечь предательский навет.  
Проклятьем заклеимённый “мечь и славить”  
споткнулся не об их ли пистолет?

И не они ль чуть не вчера бубнили  
про “Англетер” и про “смертельный мел”?..  
А ты всё в той же несказанной силе,  
как и при жизни — искренен и смел.

Пусть новым литкликушам на потребу  
сервильно-стадионная “звезда”  
бесовский выкаблучивает ребус,  
тряся стилем исподнее... Христа...

И пусть иной — страхованный — вития  
с презервативной храбростью орёт...  
Твоим стихам подмости — вся Россия,  
которая Есенина поёт.

А сам я вновь опавшим клёном брежу  
и рассказать об этом не берусь...  
Оплакав замордованную свежесть,  
всё так же пляшет у забора Русь.

## 2

Заклеймённый бубновою метой,  
да с таких серо-розовых пор,  
не родись я отпетым поэтом,  
вряд ли б вышел с меня прокурор.

Уж не помню, кричал ли я маме,  
брод к себе наводя через сброд,  
что душа у меня, а не камень,  
и не надо её — как в живот...

То, что сплыло — душа не забыла.  
И сквозь лай, улюлюканье, вой  
ей, не каменной, всё ещё мило  
заклеймённое метой живой.

И — предавшей, но всё-таки маме  
вновь шепчу, брод сыскав через сброд,  
что душа — не запазушный камень,  
тот, кто жив, — у того заживёт...

И пусть нешуточен закатной смуты морок,  
как в юности этапный спецконвой,  
своё сплясав-отплакав под забором  
страны родной, я не помру — живой.

## 3

Жеребёнок! — на автотрассе,  
в самой гуще громад городских.  
И — ау! Где вы, страсти-мордасти  
прогрессивных нелепиц людских?

Вот уж диво воистину дивное:  
жеребёнок! И вдарился я  
следом за малышнёю лавинною —  
что там голову! — душу сломя.

Ребятня погалдела и стаяла.  
А жеребчик трусил вдоль аллей,  
будто зная дорожные правила, —  
не есенинский дуралей!

Но такая ж младенчески-милая  
вещь в себе, чьей натуре плевать,  
что её и фотонною силою  
бренной мысли вовек не догнать.

Не догнать черепаху Ахиллу  
с уязвимой — в бессмертье — пятой...  
Жеребёнок! Куда же ты, милый!?  
Снизойди к человеку! Постой...

4

*В саду горит костёр рябины красной,  
Но никого не может он согреть.*

С. Есенин

И повстречал нечаемым ненастьем  
донской предел. Но, видит Бог, не зря,  
стихиям сокровенным лишь подвластен,  
я вновь с тобой, насыщенная земля.

От искуса экзотик инобытных  
бежал я, как зверюга от огня.  
Дурак ли я набитый — не набитый,  
ты не осудишь, родина, меня.

Ты всё поймёшь, расхристанная роща,  
багрянцем ранневременным соря.  
Пусть ошалелый дождик нас полощет,  
в котором грустно весел я не зря.

Не всё ль одно — что там с подглазной кожи  
стекает... Я к себе сегодня гость.  
И, как никто, согреться мне поможет  
продрогшая рябиновая гроздь.

Ныряю бесприютными губами  
в её ознобно-ягодный костёр:  
и ледяное животворно пламя  
тому, кто душу к родине простёр...

ВАЛЕРИЙ МЕШКОВ

## СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Известно, Михаил Афанасьевич Булгаков не любил и современную ему поэзию, и поэтов своего времени. По этой причине даже Анна Ахматова, дружившая с семьёй Булгаковых, не осмеливалась в его присутствии читать свои стихи. Своё суровое отношение М. Булгаков не изменил даже по отношению к стихам своего родного брата Ивана. Когда тот, живя в эмиграции в Париже, посылал Михаилу в письмах свои произведения, критика в ответ была весьма строга.

Между тем, имеются сведения, что сам Булгаков с молодости был не чужд стихотворчеству, сохранились образцы его шуточных произведений в стихах\*. Много лет спустя его сестра Надежда вспоминала о всесторонней одарённости брата: *“Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и “оперы”, давал всем нам стихотворные характеристики”* [1, с. 60]. В зрелые годы писатель тоже иногда в письмах родным “срывался” на стихотворный жанр, например, описывая жизнь в знаменитом теперь доме № 10 в Москве: *“На Большой Садовой / Стоит дом здоровый”\*\** и т. д. [1, с. 66]. Но все свои “опыты” подобного рода Булгаков оставлял для узкого круга родных и знакомых.

Можно понять, что к поэзии и поэтам Булгаков предъявлял очень высокие требования. Ведь во времена его молодости было модно “баловаться стишками”, поэтов было великое множество, одни считали себя “непризнанными гениями”, а другие, как Игорь Северянин, наоборот, сами себя объявляли гениями. С публичными выступлениями и поведением поэтов было связано много скандалов, эпатажа и бравады, демонстраций пренебрежения к “мещанам и обывателям”, нравственным устоям и духовным ценностям “власть имущих”.

Булгаков и круг его знакомых, уже в юности, критически относились к таким способам вхождения в литературный мир, завоевания известности и популярности. Обращаемся снова к воспоминаниям сестры писателя о киевских

\* В архиве Булгакова сохранился также листок с набросками стихотворения. Он датирован 28 декабря 1930 г. и озаглавлен “Funerailles” (“Похороны”). Об этом см. [2, с. 450].

\*\* В доме № 10 на Большой Садовой много раз бывал у друзей Сергей Есенин: в кв. 21 жила мать имажиниста В. Шершеневича, а в кв. 38 была студия художника Якулова, где Есенин познакомился с Дункан. Студию с её гостями считают одним из прототипов “Зойкиной квартиры”. Булгаков проживал сначала в “нехорошей квартире” 50, а затем в кв. 34 [1, с. 164–171].

дореволюционных годах: “Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьёва: “Пусть в небесах горят паникадила – В могиле тьма” [1, с. 59].

О некоторых взглядах писателя на поэзию можно судить из его неоконченного письма к брату, Ивану Афанасьевичу: “Невозможность ли, нежелание ли до конца разяснить свой замысел, быть может, желание затушевать его нарочно, порождают очень большой порок, от которого надо немедленно избавляться: это постановка в стихах затёртых, бледных, ничего не определяющих слов” (от 12.05.1934).

По таким косвенным указаниям можно судить, что Булгаков выше всего ставил классические образцы поэзии и не принимал всерьёз стихи, в том числе и свои, далекие от столь высокого уровня. Вполне возможно, что единственным таким образцом для Булгакова было творчество Пушкина. Из автобиографической повести “Записки на манжетах” можно узнать, что первой литературной травле М. А. подвергся во Владикавказе за попытку защитить Пушкина от новоявленных советских “гонителей”:

*“И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке – его стихи.*

*Ландыш. Рифма: гадыш.*

*С ума сойду я, вот что!..*

*Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но тому что! <...> А я пропаду, как червяк” [3, 1.1, с. 481].*

Всё изложенное говорит о том, что тема поэтов и поэзии, отношения к ним общества, не были чужды Булгакову, а его житейский и литературный опыт содержал соответствующие яркие и разнообразные впечатления.

Неудивительно, что в главном романе Булгакова “Мастер и Маргарита” одним из главных героев “второго плана” является поэт Иван Николаевич Бездомный. Ныне существует целая “отрасль” популярной литературы, изучившая роман вдоль и поперёк, толкующая его вкривь и вкось. А один из разделов этой “отрасли” посвящён поиску прототипов героев романа.

Разумеется, образ Бездомного является собирательным, он не был полностью “списан” с одного конкретного человека, хотя и такое в литературе случается.

Мариэтта Чудакова, наиболее авторитетный исследователь Булгакова, отмечала: “И сам Есенин, и молодые поэты из его ближайшего окружения последних московских лет <...> Иван Старцев и Иван Приблудный – стали, на наш взгляд, материалом для построения “двух Иванов” – сначала Ивана Русакова в “Белой гвардии”, затем – Ивана Бездомного в “Мастере и Маргарите” [2, с. 272].

Комментаторы первого собрания сочинений Булгакова видели в нём “черты многих лиц: Д. Бедного, Безыменского, Ив. Ив. Старцева и др.”, но Есенина уже забыли. Хотя отмечали, что псевдоним Бездомный (Понырёв), выбран вполне в духе того времени, согласно “идеологическому шаблону”: Максим Горький (Алексей Пешков), Демьян Бедный (Ефим Придворов), Иван Приблудный (Иван Овчаренко) и т. п. [3, т. 5, с. 632].

Автор “Булгаковской энциклопедии” [5] пошёл дальше, и основным прототипом Бездомного считает поэта Александра Безыменского (1898–1973). Однако аргументы в пользу этого выдвигаются весьма немногочисленные, сомнительные и чисто внешние. Достаточно вспомнить, что Безыменский был пролетарским, комсомольским поэтом, а принадлежность Бездомного к этому кругу ничем в романе не выражается. Кроме того, Иван показан в романе как человек бесхитростный, искренний и простодушный, к которому повествователь относится с симпатией. Безыменский же входил в круг ненавистников Булгакова, принимал активное участие в его травле в печати. Такого человека Булгаков мог вывести только в ряду таких персонажей романа, как критик Латунский, Алоизий Могарыч или поэт Рюхин.

Невозможно предположить, что Мастер, в ком отражены многие автобиографические черты самого автора романа, будет исповедально повествовать о своей жизни и судьбе, пусть даже и в романе, человеку типа Безыменского.



Известно такое событие в жизни Булгакова, случившееся 7 июня 1934 года. Ему и его жене Елене Сергеевне в унижительной форме было отказано в обещанной поездке за границу во Францию. Это был для писателя страшный удар, и по рассказу жены:

*“На улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом довела его до аптеки. Ему дали каплею, уложили на кушетку. Я вышла на улицу – нет ли такси. Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около неё Безыменский. Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону.*

*У М. А. очень плохое состояние – опять страх смерти, одиночества, странствам”.* [6, с. 61].

Таким образом, можно сделать вывод, что Безыменский, общение с которым было Булгаковым противно даже в такой трудной ситуации, никак не мог быть прототипом поэта Бездомного в романе “Мастер и Маргарита”.

Роман этот слишком глубок и многопланов, чтобы по какому-то внешнему признаку можно было разгадать замысел его автора. Возникает мысль: если в образе второстепенного персонажа романа, поэта Рюхина, Булгаков использовал какие-то черты Маяковского [5] (с чем ещё можно согласиться), то это, скорее, глубинные свойства характера, чем какие-то внешние черты. Тогда и приходим к предположению, что прототипом Бездомного должна быть фигура поэта, никак не меньшая для того времени по своей человеческой и литературной величине, чем фигура Маяковского.

А это логично и однозначно приводит нас к единственной такой значительной фигуре, соответствующей этому персонажу романа, – Сергею Александровичу Есенину\*.

Оказывается, доказательства этому имеются, только они лежат не на поверхности, а немного глубже. Если взять псевдоним поэта – Бездомный, то действительно он явно пародийный, но в случае Есенина не всё так просто. Поэт на самом деле всю жизнь не имел не то что дома, но даже квартиры. Парадоксально, но факт: несмотря на всемирную известность, славу и популярность в своей стране, Есенин не заслужил от советских властей даже простой жилплощади.

Сам он этим вопросом не занимался, но после его возвращения в 1923 году из длительной заграничной поездки и разрыва с Дункан друзья пытались решить для поэта квартирную проблему. Были собраны все бумаги, приложения ходатайства из Моссовета, секретариатов Троцкого и Калинина. Как вспоминала Анна Назарова, близкая знакомая Есенина: *“Решила: ну с такими “ходатайствами” через 2 часа у меня будет квартира для Есенина. И только через месяц почти ежедневного хождения в РУНИ (Краснопресненское районное управление недвижимым имуществом. – В. М.) я поняла, что эту стену никакими секретариатами не прошибёшь”* – [7, с. 165].

Уместно вспомнить, что “квартирный вопрос” всегда затрагивал Булгакова, это получило отражение и в романе “Мастер и Маргарита”. А ещё раньше Булгаков записывал в своём дневнике: *“Пока у меня нет квартиры – я не человек, а лишь полчеловека”* (18 сент. 1923 г.). По этому поводу существенно и замечание Елены Сергеевны [6, с. 64]: *“Для М. А. квартира – магическое слово. Ничему на свете не завидует – квартире хорошей! Это какой-то пункт у него”* (23 авг. 1934 г.).

Следует понимать, что за персонажем поэта Бездомного у Булгакова между строк выражено гораздо больше, чем видится поверхностному читателю. Это принципиально разное отношение и к жизни, и к литературе. В романе ведётся спор на эту тему Мастера с Бездомным, и уже из первой главы можно понять, что поэт представляет немалую величину на советском литературном небосводе. В *“доказательство славы и популярности”* Бездомного *“...иностранец вытащил из кармана вчерашний номер “Литературной газеты”*,

---

\* Сведения о Есенине у Булгакова были не только из прессы и книжных публикаций, но и из личных впечатлений. О них рассказывала его первая жена Т. Лаппа (см. также [2, с. 272]). Кроме того, поклонницей Есенина была вторая жена Булгакова – Л. Е. Белозерская, воспоминания которой содержат эпиграф из Есенина “О, мёд воспоминаний!”, а её впечатления от встреч с поэтом в Берлине включают обширные стихотворные цитаты – полностью приводятся два его стихотворения [4, с. 72–77]. Одним из близких друзей Булгакова был Н. Эрдман, входивший в состав поэтов-имажинистов второго ряда и общавшийся с Сергеем Есениным в годы расцвета имажинизма.

и Иван Николаевич увидел на первой же странице своё изображение, а под ним свои собственные стихи” [3, т. 5, с. 17].

“Педантичный исследователь” может возразить, что “Литературная газета” стала издаваться в 1929 году, и Есенина к тому времени уже не было в живых. Подобные возражения нельзя принять по весьма простой причине. Когда читаешь “труды о романе”, часто замечаешь любопытное обстоятельство: их авторы увлекаются и совершенно забывают, что мир булгаковского романа — это не наш реальный мир, он является только некоторым фантастическим, во многом аллегорическим, но всего лишь его отражением, вне реального времени и пространства. Но приходится удивляться, как персонажей романа и даже его автора часто начинают судить [8], в том числе и по религиозным меркам.

Хотя Булгаков именовал свой роман кратко, для родных и друзей, как “роман о дьяволе”, надо всё же помнить, что это фантастический роман о дьяволе, с большой долей пародийных, сатирических и юмористических элементов. И в этом, фантастическом мире романа “прославленный” поэт Бездомный унаследовал многие характерные черты, и даже биографические подробности, знаменитого русского поэта советского времени Сергея Есенина. И в самом деле, стихи Есенина с его портретом, при его жизни печатались во многих советских газетах.

Любой писатель с ревностью для себя отмечал это обстоятельство, и особенно Булгаков, которому с некоторых пор любые публикации в советской прессе “были заказаны”. Но было и обстоятельство, сближающее писателя с поэтом. В советской партийной прессе оба не раз подвергались жестокой травле, была объявлена борьба как с “есенинщиной”, так и с “булгаковщиной”, а затем книги Есенина и Булгакова на десятилетия стали “запретной литературой”. Подобно Мастеру и Бездомному в романе, Булгаков и Есенин были “товарищами по несчастью”, часто становились жертвами “дьявольщины” и “чертовщины” реального мира.

Но продолжим поиск совпадений. Их немало в первой главе, и одно из главных — богоборческая тема в творчестве Бездомного и Есенина. Редактору журнала Берлиозу не понравилась идея “большой антирелигиозной поэмы” Бездомного, где Иисус выведен поэтом “очень чёрными красками”, но всё же как реально существовавший человек.

Этой темой Булгаков заинтересовался еще в начале 1925 года, и изучив журнал “Безбожник”, записал в дневнике: “. . . был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены” (запись от 5 янв. 1925 г.). Но ко времени действия романа поэт Бездомный, написавший свою поэму в духе этой идеи, уже отстал от новейших “идейных установок” сверху. Их и внушал редактор Берлиоз “непонятливому” поэту: “Нет ни одной восточной религии <...> в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это и нужно сделать главный упор...” [3, т. 5, с. 10].

Сразу после революции Сергей Есенин, как и многие другие поэты, в том числе и имажинисты, отдал дань богоборческой теме. Кульминацией была акция имажинистов, когда в мае 1919-го антирелигиозными стихами ночью в Москве был разрисован Страстной монастырь. Кощунственное для верующих четверостишие Есенина “Вот они толстые ляжки / Этой похабной стены...” прогремело на всю столицу, хотя уже на следующий день его замазали [9, т. 2, с. 268–269]. В 1920 году на Пасху Есенина чуть не избили (спасли матросы) в Харькове, когда он стал читать свои поэмы перед праздничной толпой: “Не молишься тебе, а лаяться / Научил ты меня, Господь”, “Тело, Христово тело, / Выплёвываю изо рта!” и т. п. [9, т. 2, с. 346–347].

И зарубежные, и даже советские партийные литературоведы подвергали имажинистов за это направление резкой критике, как правило, выделяя Есенина за талант, а негативные, на их взгляд, тенденции в его творчестве приписывая групповому влиянию. С другой стороны, за близость к группе поэтов, выходящей из деревни, Есенина, Клюева, Клычкова и других определяли как “поэтов мужицко-хлыстовской революции”, также чуждых пролетарской революции.

По отношению к Есенину при его жизни советские партийные критики во многом вели себя подобно редактору Берлиозу по отношению к поэту Бездомному. Ему многое прощали по молодости, советовали овладеть трудами классиков марксизма и далее творить, руководствуясь партийными установками в области литературы. Есенин не был противником советской власти, но он отвергал всякий партийный диктат по отношению к творческим людям. К его несчастью, вольно или невольно, он оказался вовлечён в водоворот ожесточённой борьбы за власть между “наследниками” Ленина. Это и стало главной причиной его гибели.

Булгаков в романе “Мастер и Маргарита” в образе поэта Бездомного, судя по всему, хотел выразить своё отношение к Сергею Есенину, поэтам и поэзии того поколения.

Внимательное изучение поведения Бездомного приводит к мысли, что Булгаков очень тонко пародирует бесчисленные публикации советской “бульварной” прессы о Сергее Есенине. При этом связанные с поэтом скандалы, драки, происшествия, как правило, объяснялись пьянством. Во всяком случае, такова была официальная версия советской прессы и советского литературоведения.

И вот Булгаков в своём романе фактически высмеивает эту версию – Бездомный не пьян, но встретившись с чертовщиной и “дьявольскими штучками”, пытается бороться, ведёт себя так, что его принимают за пьяного: *“Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принёс. Две какие-то девицы шарахнулись от него, и он услышал слово “пьяный!”*. Далее в сцене у “Грибоедова”: *“Бас сказал безжалостно: – Готово дело. Белая горячка”* [3; т. 5, с. 50, с. 63].

Любопытно, что и сам Есенин, многократно попадавший в милицию, в своих письменных показаниях так же, как правило, объяснял свое поведение “нетрезвым состоянием”\*. Дело в том, что в те времена это считалось смягчающим обстоятельством и позволяло в каких-то случаях избежать уголовной ответственности. Но на самом деле существуют воспоминания близких родных Есенина, близких друзей и подруг, что “срывы” у Есенина были редки, а есенинский “алкоголизм” многократно преувеличен тогдашней прессой. Например, в своих воспоминаниях подруга Есенина Надежда Вольпин, как о чём-то второстепенном, замечает, что во время застолья в “Стойле Пегаса” поэт *“пьёт мало (как обычно, только вино – не водку)”* [10, с. 406].

А вот желающих выпить с известным поэтом, да ещё за его счёт, было предостаточно, и Есенин попадал на этой почве в скандалы и переделки. “Друзья” каким-то образом всегда разбегались в последний момент, а милицию всегда интересовал только Есенин. Потом все эти события живописались в советской “жёлтой” прессе.

В этот период Булгаков работал в газете и уже налаживал связи с театральным миром. Случай в Малом театре в апреле 1924-го весьма напоминает поведение поэта Бездомного.

Есенин и писатель Всеволод Иванов зашли к одной из артисток в гримёрную. Когда она ушла на сцену, *“попросили у уборщицы стаканы и, пользуясь одиночеством, изрядно распили принесённое с собою вино”*. Потом в антракте артистка вернулась для переодевания, попросила “гостей” удалиться, но якобы вразумить их не удалось даже с помощью администрации и работников театра. Вызвали милицию: *“Увидя милиционера, Есенин бросился бежать по коридору, причём по пути на лестнице он ударил шедшего навстречу Володю Богачёва – мальчика, на обязанности которого было вызывать актёров к их выходу. Это возмутило Н. О. Волконского (режиссёра театра. – В. М.), и он, обладая значительной физической силой, нагнав Есенина, крепко ударил его в спину. Есенин продолжал бежать и, не зная расположения закулисных помещений, чуть было не выскочил на сцену во время хода действия. К счастью, его успел схватить стоявший на выходе артист А. И. Истомина <...> Есенина повели в кабинет администратора и там*

---

\* Из показаний Есенина в 48-е отделение милиции Москвы: “6-го сентября по заявлению Дип. курьера Рога я на проезде из Баку (Серпухов – Москва) будто бы оскорбил его площадной бранью. В этот день я был пьян. Сей гражданин пустил по моему адресу ряд колкостей и сделал мне замечание на то, что я пьян. Я ему ответил теми же колкостями” (протокол допроса от 29/X 1925) [11; т. 7, кн. 2, с. 263–264].

начали составлять протокол”. Туда же зашёл режиссер И. С. Платон. “Увидя его, Есенин, внимательно всматриваясь в лицо Ивана Степановича, не без иронии и сарказма спросил его: “А что вы сделали для революции?!””, после чего И. С. Платон тотчас же скрылся. Составив протокол, милиционер вывел Есенина из театра, и этим инцидент был исчерпан” — [11; т. 7, кн. 2, с. 346–348].

Эпизод с Платоном показывает, что Есенин был не столь пьян, чтобы требовалась помощь милиции. По этому поводу близко знавшая его С. Виноградская вспоминала: “Это были обычные истории, которые быстро прекращались, если присутствующие умели подойти к Есенину. И эти же истории легко переходили в скандал в компании тех “друзей”, которые, вместо того, чтобы отвлечь его внимание от того, что его раздражало и вызывало злобу, подбивали его на скандал” [10, с. 25]. В связи с этим и “инцидент” в Малом театре видится совсем в другом свете. И почему писатель Иванов был обойдён вниманием милиции? Изучение биографии Есенина показало, что скандалы с вмешательством милиции происходили только в Москве. Как будто именно там его поджидали “слуги Воланда” или другого “чёрного человека”? Будучи во многих городах СССР, попадая тоже в переделки и неприятности, тем не менее, все проблемы Есенин всё же решал без участия милиции. А в Москве на Есенина было заведено около десятка уголовных дел!

Вот и скандалу, устроенному поэтом Бездомным в “Грибоедовском ресторане”, тоже находится аналог среди есенинских скандалов\*. Они широко освещались в московских газетах, и Булгаков не мог не читать эти статьи, потому что это было как раз в период его работы в “Гудке”.

Газета “Рабочая Москва”, наиболее отличившаяся в травле и клевете на Есенина, 22 янв. 1924 г. опубликовала статью “Новые подвиги поэта Есенина”: “Во 2-м часу ночи, 19-го января в кафе „Домино”, на Тверской ул., зашел прославившийся своими пьяными выходками поэт Есенин. Есенин был сильно пьян.

Швейцар пытался не пустить пьяного в кафе, Есенин набросился на швейцара и силой ворвался в помещение.

— Бей конферансье, — кричал скандальный поэт. Завязался скандал. Швейцар вызвал милицию.

Явился постовой милиционер Громов и предложил Есенину:

— Пожалуйте в 46 отделение. . .

Но справиться одному милиционеру с буйным Есениным было не под силу. Пришлось звать дворника.

По дороге Есенин совсем вошёл в азарт. Дворник и милиционер, не согласившиеся с его лозунгом — “Бей жидов, спасай Россию”, были избиты. При этом поэт совершенно не стеснялся в выражениях, обзывая своих спутников “жандармами, старой полицией, сволочью” и т. д. Попутно обругал Демьяна Бедного и Сосновского (автора провокационных статей о Есенине. — В. М.)

В отделении Есенин продолжал буйствовать, кричать и ругаться.

Пришлось вызвать врача, определившего у Есенина сильную степень опьянения и нервного возбуждения.

Наутро, вытрезвившись, Есенин был отпущен под подписку. Это уже третья по счёту подписка” [11; т. 7, кн. 2, с. 341–343].

Подобным образом, почти всем эпизодам с поэтом Бездомным в романе “Мастер и Маргарита” можно найти аналог в биографии Есенина. Не раз его обворовывали, грабили и раздевали, так что подобно Бездомному, приходилось какое-то время пользоваться чьими-то обносками. Трижды Есенин был пациентом психиатрических больниц, в том числе и за границей.

Несомненно, Булгаков обо всём этом знал, и всё же, если в его романе Бездомный выведен, как своеобразная карикатура на Есенина, то это карикатура совсем другого рода, чем на многих других персонажей. Булгаков явно не был поклонником творчества Есенина, и это он тоже отразил в образе Бездомного. Однако Мастер, прототипом которого является сам Булгаков, и Бездомный (Есенин) оказываются в романе товарищами по несчастью, оба

---

\* Свой последний скандал Есенин устроил перед отъездом в Ленинград в конце декабря 1925 г. в писательском “Доме Герцена”, ставшем прототипом “Дома Грибоедова” в романе “Мастер и Маргарита”.

в итоге находят прибежище от “чертовщины” внешнего мира в психиатрической больнице, дружески и доверительно общаются!

Что же этим хотел показать Булгаков, в чем тут аллегория, что здесь скрыто между строк? Как говорится, сказка — ложь, да в ней намёк...

Булгаков видит и себя, и Есенина, талантливейших русских людей, попавшими в ненормальные условия. Это мир вокруг сумасшедший, и тогда в этом мире остаётся одна дорога для таких людей — больница или психушка, и далее смерть. При этом Булгаков самокритичен — Мастер и Маргарита в итоге идут на сделку с дьяволом и уходят в мир иной, а поэт, хоть и с советских, атеистических позиций, но не приемлет дьявола. Он держится за жизнь, даже оставшись “тяжко больным”, чьё душевное равновесие зависит от уколов и лекарств.

Можно понять, что Булгаков не верил тем нагромождениям лжи в советской прессе о Есенине, хотя бы потому, что подобной травле и клевете постоянно подвергался сам. И образ Бездомного явился глубоким проникновением в истинный образ Есенина. В романе поэт Бездомный только ведёт себя как пьяный, но ни разу не пьёт. Тем самым читатель подводится к выводу, что “пьянство” Есенина раздуто в прессе, и не это главное в его жизни. А вот поэт Рюхин, напротив, показан пьющим водку “рюмка за рюмкой”.

Этот вывод соотносится с воспоминаниями С. Виноградской: “Просто мерзко слушать “предположения”, что Есенин писал стихи пьяным. Ни разу в жизни ни одной строчки он не написал в нетрезвом состоянии!” [10, с. 29].

А как же главный миф советской прессы и советских официальных кругов о “самоубийстве” Есенина? Есть ли в сюжетной линии романа, связанной с поэтом Бездомным, суждения Булгакова о гибели поэта Есенина?

Зная отношение Булгакова к лживости советской прессы, уже понятно, что Булгаков явно не верил в созданный ею миф о самоубийстве поэта\*. Косвенно этот вывод следует из сохранившихся строчек дневника писателя: “Мельком слышал, что умерла жена Будённого. Потом слух, что самоубийство, а потом, оказывается, он её убил. Он влюбился, она ему мешала. Остаётся совершенно безнаказанным.

По рассказу — она угрожала ему, что выступит с разоблачениями его жестокости с солдатами в царское время, когда он был вахмистром” (запись от 17 дек. 1925 г.).

А вот дальнейшие записи в дневнике писателя не сохранились, и, как видно, не случайно. Там должны были быть мысли Булгакова по поводу смерти Есенина. Но 7 мая 1926 года к писателю пришли с обыском, изъяли дневник, рукописи (в том числе “Собачье сердце”). Ныне известны только фрагменты дневника за 1925 год. Причём в основном только за январь\*\*.

Поэтому призовём на помощь логику и зададимся вопросом, почему КГБ, возвращая копию дневников в архив Булгакова много десятилетий спустя во времена перестройки, сохранил фрагмент о преступлении Будённого, а о смерти Есенина изъял? Почему, несмотря на то, что теперь имеются неопровержимые доказательства убийства Есенина [12, 13], нынешние российские власти до сих пор отказываются признать это официально?

Ответ на оба эти вопроса один: потому что преступление Будённого, совершил он его или нет, это дело частного лица, дело семейное. Преступление против Есенина — это преступление государства против своего гражданина, знаменитого российского поэта. Преступление это настолько мерзкое

\* О “зомбированности” даже серьезных советских литературоведов официальной версией смерти Есенина можно понять на примере М. Чудаковой. Если отмечается, что для Булгакова и его друзей “самоубийство Есенина прошло в их кругу “незамеченным” [2, с. 505], то и мысли не возникает о возможности убийства поэта. Если приводится суждение Булгакова в период тяжелой болезни (1939), что при самоубийстве “есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется” [2, с. 505–506], то забывают узнать, что у Есенина это оружие имелось. Когда об этом напоминают, то начинаются намеки на “внезапное безумие” или “алкоголизм” поэта, и т. п.

\*\* У Булгакова изъяли три тетради дневников за 1921–1925 годы, рукопись под названием “Чтение мыслей”, и ещё два чужих стихотворных текста, имевших отношение к Есенину: “Послание евангелисту Демьяну Бедному” и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет [14]. “Послание” тогда приписывали Есенину, но сейчас многие исследователи в его авторстве сомневаются.

и подлое, что в нём не хотят сознаться даже теперь, через 90 лет. Но все честно мыслящие люди имеют возможность в этом преступлении убедиться, все документы, десятилетия бывшие запретными, опубликованы в интернете племянницей поэта Светланой Петровной Есениной.

Величие Булгакова состоит и в том, что он не написал ни единой лживой строчки о смерти Есенина, даже в аллегорической форме.

Но как же тогда понимать сведения о Бездомном из эпилога романа? О нём повествуется, когда он уже “лет тридцати или тридцати с лишним”. А это как раз возраст Есенина в 1925 году, на момент смерти. Бездомный оставил поэтические занятия, как и обещал Мастеру, теперь он “сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырёв”. С помощью врачей, лечения и постоянных уколов он почти “нормальный”: “Он знает, что в молодости стал жертвой преступных гипнотизёров, лечился после этого и вылез” [3; т. 5, с. 381].

Трудно поверить, что Есенина, если бы он остался жив, ожидала подобная судьба. Но мог ли разумный человек, такой, как писатель Булгаков, поверить в самоубийство Есенина? Например, что и Есенин стал “жертвой преступных гипнотизёров”? Вот и приходим к выводу, что эпилог романа содержит аллегорическую пародию на версию самоубийства поэта. Ведь если поэт отказывается от своей поэзии, это тоже своего рода духовное самоубийство.

С точки зрения Булгакова, за свою жизнь неоднократно оказывавшегося в трудных, и, казалось бы, безвыходных ситуациях, Есенин был “баловень судьбы”. Множество изданий с радостью печатали его произведения, ему предлагали редактировать журнал, готовилось к изданию его собрание сочинений. Булгаков об этом мог только мечтать, ему вскоре после смерти Есенина пришлось оставить сначала карьеру писателя, потом драматурга, режиссера и заниматься подённой работой либреттиста и сценариста. А ведь именно литературный или театральный успех и составляет смысл жизни литератора.

Недаром в заключение своих воспоминаний С. Виноградская писала о Есенине: “Издание полного собрания занимало его. Он заранее предвкушал шуршать первый том своих стихов и говорил: — Вот в России почти все поэты умирали, не увидав полного издания своих сочинений. А я вот увижу своё собрание. Ведь увижу!” [10, с. 36].

Имеется подтверждение и в письме Есенина: “Этого собрания я желаю до нервных вздрагиваний. Вдруг помрёшь — сделают всё не так, как надо” [11, т. 6, с. 184].

Разумеется, писатель и литератор Булгаков и не мог поверить, что поэт и литератор Есенин вдруг потерял разум, и сам лишил себя такой желанной возможности. Ведь Булгаков был вынужден долгие годы в конце жизни вообще писать “в стол”.

Советские пресса, литературоведение и пропаганда многие десятилетия вдалбливали в головы людей абсурдную ложь о самоубийстве Есенина. К сожалению, вольно или невольно унаследовала эту ложь и нынешняя российская власть\*.

В заключение вспомним, что, по мнению М. Чудаковой, герой, названный впоследствии Мастером, входит в замысел романа не ранее 1930–1931 гг. [2, с. 499]. Но к этому времени уже вышла книжка В. Эрлиха “Право на песнь” [10, с. 194], где приводится такое суждение Есенина о мастерстве поэтов: “Все они думают так: вот — рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Чёрта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь “Пугачёва”? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть — вот тогда ты мастер!..”.

Здесь выражена мысль, приложимая не только к стихам, но и вообще к художественным произведениям, — в работах настоящих мастеров всегда содержится гораздо больше того, что видит поверхностный взгляд. Повлияли на Булгакова эти строки или нет, читал он их или нет — в своих произведениях он тоже следовал этому есенинскому завету.

---

\* Досье “органов” на Булгакова, которое вели с 1922 г., стало доступным для исследователей [14], а вот вопрос, где соответствующее досье на Есенина, остаётся без ответа даже для родственников поэта.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Воспоминания о Михаиле Булгакове: сборник. М., Советский писатель, 1988.
2. М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., Книга, 1988.
3. М. А. Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. М., Художественная литература, 1990–1992.
4. Л. Е. Белозерская-Булгакова. Воспоминания. М., Художественная литература, 1989.
5. Б. В. Соколов. Булгаков: Энциклопедия. М., Алгоритм, 2003.
6. Дневник Елены Булгаковой. Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. М., Кн. палата, 1990.
7. Н. Шубникова-Гусева. Сергей Есенин и Галина Бениславская. С.-Петербург, Росток, 2008.
8. А. Кураев. “Мастер и Маргарита”: за Христа или против? – <http://kuraev.ru>.
9. Летопись жизни и творчества С. А. Есенина. В пяти томах. М., ИМЛИ РАН, 2003–2005.
10. Мой Есенин. Воспоминания современников. Екатеринбург, У-Фактория, 2008.
11. С. А. Есенин. Полное собрание сочинений: В 7 т. – М., Наука; Голос, 1995–2002.
12. С. П. Есенина. Истина видится на расстоянии (Вновь о гибели С. Есенина). – <http://esenin.ru>.
13. В. Мешков. Убийство Сергея Есенина. – <http://esenin.niv.ru>.
14. В. Шенталинский. Мастер глазами ГПУ. За кулисами жизни Михаила Булгакова. Новый мир, 1997, № 10.
15. В. Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть. М., ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

г. Симферополь

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА

## ШУКШИН — ЕСЕНИН В ПРОЗЕ

*Есенинские традиции в творчестве В. М. Шукшина*

*...Есенин — поэт мировой трагедии, экзистенциально-глубочайший, с чистой душой. Когда ничего нет у человека — одна душа осталась и все тело — душа, сплошная ранимость. Как вот и Шукшин потом таков: вздрагивающий каждой артерией и нервом пёс.*

Г. Гачев. Встреча с Есениным  
в Солотче

Не так уж много в русской литературе писательских имен, разительно совпадающих по нравственным, художественно-эстетическим воззрениям, а также по тематике в своём творчестве, как В. М. Шукшин и С. А. Есенин.

Есенин для Шукшина всегда был “знаковой” фигурой в духовной жизни России. Об этом свидетельствуют его многочисленные высказывания в публицистических статьях, это нашло яркое выражение в его художественном творчестве.

Сам Шукшин так выразил свое отношение к Есенину: “Любимый мною Сергей Есенин — он тоже из крестьян, тоже от “сохи”, но он — поэт далеко не крестьянский, а общенародный, потому что он, играя на своей берёзовой мужицкой лире, сумел затронуть её звуками душу каждого — от самого простого мужика до суперинтеллекта. А удалось ему добиться этого тем, что лира его издавала звук вечной общечеловеческой правды”.

И Шукшин желал “каждому литератору иметь на земле своё Константиново”.

Для Шукшина его “малая родина”, его “Константиново” — это родное село Сростки, которое щедро питало его творчество и темами, и образами, и горькими раздумьями.

Поэзия Есенина, его образ сопутствовали Шукшину всю его жизнь. Знавший Шукшина Лев Колодный вспоминает такую любопытную деталь. Когда Шукшин впервые получил московскую квартиру в Свиблово, он первым делом в своём совершенно пустом жилище “швейной иглой к стене” приколол “портрет Сергея Есенина с курительной трубкой во рту”.

Крестьянский сын Есенин называл себя “последним поэтом деревни” и всю свою короткую жизнь воспевал свою “краткую родину”:



*Край любимый! Сердцу снятся  
Скирды солнца в водах лонных.  
Я хотел бы затеряться  
В зеленях твоих стозвонных.*

Шукшин, как и Есенин “гражданин села”, “сельский житель”. “Я родом из деревни, крестьянин потомственный, традиционный”, – говорит он о себе. Его, как и Есенина, многие критики называли “поэтом деревни”.

В русском крестьянстве, по мнению Шукшина, во многих чертах воплотилась “та большая совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки”. И как тут не вспомнить Есенина, который любил “Слушать бабушкины сказки / Про Ивана-дурака”.

Шукшин выводит целую галерею “сельских жителей”: “Ванек-дурачков”, “чудиков” – доверчивых, простодушных, незащищенных. Таков “чудик” Василий Егорыч Князев из рассказа “Чудик”. (Кстати, один из эпизодов этого рассказа – история с потерянной пятидесятирублёвкой – носит биографический характер.) Это и Бронька Пупков из рассказа “Миль пардон, мадам”, сложивший невероятную историю о его якобы неудавшемся покушении на Гитлера, и Мона Квасов, “изобретший” вечный двигатель (“Упорный”), и маляр-шабашник Малафейкин (“Генерал Малафейкин”), выдумавший для себя генеральскую биографию с почестями, орденами, персоналками. Или Ванька Тепляшин, затеявший несуразный скандал в больнице (“Ванька Тепляшин”). Вначале этот рассказ назывался “Ванька-дурак”. И Стёпка из рассказа “Стёпка”, затосковавший о родной деревне и сбежавший из тюрьмы до срока, хотя его срок уже практически заканчивался. О нём Шукшин пишет: “Я такого дурака люблю. Могуч и властен зов родины, откликнулась русская душа на этот зов – и он пошёл”.

Но этим “чудикам” присуще и чувство прекрасного. Многим героям Шукшина знакома и близка поэзия Есенина. И они то цитируют есенинские строки, то распевают песни на слова Есенина. Так, в рассказе “Верую” деревенский поп поёт о “клёне заледенелом”, бежавший из тюрьмы Стёпка с чувством “декламирует” “Ты меня не любишь, не жалеешь”. Есенинские стихи неоднократно звучат в устах героя киноповести “Калина красная” Егора Прокудина.

Но не все персонажи в рассказах Шукшина безобидные “чудики”. Они могут быть и там, где, говоря есенинскими словами, “пьют, дерутся и плачут”. Это уголовник Стёпка, деревенский вор Лёся, Егор Прокудин из повести и фильма “Калина красная” и др.

Шукшин сострадает своим “заплутавшим” героям, оторвавшимся от своей родной почвы, жалеет об их исковерканной судьбе. Ему, как и Есенину, жалко “тех дурашливых, юных, / Что сгубили свою жизнь сгоряча”.

Но любя и сострадая своим героям – “сельским жителям”, Шукшин не идеализирует их, а стремится воссоздать их предельно правдивый образ. “Корявыми немытыми речами они свою обсуживают “жись”. Они одновременно добрые и злые, щедрые и жадные, мудрые и глупые.

Шукшин с горечью наблюдает, как некоторые выходцы из деревни воспринимают только внешние приметы городской культуры: модную одежду, причёску, современные западные танцы. Но в то же время ему больно, когда горожане высмеивают его земляков за неусвоение городского манера, за неуклюжее поведение. И здесь мы вновь улавливаем переключку с Есениным:

*Город, город, ты в схватке жестокой  
Окрестил нас как падаль и мразь.*

Но было бы несправедливо считать, что Шукшин непримиримо отрицает город, городскую культуру. Нет, для него: “Город – это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город – это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. Город – это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин”.

И Есенин при всей его привязанности к деревне признается, что и город близок ему. Вспомним его строки, посвящённые Москве:

*Я люблю этот город вязевый,  
Пусть обрюзг он и пусть одрях.  
Золотая дремотная Азия  
Опочила на куполах.*

Шукшин болезненно переживал состояние некоторой своей “двойственности”. Уехав из деревни и став городским жителем, признавался, что он “...ни городской до конца, ни деревенский уже”. И своё состояние он объяснял так: “...одна нога на берегу, другая в лодке”. Эти слова соотносятся с есенинским признанием: “Стремясь догнать стальную рать, / Скольжу и падаю другою”.

Это состояние человека, оторвавшегося от родной почвы, Шукшин отразил в рассказе “Вечно недовольный Яковлев”. Бывший сельский житель Борис Яковлев, пожив в городе, “преобразился” и теперь считает, что имеет право высказывать своё презрение к “деревенскому быдлу”.

Образ родины – один из самых заветных для Шукшина и Есенина. Так Шукшин находит самые проникновенные слова, говоря о своём чувстве родины: “...Всю жизнь мою несу родину в душе, люблю её, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько...”. И далее: “Родина... она и живет постоянно в сердце, и образ её светлый погаснет со мной вместе...”.

Родина и деревня сплавлены воедино и у шукшинских героев. Об этом его рассказы “Два письма”, “И разыгрались же кони в поле”, “Ваня, ты как здесь?!” и многие другие.

В этом Шукшин близок Есенину, у которого образ деревни неизменно сливается с понятием родины. Стоит ли перечислять стихи и поэмы Есенина о родине, ставшие уже хрестоматийными: “О, Родина!”, “Край любимый! Сердцу снятся...”, “Гой ты, Русь, моя родная...”, “Русь советская”, “Русь бесприютная”, “Русь уходящая” и др.

*Но люблю тебя, родина кроткая!  
А за что — разгадать не могу.  
Весела твоя радость короткая  
Громкой песней весной на лугу.*

Описание природы у Шукшина порой воссоздано в чисто есенинской стилистике. Вот красноречивый фрагмент из эпиграфа к рассказу “И разыгрались же кони в поле”:

*Тихо в поле.  
Устали кони...  
Тихо в поле —  
Зови не зови.  
В сонном озере, как в иконе, —  
Красный оклад зари.*

У Шукшина, как и у Есенина, природа очеловечена, он широко пользуется приемом антропоморфизма. Наглядный пример – описание ледохода: “Лед прошел по реке. Но ещё отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше – умирать”. У Есенина примеров одушевления природы множество: “Отелившееся небо / Лижет красного телка”.

Герои Шукшина органически слиты с природой. Герой рассказа “Воскресная тоска” так передаёт это ощущение: “Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в её груди глубоко шевелится огромное сердце”.

Образ русской берёзки, так проникновенно воспетой Есениным, близок и Шукшину. В “Калине красной” Егор Прокудин в тяжёлый час ищет утешения, обнимая в слезах белоствольную березу, как живое существо, способное сопереживать.

Примечательно, что для Шукшина, как и для Есенина, характерна поэтизация крестьянского труда. Всё, что связано с природой, – прекрасно,

в частности, такое исконно крестьянское занятие, как покос. В рассказе “Земляки” читаем: “Нет милее работы-косьбы... Сочно посвистывая, сечёт коса; вздрагивает, никнет трава...”

В статье “Вот моя деревня...” Шукшин передает своё личное восприятие: “Покос. Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора”. И сразу в памяти — Есенин:

*К чёрту я снимаю свой костюм английский.  
Что же, дайте косу, я вам покажу —  
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,  
Памятью деревни я ль не дорожу?*

*Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.  
Хорошо косою в утренний туман  
Выводить по долам травяные строчки,  
Чтобы их читали лошадь и баран.*

Разительно совпадает мироощущение Шукшина и Есенина, в том числе такая его составляющая, как любовь и сострадание к “братьям нашим меньшим”. Для Есенина все живые твари объединены понятием “родина”:

*О родина, счастливый  
И неисходный час,  
Нет лучше, нет красивей  
Твоих коровьих глаз.*

Известно, что у Есенина есть целый цикл стихов, посвященных “братьям нашим меньшим” (“Корова”, “Табун”, “Песнь о собаке”, “Лисица”, “Собаке Качалова”, “Сукин сын”, “Лебёдушка” и др.). Невозможно перечислить всех представителей “крестьянской фауны”, к кому бы ни обращал Есенин своё радостное или сострадательное слово. Для него “есть везде родные сердцу куры”; он с восторгом погружается “в море голосов воробьиных”.

Герои Шукшина также полны сострадания к “братьям нашим меньшим”. Так, старик Никитич из рассказа “Охота жить” сурово осуждает браконьеров, для забавы отстреливающих таёжных обитателей: “За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты её, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Бес-толковое дело — душу на зверье тешить”.

А с каким отчаянием спасают сельчане погибающих коров, единственных кормилиц в голодные послевоенные годы (“Земляки”). Или, например, детские воспоминания Ивана Попова о своей голодающей деревенской корове Райке в те же тяжкие годы, когда ему с чувством “нестерпимой боли” приходится “видеть её, понурую, всю в инее, с печальными глазами”.

Страстно тоскует о своём жеребце Буяне сельский житель Минька, живя в городе: “Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко зануло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь”. Как это созвучно есенинскому стихотворению “Табун”! И подобные примеры можно множить бесконечно.

Пронзительно воспета Есениным материнская любовь, её жертвенность, её всепрощение. Широко известны его стихи на эту тему: “Матушка в Купальницу по лесу ходила...”, “Письмо матери”, “Письмо от матери”, “Разбуди меня завтра рано...”, “Молитва матери” и др.

Светлый образ матери Шукшин, как и Есенин, пронес через всю жизнь, он глубоко чувствовал нерасторжимую с нею кровную связь. Теме материнской любви посвящен целый ряд его рассказов.

Материнское горе неизменно вызывает чувство сострадания у шукшинских героев. В рассказе “В воскресенье мать-старушка” жители деревни толпой собираются вокруг своего односельчанина Гани и со слезами на глазах слушают его жалостливые песни о несчастной старенькой матери, у которой сын сидит в тюрьме. Передачу для него у неё не принимают, и она узнаёт, что он: “Прошлой ночью был расстрелян / И отправлен на тот свет”.

Та же тема в рассказе “Материнское сердце”, где мать Митьки Борзенкова пытается самоотверженно, но неумело защитить своего непутевого сына:

“Материнское сердце, оно – мудрое, но там, где замыачила беда родному дитю, мать неспособна воспринимать посторонний разум”.

Герой “Калины красной” Егор Прокудин, на долгие годы оставивший мать без заботы и попечения, а потом посетив её, с ужасом осознает свой тяжкий грех, за который нет ему оправдания.

О материнской любви и одиночестве – рассказ “Письмо”. Особо стоит отметить рассказ “Сны матери”, содержание которого, по сути, автобиографично. В нем Шукшин пересказывает сновидения своей матери, порой провидческие. Описание снов переплетаются с эпизодами жизни всей семьи.

Герои Шукшина не только смиренные “чудики”. В крестьянской среде писатель видит неукротимых бунтарей, стремящихся жить по своей воле. Таков деревенский разбойник Лёся (“Лёся”), бедовый Спирька Расторгуев, прошедший фронт и тюрьму (“Сураз”), Стёпка, бежавший из заключения до срока (“Стёпка”), рецидивист Егор Прокудин (“Калина красная”).

Не будет преувеличением сказать, что роман Шукшина “Я пришёл дать вам волю” о Степане Разине написан под впечатлением от поэмы Есенина “Пугачёв”. Об этом имеется ряд свидетельств. Так, близкая знакомая Шукшина О. М. Румянцева вспоминает, какое сильное впечатление произвёл на него записанный на пластинке монолог Хлопуши из поэмы “Пугачев” в исполнении Есенина, который Шукшин прослушал, обливаясь слезами.

Обращаясь к страницам русской истории, Есенин и Шукшин избирают в качестве главных героев один и тот же тип людей – поборников за права народные. Они оба особо выделяли эти произведения в своём творчестве. О своём “Пугачёве” Есенин с гордостью говорил, что “это действительно революционная вещь”. Приведём и слова Шукшина о его любимом герое: “Разин для меня – вся жизнь”.

При создании произведения о Разине Шукшин практически проделал тот же путь, что и Есенин в работе над “Пугачёвым”: замысел – собирание народных легенд и преданий – изучение огромного архивного и научно-исследовательского материала – поездка по тем местам, где разворачивались события, связанные с восстанием Разина. Поездки Есенина “от песков Джигильды до Алатыря”, в оренбургские степи, дали ему возможность достаточно точно воспроизвести географию событий.

Многое объединяет Шукшина с Есениным в воссоздании образов народных заступников. Разин, как и Пугачёв, полон сострадательной любви к простому народу. У Есенина – “Яик, Яик, ты меня звал стоном придавленной черни”. Для Разина: “Мне кто обижен, тот свой”. И это сострадание как бы перелито из сердца создателей этих образов. Примечательно в этом отношении высказывание В. И. Вольпина, писавшего о есенинском Пугачёве: “... Сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой”.

Глубоко впечатляет в связи с этим воспоминание жены Шукшина – Л. Н. Федосеевой-Шукшиной. Когда Шукшин дописывал последние страницы романа “Я пришел дать вам волю”, он попросил Лидию Николаевну: “Ты сегодня не ложись, пока я не закончу казнь Стеньки... Я чего-то боюсь, как бы чего со мной не случилось...” Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий: с Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было разобрать слова: “Тако-о-го... мужика... погу-у-били-ли... сволочи”.

Для обоих писателей их любимые герои – Разин и Пугачёв – не были просто стихийными, необузданными бунтарями. Пугачёв – талантливый, дальновидный военачальник, одержавший неоднократные победы над царскими войсками. Сам Есенин, по воспоминаниям И. Н. Розанова, говорил о своем Пугачёве: “... Он был почти гениальным человеком...”. А Шукшин так характеризует Разина: “... Человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый”.

Шукшин, как и Есенин, не наделяет своего героя ореолом праведника. Пугачёв с горечью признается: “Долгие, долгие тяжкие года / Я учил в себе разуму зверя...”

А Шукшин о своем герое: “... Разин не был агнец с цветком в руке, рука его держала оружие и несла смерть”. Он стремится объяснить вынужденную жестокость народных вождей: “Если этот день свободы на Руси занимался в кровавое утро, то как же отнять у него жестокость?”

Разин и Пугачёв – трагические фигуры русской истории. Их борьба за по-пранную “чернь” куплена большой и порой несправедливой кровью. Об этой сущности народного повстанческого движения и роли их вождей убедительно сказано в статье Сергея Куняева, посвящённой анализу образа Пугачёва. В нём “трагически обнажились потаённые глубины человеческой природы – светлые, гуманистические начала и тёмные, звериные, идущие от первобытных инстинктов. Борьба за свободу, за лучшую жизнь была сопряжена с убийствами и кровью...”

Разин, как и Пугачёв, натура мятущаяся, сотканная из противоречий. Он то совершает хождение в Соловки на богомолье, то “самолично ломает через колена руки монахам и хулит церковь”.

У обоих писателей в их героях мучительно сопряжены два противостоящих полюса человеческой личности: добро и зло. Пугачёва мучает то, что он выдает себя за императора Петра III; Разина – что он распространяет слух о том, что его повстанческое войско сопровождают патриарх Никон (хотя тот находится в это время в ссылке в Феропонтовом монастыре) и царевич Алексей Алексеевич (которого уже нет в живых).

Разин признаётся: “...Ноша проклятая – постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая...”. Скорбит Пугачёв, не вынося тяжести чужого имени:

*Тяжко, тяжко моей голове  
Опушать себя чуждым именем.  
<...>  
Знайте, в мёртвое имя влезть —  
То же, что в гроб смердящий.*

Но помимо железной воли, Есенин и Шукшин наделяют своих героев теплыми человеческими чертами. Им присуще лирическое восприятие родной природы. Пугачёв признаётся: “Мне нравится запах травы, холодом подожжённой, / И сентябрьского листопада протяжный свист”. Или: “Я умею, на сутки и версты не трогаясь, / слушать бег ветра и твари шаг, / Оттого, что в груди у меня, как в берлоге, / Ворочается зверёньшим тёплым душой”.

У Шукшина в романе “Я пришёл дать вам волю” есть целый ряд эпизодов, где Разин, как бы растворяясь в родной природе, испытывает состояние блаженства и покоя: “Солнце медленно погружалось за степью – можно даже глазом заметить, как оно уходит всё глубже и глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился чёрным. Зато вся степь, от реки до солнца, далёкие курганы и близкий кустарничек, всё высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленный и ещё раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе, – шагать по ней и шагать из конца в конец, – своя она, мы родились тут. И даже ложиться в неё не так уж страшно. Что-то такое – похожее – успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце”.

Есенин жил и творил на переломе двух эпох. В детстве он был воспитан в православном духе родителями и учителями церковной Спас-Клепиковской школы. После Октябрьской революции при наступлении атеистического времени Есенин пытается уверовать в новые идеалы, отрешиться от былых религиозных предстаний, привитых ему в детские годы. Он до конца своих дней жил в мучительных метаниях от веры к безверию и опять к вере: “Стыдно мне, что я в Бога верил, / Горько мне, что не верю теперь”.

Что касается Шукшина, то эта тема практически не затрагивалась в исследованиях его творчества. Шукшин – человек другой эпохи, коммунист, но как же сильна была в нём тяга к высшей духовности! Он заявляет, что для него понятие родина, “совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного” сочетается с “древней простой красотой храма”, “иконой”, и “Есениным”.

Был ли Шукшин истинно верующим, трудно сказать, но близкие друзья вспоминали, что он всегда носил с собой металлическую обложку из церковной книги, где был изображен Иисус Христос. По словам доцента режиссерского факультета И. А. Жигалко, в обширном кругу чтения Шукшина была

и Библия. Сам Шукшин вспоминал, что когда он выдавал замуж сестру, ему очень хотелось, чтобы был соблюден церковный обряд, но он опасался, что его “вызовут потом на бюро и всыплот”. Он признавался, что много размышлял о том, “в чём же жизнестойкость образа Христа, если он работает столько времени”.

Взыскуют Бога как высшее духовное начало и герои Шукшина. Они порой мечутся в непонятной тоске, мучительно осознавая душевную пустоту. Герой рассказа “Верую” Максим Яриков, не выдержав душевной маеты, бросается за утешением к деревенскому попу. Тот весьма своеобразно объясняет ему, что есть Бог: “Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея — борется со злом. Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этому не предвидится”. И заключает: “...Бог есть. Имя ему — Жизнь. В этого Бога я верю. Это — суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло, вместе — это, собственно, и есть рай”.

Примечательно, что в этом контексте священник вспоминает и Есенина: “Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей”.

Мается от душевной пустоты и другой герой Шукшина: Тимофей Худяков из рассказа “Билетик на другой сеанс”, и причину своей тоски он объясняет так: “Не верим больше — вот и тоска. В боженьку перестали верить, вот она и навалилась, матушка. Церкви позакрывали, матерщинничаем, блудим...”

Вопрос веры — довольная частая тема споров среди односельчан. В рассказе “Гена Пройдисвет” происходит ожесточенная дискуссия, перерастающая в драку между Генкой и его дядей Гришей, вдруг страстно уверовавшим в Бога.

Старинные сельские храмы пробуждают в сердцах героев Шукшина жалость и страдание при виде их медленного разрушения. Так, Сёмка Рысь из рассказа “Мастер”, любясь красотой старинной “церкви белой, изящной, легкой”, загорается желанием восстановить её в былом великолепии и безуспешно пытается найти поддержку у местного начальства.

А как негодуют герои Шукшина, когда сносится “на кирпич” местная церковь, в которой когда-то “отпевали усопших дедов и прадедов”, а “люди постарше все крещены в ней” (“Крепкий мужик”).

Известно, что Есенин после свершения Октябрьской революции искренне пытался понять и уверовать в новые идеалы. Но постепенно осмысляя происходящее, он не всё начинает принимать в современной действительности и испытывает определенное разочарование. Так, в письме к Е. И. Лившиц от 11 августа 1920 года он размышляет: “Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжёлую эпоху умерщвления личности... Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал...”. Есенин никогда не хотел быть “казённым”, “официозным” поэтом. А. К. Воронскому в одной из бесед он сказал: “Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду”.

Шукшин тоже никогда не стремился “петь под дудочку”. Он заявляет: “Как художник я не могу обманывать свой народ — показывать жизнь только счастливой... Правда бывает и горькой”. Он восставал против образов “сусальных” казённо-положительных героев, насаждавшихся в советском кино и литературе. “В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный”.

В то же время В. М. Шукшин не был “демонстративным диссидентом”, ориентирующимся на западную демократию. Ему были дороги нравственные устои, выработанные за столетия русским народом, и он мечтал, чтобы они полностью восторжествовали в современной ему жизни. Доказательство тому — всё его творчество.

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

## МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТАЙНА ПОЭТА

*Не ты ль так плачешь в небе,  
Отчалившая Русь?*

С. Есенин, “Иорданская  
голубица”, 1918 г.,  
с. Константиново

Обращаясь к имени великого национального русского поэта, мы с горечью и растерянностью можем сказать, что Сергей Александрович Есенин нами далеко еще не разгадан, впрочем, как и вся трагическая плеяда “новокрестьянских” поэтов, — этот святой ореол праведников и мучеников, обрамлявших собою и есенинскую судьбу.

“Новокрестьянцы”, возникнув как бы ниоткуда, — из самой глубины народной, как калики — вестники грядущего Апокалипсиса, явились вдруг и погибли один за другим, подсечённые под корень чужой, вненациональной, жестокой волей. А. Ганин, С. Клычков, Н. Клюев, П. Орешин, П. Васильев — все они были беспощадно уничтожены. В чередё этого чёрного мартиролога просвета нет, и гибель Есенина видится однозначно: его, безусловно, изжили, и вопрос остаётся — как и кто? Вопрос не праздный, хотя и не для нашего уже суда. . .

Но как, откуда, почему он возник, этот внезапный, как взрыв, выплеск иной, никем не ожидаемой культуры, который “патрицианская” поэзия “серебряного” века восприняла, в общем-то, как ярмарочный балаган: только самые пронизательные из “патрициев” почувствовали, что имеют дело с чем-то большим, гораздо более серьезным даже, нежели они сами (см. переписку Блока с Клюевым).

Характерна и внешняя “встреча” представителей двух культур: “Толстые дамы лорнировали его (Есенина) в умилении, и стоило ему только произнести с ударением на “о” “корова” или “сенокос”, чтобы все пришли в шумный восторг. — “Повторите как вы сказали: ко-ро-ва? Нет, это замечательно!..” — А Сергей, улыбочиво и терпеливо мигая глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: “Чего они не поняли?..” В обращении с теми, кого он тогда еще не думал и не хотел называть “чужим и хохочущим сбродом”, была в Сергее какая-то укладливая вежливость, патриархальная крестьянская благовоспитанность” (В. Чернявский “Первые шаги”).

Этот феномен выхода “низовой” культуры в сферы “верхней” едва ли не единственный в мировой литературе (Никитин и Кольцов в этой ситуации — лишь предвестники), — никогда не будет разгадан без подробного анализа

самой крестьянской культуры, её обрядно-календарного оснащения, без понимания, что и само крестьянское православие – это сложнейший комплекс наложения христианства на то, что неверно назвали язычеством; без понимания, что и наша современная фольклористика, этнография и история, порождённые опять-таки “патрицианскими” хождениями в народ, – зашли в тупик.

Утилизированные обломки национальной культуры, ставшие ныне докторскими диссертациями, где все перепутано, где полностью разобщены миф, обряд и язык; где миф производится из обряда, а иногда наоборот, где и сказка трактуется как вульгаризированный миф; где громадный мифологический свод (двадцать томов по пятьдесят листов) русских старин, нелепо определённый как средневековый эпос, ещё и наполовину и не издан; где загадка зеркально совпадающих обрядов похорон и свадьбы так и остается на уровне национальной прихоти; где древнейшие обряды Коляды, Проводов Стрелы, Семика и т. д. считаются заимствованными у латинян, где понятия “изба”, “двор”, “поле” и пр. всё так же семантизируются на уровне прошлого века; где удивительный русский орнамент, глубоко сакральный по сути, считается заимствованным у финно-угров; где так и не прочитана семантика покроя мужской сорочки, женского сарафана с отстегивающимися рукавами, “смертной одежи”, рушника, рукотёрта, убруса, скатерти и т. д.; где изумительный банный обряд и обряд масленичного кулачного боя и не считаясь обрядами; где только что появившиеся областные словари Новгородчины и Пскова, перенасыщенные древнейшими индоевропейскими основами, так и остаются словарями “диалектными”, где докириллическое слоговое письмо (сотни текстов), уже прочитанное и опубликованное, категорически не принимается к сведению; где изумительная “Влесова книга” (книга мифов!) совершенно однозначно считается фальсификатом и т. д. и т. п., – в этой ситуации обращение к “официальной” науке становится бессмысленным.

А ссылки на современные “самодеятельные” или, точнее, “апокрифические” исследования, ввиду их “ненормализованного” состояния, остаются привычно необубедительными.

Однако без знания национальной культуры нам никогда не понять трагической вспышки апокалиптических видений “новокрестьянцев”, в том числе Есенина, – вспышки, может быть, последней на русском поэтическом небосклоне. Ведь это была не прихоть “представителей” определенной среды, не социологизированная идея сопротивления старого – новому, это было глубинное эсхатологическое восчувствование катастрофы Родного в пределах именно необозначенного национального мифостадиала, который для нас и сейчас остается за семью печатями заботами официальной науки.

А Есенин в “Ключах Марии” еще в 1918 году упрекал: “Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих, из храма, как хулителей на св. духа.

При жизни “новокрестьянцев” их творческий метод определялся то как “мистическая сущность крестьянства” (М. Горький), то как “сказочность” (Б. Пастернак), то как “толстовская идеализация” (Д. Мережковский), то как “ржаное апостольство” (В. Князев), то просто как “идеализация прошлого” (О. Бескин), то даже как “вид классово-борьбы” (Е. Усиевич).

Сегодняшнее литературоведение, кое-как наладив взаимоотношения с “новокрестьянцами” и Есениным (А. Михайлов, В. Базанов, А. Марченко, Н. Солнцева, Н. Неженец и др.), в принципе, все так же далеко от понимания внутренней сущности этого явления по причинам уже перечисленным. Хотя: “А может быть (это) обломок древней экологической культуры... воспоминание об утраченном знании, к которому Есенин, благодаря своему феноменальному инстинкту, каким-то чудом оказался причастным?” (А. Марченко А. “Поэтический мир Есенина”. М., 1972 – об одном из отрывков поэмы “Преображение”).

Этот полувопрос, на который нынче нет ответа, как раз характеризует печальное состояние изученности (вернее, неизученности) национального мифосубстрата.

А он обширен, сложен, многотрадиционен. Только выявленных мифологических систем, довольно далеко отстоящих друг от друга, – не менее трёх. Одна из них (северорусская) – совершенно автономна, и лишь в самых архаических моментах (система Дюка-Чурилы) смыкается с ранневедической



(система Дакши-Бхараты). Другая, центральнорусская неожиданно близка с древнеегипетской и раннебиблейской.

Апокрифические исследования (к сожалению, имена авторов ничего читателю пока не дадут) выстраивают огромный национальный Пантеон, связный и стройный, событийные движения которого происходят в строгом порядке, в последовательности, адекватной всем остальным мировым мифостадиалам. Всё это продублировано календарными обрядами, где любой годовой круг повторяет собою и общий – мифологический. Каждый же локальный обряд (свадьба, похороны) сам, в свою очередь, в строгом порядке следует этой неписаной последовательности, равно, как и трудовые обряды (земледельческий, ткацкий). Труд, кстати, это обряд. Всё это пронизано сложнейшей знаковой системой, начиная от архитектуры избы, композиции двора, кончая традиционными предметами быта: прялками, вальками, конской упряжью, ткацким станом, колыбелью, санями и пр., включая орнаменты и покрой одежды, головных уборов и т. д. А сцементировано всё это – языком, Словом. Откуда совершенно очевиден вывод, что язык, миф, обряд и знаковая система – единоисходны и равнопроистекаемы, а мифостадиальное запечатление мира восходит в глубины едва ли не изначальные. Такова была великая крестьянская культура, и Есенин всё это прекрасно понимал:

“Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов” (“Ключи Марии”).

Есенин, до 17 лет проживший в деревне, смог запечатлеть не менее десяти годовых календарно-обрядных циклов, – этого было достаточно для уверенной и окончательной инициации в крестьянскую мифостадиальную культуру, которой он будет сознательно и бессознательно служить всю оставшуюся жизнь.

Надо сказать, что крестьянская культура была, в общем-то, самодостаточна. Она прекрасно исполняла собственное предназначение, и литература, как таковая, была ей не нужна. Литература не являлась тем обрядом, который мог бы в чём-то дополнить главную мифостадиальную задачу: сохранение Памяти Вида. (Это задача всех мировых мифосистем.) Понятие “писанное” сакрализовалось лишь в собственном изначальном его значении, как нечто, канонизирующее бытие. Крестьянин, входя в литературу, относился к книге не как к предмету труда, но как к богоданному деянию. (Потому-то у большинства “новокрестьянцев” и названия собственных книг были произвольно мифологичны: “Радунца”, “Голубень”, “Преображение”, “Сельский часослов” и т. д. – у Есенина; “Братские песни”, “Мирские думы”, “Песнослов” – у Клюева; “Песни”, “Дубравна” – у Клычкова, и т. д.)

Книга – знак, книга – обряд, книга – весть...

Без всего этого невозможно до конца понять и личный Апокалипсис Есенина, и то, почему судьба поэтического гения и судьба Родины на историческом переломе слились на мифологическом уровне так нераздельно, что это без натяжки можно обозначить двумя условными параллелями:

Россия: Родное – Преображенное – Поруганное – Смертное.

Есенин: “Радунца” – “Инония” – “Москва кабацкая” – “Чёрный человек”.

Вехи весьма упрощенные, приблизительные, но совпадение разительное. И тайна может быть выявлена только на равном мифоэпическом уровне, без погружений в бытовые частности краткой и мучительной жизни поэта, которыми так переполнены и самые свежие исследования, – всегда имея в виду, что поэт – это прежде всего его Слово, а у Есенина еще и Слово-миф о Родине:

*И мыслил и читал я  
По библии ветров,  
И пас со мной Исайя  
Моих золотых коров.*

(“О пашни, пашни, пашни...”, 1918 г.)

## Родное

Есенин счастливо начинался там, где Сущее открывалось и озвучивалось в полной гармонии Мира и Слова, в глубинной русской среде народа-мифоносителя, издавна и глубоко освоившего руками и душой пространство обитания. Воспитанный не отцом-матерью, а, волею судьбы, – предположением, дедом-бабкой, он избежал в детстве избыточного “обмирщевания”, как гово-

рили, восприняв неразрушенное древнее мировосчувствование через духовные книги деда, песни бабки, причеты и речитативы часто гостивших у них монахов, калик перехожих, богомазов.

“Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по сёлам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого” (Автобиография 1924 г.).

Уже невозможно сейчас воссоздать, что мог слышать Есенин, посвящаясь в “русскость”, но, судя по его стихам, это посвящение было и всецельным, и всеполным:

*Льётся пламя в бездну зренья,  
В сердце радость детских снов,  
Я поверил от рожденья  
В богородицын покров.*  
(“Чую радуницу божью...”, 1914 г.)

Здесь совершенно замечательно то, что Есениным выделен главный мифостадиальный абсолют – Богоматерь с животворным Покровом. Этот образ, отсеянный строгим национальным отбором из привнесенных символов христианского Пантеона, в свою очередь параллелен древнейшим символам Омелфы (из северорусской традиции) и Матерь-Сва (центральной), – вечным дарительницам жизни, прикрывающим землю водоносным покровом. (Кстати, и ранее христианство на Руси было Успенско-Покровным):

*Снеги, белые снеги —  
Покров моей родины.*  
(“Сельский часослов”, 1918 г.)

Покров в народной мифологической традиции предопределяет и пространство Николы, равно в той степени, в какой праздники, одноимённые этим символам, следуют друг за другом. Кстати, Есенин-поэт, и это характерно, начинается именно с цикла, посвящённого Миколе:

*В шапке облачного скола,  
В лапоточках, словно тень,  
Ходит милостник Микола  
Мимо сёл и деревень.*  
(“Микола”, 1913-1914 гг.)

Здесь чрезвычайно точно обозначен мифостадиальный статус Николы-зимнего, его облачная сущность, затенённость его мифопространства, что говорит о незапутанном, уверенном понимании Есениным народных символов.

Покров – защита, прикрытие жизни, а под ним – обязательный образ Родины, как долгого пути, дороги:

*Там в полях за синей гущей лога,  
В зелени озер,  
Пролегла песчаная дорога  
До сибирских гор.*  
(“В том краю, где жёлтая крапива”... 1915 г.)

Но Русь, кроме того, что это вековечная дорога под покровом, это еще и тягло-судьба:

*Чёрная, потом пропахшая выть,  
Как мне тебя не ласкать, не любить.*  
(“Чёрная, потом пропахшая выть...” 1914 г.)

Выть=доля=участь=судьба=тягло (а мифостадиально еще и житие, от – вить, повивать, то есть благословлять на жизнь, пеленать; запеленутый, упелен-Апполон и т. д.). Дорога же – это Черные Грязи Прародины, Тёплое Пятно человечества (Шахматов), земная утроба доброго бессолнечного Кисько

(“Влесова книга”), Комонезём — полоса нынешних чернозёмов — след мамонтовой фауны. Кроме того — это и мифостадиальный рай, древний золотой век человечества под облачным Покровом запелёнутого Светила. Но это и рай воочию:

*Гляну в поле, гляну в небо —  
И в полях и в небе рай.  
Снова тонет в копнах хлеба  
Незапаханный мой край.*

(“Гляну в поле, гляну в небо...” 1917 г.)

Как раз такие патриархальные моменты “пейзанской идиллии” или “мужицкого рая” и останавливали прежде всего внимание исследователей крестьянской культуры. Но грош цена была бы национальному мифостадиалу, являющемуся прежде всего эсхатологическим предупреждением Памяти Вида Человечества, если бы он фиксировался лишь на некой утопической мечте. Последовательность его (по апокрифическим разработкам) проста и сложна одновременно. Сложна прежде всего из-за непривычки доверять народной мифологической памяти. А последовательность такова: Долгое-Тёмное-Пространство-Прародина, затем два световых предупреждения-благовещения, далее — Новосолнечная катастрофа с Преображением мира, постепенное водоуспокоение, связанное с понятием Успения, и вновь катастрофа с возвращением Долгого-Тёмного Пространства, то есть сходжение в Ад или Божий суд. Здесь не место расшифровывать реалии, скрытые под образами мифостадиала, единого для всех мировых мифосистем, в том числе и для русско-крестьянских традиций. Важно, что эта культура целиком помещала в себе эту Предупреждающую Память Вида, в том числе и обязательную для нее эсхатологичность, заключающуюся в вере в Конец Света, в христианской традиции связанной с явлением Антихриста:

*О сторона ковыльной пущи,  
Ты сердцу ровностью близка,  
Но и в твоей томится гуще  
Солончаковая тоска.*

(“За тёмной прядью перелесиц...” 1916 г.)

И нелепо думать, что эта “солончаковая тоска” — одна из настроенческих прихотей Есенина, — она исходит из самой сущности его постоянного мировосприятия, инициированного изначально в эсхатологическое предчувствие катастрофы:

*Чтоб прозвенеть в лазури  
Кольцом незримых трат.*

(“Прощай, родная пуща...” 1916 г.)

Или несколько позже:

*Клубит и пляшет дым болотный.  
Но и в кошме певучей тьмы  
Неизреченностью животной  
Напоены твои холмы.*

(“О край дождей и непогоды...” 1917 г.)

Все это целиком впитал в себя Есенин, пронес сквозь жизнь, постоянно сознавая, что национальная мифологическая тайна вот-вот исчезнет вместе с мифоносителем — русским крестьянином:

“Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба... Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека”

(“Ключи Марии”).

Итак, Есенин входил в “верхнюю” культуру вооружённый неведомой для неё тайной, с мироощущением, которое им, хозяевам своей культуры, поднаторевшим в философии, мистике, теософии, казалось не сложнее песни жалейки в руках лубочного пастушка на лугу.

“Соблазны культуры ничем еще не задели ясной души Рязанского Леля”, — бодро говорилось о первой книге поэта “Радуница” в едва ли не первой же рецензии на неё (З. Бухарева З., приложение к журналу “Нива”, 1916 г., № 5).

А ведь и впрямь, что можно с маху разглядеть, к примеру в этом:

*Край родной, поля, как святцы,  
Рощи в венчиках иконных...  
Я хотел бы затеряться  
В зеленях твоих стозвонных.*

(“Край родной...” (ранний вариант) 1916 г.)

Хотя здесь с необычайным чутьем Есенин расслышал общую семантику слов “поля” (от — пал=паленое=открыто-освещенное пространство) и “святцы” — месяцесловное перечисление святых, которые тоже, в принципе, связаны со светом (христианская традиция, в общем-то, почти абсолютно воспроизводит и общемифостадиальную).

Можно было бы поговорить ещё и о своеобразном цветовосприятии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, неведомом поэтам “верхней” культуры, где цвет не столько окрашенность, сколько конкретно-вещественное состояние (чему есть совершенно особые мифостадиальные причины). Или об атавистических, очень древних представлениях о сущности речи, слова, говорения. Но это темы уже специальных исследований. Хочется лишь подчеркнуть непростоту “новокрестьянцев”, которую, в общем-то, при жизни их никто и не разглядел.

А на пути в литературу их поджидали две опасности, это, собственно, сама литература (литературщина) и псевдонародность, то есть лубочный театр, в который их помещали охотно и с воодушевлением, в эти опереточные резервации “Красы” и “Скифов”. И никто из них, кроме разве чрезвычайно устойчивого С. Клычкова, не миновал этих соблазнов (даже и Есенин писал сонеты), — но это всё хорошо известно, как и то, что от этих соблазнов они худо-бедно отряхнулись. Страшнее, непонятнее было другое:

*О Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь!  
С иными именами  
Встает иная степь.*

(“О Русь, взмахни крылами...” 1917 г.)

Как годовой обрядо-календарный круг имитирует тысячелетний — мифостадиальный, так и человеческая жизнь (если она под Богом!) должна соответствовать Божьему закону (улогу — уложению).

Вот это глубинное понимание соответствий, в том числе и апокалиптических, обязанных быть событий и обрядов, обязанных сопровождать их, — и создало общий эсхатологический окрас поэзии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, усугубленным предчувствием собственных судеб на фоне начавшегося не понятого и не страшного еще великого Преображения.

### Преображение

*9. И была сеча великая на много месяцев.  
Стократно побита Русь и стократно  
разбита*

*10. была от Полунощи — до Полудня...*

Влесова книга, дощечка 6 (реверс)

Предчувствие того, что грядет, уже давно мучило и волновало Есенина и крестьянскую купницу.

*Радуйтесь!  
Земля предстала  
Новой купели!  
Догорели  
Синие метели  
И земля потеряла  
Жало.  
(“Певущий зов”, 1917 г.)*

и еще более конкретно:

*Но вдруг огни сверкнули,  
Залаял медный груз.  
И пал, сражѐнный пулей,  
Младенец Иисус.  
(“Товарищ”, 1917 г.)*

Удивительно точное мифостадиальное восчувствование происходящего: гибель Иисуса, то есть Бога-хранителя – тела-Земли, адекватна народной памяти о Солнечной катастрофе, о земле распятой, то есть открытой Новосолнцу.

Блок, находившийся в последние годы своей жизни под достаточно заметным влиянием Клюева, поэму “Двенадцать” закончил тем, что “двенадцатиапостольный” разбой возглавил забрезживший образ Христа:

*В белом венчике из роз  
Впереди Иисус Христос.*

Но Блок был из другой, флуктуирующей, обломочной мифо-культуры, которая уже “забыла”, что мифостадиально – впереди обязательное безумие Бога-трикстера (дурака-убийцы), испепеляющее пиршество Палящей смерти. Кстати, Евангелия сохранили в сакрализованной форме довольно стройную систему Мирового Мифостадиала, которую Клюев, например, знал в совершенстве:

*Жильцы гробов, проснитесь! Близок страшный Суд!  
И Ангел-истребитель стоит у порога!  
(Сборник “Медный кит”, 1919 г.)*

В этом же сборнике в стихотворении “Я надену чёрную рубаху” Клюев приводит “девичью песенку во ржи”:

*Узкая полосынька  
Клинышком сошлась, —  
Не вовремя косынька  
На две расплелась.*

Это расплетение надвое нетронутой досель девичьей косы – как раз обряд, мифостадиально копирующий момент распятия Девы-земли при сватании (обряде паления Новосолнца). Удивительна всё же по своей выразительности эта древняя знакомая калька пресечения Пространств, адекватная распятию земли на две Дасуни (“Влесова книга”), перекрещенным рукам Иакова, благословляющего своих сыновей, “репью” на русских убрусах и Андреевскому кресту...

Послеоктябрьское время, весьма краткое, впрочем, предвещало в начале какое-то ещё не вполне внятно выраженное изменение мира со всеобщими надеждами на лучшее. Всколыхнулось и крестьянское мифосознание:

*Я иное узрел пришествие —  
Где не пляшет над правдой смерть...  
(“Инония”, 1918 г.)*

Смерть еще попляшет, и попляшет страшно, и над правдой, и над верой, но то ещё неведомо, лишь предчувствие, — главное — что-то струнулось, преобразилось. И Есенин сразу замышляет большую поэму “Сотворение мира”, — характерное название для мифоосвоения времени. Поэма эта в задуманном виде не состоялась, она распалась на отдельные “малые” поэмы: “Преображение”, “Иорданская голубица”, “Инония”, “Пантократор”, “Кобыльи корабли”, “Сорокоуст”. И характерно здесь то, что Есенин вышел в назначенный самому себе “пророческий” статус, который позволял ему вплотную приблизиться к мифостадиальной сущности происходящего:

*Не утрашуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, —  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Эти микропоэмы, которым как-то особенно не повезло в литературоведении (их обозначали как “орнаментальная поэзия”, как “заказ революции”, как “дерзкое экспериментаторство” и т. д.) — чрезвычайно интересны тем, что в них Есенин уже вполне сознательно применяет свое мифологическое мировоззрение как метод.

Все поэмы — совершенно прозрачное поэтическое воспроизведение главного сюжета всех мифологических сводок мира: Явление Новосолнца и Изменение мира. Этот сюжет главенствует и в “Ветхом завете”, и в “Псалтири”, и в “Ригведе”, и в “Махабхарате”, и в русском северном мифологическом своде старин (старина=стар-ень, звезда-пространство), и в промежуточном (христиано-языческом) своде духовных песен, и во “Влесовой книге”, и в отдельных песнях-балладах и т. д. и т. п. В принципе, всё это так же очевидно и у Есенина:

*Свят и мирен твой дар,  
Синь и песня в речах,  
И горит на плечах  
Необъемлемый шар!  
Закинь его в небо,  
Поставь на столпы!  
(“Отчарь”, 1917 г.)*

Конечно же это Оче-Оре, Отчарь, обновленный Чурило, сын отца-Солнца, такой знакомый мифостадиальный пришелец, явленный вдруг при сдвиге пространства (кстати, совершенно реального геоклиматического явления), недаром миф (Память Вида!) — восставший из чрева ледяной горы-матери, оказавшейся на востоке:

*И вывалится чрево  
Испепелить бразды —  
Но тот, кто мыслит девой,  
Взойдет в корабль звезды.  
(“Октоих”, авг. 1917 г.)*

В поэме “Пришествие” — откровенной вариации евангельской истории Христа, Есенин как бы уточняет и иные (крестьянско-языческие) понимания этого сюжета:

*Холмы поют о чуде,  
Про рай звенит песок.  
О верю, верю — будет  
Телиться твой восток.*

Да, все в пределах мифостадиальных реалий (коровьи образные параллели — весьма распространены в мифосистемах), потому и:

*Облаки лают,  
Ревет златозубая высь...  
Пою и зываю:  
Господи, отелись!  
(“Преображение”, 1917 г.)*

Этот шокировавший когда-то образ, в общем-то, вполне невинен, если рассматривать его опять через мифологическую проекцию: безумный пожар Новосолнца, так живописно запечатлённый, например, в некоторых псалмах, породил и страстную молитву-плач о перевоплощении зла – в добро, в дождь – отёл:

*За тучи тянется моя рука,  
Бурию шумит песнь.  
Небесного молока  
Дажь нам днесь.  
(“Преображение”, 1917 г.)*

Образ небесной коровы, у Есенина – “Телица-Русь”, особенно отчётливо представлен в египетской и ведической мифологиях, и – во “Влесовой книге”. Любопытны всё же истоки есенинских знаний, – они обширны и безупречны в последовательности стадий:

*О, веруй, небо вспенится,  
Как лай сверкнет волна.  
Над рощею оценится  
Златым щенком луна.*

Это тоже обязательная стадия водного успокоения Жара Новосолнца, которая точнее и полнее отражена в поэме “Иорданская голубица”:

*Буду тебе я молиться,  
Славить твою Иордань...  
Вот она, вот голубица,  
Севшая ветру на длань.  
(“Иорданская голубица”, 1918 г.)*

Но в течение периода успокоения Новосолнца наступает и постмифостадиальное переосмысливание того, старого досолнечного состояния. Потому-то и во всех верованиях так двойственно воспоминание о прошлом: это или утроба сырой тьмы, или успокоительный рай Божий:

*Проклинаю я дыханье Китежа  
И все лощины его дорог.  
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже  
Мы воздвигли себе чертог.  
(“Инония”, янв. 1918 г.)*

Китеж – это Авало-Китеш-Вара (др.-инд.) или так называемый “Поки-тешь-град”, то есть древнее покинутое состояние (Кисько “Влесовой книги”, Кичка некоторых волжских преданий: Сарынь-на-Кичку – возглас сакрально-предупреждающий о Новосолнце, явившемся над Кичкой), Хутынь, Катынь некоторых локальных славянских поверий, и т. д. Кстати, поэма “Инония” (от Ино – ень, то есть Иное Пространство, но не “Чудесный гость”, как трактуется порой) – вновь “прокручивает” общий стадиал Новосолнца, где вначале происходит обязательный сдвиг Пространства:

*До Египта раскорячу ноги,  
Раскую с вас подковы мук...  
В оба полюса снежнороги  
Вопьюся клещами рук.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Как уже говорилось, вначале, как обязательная стадия, подвижка Земли, пространства. В мифах оно “обеспечивалось” дремлющими и пробуждающимися хтоническими силами (подземными): Посейдон (греч.), бык-Бату (др. егип.), Бутман (сев.-русс.), Боровлень (“Влесова книга”) и т. д., вплоть до Би-Фэна (китайск.). После сдвига Пространства в провале Мать-горы на Востоке показывается голова Новосолнца:

*И в провал, степенный бездною,  
Чтобы мир весь слышал тот треск,  
Я главу свою власозвездную  
Просуну, как солнечный блеск.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Кстати, вот как писал в “Ключах Марии” сам Есенин о хтонических мифосимволах русских поверий: “Гонители св. духа-мистицизма забыли, что в народе есть уже тайна о семи небесах, они осмеяли трёх китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля плывет, что ночь – это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю” – совершенно гениальное предупреждение “гонителям”!

В поэме “Пантократор” затихающая стихия мифостадиального Преображения, олицетворённая “красным конем” Новосолнца-новобытия, обращается в страстное пожелание:

*Сойди, явись нам, красный конь!  
Хвостом земле ты прицепись,  
С зари отчалься гривой.  
За эти тучи, эту высь  
Скачи к стране счастливой.  
(“Пантократор”, февраль 1919 г.)*

Но счастливой страны не будет. Мифостадиал, безупречно сработавший в тысячелетиях, не сработал в начинающейся российской действительности. И уже прозвучала у Есенина в самом конце этого удивительного, неразгаданного, мифостадиального цикла поэма мелодия “Чёрного человека” – горькая музыка раздвоения и обмана так много обещавшего мира:

*Чёрт бы взял тебя, скверный гость!  
Наша песня с тобой не сживётся.  
(“Сорокоуст”, авг. 1920 г.)*

### **Поруганное. Смертное**

*7. Не Божья земля та Русская и — не  
озирайтесь на неё, но не забывайте её, —  
там ведь*

*8. кровь наша лилась...*

Влесова книга. Дощечка 4 (аверс)

Мифостадиальные ожидания “новокрестьянцев” не сбывались, наоборот, творилось что-то антибожеское, сатанинское.

“...Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний”, – писал об этом времени А. Солженицын.

В 1918 году расстреляли крестные ходы в Харькове, Туле, Воронеже.

Прокатился кровавый красный террор в Петрограде.

В 1919 году разграбили и разогнали Чудов, Страстной, Ново-Спасский монастыри.

В 20-е годы потоплены в крови Тамбовское, Ишимское, Северо-Кавказское крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж.

В 1920 году расстреляли монахов Лебяжьей пустыни.

Есенин искал себе пристанище, укрытие от расстреливавшего мира. Древний гармоничный уклад, впитанный с детства, самоотверженный порыв



к Преображению обратился в беспощадно-пошлое надругательство. Рушились и вечные мироустои, а это значит, оставалась лишь собственная одинокая судьба, осиротевшая без духовной поддержки:

*Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как ветер, затих и присел.  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.  
(“Волчья гибель”, 1921 г.)*

“Всё поругано, продано, предано”, – писала Анна Ахматова примерно об этом же.

В 1922 году расстреляли 200 монахов в Предтеченском монастыре. В том же году погибли 8000 духовных лиц. В 1923 году 2000 священников свезены в Соловецкие лагеря. В 1924 году расстреляли 300 монахинь Покровского монастыря. Началось массовое “раскрестьянивание” России.

*Что-то всеми навеки утрачено.  
Май мой синий! Июнь голубой!  
Не с того ль так падит мертвечиной  
Над пропащею этой гульбой?*

Так постепенно рождалась “Москва кабацкая”, – собственно, уже “переложение” мифостадиальных ожиданий с пространства – на себя, на свою беспризорную судьбу. Эпохи крушения всегда оформляются статусом Трикстера, – шута, пропойцы, клоуна, забуддыги (Иван-Гостиный-Сын и голи кабацкие русских старин, немецкий Ойленшпигель, ведический Дурдьохана и пр.)... Но:

*Я давно мой край оставил,  
Где цветут луга и чащи.  
В городской и горькой славе  
Я хотел прожить пропащим.*

Нет, образ Трикстера, озорного гуляки “Москвы кабацкой” смог обмануть, да и то на время, лишь тех, кто, собственно, и хотел обмануться. “Москва кабацкая” на самом деле, кроме эпатажного названия да нескольких намёков, ничего от кабака не имела. Она несла в себе тонкую грусть и нежность к уходящему и несвершённому:

*Не хочу я лететь в зенит,  
Слишком многое телу надо.  
Что ж так имя твоё звенит,  
Словно августовская прохлада.*

Это стихи, безусловно, золотого фонда русской поэзии, стихи пронзительной чистоты и печали.

И, собственно, на этом кончается есенинское мифотворчество, вернее, мифоподтверждение таинственной национальной загадки.

Ещё писались превосходные стихи. Ещё напишутся условно-декоративные “Персидские мотивы”, – опять-таки дань национальному мифологическому воспоминанию об “Индее богатой” (тому ж Беловодью сказочному). Забавна здесь озабоченность литературоведов тем, что Есенин никогда в Персии не бывал. А зачем, собственно, ему быть обязательно в Персии, если всю жизнь он “пребывал” в фантастическом русском фольклоре?

*До свиданья, пери, до свиданья,  
Пусть не смог я двери отпереть,  
Ты дала красивое страданье,  
Про тебя на родине мне петь.  
До свиданья, пери, до свиданья.*

(“В Хороссане есть такие двери...”, март 1925 г.)

Где-то через полгода последним эхом откликнется это “до свиданья” в его прощальном стихотворении. Эхолоалии пропетых мелодий вообще преследовали его под конец, — этими отзвуками словно бы окольцовывалась его судьба.

Растворённый собственной жизнью в тоске Родного, он погибал вместе с убиваемым Родным, и сам перетекал в Миф, утвердив его одним из удивительнейших в русской поэзии стихотворением: “Чёрный человек”:

*В декабре в той стране  
Снег до дьявола чист,  
И метели заводят  
Весёлые прялки...*

Страшный обман подлого и жестокого Времени поэт обернул на себя, и в этом беспощадном самобичевании он был зорек и точен:

*Чёрный человек  
Глядит на меня в упор,  
И глаза покрываются  
Голубой блевотой, —  
Словно хочет сказать мне,  
Что я жулик и вор,  
Так бесстыдно и нагло  
Обокрававший кого-то.*

Это как раз и был тот “аггелизм”, несостоявшийся метод, придуманный им с С. Клычковым (еще до имажинизма), метод самосжигающего образа (аггел — огненный ангел).

*Ах, положим, ошибся!  
Ведь нынче луна.  
Что же нужно ещё  
Напоенному дрёмой лирику?*

### Миф закончился...

Иеремия, гл. 4.

23. Смотрю на землю — и вот, она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них света.

24. Смотрю на горы — и вот, они дрожат, и все холмы колеблются.

25. Смотрю — и вот, нет человека...

“Влесова книга” (дощечка 1, аверс).

2. ...И второе Ождение было, самих людей побив. Грехом покрыло

3. места те, пожрав и очесав их, людей повергая мечем...

4. И так сказано: Оре-оче, как мёртвый, ущербился под грехом.

5. И так погребены были родники эти.

Значение и роль Есенина огромны. Он постепенно приобретает рядом с Пушкиным его “равноапостольский” статус, символически запечатлевая **великий и таинственный грех раздвоения национальной культуры**, которая скрывала в себе великую общечеловеческую тайну Памяти Вида, едва не потерянную навеки.

Публикация Юлии Курдаковой.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВ

академик РАН

## КИТАЙ, КУДА НЕСЁШЬСЯ ТЫ?

Мы мучаемся в поисках национальной идеи.

У китайцев есть национальная идея: “Двести пятьдесят лет назад мы были лучшими в мире, самыми могущественными, самыми развитыми. Мы должны стать лучшими в мире, самыми могущественными, самыми развитыми. Точка”.

Нужны ли объяснения? Нужно ли по-другому понимать устремления страны-континента, где живёт почти пятая часть населения планеты? Пусть эта идея официально не сформулирована. Но, как заметил Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура, который при жизни считался одним из самых пронизательных аналитиков в Азии: “Как может (Китай) не стремиться стать номером один в Азии, а со временем – во всём мире?”\*.

В Пекине заметил массу плакатов с портретами всемирно известных спортсменов. Фотографии сделаны в момент победы, триумфа – сверхнапряжённые и одновременно счастливые лица. Без труда улавливаешь смысл-призыв этих плакатов: Вперёд! С максимальным напряжением сил, с максимальной отдачей! Работай, не жалея себя! К победе и триумфу! Ты, китаец, можешь, как они, и лучше, чем они!

Поднялся на последний этаж – 351-й метр главной телебашни Шанхая. В неё сверху донизу вписано 11 стальных шаров различного диаметра, что позволило рекламным брошюркам использовать древнекитайскую поэзию: “Большие и малые жемчужины падают в яшмовое блюдо”. Здесь любят древние красоты. На верхней смотровой площадке попал на некое “космическое представление”: стюардессы в серебристых юбочках, блузках и сапожках встречаются, беседуют, играют с инопланетянами, которые выскакивают с экранов компьютеров, – современные виртуальные эффекты. Вспомнил, что Китай энергично завоёвывает космос, имеет свои ракеты, спутники, своих космонавтов.

Сверху открывается вид на великий город, где живут 23 миллиона душ! На толпы небоскрёбов, автомобильные развязки, эстакады, перевившие главный торгово-экономический центр страны.

Телебашня расположена в самом “небоскрёбном” районе Шанхая Пудуне, где и парк высоких технологий, и ряд экспортных производств, и беспешинная зона, и биржевой центр. Сравнить его архитектуру можно с Манхэттен-

---

*ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович родился в 1939 году. Окончил МГИМО. Академик РАН. Директор Института Африки РАН. Автор многих книг. Живёт в Москве.*

\* Lee Kuan Yew quoted in G. Allison, R. D. Blackwill, and A. Wyne, eds., Lee Kuan Yew: The Grand Master’s Insights in China, the United States, and the World (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2013). 2.

ном в Нью-Йорке или Чикаго. Но здесь всё продуманнее, изящнее, более функционально.

Китай — страна-колосс. Отставая в сфере услуг и инноваций, в уровне жизни от США, Китай стал всемирной фабрикой, заняв первое место в мире по промышленному производству. Он — первый по численности выпускников университетов, по внешнеторговому обороту, по запасам иностранной валюты, по добыче многих полезных ископаемых, по производству солнечной и ветровой энергии. Всего не перечислишь.

Четверть века назад соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) Советского Союза и Китая было 4:1. Сейчас ВВП России и Китая — 1:4. Мы пожинаем плоды разрушительных “реформ”. Поэтому сейчас по многим показателям сравнивать Россию и Китай не просто больно, но и некорректно.

Но если ты очутился в Китае, всё равно задаёшь вопросы: как Китай мог совершить такой беспрецедентный рывок? На что рассчитывает страна в ближайшие годы и десятилетия? Что нового в экономической, социальной, политической, идеологической практике? Как Пекин строит свою внешнюю политику? Есть ли трудности и ограничители роста?

Грандиозность картины такова, что можно претендовать лишь на то, чтобы выхватить отдельные фрагменты целого. Поэтому по ряду вопросов лучше предоставить слово ведущим китайским экономистам, политологам, идеологам, с которыми автор встречался в рамках визита в Китай Российского национального комитета по исследованию БРИКС, а также в ходе самостоятельной командировки. Цитаты из их высказываний — не дословный перевод, но передают суть их оценок.

### **И минуты, и столетия**

В собеседниках впечатляла сосредоточенность на текущих проблемах, на деталях и одновременно умение мыслить столетиями. Один из ведущих китайских экономистов — Чжан Янчэн говорил:

*“Ещё в начале XIX века ВВП Китая составлял треть мирового. С 1840 года после опиумной войны иностранные державы эксплуатировали и грабили Китай. XX век был ещё более трагичным. В результате в 1949 году ВВП на душу населения был такой же, как в 1890 году. Было потеряно почти 60 лет. А потом в течение 30 лет не удавалось начать экономическое возрождение, хотя с помощью СССР в первой пятилетке было осуществлено 156 проектов, создана основа промышленности. В 1978 году после “культурной революции” экономика лежала в развалинах. Тогда Дэн Сяопин заявил: “Без развития мы останемся рабами истории”.*

Он поставил задачи: открытость, экспорт, инвестиции. Была выработана стратегия развития — пусть сначала некоторые станут богатыми, потом восстановим баланс между бедными и богатыми. Развитие экономики было экстенсивным, на базе дешёвой рабочей силы. Стояла задача сочетать социализм с рыночной экономикой, особенно после вступления в ВТО в 2001 году. Ещё в 1980 году были созданы четыре свободные экономические зоны, чтобы не ограничиваться одним окном во внешний мир, то есть Гонконгом. Началось участие во всемирных выставках, чтобы осваивать и продвигать инновации”.

Вопрос: Можно ли считать, что была определённая конвергенция социализма и капитализма?

Ответ Чжан Янчэна: Капитализм в чём-то учился у социализма, в частности, социальной справедливости. А социализм учился эффективности у капитализма. Дэн Сяопин избрал путь рыночной экономики, но задача была — сохранить справедливость в обществе. При Мао Дзэдуне произошла “китаизация марксизма”, при Дэн Сяопине “китаизация рыночной экономики”. Задача сохранить справедливость в обществе остаётся. Если раньше потребности населения — еда и одежда, то после 2002 года — автомобиль, квартира, мобильный телефон, телевидение, кондиционер.

Вопрос: А каковы задачи на ближайшие годы?

Ответ: Сейчас стоит задача — до 2020 года удвоить ВВП Китая, довести его до 15 триллионов долларов и создать “общество средней зажиточности”. Новое поколение руководителей во главе с Си Цзиньпином выбрало три главных направления: развитие экономики, повышение уровня жизни, общественная справедливость. Сейчас экономика находится на переходном этапе.

Рост ВВП в начале века был около 10 процентов или больше, в 2012 году – 7,7 процента, в 2014 году – 7,4 процента, в 2015-м – немного ниже. И это несмотря на то, что в 2013 году прирост рабочей силы составил 14 миллионов человек при падении темпов прироста ВВП.

(Заметим в скобках, что вес китайской экономики в мире таков, что даже насморк на шанхайской бирже отразился тяжёлой простудой на биржах Европы и Америки. Замедление темпов роста (роста! – а не рецессии!), небольшой спад внешнеторгового оборота вызвал обвал цен на минеральное сырьё, в том числе на нефть.)

### **Сменить модель развития**

Вопрос: Если раньше преобладала модель экстенсивного развития, то как обстоит дело сейчас?

Ответ: Сейчас главное – сменить модель развития, найти новую. Нужны кардинальные перемены. Рабочая сила становится всё дороже, а для инноваций нужны высококвалифицированные специалисты. При этом население в Китае хочет прозрачности, справедливости и справедливого правосудия. Методы 35-летней давности уже не соответствуют сегодняшнему дню. Нужна новая стратегия на 30 лет вперёд. Ближайшие 5–8 лет – очень сложный период развития Китая, время кардинальной трансформации.

Вопрос: Есть ли ограничители роста?

Ответ: Китай должен ограничить бурное развитие экспорта. Больше внимания уделять проблемам экологии и общественного баланса. Явно будет перебор мужчин брачного возраста (об этом – позднее. – **А. В.**) Больше внимания уделять качеству и эффективности.

...Любопытно отметить, что необходимость общественной справедливости звучала во всех беседах. По мнению собеседников, она должна сочетаться с ростом экономики и с любыми реформами.

Президент Китайской академии современных международных отношений (КАСМО), которая существует вне системы Китайской академии общественных наук, Цзи Чжие говорил:

Задачей страны как всемирной фабрики было гнать товары на экспорт. Финансовый кризис в западном мире заставил нас обратиться вовнутрь, то есть ориентироваться не только на экспорт, но и на внутренний спрос.

Вопрос: Идёт ли речь о новом качестве экономики?

Ответ: Без сомнения. Ресурсов для экстенсивного развития уже почти нет. Экономика сталкивается с трудностями, главные из которых – экологическая ситуация и повышение стоимости рабочей силы. В любом случае мы должны делать акцент на внутренний спрос, для этого есть ресурсы.

В городах сейчас живёт 51 процент населения, а через четверть века будет жить примерно 75 процентов. Таким образом, предполагается, что каждый год из деревни в город будет переезжать около 1 процента населения – примерно 14–15 миллионов человек. Для них нужны жилища, транспорт, социальные, профессиональные услуги и рабочие места. В течение 5 лет намечено вложить в строительство в городах 4 триллиона юаней, а импорт повысить до 2 триллионов долларов в год, чтобы удовлетворять внутренний спрос.

Новое руководство Китая считает, что страна будет локомотивом мировой экономики, а весь мир будет пересматривать характер своих отношений с Китаем. Не исключено, что рост экономики немного замедлится, но нужно обеспечить в течение 20 лет прирост на 7–8 процентов в год.

Вопрос: В Китае говорят о серьезных реформах внутри страны. Каких?

Ответ: Реформа госпредприятий, реформа распределения доходов, чтобы сократить неравенство, больше открытости в деле финансирования. Китай из импортёра инвестиций превращается в их экспортёра. Это принципиальный поворот.

### **Экспортёр инвестиций**

Вопрос: Приток капиталов был одним из факторов быстрого экономического развития Китая. А как будет обстоять дело сейчас?

Ответ: В 2013 году прямые иностранные инвестиции в экономику Китая достигли примерно 75 миллиардов долларов. За год прирост был 36 процентов.

Прежде всего они направляются в добычу ресурсов, особенно энергоресурсов. За границей уже накоплено более 500 миллиардов долларов китайских вложений. Создано около 20 тысяч предприятий. Основной капитал этих предприятий превысил 2 триллиона долларов. В 2013 году заграничные инвестиции Китая превысили приток капиталовложений в страну. Через год-два капиталовложения за границей будут стабильно больше, чем инвестиции в Китай.

Вопрос: Будет ли воздействовать такая ситуация на внешнюю политику?

Ответ: В области внешней политики стоит задача – больше прозрачности, больше предсказуемости, больше ответственности. Китай стал важным фактором нынешней системы международных отношений. Но в этой системе существует определённое неравенство действующих игроков. Систему нужно реформировать, чтобы добиться большего равенства. Мы стремимся к большей открытости в сотрудничестве со всем миром.

### **Африка и Китаю нужна**

Не удержусь от сравнения наших и китайских позиций в Африке. В 1990 году товарооборот Китая с Африкой был 1 миллиард долларов (см. в конце), в 2013 году – примерно 210 миллиардов. СССР с Африкой тогда торговал примерно на 3,5 миллиарда, сейчас товарооборот России с этим континентом – чуть меньше десяти. Китай стал главным торговым партнёром Африки, если не считать совокупный торговый оборот Европейского союза, и далеко превзошёл США.

Дело не только в экспорте-импорте (прежде всего, энергоносителей). Китай даёт займы, в том числе льготные, делает вложения на десятки миллиардов долларов, особенно в добывающие отрасли, но также в инфраструктуру. Сейчас китайцев в Африке около одного миллиона. Они строят дороги, аэродромы, жилые кварталы, торгуют на улицах и открывают лавки и рестораны. Китай поставляет вооружения советских образцов дешевле, чем мы. В Аддис-Абебе Афросоюз получил от Китая в подарок комплекс административных зданий.

Встретился со своим старым знакомым, директором Института Африки и Западной Азии Академии общественных наук, профессором Янг Гуаном.

“Китайцы понимают, – говорил он, – что у них растут стоимость рабочей силы, энергии, расходы на защиту окружающей среды и т. д. Поэтому одна из задач китайского частного и государственного бизнеса – переносить производство в регионы с дешёвой рабочей силой, в частности, в Африку”.

Вопрос: Китайская конкуренция практически разрушила значительную часть текстильной и швейной индустрии Африки. А как обстоит дело сейчас?

Ответ: Задача сейчас – создавать рабочие места и промышленность в африканских странах, особенно в тех, которые пользуются беспопытной торговлей с США, например, по закону АГОА, а также с Европейским союзом. Если в продукции предприятий минимум 40 процентов стоимости создается на месте, то на неё распространяются все таможенные привилегии. Поэтому вместо того, чтобы торговать напрямую, можно вкладывать капиталы в трудоемкие производства с дешёвой рабочей силой. Это будет означать прибыль и для китайцев, и для африканцев, и для покупателей. Получается трипл-вин, то есть тройная выгода для всех.

Этот термин появился в политологии после старого “игра с нулевым результатом”, который означал, что там, где одна сторона, например, СССР, проигрывает, то другая, скажем, США, столько же выигрывает, и наоборот. Сейчас появился термин “двойной выигрыш” – вин-вин, то есть и та и другая сторона выигрывают. Китайцы овладели этой практикой и пошли дальше: пусть выигрывают и китайцы, и африканцы, и американцы с европейцами.

“Вопрос: По нашему опыту, особенно по опыту Университета дружбы народов, где учатся студенты из полутора сотен стран мира, наиболее трудно совместимы психологически как раз китайцы и африканцы.

Ответ: *Согласен, но надо работать. Западные СМИ, которые господствуют на африканском рынке информации, стремятся показывать китайцев в неприглядном виде. Китай поставил задачу проникнуть на этот рынок с помощью самих африканцев. Создаётся специальное вещание китайского телевидения на Африку с базой в Кении, где главную роль играют сами африканцы. Ещё одна задача – готовить африканцев в Китае. Сейчас у нас примерно 20 тысяч африканских студентов.*

Вопрос: Масштабы поставленных задач впечатляют, учитывая, что Россия даёт африканцам всего одну тысячу стипендий в год, да ещё требует оплаты авиабилетов, которые очень дороги при отсутствии линий “Аэрофлота” с Африкой. Но если взять другую сторону: есть ли единая, централизованная политика Китая в Африке, то, что называют “China incorporated”?

Ответ: *Единство в политике и бизнесе даётся с трудом. Сейчас в Африке действует уже 2 тысячи китайских компаний, иногда они конкурируют друг с другом.*

### **“Китайская мечта”**

Проректор высшей партийной школы Ли Цзюньжу – автор книг о Мао Цзэ-дуне и Дэн Сяопине. Он – один из авторов пропагандистской идеи “Китайская мечта”, о китайском пути мирного развития.

*“Китайская мечта”, – объяснял он, – возрождение великого китайского народа. Она получила поддержку на последнем съезде КПК. “Китайская мечта”: до 2020 года – создать “общество средней зажиточности”, до 2050 года – модернизировать Китай. “Китайская мечта” объединяет историю страны, сегодняшнюю реальность, будущее и патриотизм.*

*Китай был унижен после 1840 года. Страна переживала очень трудный период. Но многие верили в будущее. В 1910 году один из китайских писателей опубликовал свою фантазию: через 100 лет состоится Всемирная выставка в Шанхае. Он верил в будущее. У него была мечта – она осуществилась.*

### **Возвышение Китая – кошмар в Вашингтоне**

Хотелось услышать мнение собеседников об отношениях с США. Хотя мир сейчас не может быть биполярным, США и Китай – несомненные лидеры. Их отношения особые. С одной стороны, взаимная торговля – более полутриллиона долларов в год – это уже если не сращивание двух экономик, то теснейшие связи. С другой стороны, Китай – самый большой кредитор США – приобрел американских ценных бумаг более чем на 1,3 триллиона долларов. Когда суммы такие колоссальные, трудно сказать, кто от кого зависит – должник от кредитора или кредитор от должника. Упади завтра курс доллара – чем это обернётся для Китая? А можно ли говорить о сферах влияния? Такой термин здесь отрицают. Но знают, что задача США – ограничить возвышение Китая.

Приведу высказывание американского дипломата и политолога Эшли Теллиса в его исследовании “Балансирование без сдерживания. Американская стратегия по отношению к Китаю”: “Потеря американцами превосходства по отношению к Китаю создала бы неприемлемые риски для безопасности и интересов США и их союзников. Китайская мощь вытекает из глубокой интеграции Пекина в глобальную экономику, где ведущую роль играют США. Стратегия сдерживания, которую США успешно использовали во время холодной войны, сейчас не может быть успешной. Разрывать отношения с Пекином и подталкивать китайских соседей сделать то же самое – немыслимо, с точки зрения политики, экономики и практики”.

“Возвышение Китая, – отмечает Теллис, – представляет собой самый серьёзный геополитический вызов, с которым США сталкиваются в этом столетии. Современная тенденция такова, что Китай мог бы – многие учёные считают: он сможет – развить свою национальную экономику так, что она будет соперничать с американской, если не превзойдёт её в какой-то момент в будущем. Китайская экономика технологически усложняется, имеет гигантский промышленный и производственный секторы, она продемонстрировала способность развивать и осваивать широчайший набор усложнённых военных систем... Пекин сейчас готов играть главную глобальную роль, которая была просто невозможна примерно 30 лет назад... Независимо от намерений Пекина Китай, таким образом, на деле стал стратегическим соперником США, и это соперничество в международной политике угрожает усилить их антагонизм”.

“...США стремятся защитить свою глобальную гегемонию, – продолжает американец, – в то время как китайская мощь ориентирована на то, чтобы подорвать американское первенство, которое остаётся самым опасным внешним сдерживающим средством для возможностей Пекина использовать постоянно растущую мощь, чтобы переделать существующий политический порядок

в своих собственных интересах... По многим показателям вызов брошенный Китаем, будет гораздо более серьёзным, чем вызов прежнего американского соперника – СССР. Советский Союз действительно имел огромную военную мощь, но его экономическая база всегда была гораздо меньше, чем у США. Китай систематически развивает другие дополнительные средства, необходимые для того, чтобы однажды стать “величайшей державой в мире” – даже если он постоянно отрицает какие-либо амбиции заменить США в качестве глобального гегемона”\*

### **Практика отношений с США**

Вопрос к Ли Цзюньжу: США ставят задачу помешать развитию Китая. А как это сочетается с китайской идеей мирного возвышения? Лозунг – это хорошо. А как на практике?

*Ответ: Главное – рассказать миру о “китайской мечте”, о китайских инициативах. Конечно, трудно изменить позицию других, но надо объяснять нашу позицию. Китай и США находятся в тесной взаимозависимости. Если хуже будет Китаю, хуже будет и США. Некоторые американцы понимают, что возвышение Китая – в интересах США. “Угроза” Китая Соединённым Штатам – это лишь возможность осуществить особую модель развития. Без американской модели развития мир может обойтись, хотя США навязывают ему свои ценности, свою модель. США действительно рассматривают Китай как конкурента, как главного соперника. США победили СССР в холодной войне и этим гордятся. Они хотели бы ограничить возвышение Китая, но их ресурсов не хватает. Мы же выступаем за сотрудничество с США. Пример – после 2001 года наша совместная борьба против терроризма.*

Президент КАСМО Ци Чжие: США стремятся связать страны Тихоокеанского региона союзническими отношениями и экономическим партнёрством, чтобы сохранять своё лидерство. Они пытаются укрепить свои позиции в Азии – самом динамично развивающемся регионе мира, но ограничить существующие интеграционные процессы в регионе, то есть АСЕАН +1, АСЕАН +3, в которых участвует Китай.

Исполнительный директор Центра международных (глобальных) исследований при ЦК КПК Хуан Гуань:

*Причина стремления США к созданию Транстихоокеанского партнёрства – возвышение Китая и надежда Вашингтона помешать этому. Но стратегия сдерживания Китая стала развиваться раньше. В Азии стремились окружить Китай и Россию. Но для Китая главное – это повышение уровня жизни, а не гегемония. Япония 40 лет была второй экономикой мира, но не стала супердержавой. В истории Китай не был супердержавой, и сейчас он не ставит такую задачу.*

Вопрос: А можно ли сравнивать Китай и Японию? Ведь Япония находилась в той системе международных отношений, где США были гегемоном. Китай стоит отдельно. У Вашингтона были инструменты для воздействия на Японию, а по отношению к Китаю у него нет таких инструментов.

*Ответ: Мы не хотим конфронтации с США, мы за мирное развитие. У нас хорошее, эффективное общение с американцами. Например, для решения ядерной проблемы в Северной Корее идут шестисторонние переговоры. Но соотношение сил меняется. Прошло время, когда на глобальном уровне американцы делали, что хотели. Сейчас США должны сотрудничать с китайцами.*

### **Баланс военной мощи**

А как быть с балансом военной мощи? Значение военной силы в Китае понимают все. У США в Тихом океане пять авианосных группировок, у Китая – ни одной. Но несколько лет назад китайцы купили “под казино” у Украины недостроенный советский авианосный крейсер “Варяг” почти по цене металлолома. Вместо казино его переоборудовали в учебно-тренировочный авианосец. Китайские лётчики стали осваивать умение взлетать с палубы и садиться на неё. На стапелях заложены авианосцы. В Пентагоне опасаются,

\* Ashley J. Tellis. Balancing with out cotainment. An American Strategy for Managing China. (Carnegie Endowment for International Peace, 2014), IX, 1, 2, 4.



что в 20-е годы в Тихом океане у Китая будет четыре-шесть своих авианосных группировок. Некоторые китайские публицисты говорят, что граница безопасности Китая должна проходить посередине Тихого океана. Вряд ли с этим согласятся в США.

Вопрос президенту КОСМО Цзи Чжие: В Китае растёт военная мощь. На Западе говорят, что это может создать угрозу другим странам и повлечь за собой возникновение конфликтов.

Ответ: *Наша задача – укреплять обороноспособность. Мы отстали в военной технике и стратегии, нужна модернизация вооружённых сил. Холодная война не перешла в горячую, потому что существовала советская мощь.*

Вопрос: Хочешь мира – готовься к войне. Вы согласны с этой максимой?

Ответ был в форме достаточно завуалированной, но фактически собеседник ответил “да!”.

Этот же вопрос мы задали Ли Цзюньжу.

Его ответ: *Я согласен. Это так. XVIII съезд КПК принял специальную резолюцию по обороне. Но не для экспансии, а для защиты территории, безопасности государства. . . Мы будем иметь мощные вооружённые силы не для гегемонии, а для защиты. Китай не хочет никого пугать и не хочет гегемонии. Пусть будет мирное развитие всего человечества.*

Вопрос: Не воспримет ли мир, прежде всего США, новый, могущественный Китай как угрозу?

Ответ: *“Китайская мечта” – это для всех. Китай выступает за мирное развитие. Индустриализация, модернизация Китая означает прогресс для всего человечества. “Китайская мечта” не будет угрозой для других. . . . Запад, когда добился могущества, начал экспансию. Это их опыт, но не китайский. Китай чувствовал себя оскорблённым в течение более 100 лет – с 1840 года. В XX веке были новые оскорбления и страдания. Но мы не будем оскорблять других и причинять им страдания. У нас огромный человеческий ресурс, нам не надо оккупировать других. Мы за сотрудничество со всеми странами мира.*

Логика и пропагандистские установки наших собеседников были ясны. Они показывали, что в Китае реалистически оценивают и политику Вашингтона, и сочинения американских политологов, и возможности США, ищут свои контраргументы и просчитывают последствия.

Кроме авианосцев, ракет и танков, успех или неудача противостояния определяется тем, кто берёт верх в информационной войне. А она уже ведётся Соединёнными Штатами против Китая – и в киберпространстве, и в электронных и печатных СМИ. Раскручивание темы “прав человека”, “свободы мнений” – слишком знакомые приёмы в разрушении СССР, чтобы не увидеть попытку их применения против Китая.

Китайско-американские отношения сами по себе – огромная тема со множеством нюансов, своей логикой и своей динамикой. Но оценки, услышанные нами, позволяют, пусть в высшей степени схематично, представить настроение и мнение компетентных китайских политологов.

## Мы и китайцы

Мы и китайцы, современное состояние китайско-российских отношений, их будущее. Без бесед на эти темы не могла обойтись ни одна встреча.

Исполнительный директор Центра международных (глобальных) исследований при ЦК КПК Хуан Гуань говорил: *“Международные отношения после холодной войны ещё не стабилизировались, кризис ещё не прошёл. Необходимо сотрудничество России и Китая, нужно использовать новые возможности и отвечать на новые вызовы, действовать вместе. В мире должен быть взаимный выигрыш, а не биполярный мир”.*

Более подробная беседа состоялась с главой Департамента Восточной Европы и Центральной Азии в Международном отделе ЦК КПК Тянь Юнсяном. Его формулировки были отточены и выверены в решениях съездов КПК и заявлениях правительства.

*“Китайско-российским отношениям у нас уделяют особое внимание, – отмечал он. – Для нас отношения с Россией – самые важные. Россия – важнейший партнёр в политике, в деле обеспечения безопасности, в решении международных проблем. Эти отношения важны и для нового поколения китайских лидеров. Отметим, что первый визит Си Цзиньпин совершил в Россию*

перед саммитом БРИКС в ЮАР. Встречи и визиты глав государств и правительств проходят регулярно, пять-шесть раз в год. У нас сотрудничество во многом международным вопросам – в ВТО, в ООН, в “Двадцатке”, в БРИКСе, в ШОСе. Мы действовали вместе в горячих точках, в вопросе ядерного оружия в Северной Корее, по Сирии... Лидеры России и Китая обменялись телефонными звонками, когда в ООН обсуждался сирийский кризис. Стоит задача активизировать не только политические, но и экономические, гуманитарные отношения, увеличить товарооборот и взаимные инвестиции. В 2012 году товарооборот был 88 миллиардов долларов (в 2013 году – примерно 89 миллиардов. – **А. В.**). План – довести товарооборот до 100 миллиардов долларов к 2015 году, до 200 миллиардов долларов к 2020 году”.

Слушая нашего коллегу, казалось, что слушаешь прекрасную песню. Но это не колыбельная. Под её звуки не стоит забывать, что Китай никогда не жертвовал своими интересами ради России – и правильно делал! Двусторонние отношения требуют развития, на политическом уровне они высокие, но экономическая ситуация много хуже, особенно для России. Россия – экспортёр сырья, а из Китая идут машины и ширпотреб. У дисбаланса есть объективные причины, неэффективны и трансграничные связи. Маленький пример: до сих пор после многих лет болтовни не построен железнодорожный мост через Амур.

Близ границы у Китая почти тысяча лесопилок. Мы по большей части гоним – часто по “серым” схемам, часто просто в виде контрабанды – кругляк. “Сверхчестные” финны с помощью наших же “предпринимателей” вырубали Карелию. Для Китая рубят Сибирь. В ответ на наши сетования китайцы говорят: “Сами у себя наведите порядок”. А пока маленький пример из личных наблюдений: в безлесной Турции кухонная доска из нашего дерева с клеймом “сделано в Китае” стоит 20 долларов. Нормальные российские бизнесмены, где вы?! Где вы, таможня, пограничники, полиция, правоохранительные органы?

Доля Китая в импорте России – 15–17 процентов. В 2013–2015 годах экспорт из России в Китай пострадал, так как упали цены на сырьё.

Волей-неволей задаёшься вопросом: намеченные 200 миллиардов товарооборота в 2020 году – не игра ли это в цифры? Можно ли достичь этих показателей без экспорта российского газа?

Чтобы хоть частично заменить уголь на газ, Китай покупает его повсюду. В 2010 году он импортировал один миллиард кубометров туркменского газа, в 2012-м – 9. Стоит задача быстро довести этот импорт до 60 миллиардов кубометров. Плюс получать 30 миллиардов кубометров из Узбекистана и Казахстана. Это – не говоря о сжиженном газе.

В “Газпроме” умеют считать. Вопрос стоял так: если труба будет доведена до китайской границы, сколько нам заплатят? Дружба дружбой, а табачок врозь. Поэтому год за годом тянулись переговоры и споры. Для России опасно продавать газ Китаю дешевле – Европа тут же потребует снижения цен и для себя. А предстоит ещё вложить миллиарды долларов, чтобы дотянуть трубу до границы.

В мае прошлого года процесс переговоров резко ускорился. Трудности с транзитом через Украину, санкции Запада в отношении России, возможные проблемы с поставками газа в Европу – всё это определило наше внимание к восточному направлению экспорта газа. Экология и невозможность быстро наращивать добычу угля подтолкнули Пекин к поискам компромисса. В ходе майского 2014 года визита Президента РФ Путина в Китай было подписано соглашение по газу. Экспорт начнется через пять лет после подписания. Строительство уже началось. Позволит ли это довести товарооборот до 200 миллиардов в 2020 году?

Будем реалистами. Мы – партнёры и нужны друг другу. Разногласия и трения между нами были, есть и будут. Но высшие интересы двух стран и народов подвигают нас на поиски решений, на более глубокое и разнообразное сотрудничество. Для успеха будем в русских традициях самокритичны: мы сами должны навести порядок в своём доме, чтобы квалифицированно, в самой дружеской форме отстаивать свои интересы и находить с китайцами взаимопонимание. Повторяю: это нужно нам обоим.

Конечно, необходимо оживление инвестиционного сотрудничества. Возможно участие Китая в разработке месторождений нефти и газа в северных

и восточных регионах России, а также на континентальном шельфе. Идёт расширение военно-технического сотрудничества. На “Максе” прошли переговоры о закупке истребителей пятого поколения Су-35.

Эти мысли находили понимание у собеседников. “Двустороннее китайско-российское сотрудничество отстало от уровня политических отношений, – говорил президент КАСМО Цзи Чжие. – Дело не только в экономике или торговле, нужно усилить интеграционные процессы, найти новые методы интеграции на основе общих интересов. Взаимные капиталовложения малы – это самая слабая часть комплекса наших отношений. Рассчитывать нужно не только на частный, но и на государственный капитал. Есть взаимопонимание на высшем уровне. Это нужно использовать и развивать. А мы должны давать идеи правительствам, думать о создании совместных фондов. Пока же фактически нет фондов по совместным инвестициям. Есть лишь совместный фонд развития – примерно 4 миллиарда долларов. Этого мало”.

### **Наш общий БРИКС**

Российско-китайское партнёрство служит общим интересам и не направлено против третьих стран. Все наши беседы вокруг БРИКСа проходили именно в этом ключе.

С нами встречался заместитель заведующего Международным отделом ЦК Ай Пин, курирующий тематику БРИКСа. Он позволил себе немного философствовать:

“Столкновение цивилизаций – слишком простое объяснение ситуации в мире. Действительность гораздо сложнее. Мы знаем, что в странах БРИКС, расположенных на разных континентах, существует различная культура, своя история, различные цивилизации. Но идёт сотрудничество, которое нужно всем. Существует высокий уровень взаимодополнения. Лидеры БРИКС – оптимисты, и они оседлали тенденцию развития. Мы, учёные, должны разрабатывать политику в конкретных областях и направлять свои идеи нашим руководителям.

БРИКС может явиться центром трансформации мировой архитектуры. Он должен идти путём сотрудничества, учёбы друг у друга, осуществлять политику большей открытости.

В западных странах имеется богатый опыт и сложившиеся механизмы сотрудничества – ТНК, МВФ, ВБ, ВТО. Китай участвует, например, в Африканском банке развития (кстати, Россия в нём не участвует. – **А. В.**). Конечно, нужно продумать и создать совместный банк в рамках БРИКСа. (Он был создан в этом, 2015 году. – **А. В.**) Нужно создавать совместные предприятия в рамках БРИКСа. Нужны новые модели сотрудничества. В целом мы должны учитывать, что нужно менять модель развития.

Наша цель – повышение роли БРИКСа не только в экономической области, но и в политической области”.

Мысль о расширении функций БРИКСа сейчас звучит всё актуальнее. БРИКС пока что оставался только клубом партнёров. Элементы политического сотрудничества в рамках коллективной организации намечались и раньше. События на Украине, антироссийские санкции Запада, отсутствие России в “восьмерке”, снова ставшей “семеркой”, подталкивает участников БРИКС к углублению политического партнёрства.

### **“Китайская мечта” и экология**

Развитие Китая – это не прогулка по центральному проспекту Пекина. Есть свои трудности, реальные ограничения. На пути осуществления “китайской мечты” стоят препятствия. Одно из них – экология.

Китай наряду с США стал главным отравителем атмосферы Земли. Он добывает и сжигает более 3,5 миллиарда тонн угля и десятки миллионов импортирует и тоже сжигает. Это даёт 70 процентов производства энергии. Опасные последствия очевидны. В 2012 году сложились такие атмосферные условия, что треть населённой территории Китая накрыло ядовитое облако, где вредных веществ было в 40 раз выше нормы. Люди задыхались, кашляли, чихали, болели, некоторые умирали. Закрывались предприятия, школы, на улицы не выпускали автомашины.

Ситуация в разных масштабах повторялась.

Проблема глубже и серьезнее. “Золотой миллиард” – примерно пятая часть человечества, то есть страны Запада и Японии, полтора-два десятилетия назад уже поглощали больше ресурсов биосферы, чем природа могла восполнить. Сейчас вследствие промышленного развития Китая, Индии, Индонезии, Турции, Мексики деградация биосферы ускоряется. “Соразвитие” означает соучастие в деле приближения катастрофы. Проблема есть, её здесь знают. Наши собеседники говорили о триллионах юаней, которые бросают на улучшение экологической обстановки, о посадках миллионов гектаров лесов, об увеличении импорта газа. На улицах Пекина и Шанхая не слышно тарыхтения мотоциклов – всё на электрических двигателях.

*“Одна из наших важнейших задач – охрана окружающей среды, – говорил Хуан Гуань. – Мы хотим создать “красивый Китай”. А для этого нужно сокращать потребление энергии и ресурсов, повышать эффективность производства, больше использовать солнечной энергии, повышать уровень и качество жизни. В целом нужно менять модель развития. Нужно переходить от экстенсивной модели развития к интенсивной. Мы гордимся тем, что у нас первое место в мире по объёму инвестиций в чистую энергию”.*

В странах Запада тоже осознают масштаб опасности и стараются сократить потребление энергии на каждую единицу ВВП. Но ведь китайцы хотят иметь автомашины, холодильники, кондиционеры, телевизоры, как и “средний класс” на Западе. Их надо произвести, затрачивая энергию, а потом использовать, также расходуя энергию. Можно ли вообразить, чтобы правительства Запада начали политику снижения уровня жизни своего населения во имя экономии энергии? Да их сметёт тот же “средний класс”. А может ли Китай отказаться от мечты о “средней зажиточности”, то есть от тех же автомобилей и кондиционеров? Предлагаю читателю решить квадратуру круга. У меня ответа на этот вопрос нет. Но часы тикают... Дело не только в биосфере. Неуёмное использование удобрений и гербицидов разрушает плодородные почвы в главных сельскохозяйственных регионах Китая. Вдобавок – катастрофически не хватает воды.

### **Есть ли пределы трудолюбию?**

Китайское трудолюбие – казалось бы, аксиома. Китайцы работают, работают, работают. Они работали всегда. Создали великую цивилизацию, прорыли самые большие каналы, построили самую длинную крепостную стену, оставили самую большую terra-cotta армию, сохранившуюся для нашего поколения закопанной в землю, построили прекрасные дворцы, пагоды, монастыри, дороги. Сейчас китайцы получают от результатов работы всё больше благ. Это – новое. Но каждый знает своё дело. Уборщица знает своё место, исследователь в институте должен работать отнюдь не 8 часов в сутки, рабочий у конвейера или компьютерщик отдают себя без отказа. Везде идёт стройка – дорог, мостов, заводов, торговых центров. В больших городах сносят 2–3-этажные дома, чтобы возвести 20-этажные. Сносят 20-этажные, чтобы возвести небоскребы на 70 этажей. Китай рванул вперёд и выше благодаря не только колоссальному резервуару дешёвой рабочей силы, но и бесконечному трудолюбию своих граждан и их готовности работать за скромное вознаграждение.

Переход от экстенсивного к интенсивному хозяйству требует более квалифицированной рабочей силы, более творческого труда. А это означает более высокую заработную плату и больше времени на досуг. Будет ли следующее поколение китайцев столь же беззаветно работать?

Даже если будет, сохранит ли Китай свои преимущества? Ведь в США началась “реиндустриализация”, когда работы оказываются выгоднее самой дешевой китайской или индийской рабочей силы.

### **Демографический вызов**

В Китае есть успехи в деле “сохранения человеческого капитала”. В пока что небогатой стране продолжительность жизни – как в высокоразвитой Западной Европе. Почему? Более здоровое питание (предпочитают все “с пылу – с жару”) и всеобщее уважение к старшим и старости. (А как с этим у нас?

Ладно, не будем самим себе портить настроение.) Но меньшее количество детей и большее стариков приводит к вопросу — кто будет кормить пенсионеров? Сейчас на одного пенсионера приходится четверо работающих. К концу столетия каждый работающий должен будет кормить одного пенсионера. Для сегодняшнего типа экономики это просто невозможно. Действительно, как и говорили наши собеседники, нужно создание нового типа экономики.

А через 15-20 лет Китай столкнётся со всё большим половым дисбалансом в обществе.

При политике “одна семья — один ребёнок” родители стремятся оставлять больше мальчиков. На 100 девочек сейчас рождается 118 мальчиков. Численность мужчин брачного возраста через 15-20 лет будет на 30 миллионов превышать численность женщин того же возраста. Это создаёт невиданную прежде напряжённость. Не придётся ли “импортировать” жён? Но это слишком противоречит китайским традициям. В южных провинциях иногда появляются жёны-вьетнамки. Цифры мизерные. Уже начались послабления в политике “одна семья — один ребёнок”. Но женщины с высшим образованием или просто образованные в крупных городах всё равно не захотят иметь больше одного ребёнка. В состоятельных семьях, которые не нуждаются в социальной защите и могут нанимать служанок и нянь, заводят и двух и трёх детей. Это не меняет общей ситуации.

Позднее я нашёл цифры. В гигантском Шанхае на одну женщину приходится менее одного ребёнка. Для девушки партнёр без автомобиля, квартиры, приличного заработка называется “голым браком”. По-нашему, — “с милым рай в шалаше”. Но мало кто хочет жить в шалаше. А цена квадратного метра в более или менее приличном районе — около 5 тысяч долларов. Почти как в Москве. В престижных районах бывает и более 15 тысяч. Девушки не спешат замуж, молодые люди не спешат обзаводиться семьей. Реалии больших городов.

### **А что по ТВ?**

Смотрю телепередачи, не зная языка, но вижу некоторые знакомые приёмы. Много жестокости, активного действия, преступлений, мордобоя, стрельбы, взрывов. Все уловки американского ТВ и Голливуда используются и совершенствуются. Часто просто крутят американские фильмы с субтитрами, в том числе в самолётах. Содержание их вспомнить невозможно. Бесконечное разнообразие любовных историй, как будто с целью переголливудить Голливуд. Между выступлениями тех или иных артистов, певцов, танцоров, фокусников (прекрасные и уровень, и режиссура) появляются трепачи, которые что-то комментируют, создавая некую сопричастность зрителей с артистами. Среди публики выделяются клакеры, которые поддерживают выступающих, хлопая ладошами над головой. Но когда в одной из передач побежали английские субтитры, стало ясно, что в песнях доминировало патриотическое содержание: герой живёт за границей, мечтая о доме, другой говорит о своих корнях, гордится ими, третий перечитывает письма любимой, четвёртый вспоминает своё детство и т. д. Впрочем, песни под западную музыку, исполняемые одетыми по-западному певцами, тоже принимают на ура.

### **Пристрастия и развлечения китайцев**

Краткая командировка не позволяет делать обобщения о быте, пристрастиях, развлечениях китайцев. Но кое-какие впечатления запомнились.

Бродил по Пекину и вместе с толпой попал в район торговли и развлечений — что-то среднее между Латинским кварталом в Париже и Большим базаром в Стамбуле. Нашёл табличку, в которой было сказано, что это торговый район Нан Луо Го Сиань, он существует с XII века, попал в список мирового культурного наследия. Большинство посетителей — молодёжь, юноши в джинсах и девушки в максимально коротких шортах, иногда на туфлях с высоченным каблучком. Магазины, лавчонки, забегаловки, кафе, рестораны, харчевни. Что-то шкворчит, кипит, жарится. Всё — китайское, для китайцев, которые не признают невкусной пищи, даже самой дешёвой. Искал какую-нибудь европейскую булочку, чтобы съесть её вместе с местным йогуртом, но булочки не нашёл. Возможно, не знал где.

Здесь сувенирные магазины на разный вкус и на разный кошелёк.

На следующий день зашёл в антикварный магазин, где на меня не обратили никакого внимания, явно определив, что я просто любопытный, а не покупатель. Понравилось настольное украшение, посмотрел на цену – примерно 45 тысяч долларов в юанях и понял, что надо делать ноги.

В Китае индустрия развлечений, “шопинга”, туризма бурно развивается. Упомянутый квартал – лишь один из тысяч. Полны парки, природные заповедники, Великая Китайская стена, торговые моллы, курорты, прибрежные гостиницы, прогулочные суда. Но все, в основном, для своих, для своего выросшего “среднего класса” и для богатой элиты. Толковых путеводителей или карт нет не только на русском, но и на английском языках.

В Шанхае мне показали самый большой торговый район – как бы местный пешеходный “Арбат”. Из конца в конец ездят “поезда” с маленькими вагончиками. На самом углу – король всей торговли – многоэтажный магазин “Эпл” с электронными новинками. Он полон покупателей, в основном молодёжью. Когда ехал в метро, заметил, что около половины пассажиров не расстаются со своими айфонами – играют во что-то, переписываются, читают. Новая жизнь, новые люди, новая психология.

Шанхайский “Арбат” в основном – магазины, “моллы”. Здесь представлены ведущие бренды мира плюс много своих, китайских. Реклама на десяток этажей, в основном на китайском, редко – по-английски. Китайцы – мастера создавать игру света, линий в сочетании с иероглифами. “Макдоналдсы” соседствуют с магазинами традиционной китайской медицины, с неизвестными нам снадобьями. Иногда пристают молодые люди с рекламками, повторяя слово “шопинг”, куда-то зазывают, предлагают роликовые коньки со сверкающими колесиками и фейерверки. Иногда – очень редко! – встречаешь убогих нищих.

На главной улице ритмично танцуют пары среднего возраста под западную музыку. Такие же танцующие группы я встречал у станций метро, в скверах, на площадях и в Шанхае, и в Пекине. Не скажу, что это всеобщее увлечение, но встречаешь часто. Молодёжь ходит в бары и “оттягивается” по-другому.

Меньше народа, но достаточно много в пекинском “Квартале 798”. Это был район старых заводиков и фабрик, недалеко от автострады, ведущей в пекинский аэропорт. Накануне Олимпиады здания освободили и передали художникам, актёрам, модельерам, музыкантам. Сейчас из этого квартала пытаются создать свой “Монмартр”. Полная вам свобода – “твори, выдумывай, пробуй”. Здесь художественные мастерские, выставки, выставочки, естественно, – кафе, харчевни, музыканты и оркестрики на перекрёстках. Картины и скульптуры производят разное впечатление. Много намеренного уродства, эпатажа, вызова, подражания модным течениям на Западе. Любопытно, что в “Квартале 798” не видел картин или скульптур с элементами эротики. Хотя и в классической китайской литературе, и в живописи эротическая тема звучит достаточно громко, здесь её не было. Может быть, не всё осмотрел. Но вспомнил рекламу выставки великих французских импрессионистов в Париже с одним из “шедевров” – тщательно выписанными женскими половыми органами.

На мой непросвещённый вкус, есть и очень оригинальные художники, которые пользуются успехом и в Китае, и во всём мире. Запомнились выставки фотографий – и сюжеты, и качество исполнения, игра света-тени, цвета, выбор центральной фигуры и деталей – всё было великолепно. Фотографические картины продаются как достаточно большие постеры. К сожалению, просто альбомов с фотографиями не было.

В провинции Гуйчжоу, которая славится горными ландшафтами, нам организовали посещение водопада, якобы самого большого в Азии. С верхней площадки в долину, метров на триста вниз ведут эскалаторы. Дальше проложена дорога, которая ведёт к водопаду, проходит под ним и возвращается к эскалаторам. Виды чудесные.

Многочисленные китайские туристы непрерывно фотографируют и фотографируются. Наверху, перед началом спуска, расположена обширная, видимо, уникальная коллекция “бонсай”. Это – деревца, специально выращенные в сосудах, горшках, корытцах. Некоторые из них имеют чуть ли не полтора метра в обхвате, а в высоту – столько же, и все живы, есть листья, цветы, плоды. Это не только знакомые нам миниатюрные сосенки, существующие

в виде домашних “деревцев”, но десятки разнообразных пород. У многих кажется-то высохли, и вдруг замечаешь, что брызнули молодые листочки. Выглядят они незабываемо у пруда с лотосами и “сада камней”, просто природных камней. Как утверждал писатель Всеволод Овчинников, китаист и японист, “бонсай” и “сад камней” – редкий случай, когда культурная традиция пришла из Японии в Китай, а не наоборот. С ним не согласился известный учёный, китаист Алексей Воскресенский. По его словам, “бонсай” – это пришедший в Японию китайский “паньдзин” – выращивание маленьких деревьев, любованье камнями – тоже китайское, а вот “сад камней” – действительно японское. Красивый спор, где я не могу быть судьёй. Китайцы научились восхищаться природными камнями с причудливыми формами. Их сюда специально завезли за десятки или сотни километров. И “бонсай”, и любованье “просто камнями” – это составная часть японской и китайской культуры. Такого практически нет в русской и европейской культурах. Правда, сейчас стремятся при строительстве учитывать красоту ландшафта, природный рельеф, на севере сохраняют гранитные валуны.

### **Их дороги**

Обычно посещение другой страны начинается с аэропорта. Так вот: пекинский аэропорт, как и шанхайский, настолько велики и современны, что аэропорт де Голля в Париже по сравнению с ними кажется провинциальным и устаревшим. Аэропорт провинциального центра Гуйяна с населением около 4 миллионов человек, то есть примерно равным населению Питера, – выглядит странным, а наш Пулковский – увя...

Рассказывают, что когда британского министра транспорта попросили оценить состояние китайских дорог, он якобы ответил: “В английском языке нет эпитетов, чтобы охарактеризовать моё восхищение”. Присоединяюсь к этой оценке.

Так получилось, что больше всего ездили по автострадам в горной провинции Гуйчжоу. Дороги пересекают ущелья, реки, пропасти, долины, влетают в тоннели, пролегают по мостам, виадукам, некоторые из которых на опорах высотой под 50 метров. Мне сообщили, что каждый километр автострады здесь обошёлся в 20 миллионов долларов, но строят ещё и ещё. Китайцы усвоили истину, что без хороших дорог нет ни страны, ни нормальной экономики.

Специально поменял авиабилет Шанхай–Пекин на железнодорожный, чтобы проехаться на скоростном поезде. И не пожалел.

Железнодорожный вокзал в Шанхае – огромное здание с новыми пристройками, современным обслуживанием, с табло на двух языках. Экспресс Шанхай–Пекин как бы летит над Китаем. Мимо – поля, малюсенькие на юге и более крупные ближе к Пекину, бесконечные теплицы. Мимо – заводы и торговые центры, виадуки и развязки автострад. Мимо – деревни и города, в которых повсюду торчат здания под 40–50 этажей. Пассажиры углубляются в свои айфоны и компьютеры. Полторы тысячи километров за пять часов.

Эта скорость – не предел.

Первая в мире коммерческая железнодорожная линия с поездом на магнитной подушке соединяет шанхайскую станцию метро Люньян Лю с международным аэропортом. Расстояние 30 километров поезд преодолевает за 7 минут 20 секунд, разгоняясь до скорости 431 километров в час.

Вот так и мчится Китай.

Быстрее, быстрее, быстрее.

**Пекин–Гуйян–Шанхай–Москва**

ИВАН ДЕМЬЯНОВ



## КАК БРАТЪЕВ ДЕЛАЛИ ВРАГАМИ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

### **Развалили СССР, теперь хотят того же для России**

С осени 2013 года живу по новому распорядку. Не большой любитель телевизора, вечера провожу теперь перед экраном. В основном смотрю новостные передачи на Первом канале, “России-24”, а также политические ток-шоу, главная тема которых, конечно же, Крым и Украина. С горечью и болью сердечной воспринимаю трагедию Украины: Евромайдан в центре Киева, толпы разъяренной молодежи, дубинками крушащей всё и заливающей “коктейлями Молотова” киевский “Беркут”. То, что режиссеры всего этого действия находятся не только в Европе, но и за океаном — понятно. Там спят и видят натовские базы вдоль границы, в подбрюшье России: Харькове, Запорожье, Сумах, Луганске... А от Харькова до моей родной Белгородчины — рукой подать. До Орла и Брянска тоже. Да и до Москвы на машине езды всего несколько часов... А сколько лететь ракете?

Не стану кривить душой, в русском народе жителей братской Украины всегда считали хитроватыми, расчетливыми, прижимистыми. И называли между собой хохлами. А они нас — кацапами. И в свою очередь обвиняли в простоватости и непрактичности. Ну и что? Так и в семьях обычно бывает: один брат похитрее, другой попроще. Помните, в русских сказках всегда при умных братьях был Иван-дурак? Только так ли глуп был этот русский Иван, в конце концов, преодолевающий все преграды и испытания?

---

*ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович, вице-президент акционерной компании “АЛРОСА”. Один из ветеранов алмазодобывающей отрасли России, отдавший ей более пятидесяти лет. Накануне ГКЧП — первый секретарь Мирнинского горкома КПСС. С Компартией России не порывает до сих пор. Является секретарём Мирнинского горкома КПРФ на общественных началах.*



Вот картинка из моего далекого детства. Бригада косарей из 19 человек косила на полях за Кулигой – дубовой рощей – вику с овсом. В обеденный перерыв бригадир Егор Венедиктович Подлипских составлял табель учёта работы косарей для начисления трудодней. И с искренним изумлением отметил, что из 19 работников 17 были Иванами! Оставшихся двоих звали Петром и Федором, по-деревенски – Перой и Фюдей. Русское село очень изобретательно на прозвища. Дают их ещё в детстве, но уличное прозвище часто переходит по наследству от деда или отца его детям и внукам. **Потому у каждого Ивана кроме фамилии было сельское прозвище: Иван-Корева, Иван-Карась, Иван-Кобанец, Иван-Дедок, Иван-Кыник, Иван-Белка, Иван-Сычик, Иван-Земский, Иван-Зверенок, Иван-Лепешкин, Иван-Сюша, Иван-Царей, Иван-Хунтай, Иван-Сосик, Иван-Гана, Иван-Ванюха, Иван-Жеребец.** Было ещё два Ивана Ковылкиных. Я тогда тоже был членом этой мощной полеводческой бригады русских Иванов колхоза имени В. И. Чапаева. Лет мне было немного, но воду косарям в летний зной подносил исправно. За этот труд мне писалось пол-, иногда только четверть трудодня. Куда мне ещё было тягаться с мужиками, работавшими целый день! В ту пору я был ещё не Иваном, а просто Ванюшкой.

Я хорошо запомнил, как могут трудиться русские Иваны! Наш колхоз имени В. И. Чапаева лежал после войны в руинах. И мужики, почти все прошедшие войну, работали на пределе своих сил. Надо было видеть их в работе. Их насквозь пропотевшие рубахи, пот, ручьём заливающий лица, вжиканье кос и широкие ряды скошенной травы, остающиеся за каждым косарём. Я видел. Запомнил. И понял, почему такой народ победить нельзя.

Особо запомнил их незатейливые обеды, сваренные на костре: кулеш и кашу с запахом дымка. Тут мне подавалась миска, наполненная доверху, как взрослому косарю. Русские Иваны, в большинстве своём, были очень добросердечны и жалели меня, голодного сироту.

Истины ради хочу особо отметить, что до сих пор не перестаю удивляться трудолюбию своих земляков тех лет, независимо от того, какие имена по святам они носили. При том скудном послевоенном продуктовом рационе откуда брались силы, желание работать от темна до темна с огромной отдачей на благо родного колхоза у глубоко немолодых людей? В бригаду Егора Подлипских входили мужики очень пожилые, на тогдашний наш взгляд – старики. Но они работали так, что мы, молодёжь, диву давались.

К этому времени я уже был довольно взрослым парнем, в армию собирался. Физически был здоровым, довольно разворотливым. И руки росли откуда надо. Косил так, что кочки срубал вместе с травой. И ребята такие же подобрались в нашу бригаду. Попытались мы, молодняк, “утереть старикам носы”, но так ни разу и не сумели. В косьбе, молотьбе, скирдовке стогов – везде наши старики давали фору нам, молодым.

Ведёшь в покосе ряд, потом обливаешься, стараешься изо всех сил, а сзади дед Иван подгоняет: “Эге, шустри, парень, пятки подрежу!” И шустришь до изнеможения, куда деваться! Вот пишу эти строки и всё удивляюсь: откуда была у них такая сила и сноровка? Тогда ведь ни косилок, ни комбайнов не было в колхозе. Все с косой-литовкой управлялись. Да ещё как управлялись! Кроме заготовки сена, косили вручную косами разные посевные культуры: пшеницу, рожь, ячмень, просо, кориандр, гречиху. И за световой день наши “старики-разбойники” выкашивали огромные площади от 0,5 до 1,5 гектара полей! Осенью они выкапывали за день по 1,5–2 бурта (ямы в земле) для хранения зимой картошки, кормовой свеклы, моркови и других корнеплодов! А мы, молодёжь, как ни старались, но такого результата достигнуть не могли. Потому и спустя полвека диву даюсь, вспоминая их трудолюбие, выносливость и любовь к своей малой родине.

Примечательна судьба Митрофана Афанасьевича Черных – светское прозвище Пяка. Воевал, попал в плен, был помещен немцами в концлагерь, откуда бежал. Чего только не перенёс, не перестрадал, но выжил. Вернулся домой. Много лет трудился в нашем колхозе имени В. И. Чапаева и всегда был в числе передовиков. Это был наглядный пример для подражания.

Также памятна судьба Ивана Васильевича Черных, которого в Иловке звали Иван Бог. С войны он вернулся инвалидом без ноги. Прожил трудную, но светлую жизнь. Создал семью, у него родились пятеро детей – трое парней и две девочки.

Зато нынешние горе-руководители “благополучно” всё это богатство разрушили и разбазарили. Нет больше нашего колхоза имени В. И. Чапаева. Нет молочно-товарной фермы и птицефермы, лисофермы и овцефермы. Не производят продукцию колбасный и молочный цеха, не растут больше корнеплоды в овощном хозяйстве, нечего косить на бескрайних полях. Приказали долго жить мастерские, столярный и кузнечный цеха, кирпичный завод. Всё поросло бурьяном. Молодёжь из Иловки почти вся уехала, остались одни старики, что живут на пенсию...

С той, прежней поры, осталось много знакомых украинцев. Они и тогда, и позднее были буквально влюблены в Украину. Край-то ведь и вправду прекрасный! Любовь их к “ридной краине” вполне мне понятна. Они там родились, выросли, сформировались как личности. Обо всём украинском отзываются только положительно и с неподдельной любовью. Досадуют лишь об одной особенности украинского характера. Один мой давний знакомый, украинец по корням, в разговоре как-то спросил то ли у меня, то ли у самого себя: “Ну, почему они всё время, как бы помягче сказать... врут... Говорят одно, делают другое. Наобещают – не выполняют”. Я ему сказал: “Не все ведь такие. Разные могут быть”. Собеседник мой почему-то вздохнул и больше ничего не сказал... Может, своих жалко стало. Ведь свой своему поневоле друг. Один ведь народ. И жили вместе русские с украинцами веками. До самой проклятой перестройки.

“Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно найти и вырастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что они будут ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени”.

Трудно догадаться, кем и когда это было сказано, но звучит будто программа для сегодняшних событий, причём, программа уже практически выполненная. Тем не менее, изрёк эту идею Отто фон Бисмарк в 1881 году!

Я родился в Воронежской, а рос уже в Белгородской области, образованной вскоре после войны – в 1954 году. Места наши граничили и тогда, и теперь с Харьковской областью. Это была уже Украина. В нашем районном городке Алексеевке жили сплошняком хохлы, говорившие на украинском языке. Родная моя Иловка всего в семи километрах от Алексеевки. Там все стопроцентно русские. И потому, когда сельчане собирались в районный центр на базар, то просто говорили: “Поедем к хохлам!”

Алексеевка тогда была почти сплошь деревянным и пыльным городком, скорее, местечком. На базар выезжали рано, на рассвете. Добирались туда долго, потому что в упряжках редко бывали лошади. Под ярмом, в лучшем случае, шли и тянули тяжёлые возы с сеном, соломой, какой-нибудь мякиной, клетками с поросятами, цыплятами медлительные волю. В худшем случае – коровы. Взрослые шли рядом с возами. Мы же, дети, со слезами упросившие родных взять нас “в город”, бежали в предрассветной пыли вслед за возами.

Алексеевский базар был по-малороссийски живописным. От проезжающих телег пыль стояла столбом. Слышался рёв скотины, пороссячий визг, разноголосый людской гомон. Говорили на русском, а большинство – на “суржике”, смеси украинского и русского языков. Практически легко было различать людей по их языку, так как каждая деревня говорила своим особым говором. Прямо на земле, в пыли сидели безногие и безрукие инвалиды, калеки недавно минувшей войны, торгуя прямо тут же разложенной всякой всячиной: от подержанных велосипедов до кистей-квачей для побелки хат-мазанок. Потом они, правда, куда-то все исчезли.

Православные спешили в церковь к заутрене. В большинстве своём шли в старых лаптях. Лапти новые или башмаки несли наперевес привязанными к палочкам на плечах. У церкви ноги вытирали заготовленными заранее чистыми холстинками и обували свою новую драгоценную обувь. Отстояв службу, снова переобувались и уже в старых лаптях шли обратно.

Я всегда внимательно смотрел на Алексеевский прикладбищенский храм, в котором, по рассказам бабушки, меня крестили мои крёстные Мария Николаевна Рыжих (Черных) и Николай Иванович Рыжих. В Иловке церковь тогда была еще закрыта: в ней в годы войны размещался склад с зерном и другим колхозным продовольствием.

Когда мы, сельские дети, попадали в Алексеевку, то по простоте своей, зазевавшись, не раз слышали в свой адрес сочную угрозу от очередного здорового дядьки с вислыми усами, грозящего нам ременным кнутом с проезжавшей мимо телеги: “У, бисовы диты! Москали! Вот я вам задам!”

Часто в шутку мы адресовали друг другу такие вот вопросы: “Чем отличаются украинцы от хохлов?” И сами же на них отвечали: “Украинцы живут на Украине, а хохлы по всему СССР и земному шару”.

Внезапно свалившаяся на Украину государственность, видно, сильно припечатала населяющий ее народ по голове. Не раз смотрел по телевизору заседания Верховной Рады и диву давался: сплошной политический ералаш. Депутаты – государственные люди, народные избранники никогда не слушали и не слышали друг друга. Диалоги были просты до примитивизма. Чуть что не по нраву, или словарный запас слабоват, в ход пускались кулаки. И целили избранники народа друг другу... прямо в глаз. Публично, не отходя от трибуны. Сколько раз депутаты дрались в Раде: душили друг друга галстуками, скандировали речёвки целыми фракциями, срывали заседания, захватывали трибуну, ломали автоматическую систему подсчёта голосов.

Вначале мы посмеивались над этой простотой нравов. Потом смешки перешли в тревогу. И тревога эта оказалась не напрасной. Пока Россия успешно занималась Олимпийскими играми, вялотекущий Майдан под неусыпным присмотром наших заклятых “друзей” из Госдепа США и Европарламента превратился в кровавое побоище. Президент Украины В. Янукович не согласился подписать соглашения, предложенные европейскими “друзьями” и советниками из США. Тут же был организован насильственный переворот, свергнута государственная законная власть Украины... Горели живыми факалами бойцы “Беркута”, доселе неизвестные снайперы били и по тем, и по другим. В результате президент Янукович вынужден был бежать из страны, отдав власть в руки “Правого сектора”. Потом был референдум по Крыму. Радость присоединения полуострова к России. Все новые и новые санкции против нашей страны и её политиков по принципу “кто больше?” Сегодня санкции враждебный нам Запад, как видим, применяет вместо бомб и снарядов.

Одесская Хатынь. Война против мятежного Юго-Востока Украины. Референдум 11 мая в Донецкой и Луганской областях, находящихся фактически в окружении карательных войск киевских властей. Километровые очереди к избирательным участкам. И потрясающий результат голосования – почти 90% жителей этих областей высказались за отделение от украинского государства.

Бесконечные переговоры по “газовому вопросу”. Россия всё грозила пальчиком, делая тридцать третье предупреждение о переводе Киева на предоплату за потребляемый газ. Но угроз своих не выполняла. Наоборот, исправно гнала газ по трубам. Украина же платить не желала, зато халявный газ старательно закачивала в свои хранилища. И когда терпение у российской стороны лопнуло, премьер-министр Украины Яценюк радостно заявил, что у них газа теперь до нового года хватит, а дальше видно будет.

Под артиллерийскую канонаду в самопровозглашённой Новороссии, под очередные “бла-бла-бла” по газу прошли выборы нового президента Украины. Им стал украинский “шоколадный король”, олигарх Пётр Порошенко, победивший в первом же туре. Сегодня его в южной части Украины громко называют Петром Потрошенко. Куда-то, на время, как оказалось, до новых выборов, исчезла с поля зрения “дама с косой”, его конкурентка Юлия Тимошенко. Стала нагнетаться активная антирусская истерия. “Правый сектор” громил российское посольство в Киеве, консульство в Одессе. К посольству подвезли покрывки и расписали здание свастиками, перевернули посольские машины.

Такая вот сегодняшняя действительность. Потому и не спится мне ночами. Что же будет дальше? Угрызений совести вроде бы и не испытываю. Потому что и в годы “перестройки”, вернее, развала страны всё понимал и предсказывал подобный ход истории. Виню себя только в одном. Надо было уже тогда организовывать и разворачивать действенное сопротивление перевертышам – “прорабам перестройки” хотя бы в нашем Мирном. Таким “ярким” личностям, как Т. Н. Залевская, А. Ф. Стрельников, А. А. Боткунов, В. Г. Колобаев, Г. К. Жариков, И. В. Козлов, Н. В. Лепилова, Н. А. Линник, Т. Б. Кулак, А. О. Новоселов, Ю. А. Запевалов, А. П. Куракулов, В. Н. Кондратьев, С. Н. Долгих, А. Ю. Богуславский, В. Г. Червинский, Б. Н. Бубякин,

С. И. Осипов, Г. А. Четоев, А. А. Соколов, В. Д. Мазур, С. Л. Горохов, Г. А. Макаров. А мы сдались на милость врагу фактически без сопротивления.

Если смотреть правде в глаза, то надо признать, что справедливо критикует меня нынешний сенатор В. А. Штыров и некоторые другие за то, что я в своих воспоминаниях не называю имена достойных осуждения первых руководителей компании, района и республики. Хотя делаю это осознанно, по этическим соображениям. Да, в своё время я им очень верил, полагался на их мудрость и политическое чутьё. Да, чутьё у большинства из них было. Даже обострённое. Они быстренько сменили политическую ориентацию: первыми предали коммунистические идеалы и принялись обливать грязью советский строй, возраставший, выучивший и воспитавший их. Предательство в православии считается тяжким грехом. Полагаюсь на волю Божию. Верю и надеюсь, что его суд праведнее людского суда.

Хочу привести такой пример. Кто из нас не помнит имя знаменитого украинского гетмана-предателя Мазепы, увековеченного великим Пушкиным? Конец его жизни был мучительным и страшным. В 1709 году в небольшом селе Варница близ Бендер умирал в жутких мучениях бывший гетман Украины Мазепа. Он поминутно терял рассудок от невыносимых адских болей. Приходя в сознание, гетман-клятвопреступник истощенно скулил: “Отруты мэни, отруты!” (“Яду мне, яду!”). Но травить православного даже перед тяжкой смертью всегда считалось непростительным грехом. Старшины и челядь решили действовать по старинному обычаю – долбить дырку в потолке крестьянской хаты. Чтобы облегчить грешной душе умирающего расставание с бранным телом. Старинное поверье гласит: чем больше человек грешит при жизни, тем мучительнее смерть его ожидает. Не зря же в православных церквах в одной из часто читаемых молитв есть такие слова: “. . . И пошли мне кончину безболезненну и непостыдну, мирну. . .” “Лёгкую смерть заслужить надо”, – вздыхала, бывало, моя бабушка Татьяна Романовна. Это я к тому, что многие из моих соратников-перебежчиков в одночасье стали верующими людьми. Нет, не подумайте, что я считаю их перебежчиками из-за их обращения к религии. Отнюдь нет! Забыть не могу, как они предавали наши идеалы, наши идеи, а потом вообще выходили из партии.

Здесь приведу в назидание нынешним политикам признание Наполеона: только в долине смерти он осознал, что его туда привела роскошь, которую он создал для своих подчинённых и для себя. А в результате потерял власть, погубил Францию.

Что же происходит на Украине? Там идёт жёсткий межцивилизационный конфликт. То есть борьба символов и версий истории. Потому для одних граждан этого государства День Победы – главный праздник. Для других – день поражения. Как могут жить в одном государстве люди с прямо противоположными символами победы? Для одних это – маршалы Жуков и Рокоссовский, а для других – Шухевич и Бандера? Притом, нынешняя власть проводит активную государственную политику русофобии, направленную на вытеснение или насильственную ассимиляцию русских людей. Главная действующая сила и Майдана, и проведения русофобской политики в жизнь – молодёжь, взращенная в западных областях Украины в постперестроечное время. Откуда взялись в Украине манкурты, готовые без особых раздумий насиловать, убивать, живыми жечь людей? Увы! Такими были их деды – бандеровцы. Яблочко от яблони недалеко катится. Но тогда была война, и это как-то не то чтобы оправдывало, но хотя бы объясняло запредельную жестокость. Правнуки их росли в мирное время. Но учились в школах “незалежной Украины”, историю в которых преподавали дети и внуки тех же бандеровцев по новым учебникам, написанным их же последователями после ющенкофской “оранжевой революции”. Хотя способствовал возрождению бандеровщины в Западной Украине ещё и Леонид Кравчук, первый секретарь ЦК КП Украины, а потом и первый украинский президент. Теперь он не стыдится писать о том, как подростком носил в бандеровские схроны-тайники продукты, хотя многие годы такой факт своей биографии тщательно скрывал. Вот на ком лежит тяжкая ноша клятвопреступника, правдами и неправдами втиснувшегося в комсомол, а потом и в Коммунистическую партию. Сделавшего, как и Горбачёв с Шеварднадзе, Ельцин, оглушительную партийную карьеру, которую впоследствии использовал для разрушения Советской власти и развала

СССР. В Беловежской пуще этот бандеровский последыш горячо поддержал клятвопреступника Ельцина, предложившего развалить СССР.

На Украине, с помощью современных технологий воздействия на толпу и долголетнего воспитания подрастающего поколения в духе человеконенавистничества, целенаправленно готовили людей, способных разорвать вековое единство славянских народов, ударить в самый центр русской цивилизации.

Крупные ошибки и просчёты на начальном этапе перестройки впоследствии привели к разрушению Советского государства и прежней системы ценностей, сложившейся системы патриотического воспитания, к извращению таких понятий, как интернационализм и патриотизм. Появился огромный поток литературы, дискредитирующей русскую историю, русские традиции, что, конечно же, очень негативно сказалось на патриотическом воспитании нового поколения. Противостоять этому было практически некому. Потому что людям, пытавшимся остановить этот поток лжи, даже в России клеились ярлыки фашистов и “красно-коричневых”. Их всячески шельмовали, оскорбляли, практически лишая возможности донести свою точку зрения до населения. И, главное, все гонители и фальсификаторы живы-здоровы и по-прежнему извращают нашу историю и льют грязь на прошлое и настоящее нашей Родины. Фальсификации подвергаются история Советской страны, её руководители, политическая система, различные события. Особенно шельмуются герои Октябрьской революции, Гражданской и Отечественной войн. Ленинский комсомол и пионерия не стали исключением.

Душа болела, когда я наткнулся на очередную статью Волкоглонова, Цыпка или слышал по телевидению и радио новые пасквили Млечина, Пивоварова, Сванидзе, Венедиктова, Станкевича о наших героях Великой Отечественной войны: генералиссимусе И. В. Сталине, маршалах Победы, защитниках Бреста, Минска, Сталинграда, Ленинграда, Смоленска, Киева, Москвы. Писатели и журналисты без чести и совести спешат делать деньги, обливая грязью великих людей. В перестроечные годы весь поток этой лжи подавался нам Бурбулисами, Сванидзе, Чубайсами, Гайдарами, Познерами, Шахраями, Шохиными, Собчаками, Мостовыми как “поиски правды”. Сегодня политика эта по отношению к великим людям прошлого, к героям называется так: “приблизить их к нам”. Вот как! Оказывается, не нам надо тянуться за ними, а их опускать с небесных высот, тем более что сами они не могут уже защитить свои добрые имена. Оказывается, и Александр Матросов не бросался грудью на амбразуру вражеского дота, а просто... споткнулся. И Зоя Космодемьянская ничего героического не совершала, просто... поджигала крестьянские избы. А прославленный маршал Георгий Константинович Жуков был... обычным мародером...

Они и сегодня шельмуют Коммунистическую партию Советского Союза, иронизируют над её лидерами: В. И. Лениным и И. В. Сталиным, Ф. Э. Дзержинским, Л. И. Брежневым, Г. А. Зюгановым и другими. Они пытаются стереть память о том, что рядовые коммунисты первыми вступали в бой с коричневой чумой и героически погибали за Родину. Но они ошибаются. Простой народ всё помнит, но пока ещё терпит. Скоро у него закончится терпение.

Трагедия Советского Союза, безусловно, есть результат многолетних усилий Запада, результат его заговора против первого государства трудящихся. Потерпев поражение в военном противоборстве, Запад сделал ставку на внутреннее разложение СССР, на внутреннюю контрреволюцию. И это ему удалось на рубежах 1980–1990-х годов. К этому времени, на мой взгляд, резко ослабли иммунные силы страны. Я имею в виду, что стало стремительно уходить из жизни поколение фронтовиков, знавших на деле, как надо защищать свою страну и беречь свое социалистическое Отечество.

Ушла целая плеяда государственников, таких как Каганович, Молотов, Громыко, Косыгин, Микоян, Устинов, Берия, Ломако, гвардия сталинских маршалов: Ватутин, Баграмян, Чуйков, Говоров, Антонов, Голиков, Мерецков, Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Гречко. В ответственный момент в августе 1991 года члены ГКЧП, военачальники-государственники Варенников, Ахромеев, Язов, плюс Пуго, оказались без поддержки. Потому что в состав ГКЧП вошли люди честные, но малозна-

комые широким народным массам. Они войдут или уже вошли в историю как герои-неудачники в силу своей нерешительности и гуманности. Они оказались слабаками. Подобный излишний гуманизм проявил и Янукович. Последствия этого “человеколюбия” наблюдаем сейчас.

Но задайте себе вопрос: кто, кроме них, пытался остановить надвигающуюся катастрофу? Кто? Горбачёв спрятался в Крыму и выжидал, чья возьмет. А Ельцин, порой неадекватный, совершенно осатаневший от близости необъятной и бесконтрольной власти, готов был укрыться в американском посольстве. Это позже он вышел из укрытия и залез на танк.

Партийное руководство на местах, за очень редким исключением, было парализовано неизвестностью, трусостью, отсутствием чётких указаний сверху. Шли от местных руководителей невнятные бормотания, мол, не будем раскачивать лодку. И не раскачивали!

Судя по всему, Запад имел серьёзное влияние на расстановку кадров в СССР, а первых лиц откровенно вовлекал в круг своих ценностей. Он изучал их честолюбие, недостатки и пороки. Ему нужны были предатели в партии, в КГБ, в органах власти. И он их нашёл. Сегодня мы знаем их имена: М. Горбачёв, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, С. Шушкевич, Л. Кравчук, Б. Ельцин и другие.

Ударной силой по низвержению советской власти стала сформированная Западом пятая колонна из научной и творческой интеллигенции. Самые яркие имена – Сахаров и Солженицын. Вспомним таких деятелей, как Афанасьев, Адамович, Попов (автор легализации взятки), Аганбегян, Заславская, Карякин, Ясин, Старовойтова, Собчак, Бурлацкий, Бовин, Бурбулис, Гайдар, Млечин, Цыпко, Явлинский, Чубайс, Митрофанов, Шахрай, подобные им Мостовой, Кузнецов. И несть им числа. Все они ковыряли наши недостатки, обобщали частности и выдавали их за непоправимые пороки социализма.

Журналист – это пулемет, расстреливающий сознание человека. Прискорбно, что такое оружие иногда получают люди, которых трудно назвать друзьями России. Я имею в виду “великого” Познера, Швыдкого на канале “Культура”. Для России они страшнее атомной бомбы. Но вновь повторяю: ведь недаром говорят, кто в историю выстрелит из пистолета, в того история выстрелит из пушки.

Сегодня с омерзением наблюдаю, как в различных шоу вновь замелькал на телеэкране, особенно часто в “Вечерах с Владимиром Соловьёвым” эксперт фонда Собчака Сергей Станкевич, бывший заместитель мэров Москвы Г. Попова и Ю. Лужкова в 90-е годы. Когда его видишь, то вспоминаешь конец 80-х, Межрегиональную депутатскую группу и всех тех деятелей, которые привели Ельцина к власти, попутно разрушив СССР. Во время расстрела парламента он был советником президента России Ельцина. Работая в Моссовете, этот “демократ” обманным путем “прихватизировал” квартиру ветерана Великой Отечественной войны и присвоил значительную сумму общественных денег. Была еще какая-то мутная история с вселением этого “борца с привилегиями” в огромную квартиру Патолочева на улице Алексея Толстого. Заводилось уголовное дело, и Станкевич срочно сбежал за границу, как и его идейный патрон Собчак. Отсидевшись в Польше, Станкевич, правда, уже сильно пооблезший и потасканный, как ни в чём не бывало, вновь появился в России и продолжает учить нас, грешных, уму-разуму. Поистине, такому плюй в глаза – всё Божья роса. У него другая поговорка наготове: стыд не дым, глаза не ест.

Реализация заговора удалась Западу ещё и потому, что государство не успевало за растущими запросами людей, причём проигрывали-то мы в мелочах – в тряпках, предметах быта, развлечениях. Проигрывали, не зная подлинных причин очередей, дефицита. На заключительном этапе Советской власти кто-то ловко организовал чистку магазинных полок, а горбачёвская антиалкогольная кампания стала одной из последних точек в неподдержании власти народом. Конечно, это далеко не всё.

Со всей ответственностью считаю своим долгом заявить, что СССР не разрушился, а был развален глупостью правителей и невероятными усилиями людей, заинтересованных в этом действе. А причиной сложившейся ситуации был сначала обычный кризис роста, который в силу длительной нерешаемости приобрел разрушительный характер. Тут сложилась уникальная историческая обстановка: дурак у власти плюс агрессивное мещанство, жаждавшее

25 сортов колбасы на прилавках. Это оно заполняло собой митинги в центре Москвы в 1989–1991 годах, требуя перемен в политике властей. И идейными вдохновителями тех, казавшихся стихийными, толп были кумиры тогдашней публики: Андрей Макаревич, Олег Басилашвили, Андрей Кончаловский, Армен Джигарханян, Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Сергей Юрский, Лия Ахеджакова, Александр Розенбаум, Михаил Жванецкий, Евгений Евтушенко и другие. При демократической власти все эти люди были всячески обласканы новыми правителями: получали должности, звания, награды и премии. Все как один стали состоятельными людьми. Почему я привёл эти фамилии? Потому что именно эти, чересчур заласканные властью российские знаменитости, в своё время разрушавшие СССР, ныне поставили свои подписи под открытым письмом в “защиту Украины” и киевского Евромайдана после присоединения Крыма к России. Прекрасно понимая, какая ситуация складывается в мире, и отдавая себе отчёт, как аукнется это письмо родной стране, они фактически выступили в компании антироссийской коалиции – стран Еврозоны и США.

“Воссоединение – это добровольный акт, а в Крыму было насилие над Украиной. Зверское, лицемерное насилие над страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации. Да и цивилизация ли это, тоже вопрос. По мне, нет. Это просто территория, много веков диктующая своим соседям, как жить”, – заявил открытым текстом со сцены артист Андрей Макаревич. Много упреков сыпалось в адрес России, ушаты грязи выливались на неё, но даже у отпетых русофобов, начиная с маркиза Кюстина и до Бжезинского, не было столь полного отрицания русской цивилизации!

Впрочем, такая ненависть к России не только у посредственного певца. Её откровенно высказывают и те, кто сейчас во власти. Некоторое время назад интернет-сообщество взорвало заявление недавней сенаторши Нарусовой, которая объявила: “Русских надо истребить!”

О лютой ненависти к русскому народу вдовы бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, Людмила Нарусовой известно давно. Однако гневная тирада бывшего сенатора в своём твиттере шокировала даже видавших виды русофобов. Подобное не снилось даже немецко-фашистским захватчикам в 1941 году. Эпатажная дочь Нарусовой Ксения Собчак, в свое время называвшая русских “быдлом” и восхвалявшая евреев, и та не позволяла себе такого. Ксения Собчак: “Люблю евреев, потому что все русские – быдло!” Людмила Борисовна (от рождения Нарусевич), имеющая еврейские корни по отцовской линии, решила продемонстрировать явное превосходство потомков Моисея над славянами.

“Чем отличаются евреи от русских? Евреи могут создать страну на месте пустыни, русские из всего сделают пустыню!” По словам Нарусовой, даже чеченцы и таджики более достойны лучшей жизни, чем русские. “Чеченцы достойны лучшей жизни, а русские нет. Чеченцы не боятся рождаться и умирать, не боятся жить. Русские не достойны жизни потому, что трусы. Хуже русского нет никого в мире!.. Даже таджики более свободлюбивый народ”. Согласно утверждениям Людмилы Борисовны, у русских не существует не только культуры, но даже родного языка. От русского языка мало что осталось, и был ли он изначально русским языком? И русская культура тоже спорное понятие. В результате долгих раздумий Нарусова приходит к неутешительному для себя выводу: “Я вот думаю, где же на самом деле сторона зла? Может, русский народ в его нынешнем воплощении и есть само зло?!”

Что же делать с этим мировым злом? Рецепт экс-сенаторша находит незамедлительно: “Истреблять!” Всех поголовно! Вам мешает российский народ, его нужно ликвидировать. И тут же открытым текстом уточняет: “Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене народа!”

В результате Людмила Нарусова с сожалением констатирует факт высокой выживаемости русского народа на примере русских бомжей: “Ни в одной нации мира нет столько бомжей, как в русской. Почему вы хотите выжить любым способом?”

“Думаю, пора отработать технологии выражения общественного презрения тем гражданам России, кто пытается играть в одной команде с нашими врагами. Чтобы они не могли появляться ни на телевидении, ни на радио, чтобы на улице они чувствовали себя неуютно. Такие люди должны стать не лидерами общественного мнения, а изгоями”, – написал в своей статье “Куда рулит “машина”, опубликованной 19 августа 2014 года в газете “Советская

Россия”, публицист Юрий Баранчик. Но этого мало! Должны нести ответственность и те, кто рекомендовал такую фашистку в парламент России, где она просидела много лет, последние годы представляя там типично русскую область — Брянскую. Впрочем, стоит ли удивляться, что у губернатора этой области Николая Денина была такая представительница в высшем органе законодательной власти России. Сам Денин, уволенный президентом Путиным после многих скандалов, являлся крупным коррупционером и при этом входил в руководство партии власти. Значит, отвечать перед народом должны не только Нарусова и её дочка Собчачка, но и те в администрации президента, кто пускает русофобов во власть. Юдофобом, то есть антисемитом, быть недопустимо. Это карается юридически и нравственно. А русофобом, выходит, быть можно? **И Генеральная прокуратура не привлекает Нарусову к ответственности.**

Беда России в том, что дóма до сих пор такие Нарусовы — Макаревичи не изгой, а избалованные “звёзды”. Андрея Макаревича сам президент России Владимир Путин лично поздравил с 55-летием! В его 60-летие все каналы телевидения буквально взахлѐб пели панегирики этой тусклой “звезде”, правительство вручило государственную награду — орден “За заслуги перед Отечеством”. И вот такой ответ. Ответ ненавистника России. Выходит, наша власть даёт орден и всякие преференции за ненависть к стране? Интересный повод для раздумий народу. . .

Вот так бы заботилась власть о людях труда, о тех, кто эту власть кормит и содержит. Хорошо хоть в последнее время на них стали изредка обращать внимание. А то всё певцы да танцоры, футболисты да баскетболисты, телевизионные болтуны да юмористы с их животным юмором. Как будто не комбайнѐр и сталевар, не токарь и доярка создают те блага, которыми пользуются поющие, говорящие и управляющие. Поэтому мне не очень понятна нынешняя политика по отношению к людям труда. Некоторые руководители все достижения страны, Якутии, компании “АЛРОСА” приписывают только себе любимым, напрочь забывая титанический созидательный труд целых поколений своих предшественников. В масштабах страны — это В. И. Ленин и И. В. Сталин, целая когорта их замечательных сподвижников. В Республике Саха — С. З. Борисов, Г. И. Чиряев, Ю. Н. Прокопьев. В нашей алмазной отрасли — В. И. Тихонов, Л. Л. Солдатов, Л. В. Желябин, А. Ф. Галкин, Е. Н. Батенчук, В. И. Басанец, Г. А. Ефремов и другие. Не будь их, чем бы управляли нынешние “управленцы”? В том числе те, кто лично приложил руку к разрушению, а теперь радуется, что не всё им дали разрушить, что осталось ещё кое-что от созданного их предшественниками, и на том, прежнем фундаменте они строят дворцы собственного благополучия. Я — должитель “Якуталмаза” и “АЛРОСА”, потому хорошо помню те бурные совещания, когда принимались решения о закрытии того или иного производства или социального объекта. На стольких лицах — ни тени сомнения в правильности принимаемых решений. И сейчас повторяется то же самое. Только тогда разрушали под лозунгом: избавиться от наследия прошлого, а теперь — под предлогом сократить непрофильные активы. И не понимают подобные управленцы, что не может быть непрофильным такой актив, как свой фирменный санаторий, своя лечебная база, свое сельскохозяйственное предприятие, которые лечат, оздоравливают и кормят.

В масштабах страны самым тяжким ударом для народа был умышленный развал колхозов и совхозов. Мы потеряли их только благодаря усилиям архитекторов перестройки и тому, образно говоря, стаду баранов, которое послушно пошло у них на поводу в 90-х годах прошлого века. Хотя колхоз или совхоз на своей территории полностью решал все проблемы, связанные с устройством быта людей: медицина, отопление, освещение, общественный порядок, учеба детей, содержание детских садиков, школ, транспорт, ЖКХ. Сегодня же наши деревни и села превращаются буквально в призраки. Народ бежит из необустроенных, холодных деревень, где практически нигде нет газа, дорог, закрываются детсады и школы. Нам с утра до вечера разные корреспонденты Черниченки талдычили сказку о чудесном фермере, который заменит колхоз и совхоз. И где этот фермер? Те, кто довѐл российское село до разрухи и опустошения, — враги нашей страны почище Гитлера и Наполеона.



Пишу эти строки, а у меня перед глазами как живой дед Антон. В Иловке его звали “дед-пулемёт”. Он был инвалидом: носил покалеченную ногу, согнутую в колене, на деревяшке. И когда садился на чурбак, на скамейку или стул, то ногу поднимал, и деревянное его сооружение стояло торчком, напоминая пулемёт. Дед, несмотря на инвалидность, работал до глубокой старости в колхозе и был приставлен к делу важному и нужному. Он молотил на току хлеба: рожь, пшеницу, ячмень. Молотилка в колхозе была довольно примитивной. Ременный привод её осуществлялся от трактора ХТЗ. Дед Антон главенствовал над ней. Агрегат этот выходил из строя часто, и дед, ковыляя на своём протезе, молотилку непременно чинил, и она исправно работала.

А другой дед – Яшка был страстным футбольным болельщиком. Без него и футбол в Иловке был не футбол. Когда сражались сельские команды, деду Яшке на стадионе отводилось лучшее место. Моя бабушка Татьяна Романовна, его старшая сестра, приносила ему большую банку холодной воды, чтобы дед почаще прочищал горло. Кричал он громко и даже матерился, посылая мазил в “козий рог”. Это и был весь его мат. Зато шуму и топота производил очень много. Он был своеобразным иловским футбольным комментатором Озеровым.

Дед Яшка был хорошим хозяином. Свой дом и огород содержал в образцовом порядке. Держал скотину, имел большую пасеку. Жили они с бабушкой Ниной вдвоём, детей не было. Жили в достатке, и между собой очень дружно. Не помню, чтобы дед голос повысил на свою жену. Называл ласково “Нинулька”. Деревенский ведь мужик, дипломатическим политесам был не обучен, но частенько Нинулька своей подносил букетик садовых или полевых цветов. Знать, крепко её любил. И было за что.

Бабушка Нина была деду под стать. Дом содержала в большой чистоте. Готовить умела прекрасно. Шила, вязала, не вылезала с огорода, пока там не будет уничтожен последний сорняк. Хозяйкой в Иловке слыла замечательной. Особо помнятся уставленные горшками с красивыми цветами, всегда сверкающие чистыми стёклами окна их дома.

Когда мы построили свой дом, я пошел и попросил бабушку Нину подарить нам на новоселье пару горшков с цветами. Она подарила несколько штук. И они потом всегда радовали мой взор и сердце своими яркими красками. Люди, проходя мимо нашего дома, любовались цветочной гаммой на его окнах и говорили: “Вот молодцы дети Насти Романовниной! Сироты, а такой дом построили!” По тем временам, когда столько людей жило в землянках, наш небольшой домик – 8,5 на 6,5 метра – казался мне дворцом. Наверное, потому, что строил я его своими руками.

Деда мои были простого роду-племени. И академий не кончали. Но когда началось хрущёвское разрушение деревни, оба предсказали трудные последствия. Говорили: Россия без села всегда будет одноногой. Как они это предвидели? Сам удивляюсь и ответа не нахожу. Деду Яшке я поставил памятник на его могиле на сельском кладбище в селе Иловка Белгородской области.

Бабушка Нина надолго пережила своего Якова. Жила сто лет. Не так давно умерла. Я в последнюю встречу обещал и ей поставить памятник. Слово своё обязательно сдержу. Пусть иловская земля будет им обоим пухом...

*Не лги, что павшая страна  
Была обитель зла и фальши.  
Я помню эти времена,  
Я помню все, как было раньше.  
Там волчьей не было грызни,  
Там люди верили друг другу,  
И вместо: “слабого — толкни”  
Всегда протягивали руку.  
Там секс не лез вперед любви,  
Там братство было просто братством,  
И не учили по ТВ  
Вседозволяемому б...ву.  
Там вор, бандит, подлец и мразь  
Страшились сильного закона,*

*И не бывала отродясь  
Фемида в рабстве у Мамоны.  
Я помню эти времена,  
Я помню всё и не забуду.  
Не лги, что павшая страна  
Была обитель зла... суда.*

Магомедали Сулейманов

### **Корни украинские, ветви советские**

В 16 лет я стал комсомольцем. К этому времени работал уже как заправский колхозник и учился на шоферских курсах. Сначала наши заявления рассматривала первичная комсомольская колхозная организация. После надо было идти на заседание бюро райкома комсомола. Райком комсомола был в Алексеевке. Шли мы в райцентр пешком. Я сильно переживал: примут, не примут? Потому ночью почти не спал. Конечно же, нас приняли. Ведь в бюро райкома сидели такие же дети войны, как и мы, только на несколько лет постарше. Секретаря райкома комсомола Юлю Жежеру я помню до сих пор. Ведь вместе с комсомольским билетом она вручила мне путёвку в большую жизнь.

С этим комсомольским билетом я пошел служить в армию. Служить довелось на Камчатке. Да не годик, как сейчас, а более трёх лет. В воинской части была очень сильная комсомольская организация, и я органично влился в её жизнь. С удовольствием выполнял все поручения, притом испытывал удовольствие от этого. Вот там-то, в армии, почувствовал в себе призвание к общественной работе. Понял, как комсомол сплачивает молодёжь и делает её жизнь интересной.

В армии вместе со мной служило много украинцев. Как правило, служили они старательно, были толковыми специалистами и трудолюбивыми людьми. Целый ряд командиров был родом с Украины. И, надо признать, хорошие это были командиры. Кто бы мог тогда подумать, что через полвека нас сделают врагами? Дошло до того, что буквально вчера в телефонном разговоре один мой родственник сказал буквально следующее: “Братья? Мы братья с этими отморозками? Упаси Боже от таких родственников! Мы просто говорим с этими людьми на одном языке! И не больше”.

Точно так же считает и мой надёжный друг и бесшумный водитель в последние 20 лет осетин по национальности Валерий: “На Кавказе хорошо помнят грехи украинцев: участие во всех войнах на стороне Грузии и Ичкерии, отряд УНА-УНСО под Цхинвалом. Помнят и украинских инструкторов грузинских ПВО в августе 2008 года...”

Что дала мне армия? Там научился я дружбе. Научился расставлять приоритеты в жизни. Научился системе в работе. Там встретил замечательных ребят, ставших мне друзьями на всю жизнь.

Шёл к концу срок моей службы. Группа хороших ребят решила поехать вместе на комсомольскую стройку в Якутию, в город Мирный. Заразил нас этой идеей не кто иной, как наш сослуживец Виктор Тихонов, сын управляющего трестом “Якуталмаз” Виктора Илларионовича Тихонова. Решили поехать на недавно открытые месторождения алмазов десять человек, и я в их числе. Трое призывались на службу из тех краев. Мы же ехали на малообжитое место, в холодный край, где, как нам думалось, нас никто не ждал.

Но Мирный встретил на редкость гостеприимно. В горкоме комсомола работали приветливые и умные ребята. Хотя Мирный в 1964 году был маленьким, застроенным деревянными домами посёлком, но оказался вполне пригодным для жизни. По правде говоря, в лучших местах я ещё и не жил. Камчатские посёлкообразные города и посёлки тоже были очень далеки от комфорта. Поселили нас всех в бараке. Работать направили в Мирнинскую автобазу. Место работы от общежития находилось близко. Притом по дороге была столовая, что очень удобно. Пошёл на работу – позавтракал в столовой. Идешь с работы – зашёл и поужинал. Тем более что кормили там хорошо и недорого. Мне всё нравилось.

На автобазе я встретил много хороших и добрых людей. Вначале, правда, работал не по специальности – машин не хватало. Да и в автоколонне присма-

тривались к нам – кто чего стоит. Начальник автоколонны Федор Васильевич Карпов – сильный хозяйственник, хороший психолог. За плечами у него была война. Нам очень повезло работать под его началом.

Там же на автобазе познакомился с замечательными людьми. Многие из них были выходцами из Украины и других республик СССР – отличные ребята, надежные товарищи и друзья.

Постепенно вошел в ритм новой для себя жизни. Стал своим в коллективе автоколонны. Попал в хороший экипаж. Экипаж из трёх человек работал круглосуточно. Спустя некоторое время и сам стал руководителем комсомольско-молодёжного экипажа. Учился в вечерней школе, потом в вечернем техникуме. Свободного времени было мало, но всё его отдавал комсомольской работе. Мирнинский горком комсомола стал практически вторым домом для меня. Шесть созывов подряд избирался членом горкома комсомола. Был и членом бюро. Собственно говоря, комсомол и стал для меня и тысяч других подобных мне ребят и девочек из самых низов тем социальным лифтом, который вынес нас в ряды партийного и советского резерва. Ведь никаких “толкачей” у меня не было и быть не могло. Была голова, были умелые руки, горячее сердце, равнодушное к делам моего города, республики, страны. И это всё оказалось востребованным у таких же парней, как и я, работавших тогда в Мирнинском горкоме комсомола.

Прошло с той поры полвека. Сменился общественный строй. Многие из моих старинных знакомых тоже сменили окрас в духе времени и стали оплевывать наше славное прошлое. Но почти все ребята, стоявшие во главе нашего горкома комсомола, оказались порядочными людьми. Они заслуживают того, чтобы остаться в истории алмазного края. Вот их имена. Александр Ягнышев, Михаил Бутенко, Егор Новгородов, Феликс Кокотин, Альберт Нам, Владимир Зуев, Алий Яковлев, Юрий Анохин, Владимир Пискунов, Вячеслав Холомеев, Александр Ершов, Николай Ермолаев, Виктор Смольников, Павел Третьяков. А некоторые из комсомольских секретарей и рядовые комсомольцы в конце 80-х пошли по другой дорожке. Взались за ревизию нашего прошлого, начали обвинять старшее поколение во всех смертных грехах, то есть стали активными перестройщиками. Где они сегодня? Сейчас поочередно звонят или заходят ко мне извиняться за “увлечения юности”. Какое может быть им прощение за развал великой страны, созданной героизмом и великими трудами наших предков?

В комсомоле я познакомился и подружился с замечательными людьми. Кстати, многие из них тоже были этническими украинцами. И очень любили свою Родину – Советский Союз. Считаю, что нынешняя молодёжь должна знать об этом.

### **Виктор Кравченко – настоящий комиссар**

Виктор Михайлович Кравченко... Украинец! Героическая и трагическая фигура. В городе Нерюнгри его именем названа улица. Зато в алмазном крае, где он беззаветно трудился в нелегкие годы становления алмазной промышленности и строительства промышленных и гражданских объектов, о нём как-то подзабыли. Ладно, наше поколение ещё помнит этого коммуниста-интернационалиста, зато вот молодёжи имя его не говорит ни о чём. Потому считаю своим долгом хоть немного восполнить этот пробел.

Вот как отзывается о Викторе Михайловиче Кравченко член Совета Федерации России, президент Республики Саха (Якутия) в 2002–2010 годах Вячеслав Анатольевич Штыров, имевший счастье молодым специалистом работать под его началом: “Когда я слышу фамилию Кравченко, то сразу вспоминаю молодость и строительство северных поселков Надежного и Удачного. Нашу тесную прорабскую, в которой каждый день на гвозде появлялась кожаная куртка секретаря парткома стройки. Он ежедневно бывал на всех объектах. Увидев его куртку, мы, молодые прорабы, внутренне старались подтянуться и быть готовыми дать ответ на нелицеприятные его вопросы. Человек широкой души, он буквально горел энергией созидания сам и зажигал огнём своего сердца всех окружающих. Он был порядочен, честен и смел в оценках и суждениях. Кравченко – настоящий комиссар, способный увлечь людей за собой. Я часто вспоминаю этого светлого, большого, с широкой душой человека и очень жалею, что сегодня таких людей во власти почти нет. Какие дела мы могли бы совершить!”

Вместе с Виктором Кравченко мы пять лет учились в Хабаровской высшей партийной школе. Там тесно сошлись и крепко подружились. Хотя знал я его практически с первых лет жизни в Мирном. Свою общественную деятельность Виктор начал в Алданском районе. Он был в Алдане первым секретарем райкома комсомола. Потом приехал в Мирный и возглавил штаб комсомольской стройки обогатительной фабрики № 3.

В своей книге “Памятник живым” (г. Якутск, 1974 г.) Мэри Софианиди так писала о Викторе Кравченко: “Как его любили ребята! Он был не особенно речистым, скорей сдержанным, внешне даже суховатым... Он воспитывал комсомольцев не речами – своим поведением, комсомольским, партийным подходом к делу, высокой нравственностью. Он всячески пресекал порой прорывавшиеся у некоторых руководителей стройки “узкоместнические” интересы.

– Мы не имеем права не думать о строительстве города, – говорил он на заседании комсомольского штаба. – Сейчас, когда на счету каждый механизм, нецелесообразно концентрировать в одном месте все машины и бульдозеры, как это делает начальник СМУ. А строительные бригады в это время простаивают...

И добивался своего.

Когда надо было провести первую спартакиаду строителей, а в Мирном не было стадиона, он поддержал желание комсомольцев поработать ночью и, на свой страх и риск, договорившись с шофёрами, разрешил им возить песок и гравий после смены. Стадион был построен, и спартакиада прошла отлично.

Кое-кому вначале казалось авантюрой и строительство танцплощадки, которую тоже в неурочное время начали строить комсомольцы под руководством Кравченко, но он сумел доказать, что танцплощадка нужна – и Николай Прокопьевич Москвич, секретарь парткома стройки, поддержал его. Танцплощадка была сооружена. Кравченко горячо взялся за организацию народного театра – театр был создан...

Виктор Кравченко был справедливым человеком, настоящим, принципиальным – и теперь, слыша от знакомых о его работе секретарем парткома на Удачной, мне приятно сознавать, что я не ошиблась в этой оценке его, что он остался таким же, сохранив всё самое лучшее из своей комсомольской юности, что он по-прежнему очень уважаемый человек...”

Комсомольской стройку фабрики № 3 объявили мирнинские комсомольцы, но вот в ЦК ВЛКСМ идею эту почему-то не поддержали. Некоторое время Виктор работал главным диспетчером “Виллюгэсстроя” в Мирном. Потом создали партком этих предприятий, и Виктора строители-коммунисты единогласно избрали своим секретарём.

Надо сказать, что из Виктора Кравченко вышел отличный секретарь парткома. Хотя бы потому, что был он не только генератором замечательных идей, но настойчиво и последовательно воплощал их в жизнь. Зажигал своими идеями довольно косных в этом плане руководителей мирнинских строительных подразделений.

Он предложил построить на Виллюе детский военизированный лагерь для трудных подростков, впоследствии ставший доселе не забытой в районе “Гренадой”. Сам подобрал из состава студенческих стройотрядов, приезжавших на работу каждое лето в алмазный край, неравнодушных и горячих парней для организации этой работы. Возглавил лагерь тогда аспирант Московского энергетического института Н. С. Белолицкий.

Ребята в “Гренаду” буквально рвались со всего района. Им там было интересно. Жили в палатках, вначале и еду готовили на кострах. Ночные тревоги, уроки обучения владению оружием, строевая подготовка умело сочетались с идеологической работой. Из “Гренады” подростки возвращались совсем другими людьми. Они заметно лучше учились, повышалась готовность и мотивация к службе в армии. Главное: их там учили любить свою Родину. И они, в большинстве своем, её искренне любили. Военно-спортивный лагерь “Гренада” успешно функционировал до конца 80-х под началом своего неизменно го начальника Н. С. Белолицкого и тихо угас уже в 90-е годы.

В районе началось освоение северной площадки. На трубке “Удачной” стали строить поселок Надежный и огромную фабрику № 12. В 1970 году секретарем парткома строительства в Надежный был направлен Виктор Михайлович Кравченко. К себе он вскоре перетащил почти весь свой актив: комсо-

мольских активистов, певцов и танцоров из клуба “Строитель”. Виктор Михайлович и здесь оказался в нужное время и на нужном месте. Свидетельствую: ударная комсомольская стройка ГОКа на трубке Удачной в 70-х годах гремела на всю республику и составляла серьезную конкуренцию комсомольским организациям Мирного по всем направлениям. Именно оттуда пришла к нам в город практика проведения творческих отчетов трудовых коллективов, новые формы социалистического соревнования. За всем зарождающимся новым просматривалась фигура партийного секретаря Виктора Михайловича Кравченко.

Сегодня я могу со всей уверенностью сказать, что он всегда понимал и отдавал приоритет в своей работе интернациональному воспитанию людей, со всей огромной страны собравшихся на якутской земле по велению своих сердец или под давлением жизненных обстоятельств. Сейчас вообще-то редко показывают по телевидению прекрасный фильм “Коммунист”, поставленный режиссером Райзманом. Но когда удается его вновь увидеть, я невольно всегда провожу параллель между главным героем фильма Василием Губановым в исполнении Евгения Урбанского и своим другом Виктором Кравченко. Это был воистину киношный Вася Губанов, только уже прошедший большую жизненную школу, получивший образование и научившийся держать в узде свои сердечные порывы. Что же, жизнь его не щадила, да и учителя были хорошие. Оценивая с сегодняшних позиций выдающиеся способности Виктора Кравченко, я прекрасно понимаю, что он должен был сделать хорошую политическую карьеру. Но не сделал, хотя во власти таких людей было очень мало. Откуда быть многим? Ведь это штучный товар. И до верхних властных этажей добраться людям, подобным Виктору Кравченко, было практически невозможно. Может, потому и рассыпалась партия наша? Вот представьте себе, что на месте безвольного и трусливого предателя Горбачёва был бы такой человек, как Кравченко? Разве посмел бы тогда даже всемогущий Рокфеллер высморгаться и бросить этот скомканный белоснежный платок чуть ли не в лицо руководителю правящей Коммунистической партии Советского Союза, как он бросил его Горбачёву?! Но Виктор Михайлович не стал даже секретарем обкома. Почему? Вероятно, потому, что имел клеймо в личном деле. Огромное клеймо. И именовалось оно так: развод в молодости. А коммунисту разводиться с женой было нельзя ни под каким видом. Даже если он в этом и не был виноват.

10 лет работал Виктор Михайлович Кравченко в Надежном. В 1989 году республика начала строить на мощном месторождении город Нерюнгри и промышленность нового угольного разреза. Лучшей кандидатуры, чем Кравченко, на должность секретаря парткома “Якутуглестроя” обком партии не видел. Я стал свидетелем разговора первого секретаря Якутского обкома КПСС Гавриила Иосифовича Чиряева с Виктором Михайловичем Кравченко. Было это так.

Мы с Кравченко шли в якутскую гостиницу “Лена”. Возле библиотеки случайно встретились с Чиряевым и недавно ещё первым секретарём Мирнинского ГК КПСС Владимиром Ивановичем Басанцом, теперь работавшим секретарём Якутского обкома партии. “Как дела?” – спросил Чиряев Кравченко. Тот рассказал о делах на стройке, о работе парткома и прочем.

Гавриил Иосифович выслушал его и сказал: “Готовься, Виктор Михайлович, на новую, высокую партийную работу в городе Нерюнгри”. Пришли мы с ним в гостиницу и почти всю ночь не спали: обсуждали эту новость – предложение. Виктор говорил, что ещё многое из задуманного не завершил в Надежном.

На Удачной основное строительство завершалось, а начинать на новом месте с чистого листа Виктору было не привыкать. С собой он привез в Южную Якутию целый десант специалистов. Это были сильные кадры, прошедшие хорошую школу партийной, советской, комсомольской работы, журналисты, руководители разных уровней, специалисты, рабочие ведущих профессий. Надежный, проверенный народ, работавший ранее в Чернышевском на строительстве Вилюйской ГЭС, в Надежном и Удачном, Мирном. На его зов люди ехали потому, что уважали своего лидера, бесконечно верили ему.

В Нерюнгри дела у Кравченко тоже пошли, как всегда, хорошо. Вводились в строй своевременно объекты Нерюнгринского разреза, автобаза технологического транспорта, домостроительный комбинат, уникальная обогатительная фабрика, школы, детские сады, жилые комфортабельные дома, каких не строили до этого ни в Мирном, ни в Удачном. В хлопотах и каждодневных

заботах пролетели годы. Ему всегда катастрофически не хватало времени для себя. Внезапно резко обострилась застарелая болезнь – тромбофлебит. Дело дошло до ампутации ноги. Он стойко переносил свои невзгоды. Когда Виктор Михайлович лежал в Москве в госпитале имени Бурденко после ампутации ноги, его навещали наши мирнинские ребята. И были поражены его личным мужеством и стойкостью, с которыми он переносил постигшую его беду. Но, главное, он и там был комиссаром, Коммунистом с большой буквы.

Вот как вспоминает об этом тогдашний заместитель начальника УС “Виллюйгэсстрой” Геннадий Иванович Бахтин, навещавший его в госпитале:

“Приехав в Москву в командировку, я позвонил и спросил разрешения его навестить. Он, в свою очередь, попросил меня привезти водки. Тогда только начали выпускать водку “Золотое кольцо”. Взял я бутылочку, разной снеди и поехал в Лефортово. Кто там лежит, как всякий здоровый человек, я не представлял. Поднимаюсь на второй этаж, захожу в палату. Двери нет. Палата большая, и кругом на кроватях молодежь. Кто без рук, кто без ног: “афганцы”. У одного – ни того, ни другого. Оказывается, Виктор Михайлович с согласия командования госпиталя устроил у себя в палате . . . партком. Попросил снять дверь, у стены поставить стол. Перевели к нему в палату самых тяжёлых ребят. Тот, кто без рук и ног, пытался покончить с собой, и Кравченко, сам на костылях, держался за носилки, когда солдата переносили ему в палату. Я шёл в больницу, не зная, какие слова подобрать, чтобы его утешить, а оказалось, что он сам тут главный утешитель и отец, истинный отец этим молодым калекам.

Он сидел за столом и самолично руководил процессом. Сам всем разлил водку, граммов по 20. Попросил меня слово сказать, а я, слабак, не сумел. Сердце замедлено. Он слегка улыбнулся: “Опять мне”. И заговорил. Говорил не мне, а тем, кто сидел, и кто сидеть не мог. О том, что надо жить, что страна наша расцветает. Рассказывал им про Север, про то, как люди мёрзли здесь в палатках в лютые морозы, как пробивали в дикой тайге зимники, как строили города и поселки, какой ценой доставались стране алмазы. Рассказывал о замечательных людях, коммунистах, комсомольцах, беспартийных, каждый день совершавших трудовые подвиги и даже не подозревавших о том, что их каждодневная жизнь и была настоящим героизмом. Про строительство городов Мирного, Удачного, Нерюнгри, первой ГЭС на вечной мерзлоте – Виллюйской, и поселка гидростроителей Чернышевского. Про хорошее и плохое, ничего не утаивая и не скрывая. Он на примерах наших жизней будил в них волю и желание жить. До позднего вечера мы так сидели и разговаривали. Никто из персонала, ни врачи, ни сестры, к нам ни разу не заглянули. Потом Виктор Михайлович подал команду: “Ребята, все по местам!” Все спокойно разошлись.

Пошел и я. В другой мир, к здоровым людям. Вышел из госпиталя и брёл, не замечая, куда несут ноги. Душили слёзы. Я плакал, никого не стыдясь, тем более было темно. Больше мы с Виктором Михайловичем не встречались. Плакал я, и когда узнал о его кончине. . .”

Я встречался с Виктором в 1989 году. Дела наши партийные были уже не хороши. Мне, тогда второму секретарю Мирнинского ГК КПСС, доставалось от своих, доморощенных “дерьмократов”. Его травили куда масштабнее, ведь в Нерюнгринской партийной организации Виктор Михайлович Кравченко был самой яркой личностью. Еще в 1982 году нерюнгринцы, среди которых был и Виктор Михайлович, решили построить охотничий домик в очень красивом месте. У Виктора не было вообще никаких дурных привычек, но охоту и рыбалку он любил! Вот зимовье это ему и припомнили кабинетные перестройщики: ведь в партии как раз началась “охота на ведьм”. В партийные органы посыпались анонимки.

В Нерюнгри группа женщин-строителей подписала явно заказную статью – пасквиль в городскую газету “Индустрия Севера” против В. М. Кравченко. Её редактором в то время был Леонид Рыбаковский, родной брат Эдуарда Рыбаковского, редактора республиканской газеты “Социалистическая Якутия”. Потому вскоре и эта газета опубликовала большую статью про его “заимку в тайге”. Автором статьи был малоизвестный дотоле журналист Дмитрий Бубякин, сделавший себе имя на таких жареных фактах и сумевший на мутной волне перестройки даже попасть в Верховный Совет.

Тяжело перенёс Виктор эту наглую несправедливость. Передвигался уже на костылях, но мужества ему было не занимать. Сжав зубы, работал и после

разгона партийного комитета. Трудился заместителем генерального директора Нерюнгринского городского объединения ЖКХ по общим вопросам. Работа очень беспокойная, но он согласился на неё осознанно: кто-то же должен был помогать растерявшимся в перестроечном беспределе людям. Вскоре Виктор Михайлович тяжело заболел и преждевременно ушёл в мир иной. Искренне надеюсь, что ранний уход из жизни этого замечательного во всех отношениях, но подло затравленного человека не прибавил и не прибавит счастья его ниспровергателям и их потомкам.

О его кончине я узнал в день, когда шло очередное правление компании. В перерыве пришла эта горькая весть и ударила прямо в сердце. Быстро собрались ребята, составили телеграмму, определились, кто поедет на похороны, оказали необходимую помощь. Так вот одним другом у меня стало меньше на этом белом свете.

Еще в пору работы в “Виллюгэсстрое” Виктор предложил мне вступить в жилищный кооператив в г. Энергодаре под Запорожьем. Наши энергостроители участвовали в сооружении там атомной станции и потому получили разрешение на строительство жилых домов. Народ, особенно строители, в те годы был не особо денежный и значительно скромнее, чем сегодня, потому больших квартир не брали. Я же работал в Мирнинской автобазе на большегрузном автомобиле марки МАЗ-525 грузоподъемностью 25 тонн и получал хорошие деньги. Потому на предложение Кравченко согласился и приобрел там четырехкомнатную квартиру, как помню, за 13,5 тысячи рублей. Был очень доволен своим приобретением. Так она у меня и стояла довольно долго. Жили несколько лет в ней дети известных в нашем городе людей: бригадира строительной комплексной бригады Евгения Вислоухова и его жены Тамары, работника и члена парткома Мирнинской автобазы. Они уехали в свое время в город Энергодар на строительство Запорожской АЭС. Жил там и Михаил Иванович Непомнящий, ранее собкор газеты “Кыым” по Мирнинскому району. Добрый, честный, с широкой душой, порядочный человек якутской национальности. Он и похоронен в Энергодаре вместе с женой. Я с ним встречался, когда туда наезжал в отпуска. Мы с ним долго поддерживали дружеские отношения. Продавать квартиру я не собирался и думал по выходе на пенсию жить там. Но с течением времени, посоветовавшись с умными людьми, квартиру эту я все-таки продал и построил жильё в Липецке. Чем теперь, глядя на хитропанов запорожских, почувствовавших себя “гейропейцами”, очень доволен.

Судя по фамилии, оканчивающейся на “о”, корни друга моего Кравченко были тоже украинскими. Но вот ни по каким канонам на “хохла” он не тянул. С любым страждущим был готов поделиться последним куском хлеба, отдать последнюю папиросу. И потому был мне истинным братом. Как бы мне хотелось услышать наяву его хрипловатый басок, заглянуть в его глаза, почти такого же цвета, как и мои...

### **Олег Ястребов**

И на этой душевной волне хочу рассказать ещё об одном своём друге. Умном, высокообразованном, на редкость незаурядном человеке Олеге Никитиче Ястребове. Многие мирнинцы до сих пор вспоминают его добрым словом. Жива память об Олеге Ястребове и в якутском селе Тас-Юрях, куда он был направлен на работу в 1959 году в качестве заведующего фельдшерско-акушерским пунктом... До этого назначения Олег, после окончания Ленинградского стоматологического техникума, успел поработать в поселке Чернышевском, где тогда уже разворачивалось строительство Виллюгэсстройской ГЭС-1. Село Тас-Юрях в те годы было весьма далеко от нынешней реальности. Учитывая большое удаление от любых более обустроенных жилых мест, Олег Ястребов стал там специалистом очень широкого профиля: принимал роды, лечил и рвал зубы взрослым и детям, патронировал младенцев, делал простые операции, зашивал раны. Он был там всем: акушером, хирургом, терапевтом, стоматологом, педиатром. Ибо других врачей не было в наличии, хотя имелась своя больничка на 12 койко-мест. Свободных коек в ней практически никогда не было, так как сельчане болели, а постоянной дороги в Мирный ещё не было. В больничке этой, конечно же, было печное отопление, воду носили с речки ведрами, зимой кололи лёд. Занималась всеми этими делами Мария Ильинична Данилова – в одном лице истопник, прачка, повар, санитарка и мед-

сестра, мать пятерых детей и ко всему этому хороший консультант молодому, только начинающему медицинскую практику О. Н. Ястребову.

В те годы в республике было много больных трахомой, туберкулёзом и другими хроническими болезнями. Получая направление в Тас-Юрях, Олег Никитич получил и наказ вылечить всех “хроников”. Особо трудно было ему поначалу принимать роды, так как практики акушерской не было. Зато рожали в селе в те годы очень часто. Потому опыт появился довольно быстро. В семьях, как правило, было по 5–6 детей. Дома отапливались дровами. Зимы же были суровыми, и потому дети часто и серьёзно неболели. Да и нередко умирали. Хотя Олег Никитич часто потом говорил, что дети тех лет были гораздо крепче физически, чем нынешние.

Жители села его очень полюбили и горячую эту привязанность сохраняли на протяжении всей его жизни. Он платил им тем же. Уже когда спустя годы Олег Никитич жил в Москве, квартира его всегда была полна гостями из Якутии. Иногда ему самому приходилось спать в кухне на полу. Но его это обстоятельство совсем не расстраивало. Олег Ястребов вызывал у меня большое уважение многими своими человеческими качествами. Он был умён и широко образован. В Тас-Юряхе начал преподавать в школе математику, потому что не было преподавателя. Сельские дети плохо знали русский язык, и потому ему было тяжело вдвойне. Но Олег нашел ключик к детям, и дела в школе пошли у него совсем неплохо.

Уже живя и работая в Мирном, Олег закончил физико-математический факультет университета, потом ещё и исторический. Мозг его стремился к постижению всё новых и новых знаний. В Мирном он преподавал в школе рабочей молодежи. Контингент учеников был там довольно взрослый, и потому оценивали они своих преподавателей вполне объективно. Ныне седые уже его бывшие ученики с восторгом и удивлением вспоминают исключительные умственные способности своего преподавателя, с легкостью необычайной оперировавшего перед ними любыми математическими числами, в уме умножая, деля, складывая, извлекая корень, возводя в степень и т. д.

К сожалению, на долю этого удивительного и незаурядного человека выпало много бед и несчастий. Дело прошлое, да и участников этого события уже нет в живых, потому об одном эпизоде его биографии расскажу. Олег Ястребов одарен был Богом не только светлым умом, но и поистине золотыми руками. Ко всем прочим достоинствам, он ещё был и хорошим дантистом. Это не было секретом, и потому к нему обратились с просьбой поставить зубные протезы очень уважаемые жители города. Сегодня их назвали бы просто – силивики. Фамилии их были известны каждому: В. М. Слепцов и А. К. Петелин. Протезы им хотелось не простые, а ...золотые. Олег сделал всё желаемое в наилучшем виде. И за это чуть не загремел в места не столь отдаленные. В те годы ОБХСС очень интересовался операциями с золотом. Наши “важняки” рты держать закрытыми не могли, и потому блеск их золотых зубов был виден многим. Да, наверное, и сами кому-то что-то сказали. В результате кто-то “капнул” в вышестоящие органы, и Олега Ястребова привлекли к ответственности. Я хорошо помню это судебное заседание, которое вёл судья А. М. Кавалеров. Вокруг здания Мирнинского суда были привязаны олени упряжки. Это жители Тас-Юряха приехали защищать своего дорогого Олега Никитича. Заседание затягивалось, и судья хотел перенести его на утро следующего дня. Но сельчане запротестовали и пообещали не выйти из зала, пока не услышат оправдательный приговор своему любимцу. Такое было время. Такие вот были люди.

Переживал он эту историю тяжело. Но всё-таки пережил. Был уже счастливо женат и имел двоих сыновей-близняшек. Жена его, Светлана, ранее работала в аппарате ГК ВЛКСМ. После рождения близнецов занималась их воспитанием. Живи и радуйся. Да не тут-то было. Вдруг после какой-то неудачной прививки совершенно здоровые дети в одночасье оглохли и онемели. Какой тяжелый удар судьбы! Светлана не смогла его выдержать и покончила с собой. Олегу же надо было жить и растить детей. В это время я был уже секретарем парткома Мирнинской автобазы и смог взять на себя заботы о похоронах. Я сам одевал несчастную Светлану в морге, нёс гроб с её телом, устраивал в нашей столовой поминки. Как мог, помогал убитому горем другу пережить эту страшную трагедию.



Рядом с ним в это тяжкое время была его сельская коллега и помощница Мария Ильинична Данилова, мама Галины Романовны Степановой, нашего многолетнего мирнинского “министра культуры”. Женщина она была образованная, умная, по характеру добрая. Что-то у них с Олегом Никитичем было общее в характерах. Да к тому же он был высоким, стройным, просто красивым мужчиной. Возможно, именно в силу этих причин, она добровольно взяла на себя заботу о глухонемых сиротах. Сегодня Мария Ильинична уже в преклонных летах. Живёт в Тас-Юряхе. Когда я бываю там, дом её никогда не обхожу. Спутники мои молодые часто не могут взять в толк, почему это я всегда привожу подарки и подолгу пью чай с этой старушкой? Но я всегда радуюсь встрече с Марией Ильиничной. Ведь нам всегда есть о чём и о ком поговорить и о многом вспомнить.

Я уже упоминал о московском гостеприимстве Олега Никитича Ястребова. Это сегодня я имею жильё в столице и никого не обременяю своим присутствием. В те же годы, приезжая в Москву, я был уверен, что меня всегда примет Олег Никитич. Однажды приехал поздним вечером. В квартире было полно гостей из Тас-Юряха. Все спальные места были заняты. И потому Олег постелил мне на своём диване, отмечая мои протесты. Уснул я с мыслью, где же спит сам хозяин? Проснувшись рано утром, нашел его прикорнувшим на кухонном полу.

Общаться с Олегом мне было легко и просто, как со всяким разумным и мудрым человеком. Ему я однажды и похвастался, что приобрёл квартиру на Украине, в Запорожской области. И был очень удивлен его реакцией: “Иван, ты зачем такую глупость совершил? Что тебе, русаку, на Украине делать? Ты у меня, историка, спроси, сколько раз украинские руководители предавали интересы Российского государства и поднимали свой народ против нашего, братского? Сколько было предателей гетманов, ранее облагодетельствованных русскими царями? Я уж не говорю о событиях Гражданской войны, когда “незалежная” Малороссия заключила договор с врагом России – Германией и пустила немцев на исконно русские земли. Потому в срочном порядке и заключала молодой Советской Республикой “похабный”, по меткому определению Ленина, Брестский мир. Тогда и были переданы Украинской республике дотоле российские земли Донбасс и Луганск, Одесса, Херсон, Харьков. А махровая бандеровщина и батальоны СС, состоявшие сплошь из добровольцев украинцев, во время Великой Отечественной и целое десятилетие после её окончания?!”

“Вспомни такое народное присловье, – продолжал Ястребов. – Если корова стельная, то она обязательно отелится. Если кобыла жеребая, то она обязательно ожеребится. Украина буквально набухает национальной ненавистью по отношению к “москалям”. И она ею может разродиться”.

Давно нет на белом свете Олега Никитича Ястребова. Но я его до сих пор помню, чту и люблю. Преклоняю голову перед его мудростью и прозорливостью. Ведь он, зная мой упёртый характер, сначала побеседовал с моей женой Марией Григорьевной и выложил ей свои аргументы: “Вы зачем закладываете беды и страдания своим детям?” Тут же порекомендовал ей убедить меня продать эту квартиру и найти другое место для жизни в родной России.

Надо смотреть правде в глаза: сегодня две трети украинцев, согласно опросам, ненавидят нас, русских, в том числе и тех, кто живёт на Украине. Учитывая, что живёт на Украине русских более 9 миллионов, плюс ещё столько же полукровок, украинская независимость обещает быть ещё более кровавой, чем хорватская. Новые правители бывшей “братской” республики пошли по простому пути. Как накормить народ – не знаем. Дадим людям вместо хлеба национализм. Вот теперь все корни своих бед они видят именно в России и русских.

Как же прав был покойный мой друг Олег Никитич Ястребов, настойчиво советуя нам изменить своё решение о последующем переезде на постоянное место жительства на Украину!

***И тем не менее, я уверен, так думаю, и так будет... Украина – это не та кучка фашистов, которые совершили переворот и захватили власть. Украина – это наш братский народ, который говорит и думает по-русски. Украина – это одна с Россией культура и история. Время рассудит и расставит всё по своим местам. И мы будем вместе как единый народ.***

## Григорий Лунин

Григорий Иванович Лунин в Мирном был широко известным человеком. Во-первых, внешне был очень эффектен и красив. Косая сажень в плечах. Во-вторых, передовик производства, орденоносец. Великий трудяга, честный и порядочный человек. В Мирный приехал в самом начале становления алмазодобывающей промышленности, в марте 1958 года. И на вопрос кадровички Мирнинского ЖКО “Что делать умеешь?” ответил без колебаний: “Всё могу”. За плечами у него уже была служба в армии — три с половиной года. Служил хорошо, и дело своё знал в совершенстве. По-иному служить было нельзя — шла “холодная война”. До армии рос старшим в большой семье, потерявшей в годы войны отца. Тяжёлая нужда заставила Григория Ивановича рано повзрослеть и стать мужчиной. Надо было тяжело работать, растить и кормить братьев и сестёр, помогая больной матери. Да и на дальний Север поехал не за запахом тайги, а в поисках хорошего заработка, чтобы опять-таки помогать своим родным.

Чем он только не занимался первые недели и месяцы в Мирном! Например, делал каркасы для палаток в районе будущего клуба “Алмаз”. Себе тоже там оборудовал палатку. Так был решен его личный жилищный вопрос. Недели через две пошел на автобазу. В то время она именовалась “транспортно-грузовой конторой”. Никаких машин ещё не было. Все перевозки осуществлялись на лошадях. На гужевом транспорте подвозили в палатки воду, хлеб, дрова и всё остальное. Кстати, функции такси в аэропорт выполняли тоже лошадиные упряжки.

На месте автобазы стоял сарай. Правда, начальник у будущей автобазы уже был. Он и объяснил новоселу, что водители-то нужны, вот только машин нет. Потому и приступил к работе водитель Лунин в качестве многостаночника: столера-плотника, а заодно конюха и грузчика. Парень он был деревенский, притом земляк мой, из Белгородской области, и потому вправду умел всё. Ремонтировал и шил сбрую, делал дуги, мастерил волокуши. Сам и заготавливал материал для волокуш. Дорог ведь тогда в Мирном не было. Потому основным средством доставки всего: продовольствия в магазин, столовую, стройматериалов на стройплощадки и прочего, в растущем посёлке, были волокуши для гужевого транспорта.

Потом работал на самосвале, возил щебёнку для отсыпки первых мирнинских улиц. Так прошло его первое северное лето. Было оно сухим и жарким. Лена, вследствие этого, была мелководной, и грузов в Мухтую завезли мало. Притом, рано ударил мороз, и множество барж вмерзло в речной лёд. Была правительственная программа по доставке грузов с этих барж в Мирный. Много раз Григорий Лунин вместе со своими товарищами рисковал жизнью, когда в колоннах груженных “Татр” двигался по ленским наледям. Но всё обошлось благополучно.

Потом отсыпал щебенкой полотно будущей дороги Мирный — Мухтую. На следующий год из Осетрово перегонял в Мухтую “четвертаки” — автомобили МАЗ-525 грузоподъемностью 25 тонн. Потом участвовал в доставке из Мухтуи в Мирный экскаваторов ЭКГ-4. Это же целая эпопея была. Как довести их до Мирного без дороги, мостов и прочего? Но ведь довели! Экскаваторы быстро собрали, и начались работы на трубке “Мир”. Кстати, вскрышей с трубки “Мир” Григорий Лунин и его товарищи отсыпали взлетную полосу аэропорта.

В то время меня ещё не было в Мирном. О трудностях тех лет рассказывал сам Григорий Иванович, товарищ мой и наставник. Ведь кроме тяжелой шофёрской работы он много времени уделял, как коммунист, общественным делам... Он был секретарем партийной организации в нашей третьей автоколонне Мирнинской автобазы и потому считал, что как парторг должен работать лучше других. И работал. Еще как работал! Мы как-то душевно с ним сошлись. Я ещё тогда комсомольцем был. Он мне рекомендацию в партию давал. Я мало встречал в своей жизни таких замечательных людей, как Лунин. Громких слов особо говорить не умел, но всегда жил и трудился по совести. Нас, молодых тогда парней, уму-разуму учил, в люди выводил. Я горжусь, что у меня в жизни были такие учителя.

Когда Григорий Иванович Лунин собрался уезжать из Мирного в Белгородскую область, поближе к своей уже совсем старой матери, его многие

очень отговаривали, советовали не торопиться. Но он решения своего не переменял и уехал. Купил в областном центре небольшой домик рядом с авторемонтным заводом. На этом же заводе работал автомехаником. Оттуда ушел на пенсию, да не на простую, а на персональную. Связи с ним я никогда не терял. Когда ехал в свою родную Иловку, всегда заглядывал в город Белгород, в третий Мирный переулок к своему старому другу и наставнику. Он был еще красив и могуч, как русский дуб. И никто не мог тогда даже предположить, что дуб этот уже подтачивает страшная болезнь.

Он всегда горячо радовался моему приезду, был гостеприимен и хлебо-солен. Да и я с пустыми руками не приучен ездить к своим друзьям. В один из приездов повёл он меня по небольшому саду и огороду показать свое хозяйство. Показал дом, флигель, в котором жил его сын Игорь, вместительный погреб-подвал и пояснил, что на случай войны с Украиной это будет бомбоубежище для обеих семей. Потом достал ружьё и опять-таки с усмешкой сказал, что купил его, чтобы обороняться от бандеровцев. Таких слов, даже в шутку, от моего друга, между прочим, большого интернационалиста, я никак не ожидал. И потому выказал своё удивление. Но, видно, и он, живя вблизи с нынешней Украиной, нутром своим чувствовал запах беды. Лунин ответил мне так: “Чему удивляешься, Кириллыч? Попомни мои слова. Увидишь, как Украина на наших глазах станет врагом России. Вырастили из брата врага... Дай Бог, чтобы я ошибался”.

Несколько лет назад Григория Ивановича Лунина не стало. Царство ему небесное. Увы, сказать самому ему о том, как он был прозорлив, я уже не могу. Потому рассказываю об этом своим друзьям и товарищам, коллегам по работе в родной “АЛРОСЕ”, жителям Мирнинского района Республики Саха (Якутия). А говорю об этом ещё и потому, что немало вины за нынешний расцвет русофобства на Украине лежит и на российских властях. Видели ведь, что творит с украинским народом националистическая пропаганда, но главное, что интересовало, – побольше украсть. А факт, что даже братьев делают врагами, только радовал. Чем больше драки между дворами, тем больше можно под шумок упереть.

Теперь мы хорошо чувствуем результаты этой “воспитательной” работы последних десятилетий. Дай Бог, чтобы дальше дело не пошло. На открытую войну между Россией и Украиной. Думаете, так хочется воевать с русскоговорящим Юго-Востоком парням из маленьких городков Киевской области или полтавской деревни? Но ум их изувечили, сознание изуродовали. Внушили, что большой брат-сосед, с которым вместе жили триста лет, шли на войны с внешними врагами, с кем восстанавливали после фашистского нашествия страну – этот сосед теперь самый лютей враг. Не зря Алексей Максимович Горький писал: “Если человеку всё время говорить, что он свинья, то в конце концов он захрюкает”. Вот и “захрюкали”...

И если сегодня на Украине ещё немало людей, которые не считают русских врагами, ибо работали бок о бок, воевали не только в Отечественной, но и позднее: в афганской и других войнах, то что будет, когда эти люди уйдут из жизни, а их место займут те, кого, прямо скажу, без сопротивления с нашей стороны, европейские и американские враги России вырастили ненавистниками всего русского. Вырастили, в том числе, с помощью известных “домашних” русофобов. В основном, не нашей национальности...

**Потому нам нужно срочно искать точки соприкосновения, пытаться слушать и слышать друг друга. Это объединит нас и вернёт дружбу. Уверен, мы по-прежнему будем братскими народами!**

*(Окончание следует)*

АНДРЕЙ УБОГИЙ

## ИСЦЕЛЕНИЕ “ОНЕГИНЫМ”

В Калуге усилиями Анны Сенатовой состоялся литературный проект “Онегин-live”. Собирались самые разные люди – врачи и писатели, журналисты, чиновники и рестораторы – и читали “Онегина” вслух. Каждому доставалось по несколько строк; все, конечно, читали по-разному – кто-то с привычной бойкостью, кто-то – смущаясь и запинаясь; но восхищало само разнообразие лиц, темпераментов, судеб людей, собравшихся ради “Онегина” вместе. Никто из тех, кому предлагалось участвовать в чтении, не отказался; напротив, большинство соглашалось с такой торопливою радостью, словно им, наконец, предложили сделать именно то, о чём они сами мечтали.

В один вечер читалась одна глава; кому какие достанутся строфы, становилось известно незадолго до выступления, и было видно, как люди настраиваются на читку: пересматривают снова и снова “свои” строки “Онегина”, вполголоса пробуют их “на язык” – и как выражения лиц в это время становятся отрешёнными и вдохновенными.

Если не ошибаюсь, Георгию Адамовичу принадлежит мысль, что каждый, кто читает “Онегина”, является, пусть в самой отдалённой степени, его соавтором. И действительно, все мы – и слушатели, и чтецы – продолжали творить, в меру собственных сил, уже сотворённый роман. Это верно хотя бы уже потому, что “Евгений Онегин” – у каждого свой. Как, глядя на облако, кто-то видит в нём торт, кто-то – концертный рояль, а кто-то – любимую девушку, так и в “Онегине” видят то любовный роман, то оперное либретто, то “энциклопедию русской жизни”, то блестящие, но при этом довольно пустые – вроде балетных прыжков – упражнения в версификации. Такого разнообразия мнений и взглядов не вызывало, пожалуй, ни одно иное произведение русской литературы.

И что ещё поразительно: какими бы разными, порой противоположными ни были суждения о героях “Онегина”, о содержании пушкинского романа или даже о его авторе – все эти суждения кажутся обоснованными. Пусть не со всеми из них ты согласен, пусть какие-то мысли тебе будут ближе, какие-то дальше, но душой сознаёшь как бы правомочность всего, что об “Онегине” сказано. Даже злые выпады Писарева – отчасти повторённые, уже через век, бойким Дмитрием Быковым, – даже едкость иронии Синявского-Терца, даже пропахшие нафталином идеологии комментарии Николая Бродского или до-тошно-энтомологические разборы Набокова – всё это, как говорится, имеет право на жизнь.

В этом ещё одно чудо Пушкина – и “Онегина”, его главного произведения. Поражает способность романа легко, “как бы резвяся и играя”, выдерживать все, даже диаметрально противоположные, мнения, взгляды и точки

зрения, способность легко соглашаться с ними со всеми, как бы даже подыгрывать им, давать им повод и пищу — и, в то же самое время, выходить из всех этих дразг, кривотолков и споров всегда незапятнанно чистым и независимо самобытным. Иногда кажется, что видишь какой-то комический фокус: когда очередной из недобро настроенных критиков, решив поколотить “Онегина”, рьяно кидается в драку, пыхтит и сопит, тычет злые свои кулаки, но вдруг оказывается, что колотит-то он, с таким жаром и пылом, не кого иного, как самого же себя. . . Может, как раз поэтому нам с вами кажется: правы решительно все, кто бы и что бы о Пушкине и об “Онегине” ни говорил? Ибо каждый, высказываясь об “Онегине”, обнажает себя самого, выражает ту правду, какую несёт сам в себе: роман является, в этом смысле, неким зеркалом, возвращающим всем, кто подходит к нему, не только их собственное отражение, но даже их скрытую суть.

Об “Онегине” сказано, кажется, всё, что только можно сказать, роман разобран до винтиков, до мельчайших деталей, до отдельного слова и даже до запятой. И русская, и зарубежная “Онегианы” стократ превышают сам пушкинский текст и продолжают расширяться во всех направлениях. “Евгений Онегин” порой представляется неким длящимся “большим взрывом”, который непрерывно разворачивается, раскрывается и развивается во времени и пространстве, наподобие той самой Вселенной, в которой нам с вами выпало существовать и посчастливилось узнать строки Пушкина.

Давным-давно изучается уже и не сам “Евгений Онегин”, а исследования и комментарии к нему; иногда кажется, что литературоведы избегают смотреть прямо на солнце — то есть изучать текст Пушкина, — а предпочитают рассматривать блики, рефлексы и тени, которые пушкинским светом порождены. Ведь даже и Дмитрий Писарев, ещё в 1864 году так заодно трепавший “Онегина”, а заодно уж и его автора из застенков Алексеевского рavelина, обращался формально к Белинскому и к его “пушкинским” статьям 1841 года, то есть высказывал “критику критики”. А мы, вспоминая о Писареве и о его сочинениях, близки к тому, чтобы погрузиться в критику уже, так сказать, третьего порядка.

Но, как ни огромен объём высказываний об “Онегине”, накопившийся за два без малого века, раз “Евгений Онегин” у каждого свой, то и каждому, кто его прочитал, есть что сказать об этом единственном в своём роде романе, сказать, в сущности, о себе самом, отражённом в магическом зеркале пушкинских строф. Вот и я выскажу несколько мыслей терапевтического — уж простите за термин — порядка. Побудила меня к этому даже не столько профессия (я практикующий врач), сколько непосредственное ощущение, вынесенное из калужского онегинского проекта. Выступающие читали, а зрители слушали непринуждённо-живые, летящие строки с такой откровенною радостью и наслаждением, с каким в знойный полдень берётся холодная кружка воды и жадно подносится к пересохшим губам. Исцеление и утоление жажды — сравнения, возникавшие в эти минуты, не казались мне ни пафосными, ни нарочитыми — это было простой констатацией очевидного факта. Да, “Онегин” целителен и благотворен, причём благотворен для всех, кто вступает под сень его “воздушной громады”, какие бы разные немощи или недуги ни мучили нас, прибегающих к помощи Пушкина.

Итак, терапия “Онегиным”. Валентин Непомнящий уже рассуждал о том, что Пушкин, берясь за “Онегина” в 1823 году, решал, прежде всего, собственную проблему: он хотел разобраться в причинах глубокой тоски, донимавшей его самого. А поскольку себя самого изучать затруднительно даже для гения, Пушкин создал двойника, alter ego, поставил его в ту исходную точку, в какой находился в ту пору и сам, и стал, развивая роман, находясь одновременно и внутри его, но в то же время глядя на действие и на героев со стороны, постигать тот недуг, который чувствовал и в себе самом. Иными словами, “Онегин” для Пушкина был чем-то вроде истории болезни, где автор являлся одновременно и лекарем, и пациентом. То, что автор с героем изначально близки — несомненно; но несомненно и то, что Пушкин подчеркнuto отделяет себя от своего персонажа, — чем дальше по ходу романа, тем более, — пока окончателно не расстанётся с ним в заключительных строфах, завершая тем самым длительный, продолжавшийся семь с лишним лет сеанс самоисцеления.

Болезнь, которую лечил Пушкин, он сам определил словом “хандра”. Именно так автор назвал в черновиках первую онегинскую главу и тем обозначил стержневую проблему романа. В последней, девятой главе слово “хандра” сменяется более нам привычным “тоска”. (“Я молод, жизнь во мне крепка; // Чего мне ждать? тоска, тоска!..”)

Посмотрим, как объясняет англоязычным читателям русское слово “тоска” Владимир Набоков, один из самых авторитетных “онегинистов”: “Ни одно английское существительное не передаёт всех оттенков этого слова. На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжёлых вариантах оно может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болезненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума, неясной тягой. В конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, ностальгию, любовные страдания. На низшем уровне — уныние, скуку”.

И, разумеется, если понимать тоску так, как её объясняет Набоков, то больным в той или иной степени можно считать любого из нас: мало кто из живущих, исключая совсем уж патологических оптимистов, никогда не испытывал страданий от тоски. Выходит, что Пушкин, пытаясь решить проблемы глубоко личные, касался того, что гнетёт и волнует любого, тем более, русского человека. Ведь тоска или хандра, не являясь, конечно же, чисто русским изобретением, тем не менее, представляет собой характернейшую особенность именно русского менталитета. Русский — это, прежде всего, “человек тоскующий”. Можно даже сказать, что, утратив звучание некой томительной ноты тоски, надрывающей душу, русский человек во многом утрачивает национальную идентичность, перестаёт быть русским. Из корня тоски, как из корня огромного дерева, вырастают и прочие свойства русского характера: русская удаль и русская лень, русское пьянство и небрежение к быту, русская неустроенность, неприкаянность в мире и вечное русское недовольство собой, жизнью, а иногда и всем мирозданием.

Поэтому “Евгений Онегин”, роман о хандре, есть вещь глубоко национальная, есть “история болезни” всех нас, составляющих русский народ. И, как ни издевался бы Набоков над термином “лишние люди”, введённым в обиход ещё революционными демократами времён Добролюбова и Чернышевского и перекочевавшим в советскую литературную критику, но ведь “лишние люди” действительно были и есть, и все они, в сущности, “дети” Онегина. А кто такой “лишний”? Это и есть тот самый тоскующий человек, который мается и не находит себе в мире места не по каким-то житейским или социальным причинам, а по причинам глубинно-онтологического порядка.

Именно “лишние люди” и составляют своего рода “бренд” русской литературы. Вряд ли мы назовём кого-нибудь из больших русских писателей, среди героев которого не было бы “лишнего человека”. Я уж молчу о Печорине, этом онегинском двойнике; но и в Андрее Болконском, и в Ставрогине, и в Иване Карамазове, и в Оленине из “Казаков” Толстого, и в героях Тургенева, и в Лаевском из чеховской “Дуэли”, и ещё во множестве литературных героев русского XIX века мы находим онегинские черты — и, главное, онегинскую хандру.

Разумеется, Онегин не первый “лишний человек” в мировой литературе. В его родословной записаны и Гамлет, и Фауст, и Чайльд-Гарольд; но в русской словесности он навсегда останется родоначальником “лишних людей”. А теперь спросим: отчего они, “лишние” — лишние? Чего они лишены, что не позволяет им просто жить-поживать, да добро наживать, да развлекаться в своё удовольствие? Что за странная порча поразила их всех?

Но точнее сказать не “их всех”, а “нас всех”, ибо все мы, живущие ныне, — люди, в сущности, лишние. Все мы в глубине души и хотя бы время от времени, но чувствуем свою как бы “невставленность” в мир, свою чужеродность и неприкаянность в жизни. Этот мир — он прекрасно бы обошёлся (когда-нибудь и обойдётся) без нас; если кому-то мы и нужны — да и то не всегда! — так только друг другу и, видимо, Богу, создавшему нас.

Наверное, мы стали лишними с тех самых пор, как познали нечто запретное, лишнее, то есть вкусили от Древа познания Добра и Зла и оказались ненужными для Эдема, из которого были изгнаны за испорченность, за непригодность для рая и вечности. Но изгнанники оказались чужими и в том, зем-

ном мире, куда были сосланы. Вот где причина причин, вот где корень тоски, донимающей нас, – в нашей общей богооставленности, в некогда произошедшем и длящемся по сю пору изгнании из рая. И тоска наша – это, в последней её глубине, тоска по утраченной родине и по Отцу, от которого мы отделились по собственному произволу, но ещё не вполне позабыли. Наша тоска – тоска именно блудных детей; и Адам с Евой, наши библейские предки, – это первые блудные дети, от которых произошло и всё блудное человечество, частью которого являемся мы с вами.

Вот и Евгений Онегин, за судьбою и жизнью которого мы следим вместе с Пушкиным, – это, в сущности, блудный сын. Именно библейская притча о блудном сыне – та парадигма, та исходная точка, от которой движется Пушкин, и в силовом (или смысловом) поле которой разворачивается роман.

Вообще, мало какой из сюжетов так привлекал Пушкина, как эта притча. Уж если даже из неоконченного и брошенного отрывка “Записки молодого человека” Пушкин изымает свой пересказ истории блудного сына и переносит его в “Станционного смотрителя” (написанного, напомним, в ту же болдинскую осень 1830 года, когда был завершён и “Онегин”), значит, этот сюжет был действительно важен. Напомню текст Пушкина: “...я занялся рассмотрением картинко, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шляфорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфорке выбегает ему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доньше сохранилось в моей памяти...”

Пользуясь случаем, не могу не сказать, что “Станционный смотритель”, в котором доселе видят одну лишь трагедию “маленького человека” Самсона Вырина, – это ещё и история его блудной дочери, сбегавшей с залётным гусаром, надолго забывшей отца и успевшей вернуться лишь только к отцовской могиле. История блудного сына в начале повести и фигура рыдающей Дуни, распростёртой ниц на могильном холме, – в конце достаточно ясно говорят нам о том, что Пушкин хотел нам поведать своим “Станционным смотрителем”.

Уход от отца, а затем раскаяние и возвращение к нему – этот сюжет возникает и в стихотворении 1829 года “Воспоминания в Царском Селе”:

*Так отрок Библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев, наконец, родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал...*

Возможно, что зрелый Пушкин и сам себя, молодого, сознавал тем библейским заблудшим отроком, который в легкомысленно-юном задоре сочиняет пародию на Святое Евангелие, а затем, возмужав и прозрев, раскаивается в грехах юности.

Однако вернёмся к “Онегину”. Уже само имя героя – Евгений, то есть “благородный” – говорит о его высоком происхождении. Но вершина любой родословной – Господь; все мы дети Отца, и к Нему обращаем сыновние наши молитвы. В тексте “Онегина” Бог как Отец, как Творец-Вседержитель возникает всего однажды – зато в самой главной, восьмой главе, венчающей здание пушкинского романа, как торжественный купол. Эти строки обозначают ту бытийную вертикаль, без которой немислима “система координат” “Онегина”.

*...Как часто по брегам Тавриды  
Она меня во мгле ночной*

*Водила слушать шум морской,  
Немолчный шёпот Нереиды,  
Глубокий, вечный хор валов —  
Хвалебный гимн Отцу миров.*

Так что Евгений, как и вообще человек, — благородный сын не просто земного отца (не оставившего сыну ничего, кроме долгов), но, прежде всего, сын Отца, сущего на небесах...

Фамилия же героя — Онегин — обозначает, скорее, его национальную принадлежность. И река Онега, и одноименное озеро — приметы северной, коренной России, откуда, надо думать, и ведёт своё происхождение род Онегиных. Достаточно внятно звучит и ещё одна переключка: “речные” фамилии-прозвища тех князей, что составили славу российской истории — Александр Невский и Дмитрий Донской — с фамилией нашего персонажа. Пушкин, возможно, иронизирует: вот, дескать, как далеко заблудился-ушёл герой нынешних дней от своих героических предков.

Онегин блудит много и с удовольствием. На протяжении, как минимум, восьми лет, то есть всей сознательной жизни, он занят исключительно “наукой страсти нежной” или, попросту говоря, распутством. Вообще, старинное слово “блудить” с древности и до нынешних дней означает ошибки как географического — “он пошёл в лес и заблудился”, — так и нравственного порядка.

Впрочем, и в географическом смысле Онегин поблудал по России немало: о его путешествиях рассказывает девятая (бывшая восьмая) глава. И это ещё больше сближает его с персонажем евангельской притчи. Но вот ступил ли Онегин на путь раскаяния, сказать трудно. Конечно, велик соблазн видеть в финальной сцене романа, где Онегин припадает к ногам Татьяны, как бы *возвращение блудного сына*. Но такое сближение кажется всё же натянутым. Если евангельскому отцу, чтобы спасти раскаявшегося детину, надо сказать ему: “Сын, приди же ко мне!” — то Татьяне, чтобы спасти и себя, и Онегина, следует оттолкнуть того, кого она всё ещё любит...

Но не об одном лишь заблудшем Евгении повествует нам автор. Пушкин, как это отметил ещё Белинский, пишет роман и о целой России. Точней, о Россиях — в романе их несколько. Есть “Россия-Онегин”, та самая, блудная, чью болезнь и чей путь Пушкин рассматривает с беспощадною трезвостью диагноста. Есть “Россия-Филиппьевна”, та корневая народная Русь, которую представляет старая добрая няня, двойник няни пушкинской. Есть Россия Лариных и их соседей, патриархальных уездных дворян, о которых автор пишет хотя и с улыбкой, но с улыбкой всегда незлобивой. Есть “Россия-Москва” — пёстрая, шумная и бестолковая, где хлебосольные бары предаются обжорству, а девушки ждут женихов. И есть, наконец, “Россия-Татьяна”, которая и объединяет их всех в единое целое, исцеляя, храня и спасая Россию от внутренней розни.

Онегинский путь — путь “заблудшей” России. Излишне повторять сейчас то, что уже было сказано, в том числе Достоевским в его знаменитой Пушкинской речи, о том, что ведёт этот путь на закат. Это путь “фармазона” и “афеиста”, путь поклонника западных модных теорий (“Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом...”), путь эгоиста и сластолюбца, привлечённого вовсе не истиной, а всего лишь комфортом. Такова ирония жизни: Онегина, мнящего себя лучшим, модно-передовым (сейчас бы сказали: продвинутым), соблазняют и привязывают к себе побрякушки-стекляшки, да пёстрые тряпки, словно он не столичный денди, а дикарь-папуас, только что слезший с пальмы.

*Янтарь на трубках Цареграда,  
Фарфор и бронза на столе,  
И, чувств изнеженных отрада,  
Духи в гранёном хрустале;  
Гребёнки, пилочки стальные,  
Прямые ножницы, кривые,  
И щётки тридцати родов  
И для ногтей, и для зубов...*



Фотографии онегинского кабинета со всем его содержимым отлично легли бы на “глянец” современных журналов или телевизионных реклам, что ещё раз подтверждает как жгучую современность “Онегина”, так и однообразие средств и приёмов, которыми нас, простаков, соблазняют.

Но мы в своих заблуждениях не одиноки. Можно сказать, заблудилась и вся западная цивилизация. Двинувшись, по выражению Максимилиана Волошина, “путями Каина”, эта цивилизация потребления оказалась в потребительском тупике. У современного благополучного европейца или американца, как и у Евгения Онегина, есть всё, что нужно не просто для жизни, а что нужно для утончённого наслаждения ею. Есть хлеб и зрелища, есть одежда и выпивка, есть досуг, есть развлечения разного рода, есть целая индустрия разврата, есть всё – нет только счастья.

В “Онегине” встречается выражение: “пора меж волка и собаки”. Означая в прямом смысле сумерки, оно указывает ещё и на зазор между дикой, звериной природой – и природой приручённой, облагороженной волей, умом и трудом человека. Этот зазор или этот конфликт – одно из важнейших противоречий романа. “Натура – культура”, “долг – чувство”, “желание и его обуздание”... В силовом поле этих противоречий движутся, переживают, страдают герои “Онегина”. “Страстей игру”, то есть напор дикой, непросветлённой природы испытывают как Татьяна с Онегиным, так и сам автор.

Казалось бы, спасение от “волка” – в культуре, в обуздании диких желаний, в укреплении обычаев, морали и даже в сохранении бытового уклада – во всём, словом, том, что именуется “цивилизацией”. И действительно, Пушкин вполне признавал целебную и благотворную роль цивилизации. Вот, например, как он рассуждает о способах усмирения диких горских племён: “Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением”. (“Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года”.)

Но, формально отодвигаясь от “волка”, то есть от дикости и кровожадности, цивилизация и культура далеко не всегда приближают нас к человечности. Спросим себя: что убило беднягу Ленского (избрав как орудие руку и пулю Онегина)? Можно сказать, что Владимира Ленского погубила как раз заблудившаяся культура. Его убил ложный обычай, тот “деспот меж людей”, что заставляет искать не прощения и примирения, но разжигает месть и вражду. Именно “общественного мненья”, то есть возможного обвинения в трусости (причём обвинения от тех, кого он так презирал!), Онегин испугался настолько, что счёл за лучшее выстрелить в единственно близкого себе человека.

Да и в самом прямом смысле Ленского погубила культура материального производства – те дуэльные “Лепаж стволы роковые”, которые по изяществу форм практичности и эффективности являют собой настоящий шедевр. А спустя всего десять лет после того, как написана сцена дуэли, такие же роковые стволы погубят и самого Пушкина...

Рассуждения о заблудшей культуре и – шире – о заблудшей цивилизации выводят нас уже на общечеловеческий уровень. Так расширяется сфера романа: начиная с исследования причин собственной хандры, Пушкин выходит к проблемам всего человечества. Но даже таким грандиозным масштабом нельзя ограничить роман. Размах “Онегина” ещё шире: он распространяется и на всю нашу Вселенную.

Я имею в виду его – как бы это точнее сказать? – антиэнтропийный эффект. Ведь мы живём в мире, непрерывно стремящемся к хаосу, уничтожению, распаду – такова непреложная и беспощадная суть законов природы. Энтропия любой из систем нарастает, а её энергетика падает – мир остывает и гаснет... Об этом написано даже в школьном учебнике физики. Но есть нечто, например, жизнь, любовь и поэзия, что не подчиняется непреложным законам природы. И вот в ряду таких “незаконных”, космических, антиэнтропийных событий стоит “Евгений Онегин”.

Кажется невероятным: как в окружении хаоса, смерти, распада мог возникнуть такой гармонический, полный света и радости мир, как мир “Онегина”? Удивительны его лёгкость, ажурность, почти невесомость; рифмовка настолько изящна, что строки романа кажутся непринуждённой, естественной речью. Каждая строфа – праздник; недаром и запоминаются строки “Онегина” так легко, словно ты знал их всегда, ещё с детства, и просто припомнил в тот миг, как раскрыл книгу.

Но этот ажурный покров наброшен над страшной, клокочущей бездной. Усыпленные и размягченные музыкой пушкинских звуков, мы этого часто не замечаем; но нельзя же не видеть того, что, скажем, пророческий и леденящий кровь сон Татьяны помещён в самый центр, в сердцевину романа? Всё совершается как бы вокруг её вещего сна, всё скользит в него, как в воронку водоворота или как в адскую мясорубку; а потом из его тёмных глубин вылетают кровавые брызги, окрашивающие обыденную реальность в цвета трагедии. Но и о Татьянинном сне, и вообще о снах Пушкина (то есть снах его персонажей) надо поговорить особо.

Снов в мире Пушкина много, и они всегда очень важны. Пушкин видел и слышал во снах голос судьбы, распознавал шаги рока и чувствовал то клотание тёмных глубин, что кипят под непрочною коркой обыденной жизни. Плазма снов, словно лава вулкана, прорывается в трещины бытия и грозит испепелить тот дневной мир, в котором герои привыкли существовать. Сны у Пушкина — всегда сны-кошмары; выражаясь по-древнеславянски, мир его снов — это “навь”, которая хаотично клубится под дневным миром, “явью”. Не сказать, чтобы Пушкин так уж стремился живописать преисподнюю, но обозначить её ему было необходимо.

Вот Гринёв, задремавший во время бурана, узнаёт во сне провожатого — как бы своего посаженного отца — и с ужасом видит, как комната наполняется кровью и мертвецами. Вот к спящему Германну является мёртвая ведьма-графиня и передаёт ему (по поручению сил преисподней!) ту тайну, что вскоре погубит его. Вот король из “Видения короля” видит то, что с ним будет завтра: как с него живьём сдерут кожу, чтобы одарить этой страшной одеждой предателя-брата. Вот будущий Самозванец восклицает: “Всё тот же сон! Возможно ль? В третий раз...” — и, подчиняясь велению вещего сна, распечатывает Пандорин ящик русского бунта, “бессмысленного и беспощадного”. Вот, наконец, “Гробовщик”, основным содержанием которого является также ночной кошмар Адрияна Прохорова, тот страшный сон, в котором ломается тонкая перегородка, отделяющая нас от загробного, потустороннего мира.

Заметим, что и в “Гробовщике”, и в других “Повестях Белкина” видны связи с “Онегиным” — пусть неявные, но несомненные. Кажется, что костёр “Онегина”, так ярко пылавший в Болдино, — восьмая глава и весь роман были завершены 25 сентября 1830 года, в три часа сорок пять минут пополудни — этот костёр не мог угаснуть вдруг, и его жара хватало ещё и на пять прозаических повестей. Основные мотивы, идеи и темы “Онегина” продолжают в пушкинской прозе 1830 года. Тема дуэли и кровной обиды? Вот вам “Выстрел”. Следом звучит тема судьбы, беспощадной к героям, играющей ими — и, контрапунктом — тема верности долгу и клятве. Ведь Марья Гавриловна, героиня “Метели”, уездная милая барышня с французским романом в руках — как бы родная сестра Татьяны Лариной. Она тоже верна той венчальной клятве, которую произнесла в ночь метели, и готова хранить её — даже жертвуя ей счастьем собственной жизни. В “Метели”, кстати, есть и свой Ленский, тоже Владимир — тот романтический юноша, который так рано погиб, над которым так зло посмеялась судьба.

Теме блудного сына (точнее, блудной дочери) посвящён “Станционный смотритель”, мы об этом уже говорили. А смуглая Лиза, “барышня-крестьянка” — это как бы ещё одна Таня Ларина, чья отвага и чья самобытная личность объединила не только русофилов и англоманов, то есть семейства Муромских и Берестовых, но преодолела и пропасть между дворянами и крепостными рабами.

Сон же Адрияна Прохорова, гробовщика, образует как раз центр всего цикла из пяти повестей, как и сон Татьяны, напомним, является центром “Онегина”. Это тот “ноль”, та точка отсчёта в системе пушкинских координат, по отношению к которой и следует воспринимать и оценивать и события, и персонажей, и всё произведение в целом. На тот же “ноль” нас выводит и эпиграф к “Гробовщику”: “Не зрим ли каждый день гробов, \ \ Седин дряхлеющей Вселенной? (Державин)”. Да, “седины Вселенной”, её многочисленные гробы — это и есть тот разгул энтропии, торжество мирового закона уничтожения, против которого так героически и вдохновенно сражается Пушкин.

Но вернёмся к сну Татьяны. Пушкиноведами он разобран детально, и вряд ли мы сможем добавить что-либо существенное. Уже отмечено, что

первая часть сна — медвежья погоня и переправа через ручей — соотносится более с русским фольклором, и всё, что происходит с героиней в первой “сери” сна, сулит ей замужество. Вторая же часть — там, где пируют чудовища, — скорее, связана с западноевропейской традицией. “Копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавы языки, рога и пальцы костяные...” — это уже Иероним Босх.

Но и во второй части сна звучат болевые русские темы. Так, восклицание: “Моё!”, — которое там раздаётся, как клещ, как девиз всех, собравшихся на демонический шабаш, и Онегина в их числе, — переключается с тем местом из “Слова о полку Игореве”, где “... рекоста бо брат брату: “се мое, а то мое же”. И начаше князи про малое “се великое” молвити, а сами на себе крамолу ковати. А погании со всех стран прихождаху с победами на землю русскую...” И в Татьянинном сне торжествует всё это: и “погании со всех стран”, то есть нечисть, что лезет из всех закоулков и дыр бытия, и антиевангельский принцип “моё!”, ставший девизом новейшей, распавшейся на жадные индивиды, потребительской цивилизации.

Сон Татьяны — своего рода страшный бутон, из которого вскоре распустятся цветы зла. И сбываться тот сон начинает практически сразу: едва героиня проснулась, как на её именины съезжаются соседи, и их шумное сборище очень напоминает тот шабаш нечисти, на котором Татьяна была ночной гостьей. Вот сон героини:

*Лай, хохот, пенье, свист и хлопок,  
Людская молвь и конский топ!*

А вот съезд соседей-гостей:

*Лай мосек, чмоканье девиц,  
Шум, хохот, давка у порога...*

Несомненно, сон в художественном мире Пушкина есть голос судьбы — и её, судьбы, план, который сбудется непременно, с роковой, равнодушно неотвратимостью. В этом смысле “Евгений Онегин” ещё и античная трагедия: рок судьбы ведёт за собою героев, Парки бормочут, плетя свои нити, а людям лишь кажется, что они действуют по собственному произволу.

Но мы отклонились от основной нашей темы. Помнится, мы говорили о целостном, антиэнтропийном действии пушкинских строф — не только на автора, который исцелял ими себя самого, не только на нас с вами, читателей, не только на русскую культуру и вообще русскую жизнь (кто бы мы были, не будь с нами Пушкина и “Евгения Онегина”!), и даже не только на всё человечество, которое пока, может, и не подозревает, какое целебное чудо хранится в запасниках его памяти, его общекультурного кода, но о целебном воздействии пушкинского романа на всё мироздание в целом.

Утверждение это, возможно, покажется диким — эк, куда, мол, хватил! — но несомненно, что власть слова распространяется вообще на всё, что есть в мире. Кто сомневается в этом, пусть вспомнит начало Евангелия от Иоанна. А людям, настроенным более прагматически, напомним знаменитые опыты по замораживанию воды: когда под молитву образуются кристаллы удивительной красоты, а под бранные крики — искривляются, как бы страдают даже ледяные кристаллы. То есть выбор между гармонией и уродством, между ложью и истиной существует даже для неживой материи.

Вообще, современная физика предлагает нам несколько иной образ мироздания, чем это было в старые добрые времена. Такие понятия, как “странный аттрактор”, “фрактал” и “гармония хаоса”, вошли в обиход лишь недавно, в конце прошлого века, чтобы описать тот подвижно-изменяющийся мир, в котором мы с вами живём. Хорошо было Ньютону и его последователям: в их мире всё было логично и ясно, яблоки падали людям на головы в соответствии с формулой “ $E=mc^2$ ”, маятники качались, шестерёнки вертелись, и весь мир походил на отлаженный часовой механизм, непонятным в котором было только одно: чья рука завела его в самом-самом начале?

А современный нам с вами мир представляется неким туманным облаком, меняющим свои очертания так же стремительно, как меняются люди, ко-

торые это облако наблюдают. И недаром же именно за облаками наблюдал Бенуа Мандельброт, основоположник и классик современной теории нелинейных систем, перед тем, как написать свои знаменитые труды по фрактальной геометрии природы.

Но поразительно, что “Евгений Онегин”, созданный почти за две сотни лет до этого, уже представляет нам современнейшую модель мироздания. Это образец нелинейной самоорганизующейся системы, этакий микрокосмос, который, при всей его кажущейся вольной небрежности, ненарочитости и почти хаотичности — “собранием пёстрых глав” назвал роман автор, — является собой образец равновесия и красоты.

Тому, как в “Онегине” отражена современная картина нелинейного мироздания, можно посвятить отдельное и обстоятельное исследование. Там нашлось бы место и рассуждениям о строфе как фрактале, то есть том элементе, из которого образуется целое, и в котором оно уже как бы присутствует в виде потенции. Или рассуждениям о том, как размыты, нечётки границы романа в стихах — точь-в-точь, как размыты и неуловимы границы облака. В самом деле: а чем завершается “Евгений Онегин”? Мало того, что сюжет романа не просто открыт, а настезь распахнут, — самое, может, захватывающее и начинается тогда, когда муж Татьяны застаёт Онегина в покоях жены. То есть роман продолжается после авторской точки, уже в нашем, читательском предположении и воображении. Но даже слово “конец”, завершающее восьмую главу, ещё не “закрывает” романа. Разве строфы об онегинских путешествиях, которыми сам Пушкин продолжил роман в его прижизненных изданиях, — разве они не принадлежат “Онегину”? А “Примечания”, этот блестящий образец критической прозы, неизменно сопутствующий роману, — разве это не пушкинский текст? Выходит, что мы с вами даже не можем точно определить, где и чем, в каком именно месте завершается “Евгений Онегин”: роман Пушкина, в прямом смысле слова, бесконечен.

А его, выражаясь научной латынью, бифуркационность, или вариативность, то есть бесконечность ветвлений, по которым и через которые движется текст? Хорхе Борхес уже в XX веке написал знаменитый рассказ “Сад, где ветвятся дорожки”; но ведь подобный ветвящийся сад задолго до Борхеса был выращен Пушкиным. “Евгений Онегин” — образец, как теперь выражаются, нелинейного текста. Из сочинений подобного рода, помимо рассказов Борхеса, известнее всего романы Милорада Павича, например, “Хазарский словарь”. Да, текст, который ветвится и множится, порой пародирует сам себя (то есть как бы оглядывается), то заходит в тупик и недоумевает: “Что, мол, такое случилось, и что делать дальше?” — потом вновь вырывается, так сказать, на оперативный простор, текст, блуждающий в отступлениях и оговорках, небрежно болтающий и как бы перемигивающийся с читателем, текст, который сам предлагает различные варианты своего продолжения: “А может быть и то: поэт обыкновенный ждал удел. . .” — такой текст кажется ультрасовременным, отражающим именно ту, нелинейную и хаотичную, картину Вселенной, которую предлагает нам физика и математика XXI века.

И ведь даже не скажешь, что “Евгений Онегин” опередил своё время; нет, он его как бы вобрал в себя — так большая вещь поглощает меньшую, ей подчинённую, — и получилось, что не “Евгений Онегин” зависит от времени, а само время определяется тем, как оно прочитает “Онегина”. Любая эпоха — в том числе наша — окажется свое-временной, жизнеспособной и, так сказать, современной себе самой лишь в той мере, в какой она услышит и осознает послания, что содержатся в пушкинском тексте.

Родившись из гущи событий, из суеты злободневности, будучи свеж и понятен читателям-современникам как сегодняшняя, ещё пахнущая типографией газета, “Онегин” сам оказался генератором и хранителем времени, тем источником, из которого время струится, как вода из неиссякающего родника. Впрочем, рассуждения на тему “Онегин” и время” — это материал для ещё одной отдельной статьи. Чтобы не перегружать ни себя, ни читателя, я лишь обозначу отсылку к Уистану Одну с его гениальной формулой “время. . . боготворит язык” и к восторгам Иосифа Бродского по поводу этой оденовской строки (см. эссе Бродского “Поклониться тени”).

О чём мы ещё не сказали? Да, вот о чём: об “Онегине” как прообразе интернета, как той сети, что связала в единое целое русскоязычную цивилиза-

цию и включила её в цивилизацию мировую. У каждого, кто погружается в пространство “Онегина”, возникает и чувство “вхождения” во всю мировую культуру. Такого количества ссылок, цитат, — как скрытых, так и явных, — такого обилия упоминаний и обращений, намёков и переключек, то есть нитей, которыми связан “Онегин” с культурным пространством как современности, так и прошлых эпох, такого количества связей со всем окружающим миром не имеет, пожалуй, ни одно иное литературное произведение. Взять хотя бы эпиграфы: ими одними уже обозначена целая библиотека, в которой представлены Баратынский и Вяземский, лорд Байрон, Гораций и Мальфилатр, Неккер (мадам де Сталь) и Петрарка, Василий Жуковский, Дмитриев и Грибоедов. А перечни книг — тех, что читают Татьяна или Онегин? А ссылки на древних — Гомера, Саади, Шекспира?

Можно сказать, что вместе с “Онегиным” к нам, в наше читательское сознание и в культурный наш обиход входит чуть ли не вся мировая литература. И это огромное дело — соединение русской литературы со всемирной — Пушкин совершает как бы между делом, играя и походя, в этакой моцартианской, словно *небрежно насвистывающей* манере. “Да! Бомарше ведь был тебе приятель; ты для него “Тарара” сочинил, вещь славную...”

Конечно, прочитать перечень авторов, приведённый в “Онегине”, и прочесть их самих — вещи разные; но существование единой культурной сети, объединяющей миллионы людей, и не предполагает, что каждый из них непременно будет освоено и усвоено всё её почти необъятное содержание. Достаточно и того, что она, эта сеть, уже есть и что каждый, кому будет в том нужда, сможет найти в ней и пищу уму, и утешение сердцу.

Ис-целение и означает: возвращение к цельности, объединение, синтез. Как ни много противоречий, проблем и конфликтов в романе — их выявлению, их “диагностике” отчасти и посвящён “Евгений Онегин”, — но главным является всё же иное: целебное и благотворное их разрешение. И вот по этому — в прямом смысле, терапевтическому — эффекту “Онегин”, пожалуй, не имеет себе равных. Лечит уже сама музыка пушкинской речи: об этом прекрасно сказали Вайль с Генисом. “Кровь и горе разливаются по сюжету “Онегина”, а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, разбитые сердца, замужество без любви, безвременная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не появляется при первых же звуках мажорной онегинской строфы”.

Да, проблем и конфликтов в “Онегине” столько, что они должны были давно разорвать весь роман в клочья и, вместе с тем, разорвать и душу, и сердце читателя. Но этого почему-то не происходит. Что же удерживает и роман, и всю жизнь, изображённую в нём, от распада? Может быть, взгляд и голос самого автора? Да, несомненно. Пушкин, живя и творя внутри текста, живёт и творит ещё как бы над ним, он сам озирает и судит своё творение с той высоты, на которую не вскарабкаться ни одному критику. Поэтому, кстати, и настоящие пародии на “Онегина” невозможны: Пушкин сам, коли ему охота, пародирует собственный текст, превращая роман в самостоятельное и само-творящее произведение. Взгляд автора — самое, может быть, драгоценное, что оставил нам Пушкин. С такой отвагой и ясностью, с таким трезвым, весёлым умом и таким благоволением к людям вряд ли кто озирает жизнь прежде Пушкина, и вряд ли кто сможет так видеть жизнь после него.

А ища исцеления — исцеления в самом глубоком, онтологическом смысле этого слова, — мы ведь, в сущности, ищем именно уровень взгляда, ту точку зрения, с которой наши напасти и беды перестают иметь подавляющее и исключительное значение. Так и сам Пушкин советовал Дельвигу: “...взглядом на трагедию взглядом Шекспира...” Таким же — шекспировским — взглядом он утешал Вяземского, у которого умер ребёнок: “Судьба не перестает с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе её огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит её на цепь? Не ты, не я, никто...”

Но всё же есть, есть — и в романе, и в жизни — та сила, что способна одолевать *обезьяну судьбы*. Есть терапия высшего уровня — та, что удерживает жизнь от распада, от погружения в хаос. И это высшее, что возможно для человека, именуется жертвой.

Жертв в романе, как минимум, две. Это, во-первых, Ленский, который “несчастной жертвой пал”, спасая честь даже не столько той, о ком он вздыхал, а её старшей сестры\*. Не брось себя Ленский, так горячо и бездумно, под пулю Онегина, что ожидало б Татьяну? Её судьба могла бы быть ужасна — она и сама это чувствовала. “Погибну, — Таня говорит, — но гибель от него любезна...” Двойная смерть Ленского — сначала в Татьянинном сне, а потом наяву — дважды заставляет Татьяну проснуться, освободиться от гибельных чар, что несёт в себе “чужда печальный и опасный”.

Вторая жертва — сама Татьяна. Её окончательный и бесповоротный отказ, “поражающий громом” Евгения, — ведь это же принесение в жертву ни много, ни мало — любви. Но вопрос: “Ради чего же приносится эта великая жертва?” — оставался, возможно, открытым даже для автора. Во всяком случае, Пушкин слишком глубок и тактичен для прямолинейного или назидательного ответа. Не стоит, пожалуй, и нам стараться быть умнее и проницательнее Пушкина.

Но вот чего Пушкин мог в самом деле не знать и что открывается только нам — так это то, что он сам стал последнею жертвой в “Онегине”. То, что роман продолжился самой пушкинской жизнью, давно отмечено внимательными читателями. Анна Ахматова остроумно заметила: “Чем закончился “Евгений Онегин”? Тем, что Пушкин женился”. То, что Пушкин в “Онегине” предсказал собственную роковую дуэль, в которой он пал жертвой не только за честь жены и своего доброго имени, но и за честь всей России, не подлежит никакому сомнению. Так что Пушкин не только романом в стихах, но и собственной жизнью указал нам путь исцеления — путь, правда, настолько высокий, что мало способных пойти по нему и, тем более, пройти этот путь до конца. Но не забудем: и само христианство, к которому все мы, по вере или хотя бы традиции, принадлежим — есть религия искупительной и исцеляющей жертвы.

И вот что очень важно сказать, — может быть, этим и завершить наши рассуждения о целебном действии пушкинского романа — это то, что “Онегин” не просто способен нас исцелить или исцеляет вот в самую эту минуту, когда мы читаем его или рассуждаем о нём; нет, он уже нас с вами спас! Спас именно тем, что он существует, и мы, слава Богу, пока что способны его прочитать. Да, “Евгений Онегин” — роман, с одной стороны, бесконечный, непрерывно само-творящийся, возникающий снова и снова в минуту, когда новый читатель берёт книгу в руки, раскрывает её, и начинает плыть в мелодичном, чарующем облаке пушкинских строф. Но в то же время “Онегин” уже сотворён, уже есть, и его существование не зависит ни от чего преходяще-мирского. Он просто есть, как есть день или ночь, луна или солнце, есть звёзды или облака...

А раз так — мы уже спасены. В “Онегине” русский язык и культура, и вся русская цивилизация достигли своей высшей точки; и, в какие б низины или болота мы с вами впредь ни спускались, в каких бы туманах и мороках ни пролегал наш с вами путь, но “Онегин” сияет и светит нам с вами, и нам не грозит уже полная тьма. А в самом широком, космическом смысле мы спасены ещё и потому, что целебный бальзам, который мы получили — и до сих пор получаем! — от Пушкина, помогает не только нам с вами, но укрепляет саму ответшалую ткань бытия.

г. Калуга

---

\* Наблюдение В. С. Непомнящего.

**ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ**

*председатель Союза писателей России*

## К 80-летию Бориса Олейника

Дорогой Борис! Поздравляю тебя с 80-летием!

Но какие наши годы? По советским меркам ты, наконец, достиг возраста члена Политбюро, а до этого — только кандидат.

Мы довольно старые знакомые, ещё с 50-х годов по Киевскому университету. Ты частенько рассказывал мне про полтавскую родную Зачепиловку, а я про миргородскую Камышню, где я жил после войны.

Оканчивая Камышинскую школу, я хорошо знал украинскую мову и литературу, хотя был русский человек. Я хорошо знал литературу благодаря двум светоносным своим учителям: учительнице русской литературы Надежде Васильевне и учительнице украинской мовы Ганне Никифоровне. Требовательная Надежда Васильевна, преподававшая великую русскую литературу, прививала восхищение и восторг простым сельским хлопцам и девчатам, любовь к Ломоносову и Державину, Пушкину и Лермонтову, Гоголю и Тургеневу, Достоевскому и Толстому, Чехову и Есенину, Шолохову и Твардовскому, и всем, кто сеял “разумное, доброе, вечное”. Да ведь и классик украинской литературы Иван Франко громогласно заявлял: “Мы любим российских писателей. Мы все русофилы, слышите, повторяю ещё раз, мы все русофилы. Мы любим великорусский народ и желаем ему всяческого добра, любим и учим его язык, и читаем на нём нового, наверное, не меньше, а может больше, чем на своём... и русских писателей, великих светочей в духовном царстве мы знаем и любим...”

Вторая наша любовь в школе была с горящими глазами Ганна Никифоровна. Она научила меня украинской мове, её духу, славянской корневой сути, той красивой музыке полтавско-киевского диалекта, не загаженного австро-венгерскими, польскими словечками, что внедряются ныне в сознание и произношение. Радость от познания сочинений Котляревского, Нечуй-Левицкого, Панаса Мирного, Леси Украинки, великого Кобзаря Шевченко, Коцюбинского до поэтов советского времени — Павло Тычины, Сосюры, Рыльского, Малышко, других, была безмерна. Думаю, как же искусно и возвышенно вкладывали наши учителя великое и вечное в наши головы и сердца, выстраивая платформу любви и дружбы между людьми и народами.

Позднее мы это чувствовали не раз, приезжая в Киев по приглашению фонды культуры Украины по разным литературным случаям.

Вот, например, в 2007 году мы приезжали и отмечали годовщину Николая Васильевича Гоголя и выход полновесного тома писателя в “Библиотеке Черномордина”. Тогда Борис Ильич Олейник был не только хозяином встречи, но и духовным толкователем значения Гоголя для наших народов. В 1989 году на Славянской встрече в Киеве раздавались возмущённые голо-

са: “Очистить Украину от гоголизмов”. Слава Богу, нынче в Киеве, в том числе после встреч в украинском Фонде культуры Гоголь признан и даже провозглашён украинским писателем.

В ответ на вопрос, обращённый ко мне председателем правительства Украины Кинахом после Сорочинской ярмарки: “Дак чей же писатель Гоголь: русский или украинский?” – я ответил, думаю, правильно: “Поделимся как Гоголем, так и Пушкиным и Толстым, как и вы Шевченко и Лесей Украинкой”. Да, духовными ценностями надо делиться без процентов.

Запомнится и выдающаяся встреча, посвящённая 825-летию “Слова о полку Игореве”, той нашей общей, сверкнувшей и сияющей звезде, пришедшей к нам из XII века. Разговор шёл на Украине, в Новгород-Северском и Путивле. Два великих украинца, академики Олейник и Толочко, как и мы, сделали свои сообщения. Казалось, откуда-то оттуда, издалека, прозвучали из “Слова о полку Игореве” предостерегающие нас слова, которые прочитал Борис Ильич: “Рекоста бо брат брату: Се мое, а то мое же. И начяша князи про малое “се великое” молвити, а сами на себе крамолу ковати”. Юбилей “Слова” мы отметили словесно, хотя нашим Министерством культуры было не до этого.

Борис известен как защитник славянского братства и дружбы, которые отстаивал не только в праздничные дни, но и под бомбами в Белграде, зачитывал слова Шевченко: “Слава тобі Шафарику. Во вікі и вікі, що звів еси в одно море славянськїі рікі”.

И ещё славное событие, которое мы отметили с Фондом культуры Украины в 2009 году. Выпуск великого романа XX века – «Тихого Дона» М. А. Шолохова с переводом на украинский язык. Переводы были и раньше, но в связи с найденными и выкупленными двумя первыми томами рукописи решили внести правку и исправления, вернее, уточнения автора в последние годы его жизни. А также представить всех художников “Тихого Дона”. Шолохов был широко известен на Украине. Его мать была украинка, её родители с Черниговщины. Читали роман на русском и украинском.

... Помню, как в 1967 году мы, издательство “Молодая гвардия” и комсомол проводили в станице Вёшенской, на родине Шолохова, встречу молодых писателей Советского Союза и зарубежья. Вышли на холм, под которым протекал Тихий Дон, кругом переливался ковыль и лазоревые цветы, внизу виднелся изгиб реки. И вдруг я увидел, что у молодого писателя Юрия Мушкетика, с которым я тоже учился в Киевском университете, на глазах слёзы. “Что с тобой, Юра?” – “Та я же все цэ бачів. Про всэ читав!” Так всплывало время, природа, события из великой книги.

Больше года переводил “Тихий Дон” Володя Середин, тоже выпускник КГУ. Андрей Черномырдин в память о своём отце, бывшем после России на Украине, оплатил выпуск книги.

Назначили презентацию, и вдруг узнаём, что главный организатор встреч, председатель Фонда культуры Борис Ильич болен и лежит в больнице. Катастрофа! Но ехать надо. Презентация назначена в Парламентской библиотеке в центре Киева. Заходим. Зал полон, немало знакомых лиц по университету, по литературе. Идём к своим местам и вдруг... Борис Ильич! “Сбежал из больницы, врач кричит вдогонку “под вашу личную ответственность!”.

Борис открыл вече, сказал блистательное слово о романной форме, о “Тихом Доне”, о кровавых драмах и истории. А дальше была встреча и разговоры в Фонде Л. Кучмы о книге, времени, наших культурных связях. Встречу вёл сам Кучма. Я и Иван Драч ему ассистировали.

А вот второй пласт наших встреч с Борисом. Я, директор издательства “Молодая гвардия”, перед этим завотделом в ЦК комсомола. Звонит Борис: “Валера! Осъ тут стихи Васыля Симоненко знимають”. – “За что?” – “За буржуазный национализм”. Я говорю: “Да что они придумывают? У нас ни одного порядочного буржуа на Украине сейчас нет”. (Думаю, нынче их пруд пруди.) Стихи Симоненко тогда только появились у нас в обиходе. Моя жена Светлана привезла книжечку из поездки с молодыми педагогами зарубежья на Черкашину. Декламирую по памяти: “Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину”.

Звоню Юрию Ельченко, тогда первый секретарь ЦК комсомола Украины: “Юрий Никифорович, что там на “Зміну” нападают по поводу стихов Симоненко. Никаким махровым национализмом там не пахнет, просто поэт любит



свою землю и людей”. — “Ты так считаешь?” Но звонок из “центра” помогает ему принять решение: “Да нет, всё пойдёт”, — я ехидничаю: “Вы там за бывшими бандеровцами следите, а то оживают, из нор выползают”. — “Да нет, этого не будет никогда. До побачения”.

В издательстве же “Молодая гвардия” украинцы были постоянно издаваемыми авторами. Тут и Олесь Гончар, и Павло Загребельный, и Сизоненко, и Иван Драч, и Яворивский, и Стельмах, и Олейник, и Лубкивский, и Михаил Шевченко, да и тот же Симоненко. Ясно, что из всех союзных республик писателей Украины было больше всех. Мы этим гордились. Олесь Гончар меня любил, приглашал в гостиницу “Москва” побеседовать, да и пообедать. Говорили об именах молодых и старых, о литературе и истории.

Да и сам я переводил для “Советского писателя” книгу полтавчанина Малика “Червленые щиты” (о “Слове о полку Игореве”) и “Каштаны на спомин” Артамонова и др.

Ещё: Борис Ильич человек остроумный и “юморной”. Я даже выпустил книжку “Всякая всячина”, где порассуждал о природе смеха. “Юмор и гумор” — называлась одна статеечка, где написал, что юмор и гумор — понятия одного смысла и ряда. Юмор широк, разливист, может касаться всего. Иногда тоньше, иногда покрепче, на грани. Гумор хитроват, часто кажется наивным, но столь же задирист и глубокомысленен, смешлив и поучителен.

Два народа умели пошутить над собой, да и друг над другом, а уж над врагом — пощады не давали. Чего стоит Письмо турецкому султану от запорожских казаков всех национальностей. Вот и получал я хохочущий и целебный нектар с цветков России и Украины, от хохлов и кацапов, чьи прозвища выражали задиристую насмешку. Украинцы и русские давно создали улыбочивый союз, а может, даже всепобеждающий блок, что посильнее всякого НАТО.

Приехал в Киев в связи с 60-летием Бориса. Поздравляю в громадном зале. Годы напряжения, с одной стороны, “свидомі незалежники”, с другой, “отпетые патриоты”, а плоды народного труда делят “новые русские” и “нові українці”, а в основном “старые евреи”. Я начинаю Слово: “Приветствую вас, Борис Ильич, от имени секретарей Союза писателей России — Бондаренко, Дорошенко, Барановой-Гонченок и...” В зале, разумеется, ехидный смех: “Вот на каких человеческих ресурсах живут москали”. Я продолжаю: “А также от Сергея Михалкова, Валентина Распутина, Юрия Бондарева, Михаила Алексеева, Василия Белова, Владимира Карпова, Петра Проскурина...” В зале аплодисменты.

На фуршете Борис благодарит: “Я тобі бажаю щастя, Валера. Повная хата добрых людей, щоб стол був повный смачного, а сала було багато, — потом хитро прищурился и закончил, — хай у мене буде все це, но я же хохол, хай у мене буде трошки бильше”.

Хохочем. Я тут же отомстил: “Вот недавно позвонил в Союз писателей Михаил Шевченко (мы его знали как поэта и секретаря Спилки писменников Украины) и спросил: “Ну як там у вас в Москве?” — “Плохо, Миша, плохо!”. — “Ой, тай у нас погано. А як влада?” — “Да какая там власть — бандиты с большой дороги”. — “Ой, та у нас тэж самэ! А як президент?” — “Хуже некуда” (Ельцин недавно расстрелял парламент, в стране олигархический разбой). — “Ой, и у нас такой же”. Потом помолчал и сказал: “Ни, у вас щэ гіршэ”. Всё-таки патриот Миша.

Да, чего только не было. Вот из последних анекдотов, привезённых с Украины. Сидит старый галициец и говорит внуку: “Ой, внуче, як ми добре жили, все у нас було, все було, але прийшли москали и навязали нам оцю самостийность”. Горько смеёмся.

Посмеялись мы как-то и над одной историей. В Крыму отмечали 200-летие А. С. Пушкина. Были делегации Украины, Белоруссии, России. Почитали стихи, потом возложили цветы к памятнику Пушкину, Леси Украинки, Богдановича (классика белорусской литературы).

Потом возложили цветы к Руданскому. У нас дома его песня “Повій витре на Вкраину” звучала постоянно. Пели мы её и в Москве. Делегацию Украины возглавляли энергичный Дмитро Павлычко и монументальный Иван Драч. Знаю обоих давно, издавал. Говорю Павлычко: “Помнишь, я издавал тебя в “Библиотечке избранной лирики” 500-тысячным тиражом?” — “Ото була казка!” — “Да, було и минуло, любленец культуры Украины”. — “А зараз заспиваем “Повій витре на Вкраину” у могилы Руданского. Оксана, заспивай!”

Запела дружно вся делегация. Второй куплет мы уже пели вдвоём с Оксаной, а третий я заканчивал один. Профессор Казарин из Симферополя давился от смеха. “Ты чего?” — “Хохлы молчать, а москаль спивает”. Я успокоил: “Да у нас многие патриоты в песнях третий куплет не знают”. “Це вирно”, — подтвердил Борис.

Ну и последнее. Оставив литературоведческие размышления на будущее, мне очень близки слова Бориса Ильича, сказанные им в одном из предисловий к книге “Избранное”.

“Со времён Великой Отечественной войны, — писал он, — во мне живёт непоколебимое презрение ко всяким отступникам и перебежчикам, одним словом, к предателям. И сам никогда не менял своей ориентации, уже хотя бы по той причине, чтобы не пополнять собой их ряды, тем более что идеи социализма — от самого Господа Бога, ибо проповедуют равенство, братство и свободу личности. А сама идея насколько не виновата в том, что её так исказили. Но нет прощения тем, которые её, эту идею, деформировали”.

В 1980 году я был снят с поста главного редактора “Комсомольской правды” с её 12-миллионным тиражом. В “инстанции” мне сказали: “Вы хотите доказать, что у нас в стране есть коррупция?” Защищаюсь: “Но есть же факты”. “Вы приводите “фактики” и хотите обобщить. В такой массовой газете это допустить нельзя”. В общем, “выгнали”, “сняли”, “освободили” — назвать можно как угодно: за разоблачение коррупции. Хотя тогда это были лишь “цветочки” по сравнению с сегодняшними “ягодками”. Но сняли-то, конечно, не за это. К тому времени я прослыл известным русофилом, даже ярим националистом и, что ещё хуже, шовинистом за то, что любил свой народ, свою страну. Шовинистом я, конечно, не был, ибо считаю слова Достоевского: “Русский человек — всечеловек, которому близки все радости и горести мира” очень правильными. Короче, освободили, да ещё в придачу после этого были странные автомобильные катастрофы и увечья. К “снятому” человеку людей заходит немного, а то и совсем мало, звонки прекращаются, на другую сторону дороги переходят, когда встречаются. Опускаюсь на “дно” литературной работы, пишу роман, исторические очерки. Вдруг звонок: “Валера, это Шолохов, кто там клюёт, чем помочь?” — “Да нет, проживём, вот посоветоваться бы”. — “Приезжай в Вёшенскую”. Затем следующий звонок (Борис Олейник): “Валера, я ось тут из Зачепиловки одну историю привиз, приезжай в Киев”. Нет, есть немало соратников, друзей, товарищей — живём дальше.

Слова Бориса из этого же предисловия: “Всегда выше злата и дороже, чем самые дорогие камни, я ценю чистое золото дружбы и побратимства”, — считаю самыми близкими и заповедными для меня.

Мой предшественник Сергей Владимирович Михалков, возглавлявший Союз писателей двадцать лет, одаривший нас немалым количеством афоризмов, оставил мне в назидание одну фразу: “Валерий, ты должен помнить, что если у нас в многотысячном Союзе писателей отдадут команду: “на первый-второй рассчитайся” — вторых номеров не будет. Так что у нас с тобой нет второстепенных товарищей-писателей — все первые или никчёмные”. Ну, так вот в 90-летний юбилей Михалков сказал мудрые слова: “Вот когда отмечали 85 лет, все говорили “здорово, давай до 90”. Глупо было бы обещать, а дожил — умно!”

Вот так, Борис Ильич, продолжай “умно” до 90 лет, хотя и тут услышишь мудрые слова: “Не надо ограничивать милость Божию”. Итак, до 90 и не ограничивай милость Господа дальше.

А закончить хочу полюбившимися мне на Украине словами: “Хай Щастять!”

Давний друг и сотоварищ, выпускник КГУ 1956 года

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

## СКВОЗЬ ТЕРНИИ

*Глава из книги “Александр Вампилов”, выходящей в издательстве “Молодая гвардия” в серии “Жизнь замечательных людей”.*

Вернувшись в Иркутск после окончания Высших литературных курсов, Вампилов сразу приступил к работе. Пьеса “Прощание в июне” к тому времени была напечатана. Теперь ему хотелось опубликовать – поначалу хотя бы в местном альманахе – комедию “Предместье”. Первые два названия её, “Женихи” и “Нравоучение с гитарой”, были отброшены. Вместе с новым названием складывался и существенно перерабатываемый текст. Одновременно писалась и новая пьеса.

Саша любил сговариваться с друзьями – с одним, с двумя, а то и с компанией побольше: давайте, махнём куда-нибудь в тихое место, в заштатную гостиничку или в какой-нибудь домик на природе, и будем там писать в своё удовольствие. Днём работать, разойдясь по комнатам, по таёжным полянкам, а вечером обсуждать написанное, выслушивать дружеские советы, гулять по окрестностям или сидеть у костерка. В первые журналистские годы он то и дело предлагал кому-нибудь из приятелей сочинить опус совместно, и это, бывало, осуществлялось. Теперь было не до того. Но посидеть за срочной работой бок о бок с писателями-ровесниками – особое удовольствие!

На этот раз сошлись вчетвером. Геннадий Николаев описал творческую вылазку в своих мемуарах.

“Вспоминаю лето 1967 года. Монтёрский пункт на двадцать третьем километре по Байкальскому тракту... Рядом с небольшой электрической подстанцией – бревенчатый дом на две квартиры”. В одной из них устроились “мы, четверо иркутских литераторов: А. Вампилов, Д. Сергеев, В. Шугаев и я, на всё лето получившие, благодаря... расположению ко всем нам главного инженера Иркутскэнерго, великолепную, временно пустующую квартиру с видом на лесную просеку и высоковольтную линию. Три комнаты и кухня – о чём ещё можно было мечтать!..

Вампилов в то время работал над “Утиной охотой”. Он сидел перед окном за самодельным столом, сколоченным из грубых досок и накрытым газетой. За окном неназойливо гудели трансформаторы, на проводах чернели какие-то задумчивые птицы, названия которых никто из нас не знал, они были нам симпатичны, потому что, хотя и видели всё вокруг, но всегда помалкивали. Вампилов часто выходил на крыльцо, подолгу стоял, глядя на лес, на просеку, убегающую в синюю даль, к Байкалу, думал, мечтал. Думал о пьесе, мечтал о Байкале. “А нет ли чего-нибудь такого на берегу Байкала? – спрашивал он, обводя широким жестом подстанцию, ЛЭП, монтёрский пункт. – Вот там бы

окопаться!” Байкал всегда тянул его к себе. Многие годы он вынашивал мечту купить на берегу Байкала домишко, какую-нибудь развалюху, чтобы можно было хоть летом приехать и жить там месяц-другой.

Пьеса продвигалась медленно. Помню, поначалу я сильно удивлялся тому, что за день работы у Вампилова на листочке прибавлялись всего одна-две реплики. Судя по тому, как часто вставал он из-за стола и надолго исчезал в лесу на просеке, можно было заключить, что пьесу он сначала “проигрывал” в уме и по мере продумывания записывал на бумаге...

Дни нашей жизни на подстанции были безоблачны в прямом и переносном смысле этого слова. Работали с утра до позднего вечера, хозяйственные обязанности исполняли весело, дружно, как добрые братья, которым нечего делить и не из-за чего ссориться. Это была поистине золотая пора, по крайней мере, мне она вспоминается со сладкой щемотой в сердце, как вспоминаются светлые дни юности, когда ты ещё здоров, полон сил и всё у тебя идёт ладно. Густой смолистый запах леса, стрёкот кузнечиков на просеке, гудение трансформаторов, вкус сотового мёда, лукавые мудрствования Таборова (монтера, жившего рядом. — **А. Р.**) по вечерам, лесная малина с куста, первые маслята, удивительно ласковая собачка, походы на берег Ангары, приволье, ветер, яркое солнце — всё это осталось в сердце и живёт неразрывно с памятью о Сане Вампилове”.

“Утиная охота” была пьесой, которая тяжело давалась автору. Наверное, потому, что речь в ней шла о человеке, по слову В. Распутина, немало сделавшем для того, чтобы все лучшие качества в нём превратились в худшие. Вся драма звучит как исповедь, а такие произведения задевают в художнике всё существо: его собственную судьбу, его знания о жизни и людях, его представления о смысле земной жизни. И кажется неувидительным, что такую пьесу Александр писал, стараясь быть в окружении творчески близких людей. Словно продолжение рассказа Г. Николаева звучит воспоминание В. Распутина:

“А вот мы в ангарской гостинице “Тайга”, куда уехали из Иркутска работать, чтобы не мешало одно, второе, пятое, десятое... Час назад Саша поставил последнюю точку в “Утиной охоте” и только что дочитал мне финальную сцену.

— Хорошо, — говорю я. — По-моему, очень хорошо.

Он долго молчит, мнёт в руках сигарету и, наконец, отвечает:

— Мне тоже кажется, что пьеса удалась. Мне она пока нравится больше старых. Но хорошую пьесу трудно увидеть на сцене, поэтому её надо делать ещё лучше. Всё равно, наверное, придётся ещё посидеть над ней”.

К осени драматург закончил пьесу. Это можно утверждать потому, что, уехав в конце того года в Москву, он сообщил в письме к жене Ольге Михайловне: “Пьеса во многих местах уже прочитана, есть режиссёры и театры, которые хотят её поставить”. Отрывок из неё под названием “Семейная сцена” был опубликован в ангарской городской газете “Знамя коммунизма” 20 декабря. Что касается комедии “Предместье” (“Старший сын”), то её текст Вампилов подготовил в те же месяцы и напечатал во втором номере альманаха “Ангара” за 1968 год.

Но могло ли удовлетворить драматурга отношение театрального начальства к его пьесам? Комедия “Прощание в июне” московские и ленинградские театры не заинтересовала.

Лишь один столичный театр — имени Станиславского — уже в конце жизни автора начал репетировать эту пьесу и показал премьерные спектакли летом 1972 года на выезде — во время гастролей в Красноярске.

Неутомимая Елена Якушкина, завлит Московского театра им. М. Ермоловой, опекавшая Сашу, просила многих столичных режиссёров прочесть пьесу, но всякий раз они не хотели снизойти до провинциального автора. Даже в родном театре Елене Леонидовне не удалось “пробить” произведение своего “любимого автора”, как она называла Вампилова. Ещё в начале 1966 года она сообщила Александру, что главный режиссёр В. Комиссаржевский “прочитал “Прощание”, но считает, что пьеса не для нашего театра. Я лично говорила с Эфросом<sup>1</sup>, и он мне обещал прочитать эту пьесу”. Но, как выяснилось позже, так и не прочитал.

<sup>1</sup> Эфрос А. тогда был главным режиссёром Московского театра им. Ленинского комсомола.

С двумя последними к тому времени пьесами хлопоты автора только начинались. Строки из письма Вампилова Ольге Михайловне (конец 1967 года): “За “Предместье” тоже собираются заплатить, но нужно письмо из театра – тоже надо куда-то ехать... хотя бы на один день”, – оказались слишком оптимистичными. Чтобы получить гонорар в пресловутом ВУАПе, нужно было добиться разрешения цензуры, распечатки текста на множительном аппарате и отправки его в театры страны и, наконец, подтверждения, что какая-то труппа осуществила постановку пьесы. Всего этого автор долго не мог дожидаться. А за появление на сцене “Утиной охоты” Вампилову вообще предстояла изнурительная борьба до конца жизни.

Помня тёплые беседы с А. Твардовским в Красной Пахре зимой 1965 года, чтение ему отрывка из пьесы “Прощание в июне”, драматург в один из приездов в Москву занёс “Утиную охоту” в редакцию журнала “Новый мир”. После долгого ожидания автор получил письмо члена редколлегии журнала, известного публициста Е. Дороша, с которым, кстати, он завязал во время учёбы в столице доброе знакомство.

“Дорогой Саша! Меня не было в Москве, потому отвечаю Вам с таким опозданием. Лакшин пьесу прочитал, он того же мнения о ней, что и мы с Берзер, однако если мы считаем, что её следует печатать, то он стоит на том, что “Новый мир” – де пьес не печатает. Впрочем, пьесу он мне не вернул, но отдал её другому заместителю – Кондратовичу, этот, конечно, будет читать долго, вернее, держать её у себя, поскольку это пьеса, то есть нечто, нашему журналу чуждое. Правда, я буду его поторапливать. Надежд у меня совсем мало, была бы это проза, я бы дал Твардовскому, а пьесу, боюсь, он не одобрит. Впрочем, подожду, что скажет Кондратович. Если у Вас возьмут “Сибирские огни” и Вам нужен будет мой отзыв, напишите, я сразу вышлю...”

Вампилов не предпринял ничего, и драма не была опубликована в прославленном журнале...

\* \* \*

Неизменной оставалась только работа. Александр снова в Москве, и в письме, строки из которого приведены выше, он добавляет: “Театр Станиславского требует вторую одноактную<sup>1</sup>, боюсь, что написать мне её придётся здесь полностью, уже работаю. Вероятно (всё зависит от денег), уеду в Переделкино недели на две.

Оля, если я задержусь, то это очень нормально, сама понимаешь: всё это моя работа и наши с тобой средства на существование. Так что не хнычь, нечего было выходить замуж за драматурга”.

Осенью 1967 года в стране отмечается очередной юбилей Октябрьской революции. Столичные театры дают пример провинциальным – какими премьерами нужно отметить “священную дату”. Широко идут спектакли по пьесам А. Корнейчука, М. Шатрова, А. Афиногенова, И. Штока, В. Тура, А. Софронова, И. Дворецкого. Для зрителя, предпочитающего “что-нибудь о любви”, за первое полугодие в 83 театрах сыграна 3713 раз инсценировка по роману А. Калинина “Цыган”. Для этой публики сохраняются в репертуарах и “Таня” А. Арбузова, и “Традиционный сбор” В. Розова, и новинки авторов помоложе: “104 страницы про любовь” Э. Радзинского, “Свадьба на всю Европу” А. Арканова и Г. Горина. Отдана щедрая дань популярной тогда теме бесстрашных разведчиков – на втором месте после “Цыгана” по числу постановок идёт инсценировка по роману В. Кожевникова “Щит и меч”. Даже детектив на сценах театров держится уверенно: спектакли “Тяжкое обвинение” Л. Шейнина и “Судебная хроника” Я. Волчека прошли за полгода более тысячи раз в шести десятках театров<sup>2</sup>. До “Старшего” ли “сына” тут и, тем более, до “Утиной” ли “охоты”?

Наиболее точно неприятие вампиловской драматургии в первые годы его творчества объяснил Олег Ефремов, главный режиссёр Московского театра

<sup>1</sup> Речь идёт об одноактной комедии “История с метранпажем”, которую впоследствии А. Вампилов соединил с пьесой “Двадцать минут с ангелом” и назвал оба произведения “Провинциальные анекдоты”.

<sup>2</sup> Сведения взяты из журнала “Театр”, №2, 1968.

“Современник”, а позже — МХАТа. Сам он читал пьесы, которые ему давал Александр, и хвалил их, но добиться разрешения на постановку какой-то из них при жизни автора не смог или не захотел. В порыве самообвинения Ефремов писал после гибели драматурга:

“... очень распространено мнение, что пьесам Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивые чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно устроенные наши собственные мозги, наше, художников театра, сознание того, что все истины уже известны.

Стандартность театрального мышления сильнее всего сказалась в истории с “Утиной охотой”. Наши отношения с лучшей пьесой Вампилова — поучительный урок. Когда пьеса была напечатана, возникло долгое молчание. У критиков не нашлось ни одного слова, чтобы объяснить природу появления такого персонажа, как Зилов. Тогда на сцену пришёл Чешков<sup>1</sup>, и все охотно и вполне справедливо занялись дискуссией о характере “делового человека”. Станный и “безнравственный” герой “Утиной охоты”, предложенный обществу для осмысления, даже не был принят в расчёт. Его, Зилова, психологический опыт казался какой-то чудовищной аномалией. Потом, когда стала нарастать посмертная слава Вампилова, начались сложные и пространные объяснения и разъяснения “загадки Зилова” и “тайны Вампилова”. Нет, я совсем не пропив сложной толкований и разгадок...

Но когда всё дело стали сводить к “загадке” и “тайне”, которую писатель унёс с собой в воды Байкала, когда стали многозначительно поджимать губы и обращать очи долу, становилось как-то не по себе. Флёр загадочности стал скрывать конкретный и, по-моему, классически ясный социальный и нравственный смысл вампиловского “предложения”, с которым он явился в “Утиной охоте”. Это предложение совсем не сводилось к обличению и осмеянию Зилова, в котором каждый непредубеждённый читатель и зритель чувствует мощную авторскую симпатию и сострадание. На условиях обличительной сатиры мы, пожалуй, мы могли бы примириться с этой трудной пьесой и её героем, и такой выход нам не раз предлагали. Суть же дела, мне кажется, заключалась в том, что Вампилов писал своего героя без всяких иронических кавычек, в том самом высококом значении понятия “герой”, которое вкладывали в него большие русские писатели. Когда-то Лермонтов, предвосхищая некоторые читательские эмоции, разъяснял название романа “Герой нашего времени”. Он писал о том, что людей долго кормили сладостями, что от этих сладостей у них может испортиться желудок. “Нужны горькие лекарства, нужны горькие истины”.

Зилов и есть такое “горькое лекарство”, которое, как выяснилось, нужно и нам, людям совершенно иного времени. Нужно для того, чтобы нравственно очиститься, содрогнуться от зрелища духовного опустошения человека, очень на нас похожего, совсем не изверга и не подонка”.

Это, пожалуй, типичное признание, своего рода покаяние.

Дине Шварц, завлиту Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького, молодой драматург из Сибири сначала тоже “не показался”.

“Помню первую встречу: Саша пришёл в театр на Фонтанке, пришёл просто так, на огонёк, без звонка. Пьесы у него не было. Первая многоактная пьеса — “Прощание в июне” — была напечатана... Мы говорили о том, что эта пьеса не подходит Большому драматическому театру. Разговор был бы ничем не примечательным, если бы не одно обстоятельство: сам автор приводил наиболее убедительные аргументы против постановки этой пьесы в БДТ. Должна признаться, что в то время я не понимала всей масштабности личности Александра Вампилова. Однако, при всём моём прохладном отношении к “Прощанию в июне”, я всё-таки понимала, что ко мне пришёл драматург, человек, понимающий, что такое театр, умеющий писать диалоги и не боящийся остроты жизни. Он обещал прислать в театр свою будущую пьесу, если найдёт её подходящей для БДТ. Но следующую пьесу Вампилова мне довелось увидеть уже на сцене — в Театре драмы и комедии на Литейном. Это была комедия “Старший сын”, или, как она прежде называлась, “Предместье”... Лично меня пьеса поразила своей пронзительной искренностью, душевной открытостью, высоким мастерством построения сюжета. В этой пьесе уже на личностно-таинственной, волнующая неповторимость человеческих отношений,

<sup>1</sup> Герой пьесы И. Дворецкого “Человек со стороны”.

огромный нравственный потенциал. “Маленький человек” с его наивностью, чистотой, с его духовностью приближал эту пьесу к тенденциям великой русской литературы. После “Старшего сына” и первая его пьеса – “Прощание в июне” – вдруг осветилась для меня новым светом, всё лучшее в ней стало осязаемо, важно, герой стал значительным, а недостатки пьесы – несущественными. Произошло чудо открытия большого драматурга – случай, не так уж частый в нашей практике”.

Можно только удивляться своего рода “затмению”, постигнутому причастных к театрам деятелей. Неудобно множить примеры, но читатель должен иметь более полное представление о том, в какую стену непонимания стучался Александр Вампилов. Следующее свидетельство принадлежит Иллирии Граковой, редактору издательства “Искусство”:

“... когда мы впервые с ним встретились в конце шестидесятых годов, помню, я была несколько удивлена его обыкновенностью, что ли. Глубина, яркость и своеобразие этого человека открывались собеседнику не сразу. Разговор тогда, как водится, коснулся литературы, театра... Было даже странно: он знал, что я работаю в издательстве “Искусство”, занимаюсь драматургией, и, казалось бы, вполне естественно для молодого автора воспользоваться таким удобным случаем, чтобы поговорить о своих пьесах. Но Саня не просил меня прочитать их. Наоборот, когда позже я предложила ему это, он не высказал особого желания. Лишь спустя какое-то время он принёс мне “Утиную охоту” и “Двадцать минут с ангелом”. По правде говоря, меня не привела в восторг перспектива начинать в издательстве разговор о знакомстве с творчеством Вампилова именно с этих пьес.

– Может, у тебя есть ещё что-то? – спрашивала я.

– Да нет, разве что “Прощание в июне”, но она уже была напечатана в журнале “Театр”.

Возможно, на том и закончился бы этот этап наших переговоров, если бы мне случайно не попал в руки альманах “Ангара” с опубликованным в нём “Предместьем”.

– Вот с этой пьесы и можно начинать о тебе разговор, – сказала я Сане.

– Нет, там многое надо менять, – ответил он. – Я сейчас переделываю пьесу, скоро пришлю тебе новый вариант...”

Авторов приведённых воспоминаний можно понять: в театрах и издательствах уже сложились критерии отбора произведений для показа на сцене и публикации. И не заведующим литературной частью театров, не редакторам издательства эти критерии было менять.

А чиновники от культуры – как они вели себя по отношению к авторам? Судьба Александра Вампилова показывает: надсмотрщики над искусством вели себя беспардонно. Манера судить о любом произведении безапелляционно, как будто они непререкаемые авторитеты в искусстве, была присуща клеркам всех “культурных ведомств” – от городского и областного до всесоюзного. Над ними, как и над цензурой, была одна царица – идеология. Горчайшие письма Александра Вампилова разным адресатам, как правило, были вызваны запретами, которые диктовала именно она. А так как её требования блюли все, от кого зависела судьба талантливого человека, то трудно было найти среди чиновников людей объективных, трезво мыслящих. Даже если кто-то из них считался доброжелательным.

Известно письмо А. Вампилова, адресованное Алексею Симухову, драматургу, работнику Министерства культуры СССР, и касающееся комедии “Предместье” (“Старший сын”). Его предысторию Алексей Дмитриевич изложил так.

“... с молодым драматургом, уже заявившим о себе в “Прощании в июне”, Министерством культуры СССР был заключён договор на новую пьесу. Когда же она была написана (это было “Предместье”), дальнейшее её продвижение неожиданно застопорилось. Один из ответственных работников министерства, большой добрый человек... был поражён жестокостью, как он выразился, основной ситуации пьесы. На все мои попытки как-то смягчить его позицию он неизменно отвечал: “Как же Бусыгин говорит, что он сын Сарафанова, когда он на самом деле не его сын?” ... я безуспешно сражался, чем и было вызвано Сашино письмо.

Вот что он написал: “Дорогой Алексей Дмитриевич! Решился побеспокоить вас по случаю, который мне кажется чрезвычайным. После нашей работы, которая длилась почти полгода и почти непрерывно, когда явился, нако-

нец, утверждённый вами конец, я, уверенный, что всё позади, глубоко вздохнул и уехал в Иркутск, чтобы здесь без волнения, в тиши дожидаться этих злополучных, необходимых мне денег”.

Далее Саша пишет, что, позвонив в министерство, он узнал о затруднениях с пьесой. Пытаясь обосновать свою точку зрения, Саша через меня захотел воздействовать на вышеупомянутого товарища. “Ему кажется сомнительной завязка пьесы – то, что Бусыгин выдаёт себя за сына Сарафанова. . . Кажется, этот поступок представляется ему жестоким. Почему? Ведь, во-первых, в самом начале (когда ему кажется, что Сарафанов отправился прелюбодействовать) он (Бусыгин) и не думает о встрече с ним, он уклоняется от этой встречи, а, встретившись, не обманывает Сарафанова просто так, из злого хулиганства, а скорее, поступает как моралист в некотором роде. Почему бы этому (отцу) слегка не пострадать за того (отца Бусыгина)? Во-вторых, обману Сарафанова, он всё время тяготится этим обманом, и не только потому, что – Нина, но и перед Сарафановым у него прямо-таки угрызения совести. Впоследствии, когда положение мнимого сына сменяется положением любимого брата – центральной ситуацией пьесы, обман Бусыгина поворачивается против него, он приобретает смысл и, на мой взгляд, выглядит совсем уже безобидным, где же во всём этом жестокость? Алексей Дмитриевич! Вы нянчили обе пьесы, вы всегда были ко мне добры. Заступитесь!”

Я пытался, сколько мог, воздействовать на своего строгого коллегу, но ни его, ни другого начальника, ведавшего театрами, мне не дано было убедить. Как мне говорили, окончательно дело погубила моя неосторожная фраза о тонкости вампиловской драматургии, которая доступна не каждому, – что делать, ошибся. . .”

Ну, этот запрет высказан ещё без озлобления. А ведь были начальствующие чиновники, которых иначе как погромщиками не назовёшь. Разве иначе выглядели участники обсуждения, который состоялся в Управлении культуры при Мосгорисполкоме после просьбы театра имени М. Ермоловой разрешить постановку того же “Старшего сына”? О нём с болью рассказала в датированном 1969 годом письме драматурга Е. Якушкиной:

“Вчера, 19 февраля, состоялось обсуждение твоей пьесы в Управлении культуры. Этому предшествовали мои ежедневные хождения туда и разговоры, иначе они читали бы ещё три месяца. Ещё до обсуждения было ясно, что они (после “Провинциальных анекдотов”) весьма критически настроены в твой адрес. “Вампилов, – сказал Сапетов<sup>1</sup>, когда я сдавала пьесу, – значит, 3-й анекдот написал?” И это стало “крылатым” определением.

Обсуждение было бурным. Тройка: Сапетов, Мирингоф. . . а главное. . . – Закшевер просто разъярились, как будто бы ты их всех лично когда-то оскорбил. Конечно, Закшевер и другие всё повторяли, что “он талантливый, способный” и т. д., но. . . “семья Сарафановых неблагополучная, отец – слабый человек, углубить!”, “Нина – грубая, не любит отца”, “Дети покидают отца”, “Взят человек, совершающий подлость, и из него делается положительный герой!”

Закшевер о Бусыгине: “Аристотель сказал, что комедия может смешить, но должна высмеивать. Что высмеивает эта комедия?” Закшевер: “Наташа Макарская – весьма лёгких нравов”. “Язык – это орудие драматурга – засорён блатными словечками” (Мирингоф); и т. д., и т. д. до бесконечности.

Главное – единодушное возмущение вызвал образ Михаила Кудимова. “Компрометируется самое святое – образ советского солдата. Он выписан дураком, бурбоном, дубом и т. д.”.

Мы (Белозёров, Комиссаржевский, Косюков<sup>2</sup> и я) стояли стеной. Был большой крик!

Главное, довели даже Валентина Ивановича<sup>3</sup>, который кричал: “Значит, театр приходит со своим мнением и решением, а должен уходить с вашим!” Сапетов орал: “Если так будешь руководить, то положишь на стол партийный

<sup>1</sup> Сапетов Н. К. и названные ниже Мирингоф М. М., Закшевер И. Б. – работники Управления культуры при Мосгорисполкоме.

<sup>2</sup> Белозёров В. И. – директор, Комиссаржевский В. Г. – главный режиссёр, Косюков Г. А. – режиссёр Театра им. М. Ермоловой.

<sup>3</sup> Белозёрова.



билет!” Это при всех, потом, как рассказывал Валентин Иванович, он перед ним извинился. Но “Валюнька” очень разъярился и орал, что и у него билет с 1942 года и он знает лучше Сапетова, что можно ставить и что нельзя.

Резюме “обсуждения”: “Доработать пьесу с автором, т<ак> к<ак> мы тоже хотим, чтобы его имя достойно появилось на московской афише!” Значит, мы не имеем права приступить сейчас к репетициям. Надо подумать, как выходить из положения. Афанасьев<sup>1</sup> подвёл.

Потерял первый экземпляр, который ты давал: “Кто-то украл со стола”. На коллегии<sup>2</sup> не обсуждал... Уехал в Ленинград, а затем в Ялту руководить семинаром до 1 марта. Нина Ивановна Кропотова<sup>3</sup> говорит, что она не читала. Обыскались второго экземпляра, тоже пока не нашли. Будем ждать Афанасьева!

Симукову пьеса понравилась. Он “хочет” проводить её через коллегию<sup>4</sup> в Лит<sup>5</sup>, но явно опасается входить в конфликт с Главным управлением театров Москвы (теперь оно – главное).

Мы решили (обсуждали два дня) пьесу ставить, но надо что-то придумать, чтобы сдать им “второй вариант с поправками”. Я написала тебе официальное письмо, как полагается. Ты ясно понимаешь, что театр на этот раз стоит на смерти и будет стоять. Но Комиссаржевский говорит, что: 1) надо пойти к Закшеверу и записать суммированные конкретные замечания (кстати, удачно сказал: “Узнайте, может ли Кудимов быть пожарником или тоже нет? Какой он должен быть профессии?”); 2) всё это мы должны обдумать и послать тебе наши предложения, как спасти пьесу, и дать им новый вариант.

Ты не волнуйся, хотя всё это страшно утомительно... Вот 5 марта Валентин Иванович вернётся с гастролей из Архангельска, и мы с ним снова пойдём по второму кругу. Он это вчера мне подтвердил перед отъездом. Я же буквально “харкаю кровью” весь этот месяц, “бегая по инстанциям”, и еду в Рузу на 10 дней до 6 марта. Иначе у меня снова будет криз. Уже есть симптомы.

Очень прошу тебя сохранить хладнокровие!

Мы (это не только я говорю, но и Валентин Иванович, и Комиссаржевский) пьесу пробьём, но надо дать им немножко отдохнуть перед “вторым вариантом”...

Не огорчайся, хотя я вся в валидоле, но верю в будущее (старая дура)...

**P.S.** Есть ещё много возможностей, если сдрейфит и Симуков. Пойду к Анурову...<sup>6</sup> Розову я уже рассказала, но... его собственную пьесу до сих пор не разрешают... Комментарии излишни”.

Какие чувства мог испытывать Вампилов, читая это письмо? Ощущение маразма по поводу того, что ему надо узнать у очередного театрального надсмотрщика, какой профессии должен быть герой пьесы Кудимов? Какое социальное зло или какого носителя этого зла автор обязан (“по Аристотелю”) высмеивать в комедии “Старший сын”? О языке произведения: может быть, Вампилову следовало поучиться у чиновного критика, каким языком писать свои пьесы?

Можно только удивляться, с каким терпением драматург в очередной раз укротил своё возмущение. Его ответное письмо Е. Якушкиной, как всегда, отличается достоинством, взвешенностью и доказательностью. А в кое-каких местах даже и юмором.

Видимо, к этому времени Александр получил от Елены Леонидовны послание с “конкретными замечаниями” Управления. В ответе Вампилова иные суждения совпадают с теми, что высказаны А. Симукову, поэтому, не повторяя их, приведём другие строки:

“Система случайностей, на которых строится сюжет, нарочита”. Где система и где нарочитость? Случайность всего одна: появление Сарафанова во дворе как раз в то время, когда там находятся Бусыгин и Сильва. Больше случайностей в пьесе нет, все последующие события оправданы и закономер-

<sup>1</sup> Афанасьев Р. М. — главный редактор Министерства культуры РСФСР.

<sup>2</sup> То есть на коллегии Министерства культуры РСФСР.

<sup>3</sup> Кропотова Н. И. — работник Министерства культуры РСФСР.

<sup>4</sup> Через коллегию Министерства культуры СССР, где работал А. Симуков.

<sup>5</sup> В цензуру.

<sup>6</sup> Ануров В. С. — работник Управления культуры при Мосгорисполкоме.

ны. Во всяком случае, куда более закономерны, чем если бы, допустим, в один прекрасный день с какого-нибудь карниза отвалился бы кирпич как раз в то время, когда внизу проходил бы Закшевер, и этот большой кирпич угодил бы по его умной голове.

Кудимов, я надеюсь, вовсе не так “ограничен” и “туп”, как это представляется утончённым критикам из Управления. У Кудимова, прежде всего, другой, чем у Сарафанова, взгляд на жизнь – деловой, трезвый, определённый. Не понимаю, как этими свойствами можно скомпрометировать солдата. По-своему Кудимов прав и несомненно правдив. Ну да, он недостаточно чуток, но спросите вы их, пожалуйста, могут ли в современной пьесе действовать разные характеры или все они должны быть одинаковы? Как там по Аристотелю?

“Сарафанов – фигура жалкая, семья его – чёрствая и неблагодарная”. Возможно. Но, во-первых, в жизни такие фигуры и такие семьи имеют ещё место, а во-вторых, давно ли запрещено у нас писать о том, как чёрствые, неблагодарные дети становятся детьми приличными и благодарными? И что зазорного в том, что в слабохарактерном человеке автор старается найти и подчеркнуть добрые качества? После перечисленных претензий чрезвычайно странным выглядит то обстоятельство, что рациональным зерном в Управлении признана “метаморфоза” героя, его попытка принять участие в делах семьи, его активное стремление к доброте. Этим суждением начисто перечёркивается предшествующая ему критика. В самом деле, разве была бы возможна “метаморфоза героя”, если бы поступок его в начале пьесы был бы благородным, как того требует первое замечание товарищей из Управления? И надо ли принимать “участие в делах семьи”, где всё благополучно и вовсе нет ни “чёрствости”, ни “неблагодарности”? Таким образом, Вы имеете все основания сообщить Закшеверу и К<sup>о</sup>, что на этот раз автор поставлен в тупик неразрешимыми противоречиями суждений и требований Управления. . .

Скверно. Если так обстоит с этой пьесой, что же тогда “Анекдоты” и “Охота”? Анохин<sup>1</sup> голоса не подаёт, видать, смирился. Здесь, в Иркутске, у меня вылетела из плана книжка, в “Театре” без Лита пьесу не печатают, из ВУАПа пошли сущие копейки. “Расцвет упадка”. К тому же на улице ни зима, ни весна – чёрт знает что, погода каждый день меняется. Мать болеет. Сажу дома, вожусь с дитём, обрастаю серым мхом добродетели. Немного сочиняю Гончарову<sup>2</sup>, но настроение нерабочее.

То, что театр от меня не отступается и полон, как Вы пишете, решимости, – в этом сейчас единственная надежда. Не выйдет пьеса сейчас – не выйдет долго, а в этом случае в ближайшее время меня ожидает служба, контора и никаких сочинений.

Теперь, я думаю, театру надо пробовать Афанасьева, вероятно, его надо было ждать, а отдавать пьесу в Управление было, получается, ошибкой.

Елена Леонидовна! Если появится свободная минутка, распорядитесь, пожалуйста, “Анекдотами”. Покажите их в “Сатире...” или в “Современнике”. Если возможно, то лучше там и там – поочерёдно. . .

Иногда думаю: не будь Вас в Москве, я был бы там круглый сирота. . .

Что Гена Косюков? Как он настроен? Передайте ему большой привет. Комиссаржевскому засвидетельствуйте почтение. Владимиру Ивановичу – тоже. Гончарову при случае передайте, что подотчётный ему автор сильно замордован, но вовсе ещё не пал духом и гнёт потихоньку свою линию. К новому сезону пьесу ему представлю. Называться она будет “Валентина”... Ваш Вампилов”.

Неутомимая Елена Леонидовна продолжала действовать. Она сразу ответила Вампилову: “Читала выдержки (из письма) Валентину и Комиссаржевскому. Андрею Александровичу<sup>3</sup> по телефону читала, что относится к нему. Он ждёт пьесу. Очень волнуется, что так получилось с “Анекдотами” и “Сыном”. Считает, что выходить надо с большой пьесой через паузу.

Мы с Валентином Ивановичем обдумываем сейчас план нового “захода” на Управление”.

<sup>1</sup> Львов-Анохин Б. А. – театральный режиссёр, служил в театре им. К. С. Станиславского.

<sup>2</sup> Гончаров А. А. – главный режиссёр Театра им. Маяковского.

<sup>3</sup> Гончарову.

Но время проходило, а глухая стена вокруг пьес драматурга не исчезала. В мае 1969 года Александр изливает Якушкиной свою горечь: “Письма Вашего нет, значит, ничего нового, хорошего нет. Написали бы о плохом. Всё-таки. А то — ничего. Похоже на похороны. Знаю, Вам недосуг, но всё же, всё же...

Мне прислал письмо Пермский ТЮЗ, просят пьесу. Будьте так добры, отправьте им один экземпляр...

Если “Старший сын” не пойдёт сейчас хоть где-нибудь, хоть в Перми, хоть у чёрта на куличках, мне придётся в ближайшее время и самым решительным образом отказаться от сочинения пьес. Я не жалею, я остервенел и просто-напросто брошу всё это к чёртовой матери! Вы только подумайте: хотел я 75 процентов за “Сына” получить через Иркутский театр, читал им пьесу, они слушали, единогласно приняли, распределили роли — и вот же! Всё стоит на месте, актёры выживают из театра главного режиссёра... и моя пьеса становится жертвой этих интриг. Это вот на что похоже: шайка головорезов (актёры) с матёрым рецидивистом, с вором в законе (режиссёром) во главе проигрывают в карты несчастного прохожего (автора). А дальше? Если автор случайно останется жив, за углом его ждёт местный Закшевер (и тут есть управление — честь по чести). А дальше ещё и ещё. Скажите, ради Бога, при чём здесь искусство, какая работа?..

А специалисты (я говорю о Вашем дорогом и любимом режиссёре) тем временем разгуливают в белых перчатках и ждут пьес, в которых будут обнаружены их собственные добродетели.

Да ладно, ладно. Никто не заставляет меня писать пьесы, и, слава Богу, не поздно ещё на это дело плюнуть. Есть у меня такая возможность.

Елена Леонидовна! Я прошу Вас, напишите мне насчёт Вашего театра точно и ясно, чтоб я не надеялся, — шутки шутками, но надо ведь как-то жить дальше... Так напишите же мне! И не забудьте про Пермь!”

Последующие весточки от Елены Леонидовны во многом объясняют весь драматизм вампиловской судьбы, похожей на ежедневный путь сквозь тернии. В письмах Якушкиной указано немало фамилий, и мы сохраняем их не для того, конечно, чтобы обвинять задним числом названных людей, а для того, чтобы в каждом свидетельстве сохранялась неукоснительная правда.

“Дорогой Саша! Сегодня получила твоё письмо. Очень, очень огорчилась. Да, ты прав. Я не писала тебе... потому что не могу тебя порадовать хорошими новостями...”

Я свой Ермоловский театр... отнюдь не защищаю, но мы действительно связаны по рукам и ногам тем, что Закшевер произвёл такой шум вокруг “Сына”. Я не теряю надежды, но ведь это дело далёкого будущего, т<ак> к<ак> не забывай о 100-летию со всей тематикой и направлением репертуарной политики 1970 года<sup>1</sup>. Я лично считаю, что “Старший сын” мог бы быть поставлен в 1970 году как пьеса добрая и человечная. Но я ведь только завлит, а не главный редактор Министерства культуры, и моё мнение остаётся моим личным мнением.

Я говорила сегодня с Дубровским<sup>2</sup> и с Гончаровым о тебе. Оба они ждут твоей пьесы, и... всё. Что они ещё могут сделать?

Говорила с Александром Петровичем Левинским, директором (театра) Сатиры, об “Анекдотах”, договорились, что он прочтёт. Но я думаю, что даже если им понравится, то они не поставят их скоро. Дай Бог, чтобы я ошиблась, но боюсь, что время для всех одно...

Сегодня и завтра уезжает мой театр на гастроли в Киев. Значит, я освобождаюсь... от mnogой суеты. Тогда я схожу к Анурову с твоей пьесой (“Старший сын”) и вообще с ним посоветуюсь о тебе. Только что вернулся из Парижа Розов, я хочу с ним тоже поговорить о тебе...

... Я понимаю твоё состояние, Саша! Я знаю, что легко давать советы и что “чужую беду”... и т. д., но я думаю, вернее — верю, что надо сцепить зубы и ещё потерпеть, обождать... Иначе просто невозможно жить. Ты очень талантливый драматург, родился драматургом и должен быть реализован, и будешь, конечно, реализован. Весь вопрос — когда?

<sup>1</sup> В апреле 1970 года исполнилось 100 лет со дня рождения В. И. Ленина.

<sup>2</sup> Дубровский В. Я. — заведующий литературной частью Театра им. Маяковского.

Может быть, без “станции Ук”<sup>1</sup> ты можешь взять работу в журнале или даже газете, чтобы переждать это тяжёлое время”.

В одном из последующих писем Е. Якушкина откровенно рассказывает, какие результаты приносило её стремление обратить внимание уважаемых деятелей театра на пьесы Вампилова.

“Я звонила много-много раз Табакову<sup>2</sup> и Любимову, но, по-видимому, Табаков неуловим, а Любимов не может снизойти до личного разговора с “завлитом” одного из московских театров. Целую неделю (!) ежедневно днём и вечером мне отвечали, что он занят, вышел и т. д. Моя энергия тебе известна, но его недоступность даже я не могла сломить. Тогда мне пришлось спуститься на ступеньку ниже и беседовать с завлитами:

1) Котова<sup>3</sup> сказала, что пьесу она получила и тебе ответила. Табаков репетирует “Старшего сына” вне плана ежедневно (?!), даже когда у них был отпуск, он уехал в Рузу со всей командой и там ежедневно (?!) репетировал... Когда выпуск — она не знает...

По-моему, она больше занята делами Ефремова, которому часто звонит, и говорит, что он будет ставить тебя в этом году обязательно, что именно — я не могу понять.

2) Элла Левина<sup>4</sup> чрезвычайно смущена недоступностью своего главного режиссёра, т. к. я и к ней обращалась с просьбой соединить меня с ним. Один раз она собралась это сделать, но потом начала шептать в трубку, что он очень сердитый и в данный момент соединить меня с ним она не может... Так вот, Элла уверяет (в личной беседе в прошлую среду), что он хочет, хочет, хочет ставить “Утиную охоту” и будет её ставить обязательно в этом году. Да, он до сих пор не получил “Ангара”<sup>5</sup>. Ты ведь ему тоже послал, в чем я её заверяла. Позавчера мне звонила завлитша из Ленинграда. Кажется, из Ленкома, просила выслать им “Валентину”. Я сказала, что у меня нет. Дала ей твой иркутский адрес и т. д. Как будто ты стал самым модным драматургом Москвы, хотя ещё непоставленным. Из-за тебя, как некогда из-за прекрасной Елены, спорят все театры Москвы, но, кажется, Парисом будет Искремас, т. е. Лёлик Табаков. Андреев то требует “Прощание в июне”, то хочет получить “Валентину”. Я объяснила ему, что “Прощание” ты в Москву не дашь, а “Валентину” ещё не кончил. Кстати, я думаю, что “Валентину” надо ему показать”.

В некоторых воспоминаниях мы можем прочесть не просто о прохладном отношении иных театральных деятелей к Вампилову, а о неприличном приёме его в стенах своих “храмов искусства”. Совершенно удивительный (и анекдотический) случай рассказал в своих мемуарах режиссёр Роман Виктюк. Человек одного поколения с драматургом, он дружески общался с Вампиловым, близко к сердцу принимал его “хождения по мукам”.

“Мы с Сашей познакомились в Калинин<sup>6</sup>... Мы подружились, и вот однажды, по наивности, поехали в Москву, чтобы предложить столичным театрам пьесу “Свидания в предместье”. Мы обошли театров пятнадцать, от нас шарахались, как от прокажённых. Все говорили, что это пошлость, и уже от отчаяния мы пришли в Театр имени Гоголя, который тогда больше походил на вокзал. Главным режиссёром там был Голубовский. Он заставил нас прождать два часа, потом, не поздоровавшись, не выслушав, схватил пьесу и пробурчал что-то вроде: “Приходите через месяц”.

Приходим. Опять часа два ждём, причём Саша за моей спиной прячется. Приходит Голубовский и опять без “здрасьте” кидает в меня “газетку”, а “лиздочки” с пьесой из неё так и посыпались.

И вот эта мизансцена: мы с Сашей ползаем на карачках, собираем листочки, а над нами стоит главный режиссёр театра и говорит, чтобы мы ему такие

<sup>1</sup> В тяжкие минуты своей творческой жизни Вампилов говорил, что ему придётся уехать на станцию Ук (населённый пункт в Иркутской области) учительствовать.

<sup>2</sup> Табаков О. П. после перехода Ефремова О. Н. во МХАТ занял его должность главного режиссёра театра “Современник”.

<sup>3</sup> Котова Е. И. — заведующая литературной частью театра “Современник”.

<sup>4</sup> Левина Э. П. — заведующая литературной частью Театра драмы и комедии на Таганке.

<sup>5</sup> В альманахе “Ангара” была напечатана пьеса Вампилова “Утиная охота”.

<sup>6</sup> Вероятно, во время постановки в этом городе пьесы Вампилова “Прощание в июне”.

мерзости не смели приносить, что он, вообще, театр нравственный строит...

Кстати, недавно я попал в один дом — оказалось, Голубовского, — я не знал. И вот он заявляет:

— Роман, как я рад, как давно хотел с вами познакомиться.

— А мы знакомы, — говорю я и рассказываю, как мы с Вампиловым приходили к нему.

— Ну, Роман, вы шутник, выдумщик. Да если бы вы пришли, я бы дал вам всё — лучших актёров, все условия...

Ну, а тогда вышли мы от этого режиссёра, как оплёванные... Брели мы, и Саша вдруг заговорил о замысле “Утиной охоты”. У меня не хватило ума тогда же всё это записать, помню только, что финал был другой, с убийством. Потом я дважды пытался поставить пьесу так, как слышал тогда от Саши, но, думаю, значительную часть вампиловских шифров, заложенных в тексте, я пропустил. Многие ведь было на уровне полутонов, намёка. Цензура страшно уродовала его пьесы...

Мы не были с ним диссидентами, об этом даже смешно говорить, но чувство несчастья ощущалось нами вполне... Мы мучились от незнания, где и как искать выход...

В Вампилове всегда чувствовали чужака, а он был человек нежный, не умел защищаться...”

\* \* \*

Письма Саши из Москвы, адресованные жене и датированные временем, начиная со второй половины 1967 года и кончая первой половиной 1970-го, перестают строками: “Определённого пока нет”, “Денег нет”. Неудивительно, что иркутский прозаик Дмитрий Сергеев в воспоминаниях, относящихся к той поре, увидел Вампилова в столичном скверике сумрачным и подавленным. Оба писателя направились в Министерство культуры, где должна была обсуждаться пьеса “Старший сын”. Пусть читателя не удивляет обилие этих обсуждений: их могли проводить и Управление культуры при Мосгорисполкоме, и художественные советы союзного и российского министерств. Результатов разговора в последнем из названных ведомств Вампилов и Сергеев, оказавшийся его “болельщиком”, и хотели дожидаться.

“Мы устроились на подоконнике в торце длинного коридора, — припомнил Д. Сергеев. — Массивная величественная дверь, за которой заседал худсовет, была неподалёку, но ни единого звука из-за неё к нам не долетало. Сания нервничал. Наконец, двери распахнулись, члены худсовета вышли на перекур. Кое-кто из них знал Вампилова, к нему подходили, здоровались. Дольше других возле Сани задержался невзрачный человек с неаккуратным пухлым портфелем. Кто он был, не помню, хотя Сания называл его.

Мы полусидели на подоконнике, человек с портфелем встал напротив Сани и начал увлечённо пересказывать то, что говорилось за массивной дверью по поводу “Старшего сына”. Излагал обстоятельно, с подробностями, иногда апеллируя к Вампилову:

— Ну, ты догадываешься.

Или:

— Сам понимаешь. А что они ещё могли сказать?

А говорилось о пьесе примерно так: “Автор изображает задворки, провинциальный быт, его герои нетипичны для нашего времени. Кто они? Чем занимаются? Ничем. Разыгрывают фарс. Современному зрителю нужен не такой герой, современный зритель жаждет...”

— Представляешь, — усмехнулся Санин знакомый, — они знают и это: чего жаждет современный зритель! — Он не выпускал из рук своего делового портфеля: то держал его перед собой, то прятал за спину.

Добровольный осведомитель говорил, как бы смакуя наиболее едкие и обидные замечания.

Вдруг он отвёл глаза в сторону. Я взглянул на Саню: он неотрывно смотрел в лицо собеседника. Тот засуетился, объявил, что пора идти — перерыв кончается. Сания заметил моё недоумение.

— Всё, что он пересказывал сейчас, на худсовете говорили не только другие, но и он сам, — объяснил Сания. — Всё ясно, делать здесь больше нечего.

Ждать окончания совета не стали. Дурное предчувствие не обмануло Саю: пьеса не прошла.

– На восьмом барьере застряла, – подытожил он”.

\* \* \*

Вот и рассуждай после этого о пьесе Уильямса Теннесси “Трамвай “Желание”, восхищайся фильмом Федерико Феллини “Восемь с половиной”. Вот и беседуй с друзьями о Гоголе, Достоевском, Чехове, обсуждай с ними написанное, пользуясь своим аршином – тем, с которым ты подходишь к любому сочинению классиков. В этих разговорах – один язык, а в оценках официальных “знатоков” – совсем-совсем другой. Впрочем, Бог с ними, “знатоками”. Запоминались-то мнения людей, понимающих тебя. Например, по-братски общался с Вампиловым молодой молдавский драматург Серафим Сака во время очередного семинара в Ялте. Этот не говорил об “эксцентричности” и “нарочитой условности” вампиловских пьес, а зрил, как говорится, в корень. Через несколько лет после встречи с сибиряком в Ялте он воспроизвёл то впечатление от пьес Александра, что высказывал автору тогда.

“Вампилов создал нечто большее, чем драматургию. Он создал театр, в котором как бы воплотил целую вселенную, извлекая драматургические ситуации из таких источников, где иные и не помышляли их искать. Почти из ничего, из будничного существования. Или из очень многого, именуемого жизнью. Из самых банальных, преходящих и непримечательных событий. Притом ещё провинциальных, разоблачённых или оплаканных почти во всех литературах...

Сопоставление с Гоголем, Чеховым и даже с Достоевским позволяет выявить своеобразие его театральности, с которой он ведёт героя, бесстрашие, с которым даёт нам возможность обсуждать что угодно. “Говорите, говорите!” – словно побуждает драматург. Говорите просто, говорите сложно, не бойтесь быть не понятыми. Вершинные ситуации, в которых персонажи получают полную свободу выбора, еле обозначенные подтекстом действия, ведущие к открытой развязке, наконец, разрастающееся место действия, которое с тесной сценической площадки переносится в живое пространство театра, где сшибаются разнообразные типы... – вот лишь некоторые характерные качества театрального почерка Вампилова.

Даже в скучной комнате захолустной гостиницы драматург умеет разглядеть многообразную, богатую оттенками жизнь. А в ней случается всякое. Как в пьесах Вампилова. Перефразируя старое изречение, я сказал бы, что от жизни до искусства – один шаг. Но лишь талант позволяет его сделать! Вопросая, Вампилов спрашивает и себя, спрашивает нас. Зиллов, например, интересуется, способны ли мы любить, ненавидеть, желать. Не утратили ли мы способность ощущать вкус воды, запахи трав, слушать музыку тишины? Верим ли мы в то, что говорим, или заранее знаем, что нам не поверят, и поэтому болтаем всякое?..

Думается, прав Вампилов, когда порой вышучивает то, о чём великий Чехов, с которым у нашего драматурга, несомненно, есть точки соприкосновения, говорил с задушевностью.

И в то же время, на мой взгляд, Вампилов мог иногда задушевно говорить о том, над чем Гоголь, другой его великий предшественник, смеялся беспощадно и жестоко.

Другие времена, другие нравственно-эстетические критерии. Вампилов был сыном века, он не хотел и не мог уложить многообразие мира в прокрустово ложе. Ему были чужды суждения такого типа: “Если это не белое, значит, чёрное. Если он не крепкий, значит, слабый. Если он не добрый, значит, непременно злой”.

За рамками этих примитивных разделений начинается искусство современности, великое и великодушное, искусство, в котором главное и второстепенное, явное и подспудное, большое и малое, белое и чёрное противопоставляются и взаимодействуют, обогащая озоном художественную атмосферу...

Вампилов не уклонялся от жизни. Он к жизни пришёл. Порой он брал её на руки, иногда вступал с ней в схватку, щедро проявляя талант, благородство, пронизательность...”

Беседы с такими людьми, как автор этих строк, укрепляли Александра Валентиновича в правильности своей творческой стези. Тернии терниями, но ободряющие дружеские слова помогали идти, несмотря на злые шипы.

А ещё оставалась родина. Заповедные места, куда можно отправиться с женой и дочкой, с приятелями, давними и надёжными. Самое любимое место, где можно отойти от столичной обессиливающей толкотни, от сумрачных дум, – это Байкал, его благословенные берега. У истока Ангары, в красивейшей Молчановской пади, по весне покрывающейся цветущим багульником, а летом – роскошным разнотравьем, у многих иркутских писателей были дачи. Семья Вампилова постоянно гостила (да нет, хозяйничала!) во владениях Валентина Распутина, Глеба Пакулова, Владимира Жемчужникова. Своей дачи, к сожалению, Саша так и не успел завести. А что касается рыбалки – то в самые дальние, необжитые таёжные места байкальского побережья сманивал приятелей именно Вампилов.

Вот рассказ В. Жемчужникова об одной такой вылазке.

“В начале лета шестьдесят девятого года одним из первых рейсов теплохода “Комсомолец” отправились мы на северный Байкал. Малый рыбацкий десант составили трое – Саша Вампилов, Гена Машкин и я. Два дня плыли мы по “славному морю”, день шли пешком по глухomanной, мрачноватой тайге. И добрались, наконец, до озера Фролиха – цели нашего пути.

Фролиха – словно дитя батюшки Байкала, великолепная его копия, уменьшенная приблизительно в сотню раз, но сохранившая ту же чистоту и красоту. Драгоценный аквамарин в оправе посеребрённых снегом гольцов Баргузинского хребта... Кто сроду не слыхивал о Фролихе, может вызвать в воображении знаменитую кавказскую Рицу. Только надо представить Рицу, не захваченную туристами и курортниками с их автобусами и прогулочными катерами. И – без единой общепитовской точки!

На берегах Фролихи жили всего-навсего восемь человек – мы да учёные-ихтиологи, лагерь которых стоял неподалёку от нашей палатки. Они там занимались тихими научными делами, почти ничем не напоминая о своём присутствии. Да и мы старались не беречь тишины, что выстаивалась в озёрной котловине не иначе как с ледникового периода.

В нашем распоряжении появился плот, связанный из четырёх сосновых брёвен. На нём-то и пускались мы в ежедневные плавания. Сперва попадались на крючок только окуни, здоровенные колючие “лапти”, мы им не радовались. Не ради банальных окуней совершили бросок за полтыщи вёрст! Мы мечтали о красной рыбе, диковинном даватчане, который водится на Фролихе, в некоторых других озёрах на севере, а на Байкале почти не встречается. Мы долго стегали спиннингами воду в разных местах озера, и всё безуспешно. Лосось-даватчан не давался в руки, пока Геннадий Машкин случайно не открыл простой и верный способ лова...

Каждый день плавали мы на середину Фролихи, к маленькому островку, возле которого лучше всего клевало. Лесистый островок казался необитаемым, однако вскоре мы обнаружили там крякву и травянистое гнездо с яйцами. После первого знакомства больше её не тревожили...

Нисколько не преувеличу, если замечу, что Саня был самым упорным среди нас рыбаком. Мог легко подняться на утренней зорьке, мог сидеть на плоту в ожидании клёва до самых сумерек, мог идти ради нескольких хариусов по такому буреломному берегу, где сам чёрт ногу сломит. Жить так жить, рыбачить так рыбачить. Да, он ничего не умел делать походя, вполнакала, вполчувства.

Вскоре подошло время расставаться с Фролихой. Туристов за эти дни заметно подвалило. Зазвенели топоры, загремели выстрелы, по вечерам от дальних костров неслись крики, песни и гогот. Заповедной благодати – как не бывало.

– М-да, не дадут нашей крякве утят высидеть, – хмурился Вампилов...

Случалось, и у таёжного костра, и даже посреди застолья он неожиданно как бы уходил в себя, сосредоточивался на чём-то своём, очень личном. И эти минуты (не отрешённости, нет, а самоуглубления) выдавали упорный ход творческой мысли, невидимые миру поиски...”

АНАТОЛИЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

## ОН БЫЛ СОВЕСТЬЮ РУССКОГО МИРА

**“Морю велику сущу дыхающу”**

*Нет более точного слова, чтобы выразить весь этот “венчанный гнев моря”, от которого страшно сегодня весь день. Гнев дышит воем, волнами, вскриками, воплями, в душе пробуждается древний ужас. Под рёв этого гнева мог бы происходить Страшный суд. В каждой волне свой “день гнева”, и все эти “дни” вопят неодолимо...*

С. Н. Дурьлин, 2.07.1926

С этой дневниковой записью Сергея Николаевича Дурьлина я столкнулся в дни прощания с Валентином Григорьевичем Распутиным. Она и ложится на его судьбу и душу. Если бы опубликовать стенограммы, видеотчёты и записи участников более двадцати лет проходивших в Иркутске в первой декаде октября Дней литературы и искусства “Сияние России”, задуманных и осуществлённых лично Распутиным! Замалчиваемые СМИ, без финансовых подмог, проходили эти собрания публицистов, и безоговорочно первенствовал на них Валентин Григорьевич. Дважды мне довелось участвовать в семинарах и встречах в разных аудиториях и гостиных.

Из моих наблюдений. В актовом зале Педагогического института вопросы к участникам встречи сыпались больше четырёх часов. Собрание проходило на одном дыхании. Зато в Политехническом институте совсем другое. Расскажу подробно. Планировалось выступление выдающегося политолога А. С. Панарина и показ моих документальных фильмов. Александр Сергеевич договорился с организаторами добраться самостоятельно. Мы прибыли к парадному входу за сорок минут до начала встречи. Как раз начались лекции. Ищем объявление о нашем мероприятии – не попадает. И в это время появляются два паренька в светлых рубашках и прикалывают на доске объявлений листочки: информация о нашей встрече. Мы переглянулись. Парни, исполнив работу, убежали. “Надо же, 46-я аудитория!” – но кто и когда углядит это объявление. Александр Сергеевич, будучи завкафедрой политологии МГУ, не удивился: в его практике такие факты не новость, а я оторопел. Мы нашли объявленную аудиторию... Она большая, полукруглая, по образцу древних театров. Но в ней идут занятия. Ждём у входа. Вскоре нас окружили девушки из студкома, извинялись за накладку... Прошёл час. Аудитория не освобож-



далась. Наконец, нас отвели в другое помещение, но там не было экрана... Возникла неловкая пустота, и в этот момент появился Распутин. Его узнали студентки, забегали, и тут же возник ректор. Нас сразу же увели в его кабинет. Предложили чай, кофе. Ректор извиняется, обещает в следующем году предоставить актовый зал. Валентин Григорьевич молча опускает голову и не молвит ни слова. Я не сдержался и вставил: "Встретимся не в актовом зале, а в Горнем". И таких "неласковых" приёмов на родине у Распутина было немало, это сопровождало весь его жизненный путь. До последних дней жизни Панарин вдохновлялся пребыванием в Иркутске, особенно знакомством и беседами в номерах и кафе гостиницы во время Распутинских форумов, где жили спорами в аудиториях. Особо восхищался личностью Распутина.

В 2013 году я второй раз был на "Сиянии России". С гостями ехали на Родину Валентина Григорьевича в Усть-Узу. 400 километров в стареньком автобусе по тряской дороге, впервые без него... В клубе собралось всё село. Слушают, затаив дыхание. Михаил Трофимов читает басно про борова. На него налегает детвора: "Читай ещё". Называют Крыловым. Михаил смущён, однако опытен в обращении с залом, читает куплеты... Ему дружно рукоплещут... Потом выступил якутский писатель Николай Лугинов, говорил о государственном чутье Распутина. Слушая его искреннее слово, я впервые услышал и запомнил чеканную формулу: "Распутин – истинный губернатор Сибири". Зал внимал выступающему. Стояла тишина, и вдруг единодушный победный гвалт и аплодисменты.

А мне тогда и сегодня вспоминается, как мудро своим выступлением помог Валентин Григорьевич утвердить на Пикете в Сростках памятник Василию Макаровичу Шукшину скульптора Клыкова при стечении 50-тысячного людского моря 25 июля 2004 года. Привожу без правок запись произнесённого перед микрофоном слова с разрешения Валентина Григорьевича, открывая нам в какой-то мере природу рождения писательского слова.

"Всякое Святое дело требует окропления, что сегодня и произошло. Погода уже разыгрывается и разговор может продолжаться, пока вы не устанете. Я не первый раз в Сростках, не первый раз на Пикете, но такого фантастического зрелища, как сегодня, мне не приходилось видеть. Настолько фантастическое: будто марсиане собрались на горе Пикет и в таком количестве, будто и туда дошёл слух о Шукшине, и вот они спустились, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Мы здесь, слава Богу, похожи на православных русских – почитателей Василия Макаровича. Первый раз я здесь был в 1984 году и ещё дважды в ближайшие годы после того. Замечалось, Пикет представляет из себя Всенародное вече. Многие десятки тысяч народу, тогда был ещё Советский Союз, отовсюду, отовсюду ехали и шли послушать людей, которые близки были Шукшину или его идеям.

Тогда говорили здесь о государственных делах, говорили о том, нужно или не нужно строить Катунскую ГЭС, говорили о ненужности поворота северных и сибирских рек, и расходились по всей России люди, получившие здесь благословение на дальнейшую деятельность.

Василий Макарович весь плоть от плоти Сросток и русской деревни, потому и не приходилось ему выдумывать ни язык, ни мудрость и характеры, которых у Шукшина много. Они не выдуманы, и действие, которое есть в рассказах, Макарыч находил сохранёнными в деревне, не напрасно он говорил: "Нравственность есть Правда". Не просто правда, а Правда с большой буквы. Большое мужество и честность – жить народной радостью и болью. Чувствовать, как чувствует народ. Народ всегда знает Правду – великая истина. Ни в каких вузах, и кинематографических в том числе, эту истину не добыть. Её найти можно только среди своего народа. Один из героев у него говорит: "Посмотри, что ни великий человек, почти всегда из деревни". Почитай газеты, что ни некролог, то выходец из деревни, я не хочу этим примером умалить великих людей города, но из деревни их больше, и они более крепкого замеса люди. Но это всё в прошлом, сегодняшняя деревня унижается.

Диву даёшься тому, как ощущал будущее России Шукшин. Вспомните – казалось бы, такая вольная сказка "До третьих петухов", когда Иван-дурак идёт за справкой, дабы удостоверено было, что он не дурак, и ему может будет визы получать, ну, и просто доверия больше. Какая простая сказочка! Это ведь 70-е годы, казалось, ничего не предвещало бед, навалившихся сегодня. И ведь догадался Василий Макарыч довести Ивана до монастыря, но бесы и

там уже окружили, рвутся в монастырь, и могучий стражник на пути, его не одолеешь! Так чем берут этого русского человека? Поют русскую песню “Бежал бродяга с Сахалина”! Да так исполняют, что стражник плачет и ворота отворяет, бесы врываются, и там уже начинаются другие песни-пляски. Вот я смотрю на этот прекрасный памятник Василию Макаровичу и думаю, что будет он служить здесь две службы. Первая служба – Пикет, сторожевая гора, далеко видно, как и в старину, приближение кочевников... А кочевники ныне – это не какие-нибудь дикие люди, потомки Чингисхана, а, напротив, самые “цивилизованные”, и зарятся они в жадности своей ненасытной на наши земли и в любой момент могут прискакать с грамотами от Чубайса или Грефа. Смотри, Василий Макарович!

И вторая служба – гнать отсюда бесов, которые горазды были в недавние годы распевать здесь дурные песенки для культурного развлечения земляков Шукшина. Пикет не для этого. Здесь, на Пикете, надо говорить о главном, слушать лучшее”.

Все дни до открытия памятника кипели нешуточные страсти, чиновная рать Швыдких, Назарчуков, Ломакиных. Они загодя организовали площадь. Для того снесли три дома, залили фундамент, насадили аллею у Чуйского тракта с намерением опустить памятник с горы. Слово Распутина и единодушное признание людей помогло губернатору Михаилу Евдокимову удержать памятник на Пикете.

Валентин Григорьевич – самый бескомпромиссный и стержневой человек изо всех, кого я видел на белом свете, ни единожды не свернувший с избранного пути. Сам он никогда не жаловался и не держал зла на гонителей своих, а бит был и не раз, физически почти смертельно.

В семейной жизни мне он виделся внутренне одиноко-погашенным. Свет в окошке для него была дочь Маша, музыкантша, ученица Георгия Васильевича Свиридова. Она трагически погибла в авиакатастрофе на глазах отца. Летела в Иркутск на первый свой сольный концерт. Её опознали только по кресту. Это событие ошеломило Валентина, надорвало его душу и, пожалуй, подстегнуло смертельный недуг.

Не касаюсь сейчас его вершинных произведений, созданных вопреки житейским бурям идвигающих его дар. Но был и фильм “Уроки французского”, снятый русским режиссёром Евгением Ивановичем Ташковым. Этот фильм, как и великая проза и публицистика Распутина, занял своё, особое место в истории Русского мира.

Приведу ещё один эпизод-событие, последствия которого длились многие годы, и о нём, возможно, не знают соотечественники. 30 декабря 1979 года рискованный артист Алексей Ванин уговорил меня полететь на БАМ в посёлок Дюгабуль (там, на реке Олекма, строили мост методом вымораживания воды до дна). Начальник мостоотряда Андрей Хотин пообещал показать мужикам “Калину красную”. В Тынде нас встретил “уазик”. Ехать пришлось по зимнику 600 километров. Ох, и намёрзлись мы в дороге! Обрато возвращались через Иркутск. Позвонили Валентину Григорьевичу. Он дружелюбно пригласил на чай, был радостно возбуждён: “Академику (Галазию) и общественности удалось договориться закрыть комбинат, отравляющий Байкал”. Уже за полночь, провожая нас до гостиницы, подвёл к набережной Ангары. Здесь я впервые увидел, насколько прозрачна вода в этой реке. “Всего 12–20 километров Ангара жива, дальше плотина губит реку”, – говорил Валентин. Провожать его обратно он не позволил. “Я дома. Кому я помеха?” – и потрогал простенькие польские джинсы. Лёша тут же вставил: “А пиджачок-то на тебе лайковый – дорогой?”. Валентин засмеялся и ушёл. Мы улетели в Москву. В конце зимы слышу в издательстве обсуждают: Распутина зверски избили, джинсы сняли, передают “вражи голоса” почти сразу после случившегося. По телефону узнаю: польские х/б забрали, а лайковый пиджак грабителям не понадобился. “Голоса” не сообщали, что голову проломил, как Есенину. Валя простил обидчиков до суда и просил не упоминать пишущих про эту беду.

Уже в 2009 году в личной беседе он говорил мне: “Голова часто болит, света белого не вижу. И нужна была мне красота лица? Согласился на четыре операции, по несколько часов отключали мозг – выпрямляли лобную кость, а потом на глазах операций десятков, наверное. Нынче посижу за столом полчаса – голова начинает болеть. Места себе не нахожу”.

И в таких муках Валентин Григорьевич написал множество статей, писем, предисловий, отвечал без отчаяния на все болевые проблемы людей, на общую для всей страны беду – очередную разруху, поддерживал народ в шаткое время своей жизнью и творчеством. Повторю определение Валентина Курбатова в журнале “Покров”: “Стоя в сердце жизни, он простился не с веком даже, а с тысячелетием, до ниточки высмотрев высшее крепительное, чем жила Россия, которая никогда не была для него отвлечённостью, а всегда – конкретные события и люди”.

А какой озорённо-наблюдательный был Распутин до покушения, в тяжёлой поездке в село Русское устье, или посёлок Советский, как он был тогда обозначен на карте. Четыреста лет существует село на берегу Ледовитого океана. Здесь зимовали первопроходцы: Ерофей Хабаров, Семён Дежнёв, Бегичев. Собирая слова, ушедшие в небытие, он обратил внимание, что жители села не знают слова “тундра”. Говоря о ней, произносят слово “сэндуха”. В этих местах даже зимой, если ветер с материка, пахнет свежескошенным сеном. Сена дух – “сэндуха”.

Другой случай. Плыли мы на быстроходной лодке по извилистым протокам реки Индигирка, видим над собой взлетающую пару лебедей. Лодка идёт по курсу их взлёта. Какое-то время мы шли с равной скоростью, пока они не набрали высоту, а русло протоки не повернуло в сторону. Я не успел достать фотоаппарат, когда они несколько секунд были в трёх-четырёх метрах над лодкой. Валя после рассказывал: “В глазах птиц был человеческий страх и неизбежность. Они видели нас в лодке, их оглушал рёв моторов, но они размеренно гребли крыльями, переживая ужас близости с нами”.

Венцом его земного признания стало слово Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла в главном храме Православной Церкви о признании его Великим Русским Писателем, сказанное у гроба при прощании с ним. Замолчанное СМИ, слово Святейшего передаётся православным людям из уст в уста.

И ещё стоит упомянуть: похоронили Валентина Григорьевича Распутина в центре родного Иркутска, в Знаменском монастыре, рядом с могучим памятником самому державному монарху России Александру III, восстановленному не без его хлопот.

Не забудем мнение сибиряков, просочившееся даже на телеканалы: “Распутин был истинным губернатором Сибири!”

Прими, Господи, с миром душу Раба Твоего...

## “ПОЕДЕМТЕ В ЛОПШЕНЬГУ” К КАЗАКОВУ

Идея фестиваля, посвящённого Юрию Казакову, родилась на страницах архангельского журнала “Двина” в 2014 году. Во втором номере я напечатал призыв: “От редактора “Двины”: Даёшь литературный фестиваль “Поедемте в Лопшеньгу”.

Почему в Лопшеньгу? Потому что именно в этом поморском селе на берегу Белого моря любил останавливаться в своих странствиях по Северу Юрий Казаков – выдающийся русский писатель, тончайший лирик в прозе, которого часто называют советским Буниным.

Призыв энергично поддержал Павел Поздеев – горячий патриот Лопшеньги, прозаик, а прежде чиновник высокого ранга. Деятельный человек, он увлёк идеей не только деревенскую общественность, руководство местного хозяйства, но и районные и областные власти. К осуществлению задуманного подключились представители областного собрания. А губернатор поручил включить грядущий праздник в областной календарь событий культуры.

Сколько прошло времени с той журнальной публикации? Чуть больше года и – уникальный случай! – инициатива журнала “Двина” уже перешла в предметную стадию: на первую декаду августа этого года в Лопшеньгу был намечен литературный десант.

Какую цель мы, причастные к литературному празднику, ставили? Прежде всего – мемориальную. Помянуть замечательного русского прозаика, чьё творчество озарил Русский Север и в свою очередь он, Юрий Казаков, своей духоподъёмной прозой вновь открыл для современников Русский Север, а главное – вернуть к его прозе читателей, пробудить интерес молодёжи к его искреннему, душевному творчеству.

И вот мы на Беломорье, на вершине Онежского полуострова, на Летнем берегу его. Позади поезда, самолёты, автобусы. Мы в Лопшеньгу.

В гости к поморам приехали известные прозаики, поэты, редакторы журналов, литературоведы. Прозаики Юрий Пахомов (Москва) и Гарий Немченко (Кубань), хорошо знавшие Казакова; Владимир Личутин, уроженец Русского Севера, признанный мастер русской прозы; профессор Литературного института Владимир Смирнов; известный публицист, заместитель главного редактора журнала “Наш современник” Александр Казинцев; редакторы литературных журналов – Владислав Артёмов (“Москва”); Валерий Сдобняков (“Вертикаль”, Нижний Новгород); Елена Пиетийайнен (“Север”, Петрозаводск), Николай Старченко (“Муравейник”, Москва).

От Архангельской писательской организации на литературном сборе были: Михаил Попов, редактор журнала “Двина”; прозаик и поэт Валерий Чубар;

член редколлегии “Двины”, радиожурналист и поэт Илья Иконников, который работает в Лопшеньге начальником аэропорта.

Павел Поздеев (Кренёв) предстал в нескольких ипостасях: член СП России, автор ряда книг прозы, автор журнала “Двина”, наш земляк, а главное – уроженец Лопшеньги, который много сделал для того, чтобы волна казаковского фестиваля была воплощена в жизнь.

А ещё писательский десант сопровождал дуэт “Подруженьки” – Софья Сыроватская и Галина Пикалёва, давние друзья Архангельской писательской организации, к стати, лауреаты высокой премии “Имперская культура”.

Финансовое обеспечение литературных чтений взял на себя председатель местного колхоза “Заря” А. А. Заика.

Организацию мероприятия осуществляли власти Приморского района – глава районной администрации В. А. Рудкина, глава поселения Лопшеньга И. П. Майзеров.

С начала Года литературы это событие было включено в областной календарь культуры и находилось под патронатом Архангельской областной администрации (губернатор И. А. Орлов) и областного собрания (В. С. Фортыгин и Ю. И. Сердюк).

Мы провели в Лопшеньге несколько дней. Знакомились с деревней, общались с местными жителями, побывали на рыбацкой тоне, где отведали свежей сёмужьей уха. А ещё ездили в соседнюю деревню Яреньгу (Казаков тоже здесь жил), где осмотрели музей сельского быта, библиотеку. В Лопшеньге и Яреньге оставили свои книги и журналы, подписав их читателям здешних библиотек.

Расстояние меж двумя деревнями не велико, но обе наособицу. Яреньга, как низка бус, прихотливо рассыпавшая по берегам вертлявой речки. Лопшеньга тоже при речке, но немного в стороне от неё. Деревня вытянулась вдоль берега несколькими рядами. С запада её прикрывает высокий увал, а с востока от штормов – гребень мелководья. Такое расположение, как ни покажется странным, напоминает черноморское побережье Кавказа. Хотя климат, понятно, здесь иной – до Полярного круга рукой подать.

Главное событие состоялось в день рождения Юрия Казакова – 8 августа.

В храме Первоверховных апостолов Петра и Павла, возведённом в центре деревни, прошёл молебен. Его совершил настоятель храма о. Антоний (Михеев).

В сельском клубе, где собралось полсела, – иные пришли семьями, с детьми и внуками, – состоялось величание кудесника родной словесности Юрия Казакова. На фоне большого панно – портрета писателя и девиза “Поедемте в Лопшеньгу” – чередой выступали представители администрации, прозаики и поэты, местные и приезжие артисты и песенники. Воспоминания о встречах и общении с Юрием Казаковым чередовались с аналитическими высказываниями о его прозе. Театрализованные сцены по произведениям писателя следовали за старинными обрядовыми поморскими песнями. И все эти переливы напоминали живой драгоценный камень, который лучился и сверкал всеми своими гранями.

Творчество Юрия Казакова живо и востребовано. Оно особенно необходимо сейчас, когда сбиты и смещены критерии подлинного русского слова. В этом были единодушны все участники творческого десанта, когда – уже в Архангельске – подводили итоги и благодарили местные, районные и областные власти за поддержку идеи журнала “Двина”. Литературным чтениям “Поедемте в Лопшеньгу” быть, надо сделать их традицией. Таково общее мнение прозаиков и поэтов – участников памятного события.

**Михаил Попов,  
главный редактор журнала “Двина”**

Дорогой Станислав Юрьевич!

Прошу прощения за наглость, за то, что беспокою.

Надо же! Появилось желание написать! Виною тому Ваши добрые письма минувших лет и книги – я их читаю и перечитываю.

И ещё. В мае-июне был в Москве (там работает дочь – исполнительный директор фирмы – очень солидной на Рублёвке, и внук – программист крупной фирмы).

В июне возвратился домой – в Белокуруху. И надо же! Как нельзя кстати.

Зашёл в городскую библиотеку, а там – суета. Подписка, короче. Спрашиваю директрису: “Всё выписали?” Ответ: “Почти”. – “Наш современник” выписали?” “Нет, – отвечает Ирина Анатольевна. – Денег не хватило”. – “Да вы что? Без “Нашего современника” библиотека не библиотека, а пустая шарашка. Сколько не хватило?” Отвечает: “Тысяча четыреста”.

“Вот Вам тысяча. Четыреста занесу через час – живу рядом”.

Выписала.

Зашёл в библиотеку санатория “Россия”. Завбиблиотекой Нина Петухова подписку закончила. Опять же – денег не хватает: урезали. Захожу к гендиректору Фёдору Егоровичу Елфимову (он всегда помогает мне). Деньги появились сразу же, через десять минут, журнал выписан, потому что я читаю его регулярно, № 7 за сей год у меня. Он радуется. Журнал на стремительном взлёте. Читаю и перечитываю роман Сергея Михеенко. Это правда о войне, которую замалчивали годы и десятилетия и частицу которой я воочию видел на Курской дуге в мои 14 лет.

Похожая история с подпиской в санатории “Алтай”, “Алтайский замок”. Но и там удалось изменить ситуацию.

**Остапов А. Ю.**  
**Алтайский край,**  
**г. Белокуруха**

Здравствуйте, глубокоуважаемый Станислав Юрьевич!

Пишет Вам из Севастополя Подосинникова Людмила Андреевна. Когда-то в далёком 1999 году я послала Вам письмо, в котором мне хотелось поделиться бедой: Севастополь оказался оторванным от Родины – России, попал в новую оккупацию, теперь уже украинскую. Вы поместили моё письмо в журнале “Наш современник”, 1999, № 5.

А вот теперь я могу читать журнал “Наш современник”, я записана в Морскую библиотеку, недавно пришла и говорю библиотекарю: “Дайте, пожалуйста, мне журналы “Наш современник” за 2014 год, хочется посмотреть реакцию журнала на возвращение Крыма”. Библиотекарка посмотрела и говорит: “За 2014 год нет, а вот три журнала за 2015 год могу вам дать”. Так читают ваш журнал, получить его нелегко. Но я, конечно, от предложенных номеров не отказалась. Дома открыла № 2 – и увидела в нём роман А. А. Проханова “Убийства городов”. Я много лет покупаю газету Проханова “Завтра”. Даже в оккупационное время была одна точка в городе, где можно было купить газету, без неё мы уже не могли жить, она поддерживала нас в эти годы. И вот теперь – мой любимый журнал, а в нём произведение А. А. Проханова. Между прочим, Станислав Юрьевич, я попробовала взять в библиотеке другой толстый журнал, но читать его мне не захотелось. В этих журналах не тот дух, какой нужен мне. А “Наш современник” откроешь – и ты дома, дух мой, слова мне близкие... И я сразу хватилась за роман Проханова.

Читаю, а сама вспоминаю, как жили и боролись крымчане и севастопольцы все годы оккупации. Они не принимали украинскую власть. С 90-х годов началось движение за возвращение в Россию. Это были митинги, сборы подписей за референдум. Севастопольцы приезжали в Симферополь, где проводились шествия. Всё работало на пророссийский настрой людей. Митинги были огромные. И в Симферополе, и в Севастополе. Постепенно, видя, что Россия нас не поддерживает, более слабые люди стали отходить от движения, приспосабливаться к новым условиям. Но настоящие патриоты не успокоились. Сначала было создано Республиканское Движение Крыма (РДК), в 1993 году в Севастополе возникла Российская община Севастополя. С первых дней во главе неё встала Телятникова Раиса Фёдоровна. Активнейшее участие в борьбе принимали братья Кругловы – Александр Георгиевич и Генний Георгиевич.

В третьем номере “Нашего современника” за 2015 год я нашла статью Сергея Горбачёва, капитана 1-го ранга, журналиста, “Третья оборона Севастополя”. Вот и он пишет: “Третья оборона” началась в конце 1991 года и длилась до начала 2014 года. В нынешнем году оборона, как это и положено в любом противостоянии, завершилась наступлением и Победой. Наступление было стремительным, а Победа – ошеломительной и впечатляющей. И плацдармом для наступления стал Севастополь – место исторического базирования Черноморского флота России”.

У меня в этом году в первый класс пошла внучка. Я стояла на школьной линейке, смотрела на российские флаги, стояла смиренно под Гимн России и думала: “Какое счастье, что наши дети будут спокойно учить историю России, свой родной язык!”

**С уважением, Л. Подосинникова,  
г. Севастополь**

---

*Поздравляем нашего автора и преданного читателя журнала Валерия Петровича Проценко из города Тимошевска Краснодарского края, самоотверженно помогающего редакции во всех подписных кампаниях, с 70-летием. Желаем ему успехов в жизни и творчестве.*

*Редакция журнала "Наш современник"*